

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

Издается с января 1966 года
САРАТОВ

1-2 (424)

2010

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭЗИЯ
Борис Херсонский. Машина имени ... 3
Татьяна Щербина. Дыханию одиноко ... 93
Сергей Слепухин. Что-то случилось ... 96
Рафаэль Шустерович. «no discharge» *и др.* ... 99
Алексей Евстратов. «У бывшего барака медицинского рабфака...» *и др.* ... 143
Алексей Порвин. «Ветвью, к облаку подводно́й...» *и др.* ... 146

ПРОЗА
Владимир Шапко. Время стариков. *Повесть* ... 9
Валерий Володин. «Что-то не тянет домой» *и др. рассказы* ... 105

ДЕБЮТ
Сергей Дигол. Мои пыльные ноши. *Рассказ* ... 150

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ
Хлоя Горенко. «С креольского кладбища...» *и др.* ... 166
Илья Манилов. «один не переживай...» *и др.* ... 168
Андрей Абросимов. «это не спам и не розыгрыш суперприза...» *и др.* ... 170
Алла Поспелова. «Я крови не боюсь...» *и др.* ... 172

ПУТЕШЕСТВИЕ
Кристоф Д. Брумме. На голубом слоне: 8353 километров на велосипеде от Берлина до Волги и обратно. *Отрывки из книги* ... 173
Андрей Пермяков. Десятая часть года. *Почти документальная повесть* ... 183

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА
Юлия Щербинина. Море волнуется – раз, море волнуется – два ... 241
Алексей Колобродов. «Околоноля»: книга нулевых, или Правительство как первый писатель ... 247
Сергей Трунев. Кошкам, собакам, траве посвящается ... 249
Андрей Пермяков. Возможность времени ... 251
Олег Рогов. Саратовские корни «Пустынной Церкви» ... 253
Виктор Селезнев. Сумбур вместо мемуаров ... 254

КИНООБОЗРЕНИЕ
Иван Козлов. Искусство карикатуры ... 257

© «Волга», 2010

Борис ХЕРСОНСКИЙ

Машина имени

***

Мелкие камушки, собранные на морском берегу,
на шестнадцатой станции, перекочуют в аквариум, образуя дно,
над которым мелькают пестрые гуппи, зависает жемчужный гурами, раздуваются два петушка и два
меченосца, а также вуалехвост – бугристая голова.
Аквариумная вода вылита в Лету давно.
Пестрые души мелких декоративных рыб
мелькают в небе среди белых облачных глыб.

Вместо мальчика – грузный старик, но до сих пор
выражение глаз – особое, как будто бы он
сквозь аквариум на надводный мир направляет взор –
на прохожих, на вывеску, на рекламный щит,
на ветхий дом, который по швам трещит,
перед глазами – пестрые рыбки со всех сторон.
Вертикальные ленточки водорослей. Улитка ползет по стеклу.
Жемчужный гурами жмется под лампочкой – ближе к теплу.

Старик понимает, что это призраки, но не спешит
от них откреститься, он не вздрагивает, когда
в дом входит прозрачная бабушка. За окном мельтешит
первомайская демонстрация. Оркестр играет вальсок.
В стакан из стеклянного конуса льется томатный сок.
Наполнена прошлой жизнью аквариумная вода.
Будто бы кормит заоблачных рыбок, дрожа, рука
полоумного, грузного, аквариумного старика.

Дайвинг

Многоцветная рыба ходит на плавниках как на лапах.
Задние плавники – ноги, передние – руки.

Борис ХЕРСОНСКИЙ родился в 1950 году в Черновцах, живет в Одессе. Окончил Одесский медицинский институт в 1974 году. Заведует кафедрой клинической психологии Одесского национального университета, автор ряда научных монографий в области психологии и психиатрии. Публикации в журналах «Арион», «Воздух», «Знамя», «Звезда», «Крещатик», «Новый мир», «Октябрь» и др. Автор нескольких книг стихов, в том числе «Семейный архив» (2006), «Вне ограды» (2008), «Площадка под застройку» (2008), «Мраморный лист» (2009), «Спиричуэлс» (2009), «Псалмы и Оды Соломона» (2009). Стипендиат фонда им. Иосифа Бродского (2008), лауреат премии «Anthologia» (2008), шорт-лист премии им. Андрея Белого (2007).

У нее есть нос – она ощущает запах.
У нее есть язык и она издает звуки.

Правда, ей еще далеко до осмысленной речи,
но она среди коралловых рифов ступает бодро.
Передние плавники – кисти, предплечья, плечи.
Задние плавники – стопы, голени, бедра.

Вот и еж морской – у него и руки-иглы, и ноги-иглы.
У него череп и панцирь, мозг и мышцы это одно и то же.
Морские ежи знают слова, но мы смысла их не постигли,
потому что не слушали, и не услышим, похоже.

***

Подушки белоснежные, мал мала меньше, на кровати пирамидой,
гипсовая свинья со щелью между ушей – монетки стучат-бренчат.
Беленая хата. Перед хатой – ракита. Лавочка под ракитой.
Баба Варя живет одна, только летом на месяц привозят внучат.

Она их учит молиться-креститься на подкрашенную фотоиконку.
Моет их во дворе у колодца, когда замараются от головы до пят.
Кормит – песни поет – а что еще нужно ребенку?
Режет цыплят рано утром, когда малые еще спят.

Вспоминает, как перед войной год прожила с красавцем-Иваном,
который геройски погиб, но не сдался фрицу-врагу.
А облака над лиманом, как всегда, идут караваном.
Воздух прозрачен – видна старинная крепость и церковь на том берегу.

А далече, за горизонтом, гуляет в парке Иван – высох, но узнаваем.
Он дезертир-перебежчик, избежавший людского суда.
Вдова соседа, Матильда, каждый вечер его угощает шарлоткой с чаем.
А Иван вспоминает Родину и очень не хочет туда.

***

странно ты еще узнаешь меня в этом пальто с поднятым воротником
наверное рвань такую не увидишь уже ни на ком
я командовал батальоном а ты полком
я уговаривал девок ты их валил силком

на девятом десятке когда чудом оставшийся почтальон
разносит открытки плюс помощь которую выделяет район
на площадке среди пятиэтажек выгуливаешь пса
маленького лохматого рыжего как лиса

разбегаются в стороны при звуке твоих шагов
тени расстрелянных дезертиров побежденных врагов
а меня никто не боится как вечером поздно иду
смеются руками машут кричат до встречи в аду

и я говорю им до встречи отвешиваю поклон
старый вояка без будущего без погон
без именного оружия чтоб череп себе разнести
но для начала тебе ты уж меня прости

***

В открытом окне выставляли ящичек-патефон,
позднее – умницу-радиолу для всего двора.
Рознер мучил трубу. Гаранян – саксофон.
Магомаев шел на ура.
Проходя мимо, морщился солдафон.
Кажется, это было вчера или позавчера.
Музычка, запах сирени, майские вечера.

Музыка полагалась одна на всех – и старалась нравиться всем.
Гармония – пять аккордов, несколько лучших тем.
Узнавали с порога, с улицы, с балкона каждый мотив,
дальше шли и насвистывали, подхватив.

На Соборке играли на время и деньги в шахматы, «шах»
был слышен реже, чем мат. Музычка шевелилась в ушах,
наигрывала, наяривала, окончиться не могла,
вертелась пластинка, скользила стальная игла.

***

Кто однажды замечен – с того не спускают глаз,
говорят: ещё раз попробуй, хотя бы раз!
Идешь по аллее, они на скамейках сидят,
перемигиваются, перешептываются, за каждым шагом следят.

Кто однажды сосчитан, тот дальше уже не считается.
Думает о своем, по городу праздно шатается,
разве что – в храм, чтобы выслушать пение покаянное
про великую Божию милость, про свое житие окаянное.

***

Забрали в психушку. Положили в палату. Забился там в уголок.
Выписали. Ушел в монастырь. Потом перебрался в скит.
Раскинув руки, лежал на полу, глядел в потолок,
поди угадай – это умер? или с глазами открытыми спит?
Входит келейник. Чайку подогреть, милок?
А милок ни слова. Лесок, да купы ракит,
да медведь с занозою в лапе ждет подмоги, скулит,
да ангел, сцепившись с бесом, катается по лужку,
да бурьян растет между могильных плит,
да богомол зеленый насекомому служит божку.

А келейник похлебку в миску налил, ложка в кашке торчит.
А похлебка-то пересолена, да и кашка горчит.
А милок-то ногтями под полом вырыл подвал.
И в подвале том запропал – дневал, ночевал.

Из подвала – то пение, то рыдание, то скверный смех.
Милку во тьме подземельной легче любить нас всех.

Иван Бунин в Одессе

«Какие из них декаденты! Они
здоровые мужики! Их бы отдать
в арестантские роты!» В минувшие дни
эти чеховские слова Ян повторял опять и опять.

Ян не верил в Бога и не любил декадентов. Он
при случае сам бы собрал их в скотский загон,
в колодки обул, приставил бы к ним караул,
а сам читал бы газетку, усевшись на венский стул.

И вот в Одессу пришла окаянная безбожная власть,
на декадентов-интеллигентов открыла зубастую пасть.
Попам и раввинам тоже не сладко. Бог не в чести.
Спасайся, кто может. Господь не придет спасти.

У ревкома моряк сторожевой качается пьян.
По бульвару с тросточкой гуляет подтянутый Ян.
Местный поэт поздоровался. Ян в ответ не кивнул.
Вдали пароходик плывет – должно быть, в Стамбул.
Матрос пинает собачку – та отлетает с писком.

Ян читает газетку с расстрельным списком,
в кафе Фанкони, усевшись на венский стул.

***

учить имеют право только бородачи
отпусти длинную бороду потом учи
как печь топить кизяком как бороться со сквозняком
как пройти мимо ближнего будто бы не знаком

как вилку к палке крепить будет вроде копьё
из мусорных баков выуживать обувку или тряпьё
как ноготь на ноготь казнить платяную вошь
как всё не понять зачем ты такой живешь

зачем с тобой ходит баба не смотри страшней не найти
а все же хозяйка в хате и подруга в пути
зачем два прозрачных ангела над вами кружат и кружат
то ли ждут чего-то как вОроны то ли впрямь тобой дорожат

метят в душу копьями приблизительно так
как палкой с прицепленной вилкой тычут в мусорный бак

***

Сам по себе возник
мыслящий сей тростник.

Сам по себе на горле нарос кадык.
Сам по себе изо рта выдвинулся язык.

Сама по себе рука из плеча и нога из бедра
Сам по себе пищевод пробрался во мрак нутра.

Все само по себе взялось,
само по себе срослось.

На палочке эскимо
образовалось само.

И Дарвин – старик седой
состарился сам собой.

Идет, бородой трясет,
обезьянку в кармашке несет.

***

Одноклассники. ру – машина времени-имени. Забравшись туда,
можно вернуться в прожитые года, покинутые города,
сказать первой любви: «Люблю!» и услышать «Да!».

И – голову очертя, бежать, оставляя семьи, дома
в Майами, Мельбурне, Берлине, высокие терема,
детей под тридцать, шепчущих: «он (она) лишился (лишилась) ума».

Смотреть в глаза. Лгать: «Ты все такой же (такая же)». Ворковать.
Из ресторана – в гостиницу, в одну большую кровать.
Родителей нет давно. Никому нет дела. Не от кого скрывать.

А тогда, помнишь, вернулась домой, пять утра на часах,
в помятой юбке с травинкою в волосах,
как кричала мать, догола раздела, искала пятно на трусах,

во вторник с утра потащила тебя к врачу
известной специальности. Ты плакала: «Не хочу!»,
а мать: «Не волнуйтесь доктор, я заплачу!»

А дел всего-то было – ласки рукой,
в приморском парке, или в саду над рекой,
а нет реки или моря – в подъезде, Боже, какой
страх и стыд, обида – еще раз стыд.

Мама шепчет: «Доктор, она с ним спит».
Доктор – мужчина, деловит, лет сорока на вид.

Вот он тебя выводит к матери – говорит: «Иди!»
А матери: «Virgo intacta. Девственна». Все еще впереди.
Мать рыдает, твою голову прижимая к огромной груди.

И снова страданья любви: подъезд, полуподвал.
А доктор тебя тогда не смотрел, не раздевал.
Взял за уши, потянул, и в макушку поцеловал.

***

Это обрывки мечтаний и сновидений благонамеренных горожан –
королей, епископов, гениев, каторжан,
это мрачные помыслы пролетают вихляя, как летает слепой кожан.

Он ведь тоже – фантазия, образ обители вечных мук.
У него натянута перепонка между пальцев огромных рук.
У него вместо зрения – абсолютный слух и неслышимый звук,

натыкающийся на камни и отталкивающийся от камней,
нащупывающий преграду, исчезающий вместе с ней,
поскольку кожану слышнее, чем нам – видней.

Это мечты о богатстве, мученичестве, путешествии в те края,
где Радж Капур распевает «авара я, бродяга я»,
где пляшут девушки в сари собственного шитья.

Это мечты о хождении за три моря, о блуждании по морскому дну,
в рубахе вышитой, с гуслями, о проводах на войну,
о вечной любви и верности, случавшихся в старину.

Мечты летают над крышей, выдвигающейся углом,
над старушонкой нищей, склонившейся над столом
с пресной убогой пищей, над эпохой, идущей на слом,

над спутниковой антенной, над трубою печной.

Мечты летают и смотрят на страшный город ночной.

Владимир ШАПКО

Время стариков

1. Тараканы по по́лу, паук на потолке

В марлевой повязке и резиновых перчатках Дмитрий Алексеевич ползал на коленях по коммунальной кухне, подпускал и подпускал из баллончика. Под плинтуса, под газовую плиту, вдоль стены. «Сколько же вас, паразитов, развелось! По всей Москве... Тараканы, моль, блохи, клопы! Никогда такого не было!» Приклонив голову к полу, заглянул под кухонный стол Чуши. Да-а, хозяйка... Пустил туда отравы продолжительно, широко. Поливая, сметал все тенета и грязь. Дал струю и под пустую тумбочку Жогина. Так, на всякий случай. Распрямился на коленях, выглаживая рукой одеревенелую спину. Хотел уже вставать, и – уставился на таракана. В метре от себя. На полу. Таракан весело, хулиганисто ждал. От него, Кропина. Потом побежал. Дескать, догоняй! Как на ветру затрепался. Как с флагом он. С победным флагом!.. А-ах ты! Забыв про суставы, Кропин отчаянно заширкался за ним на коленях. И жег, жег его с садистским выражением лица.

Ставился на ноги. Суставы потрескивали, щелкали. Сняв марлевую повязку и сдернув перчатки, бросил все в раковину. Распахнув окно, глубоко дышал. Вдоль сырого, без единого деревца бульвара пролетали машины. Неподвижный, во весь торец дома плакат призывал хранить деньги в сберегательной кассе. А повыше, над плакатом, ходили, рвались осенние сажные облачка. «Надо предложить Новоселову. Саше. Этот дихлофос. Сильный как будто...»

Все время помнилось о Якове Ивановиче. Но прежде чем поехать к нему, решил выкупаться. Суббота. Пошел к себе за бельем, полотенцем, мочалкой. Пока ходил – ванную заняли. Чуша. «У-уть, Кропин!» – со всплесками послышалось жизнерадостное с низу двери в деревянной решетке. «А-а, черт тебя!» Топтался, не знал, куда с бельем теперь: в комнату ли обратно, в кухню ли пока? Отнес в кухню, положил на подоконник.

В высоком коридоре, бросая взгляды на еле мерцающую под потолком лампочку (Чушин хахаль опять сменил!), далеко отстраняясь от настенного аппарата, осторожно набрал номер. Попал не туда. Еще попытался – опять накладка! Чертыхаясь, пошел за очками.

С нарастающим беспокойством вслушивался в пустые и пустые гудки. Задрожав рукой, трубку на место, на аппарат старался. Снова сдернул. Быстро набрал номер. Сразу упала в трубку рассыпающаяся, потрескивающая одушевленность, и через долгую секунду взвесился в ней дорогой голос. Кропин закричал: «Яша! Черт! Здравствуй! Почему не отвечаешь, не берешь трубку?» С приоткрытым ртом, улыбчиво уже, ловил ответные слова. Снова кричал. Радостно. Освобожденно.

Загнувшись старухой, в грязной ложбине потолка, в паутине, работал-вязал паук. Ловко, споро двигались все лапы. Кропин смотрел. «Погоди-ка, Яков Иванович...»

С баллончиком к пауку подпрыгивал по-стариковски неуклюже, с припляской. Струи ложились как попало, не попадали. Паук быстро утянулся вверх, в угол сети, разом свернулся, как высох, пусто покачивался. Тяжело дыша, Кропин смотрел снизу. Отступил к телефону, взял трубку. «Да нет. Паук... Где, где! На потолке... Я тут с тараканами... Ну и... Да ладно об этом. Как ты-то, Яков Иванович? Как спал сегодня?» Долго слушал слова Кочерги. Снова говорил, успокаивал.

Владимир ШАПКО родился в 1938 году. Окончил Уфимское музыкальное училище. Печатался в журналах «Уральский следопыт», «День и Ночь», альманахе «Енисей». С 1997 года – постоянный автор «Волги» (повести и рассказы «Настоящая московская лимита», «Берегите запретную зонку», «Всё началось с собаки Джек», «Единые с летней природой, или Поле для одуванчиков»). Живет и работает в Усть-Каменогорске. Повесть «Время стариков», как и вышеназванные публикации в «ДиН» и «Волге», входит в состав объемной книги «Муравейник Russia».

Что-нибудь другое можно попробовать. Лекарств – воз. Предложил искупать. Суббота же. Забыл? Еще раз помянув чертову Чушу, договорился быть у Кочерги часа через полтора. Попей молока пока. Подогрей, не забудь. Из холодильника все же. Ну, пока!

Через два часа, изругавшись с Чушей, поехал, наконец, к Кочерге на Красную Пресню.

2. Кочерга Яков Иванович в 1939-м году

...Когда вышли из зоопарка на площадь перед ним, вышли усталые, знойные, вытирающиеся платками, у Кочерги осталось неприятное ощущение, что за ними сюда повыпрыгивали и все решетки зоопарка. Что все они воплотились, наконец, в одну, гигантскую решетку в виде толстенных заостренных пик-прутьев в главных арочных воротах. Андрюшке одному было мало увиденного. Потненький, толстенький, от возбуждения похудевший личиком, он дергал мать за руку. Дергал и его, Кочергу. Хныкал, тянул *досматривать слона-а*. Уломал смеющегося Кропина. И заспешил с ним обратно, к главной решетке, где Кропин, продолжая посмеиваться, подавал оборванные билеты служительнице, а та их сердито возвращала Кропину. И Андрюшка, держась за его руку, хитро поглядывал то на билетершу, то на Кропина. И билетерша сдалась. И они прошли за прутья, помахав Кочерге и Зинаиде. Прошли обратно в зоопарк...

Говорить после их ухода мужу и жене стало не о чем. Не догадывались даже уйти с солнцепека. Летняя шляпа Зинаиды имела вид птицы, изготовившейся взлететь, и словно часть этой птицы, Зинаида загибала ото лба вперед рукой. Как бы делала ручкой: аxx! В сарафане стояло солнце, высвечивая прямые, чуть расставленные ноги в туфлях на полусреднем. Кочерга перекинул пиджак на руку, как официант грязную салфетку. Брюки его были тяжелы и объемны, а бóбочка в вертикальную полоску делала грудь цыплячьей. Он косился уже на решетки забора. Решетки уходили секциями, чередуясь со столбами квадратной кирпичной кладки. Они мучительно что-то напоминали. Часть чего-то. А чего, Кочерга никак не мог уловить, вспомнить...

Спал ночью плохо. Снилось мучительное, недосягаемое. Он идет бесконечным кругом вдоль ограды зоопарка. Мучаясь, оглядывает ее решетчатые камеры-секции, из которых можно смотреть и в зоопарк, и из зоопарка, но говорит, уверяет себя, что это всё не теперешнее, эти камеры-секции. Нет, нет, это всё очень давнее, древнее, древнегреческое, эллинское, изысканное, обрамленное колоннадами с вьющимся виноградом, цветами... Он подходит к секциям и, прижав лицо, закрывая глаза, гладит ржавые толстые прутья. Шепчет: «Арфы! Эллинские арфы!» И сквозь золотую музыку арф видит раскидистые деревья, осолнеченные лужайки, поляны. Видит землю обетованную... В озерцах закидываются, трясут парусными клювами пеликаны. Напряженно ставят головы олени. Оленихи, отрываясь от травы, смотрят на Кочергу каплевыми глазами женщин. Везде поют разноцветные птицы, раскачиваются вензеля обезьян...

Вдруг в арфе заколебалось всё и, точно в воде, растворилось. Как в кривом зеркале возникло искаженное лицо служительницы. Запережевывалось зло: «Ваш билет!» Кочерга кинулся к соседней решетке, вцепился в прутья. «Ваш билет!» – та же рожа жуется. Он к следующей камере. «Ваш билет! Здесь зоопарк!» Он дальше. «Здесь зоопарк! Куда?!» Он стал торопливо ощупывать себя, искать билет. Выворачивал карманы, пистончик брюк. В кармашек бобочки два пальца запустил... «Ваш билет!» Он сдернул парусиновые туфли, осмотрел. Пусто. Снял штаны, вывернул, просмотрел каждый шов. Майку, трусы – ничего. Голый, пытался заглянуть через плечо. Себе на спину. Билета не было... Тяжело заплакал. Спазмы корежили лицо, давили горло. Пошел вдоль решеток. Билетерша отстала.

Вдруг снова увидел ее. Идет навстречу. Уже в фуражке, с усами, в сапогах. И – в юбке. Остановился, испуганный. Билетерша тоже стояла, дергая себя за ус, недовольно глядя вбок. Ждала словно от него чего-то. Кочерга повернулся, на цыпочках пошел. В обратный круг вдоль решеток. Услыхал за спиной догоняющий топот. Он быстрее, быстрее. Подвывая, уже бежал. «Твой билет, га-а-ад!» – ударили за ним сапоги словно бы уже нескольких усачей. На обетованной земле все

разом опустело, куда-то попряталось. Торопливо уползал закат, кидал за собой плоские черные тени. А вдали, на возвышенности, словно поспешно укручивая все, убирая, мотался огромный слон, прикованный к месту цепью... А усачи бежали. Уже толпой. Взбивая пыль сапогами. Бил-ле-е-е-ет! И Кочерга припускал, припускал впереди них вдоль решеток. Подскакивая, голый. Все пуще, пуще...

В воскресенье, ближе к вечеру, поехали пригородным от Белорусского на дачу к Воскобойникову. Кочерга, Зинаида, Кропин. В последний момент пришлось забрать с собой и Андрюшку – Отставной Нарком хлястнул об стол билетами. Двумя. В Большой. На вечер. При полном параде. С супругой. В партер, уважаемый зятек!..

Поспешая не торопясь, постукивал и постукивал пригородный. Андрюшка пряменько сидел у окна, от волнения опять похудевший. Поворачивался к Кропину, быстро спрашивал: что это? Тот наклонялся к нему, объяснял. Металось в деревьях, боялось отстать от поезда закатное солнце. По низу несло тяжелую темную лаву картошки в белых углях соцветий.

Кочерга и Зинаида сидели напротив Кропина. Сидели как люди, не могущие уже да и не хотящие мириться. Кропину виделся над ними Отставной Нарком. В майке своей постоянной, волосатый – он словно брал их головы сверху в щепоть и выворачивал. То так, то этак. Как гайки. И подмигивал Кропину шалым глазом...

Пучки берез, казалось, росли прямо из дачных домов. Кругом высоко и глухо накрывал всё вечерний сосняк. Притихший Андрюшка покачивался на руках у Кропина, вертел головкой, смотрел вверх на тяжелую, насыщенную пахучей темнотой, хвою. Кропин устал его нести, спустил на дорогу, и тот, освобождаясь от страха или перевозбуждения, быстро забегал меж взрослыми. Пригнув голову, молотя сандалиями спящую пыль дороги. Со смехом Кропин ловил его, утихомиривал. На них налетали отчужденные Кочерга и Зинаида...

Нужный поворот к Воскобойникову – прозевали. Прошли мимо. Кропин понял это, увидев какой-то темнеющий впереди щит с указателями. Такого щита вроде бы не было в прошлый раз. Спросил у Кочерги. Повернули назад. Метров через пятьдесят и был сворот к Воскобойникову, и даже видна была дача – в широком просвете, опустившем лес, широко раздвинувшем его...

Стояли и смотрели, почему-то не двигаясь дальше... Вечерние, высокие сосны слушали тишину. У дыма дачи, где-то внизу, гулко метался меж стволов, стрелял лай пса. Там же возникали, переливались людские голоса, длинные и стеклянные, как сосуды. Стукался ведром, плещась, стекая каплями вниз, скрипучий колодец. Снаружи, в черных колеях дороги, стояло унылое авто Качкина в пятнах грунтовки. И возле тихо висящей березы уже прохаживался, смущался сам хозяин, Степан Михайлович Воскобойников. Низенький. Для гостей в просторном новом костюме, в белой сорочке. При галстуке... Помахал им рукой. И все стронулись, стали спускаться к даче. Андрюшка рванул вперед.

Кроме Колюжного, приехали все. И Быстренко, и Левина, и унылый Качкин, и Зеля, и Кочерга с Зинаидой, с Андрюшкой и Кропиным. Застолье напоминало всегдашнее заседание кафедры, перенесенной вот на дачу к Воскобойникову. И было больше, чем обычно, смеха, шума, разудалой одновременной разноголосицы. И вместо бумаг и раскрытых блокнотов перед каждым стоял столовый прибор на белоснежной накрахмаленной скатерти. И под зеленой льдиной лампы под потолком, равномерно обтекающей светом, кафедранты налегали на салаты и закуски.

Юбиляр сидел рядом с Кочергой. Сутулился в своем новом костюме, маленький, с росинками пота, проблескивающими сквозь реденькие волосики на голове. Почти ничего не ел и только поспешно взбалтывался с бокалом навстречу, когда тянулись к нему с рюмками. Безотчетно все время говорил бегающей Марье Григорьевне: «Маша, сядь, пожалуйста, сядь!..»

Поочередно вставали. С наполненными рюмками. Как-то сыто расправлялись. Словно на перерыв для усвоения пищи. Говорили юбиляру торжественно и от души. Чокались с его бокалом.

Остальные, как после гонга, дружно тянулись и тоже тыкали рюмками в бокал Степана Михайловича, создавая ему приятный, радужный перезвон. Тут же дружно забывали о нем, галдели, спорили, смеялись, но не оставляли и еду.

Встал и говорил хорошее и Кочерга. Растрогавшийся юбиляр вскочил, обнял его, низенький, плотненький, сжал. И Кочерга, слегка икнув, ощутил, какой сильный еще Степан Михайлович.

Марья Григорьевна подала жаркое и сама присела к столу рядом с мужем. И когда увидели их вместе, старенькой вот этой парой... сразу вспомнили сына их, Юрия Степановича, незабвенного милого Юру. Нелепо (на рыбалке) погибшего три года назад... И всем стало тяжело, жалко их до слез. Опускали, уводили глаза, перебирали что-то возле приборов. Качкин, задрав голову, часто моргал...

Марья Григорьевна заговорщицки подтолкнула мужа. Тот в испуге уставился на нее. Она извинительно улыбнулась всем, быстро шепнула ему. Он начал судорожно подниматься, сдвигая стул, хватая в руку бокал...

Юбиляр хотя и сильно волновался, но старался говорить короче, ужимать. Поблагодарил всех за внимание к его скромной персоне, за трогательную теплоту, заботу, за подарки («65, конечно, – возраст. Кто спорит?» Смех. Аплодисменты.) Выразил уверенность, что и дальше кафедра, руководимая молодым, перспективным ученым, уважаемым Яковом Ивановичем, будет так же успешно развиваться. Подтверждением тому – защитившиеся Левина, Быстренко, Зельгин, и это за два только года! (Бурные аплодисменты.) И что лично он, Воскобойников, хотя и вышибленный с заведывания, (мучительный гул, несогласие, протестующие возгласы), да-да, вытуренный, если прямо сказать, тем не менее поборол в себе все обиды и амбиции. («Мы с Афанасием Самсоновичем старые спецы. Свое отработали. Вырастили смену. Себе на голову. (Смех.) Верно, Афанасий Самсонович?») Унылый пожилой Качкин приподнял бокал, в согласии склонил голову. (Аплодисменты.) Так вот, поборол и деятельно включился в работу уже в качестве рядового ее члена, в чем опять-таки заслуга уважаемого Якова Ивановича. («Позвольте вас обнять, дорогой Яков Иванович!») И опять Кочерга ощутил, какой еще сильненький Степан Михайлович. (Бурные аплодисменты. Крики «браво».)...

Степан Михайлович отдышался. И вообще он рад, что известное всем время кафедра прошла в единении и сплоченности и от этого, может быть, и в неприкосновенности, тогда как по всему институту *крепко пощипали перья*, так крепко, что с перьями недосчитались и голов. («А вот этого не нужно бы говорить», – подумалось Кочерге, и не ему одному.) И в заключение: еще раз сердечное всем спасибо! тронут! низкий всем поклон!..

Он сел. Тут же вскочил, потому что начался небывалый по интенсивности и радужности перезвон бокалов. Кричали «ура» со всех сторон. Обнимали. Марья Григорьевна на стуле с освобожденной улыбочкой вытирала глаза.

После эмоциональной напряженности, вызванной речью юбиляра, все дружно принялись за жаркое. Юбиляр в регламент уложился, жаркое не остыло, все было в самый раз.

Ну а потом сдвинули стол с середины комнаты, и Кропин завел патефон. Быстренко с Зелей стали гонять дам фокстротом. Зинаиду и Левину Маргариту. С раскачкой. Словно трясли, трепали капусту.

Умиротворенно полулежал на диване Кочерга, и соловел на нем сонный от еды и впечатлений Андрюшка, охватив отца руками. Кочерга отпивал из бокала, смотрел на оттанцовывающую под напором Быстренки Зинаиду. Отвернутое в сторону лицо Зинаиды было как кость.

Послушно сложив руки меж колен, сидел Кропин. Без дела – слушал музыку. Пылал от выпитого, как головня. Унылого Качкина словно бы так и перетащили со столом в сторону – он вяло ставил кисть пальцами на бокал и вяло поворачивал его.

Степан Михайлович ходил какой-то отдельный от всех и... неотделимый. Потирал руки. Как человек, который радуется, что все так замечательно прошло. «Пейте, пейте, друзья! Хорошее вино! Легкое! Очень хорошее!» – Сам подходил к столу и наливал. И разносил бокалы. И сам

с облегчением опрокидывал. Пятый или шестой? Да теперь уж и можно, всё позади, всё прошло хорошо. И ставил пустой бокал на стол. И опять ходил, чтобы через несколько минут снова призвать: «Пейте, пейте, друзья!» – и налить всем и себе... Иногда опахивали слова жены, пробегающей с посудой: «Сте-пан-не-пей!» Но и это тоже было приятно, навевало благодарную улыбку – заботится...

Когда уже был разлит чай и все пили его с домашними выпечками Марьи Григорьевны, нахваливая рдеющую хозяйку... Степан Михайлович вдруг ти́хонько и как-то надолго засмеялся. Смеясь, вел пьяненькими хитренькими глазками по всем:

– Нет, вы только послушайте, вы только послушайте, что он сморозил на сей раз на Съезде, хи-хи-хи-хи, вы только послушайте. Цитирую. – И с поднятым пальцем пророка как бы начал вещать:

– «.....

.....» И еще, еще, послушайте: – «.....

.....!» А? Что вы скажете? Это же анекдот! Это же во сне никому не приснится! Хи-хи-хи-хи-хи!

За столом все замолчали. Глядели на него, испуганно подхихикивая. Застигнутые врасплох. Неподготовленные, незащищенные. А он все смеялся. До слез. Махая рукой.

– Что я говорю, Ма-ша-а! – шипели, прыскались смехом его слова.

– А что ты говоришь, Стёпа? – наливала из заварника Марья Григорьевна.

– Нет, что я сказа-ал?! – обрывал он смех и снова ударялся им. А в сжавшиеся зрачки его уже торопливо забирался страх. – Нет, ч т о я сказал?!.

– А что он сказал? – поворачивалась ко всем Марья Григорьевна, за вечер выпившая рюмку, старенькая, с тлеющая щечками. – Что он сказал? Митя! Коля! Что он сказал?..

– А ничего особенного! – выкатил глаза Николай Быстренко. По всегдашней привычке своей их выкатывать. И словно слушать ими. Прошлое ли свое, настоящее ли... – А ничего особенного! Я могу продолжить цитату. – И продолжил. И оборвал ее. И снова слушал. Слушал словно глазами. И отрезюмировал коротко: – Гениально! – И повернул глаза к Качкину: – Не так ли, Афанасий Самсонович?

Качкин поперхнулся, сглотнул, поспешно поддержал Быстренку: конечно, конечно! какой может быть разговор! гениально! Гениальнейше! Да все и подтвердят! И все загалдели, наперебой подтверждая.

– Ну, вот видите, Марья Григорьевна! – повернулся к ней Быстренко. И подвел итог: – Все и подтвердили! – Строго оглядел присутствующих. Стал подниматься из-за стола. И все с облегчением тоже начали вставать, отодвигать стулья.

Началась суета, стесненность, толкотня прощания. Марья Григорьевна металась, одаривала какими-то кулечками, сверточками: с яблоками, с печеньем, еще с чем-то, на нее в ужасе махались руками («Что вы! Что вы! Зачем?»), а она все равно совала, настаивала. К Степану Михайловичу подходили проститься. Степан Михайлович держался за спинку стула, с виноватой улыбкой, исподлобья поглядывал на очередного говорящего. Говорящие, честно выпучивая глаза, жали ему руку. Но почему-то торопились скорей выйти из комнаты. И кучей теснились к выходу, таща за собой неотвязчивые стулья. А весь вечер неуклонно косеющий Кропин стоял у дверей, страстно, как апостол у своих учеников, выискивал в каждом из толкающихся к двери скрытый изъян, червоточину, запрятавшуюся болезнь, которую он, Кропин-апостол, просмотрел, прошляпил и не знает теперь, в ком она сидит, кто – Иуда...

И выкатывались гости из дому на поляну в высокий лунный свет, выдернув за собой и Кропина. И бежали со смехом к колымаге Качкина занимать места, где сам Качкин, на удивление ожесточаясь, уже крутил, рвал в передке заводной ручкой... Поехали, наконец, высовываясь из окон и махая руками. И зависало унылое авто Качкина в тяжелой, черной нерешительности на бугре, готовое ринуться назад, к даче, и Качкин судорожно колотился со скоростями, переключал, передергивал. И авто, пересилив себя, поборов, тяжело перевалилось на дорогу.

Кочерга стоял возле стекающей лунной березы. Сквозь сорочку чувствовал он на плече слюну сладко спящего Андрюшки. Говорил растроганно жене: «Я рад, Зина, что мы остались здесь... А ты рада?» Зинаида передергивалась: вся она, ну прямо-таки вся без остатка была сейчас там, на бугре, в кустах, с черно переваливающейся колымагой Качкина. Стоя впереди, Воскобойниковы махали и махали. Начинали было кричать отъезжающим, но те были уже далеко, не слышали, и они по-стариковски роняли на землю остатки фраз, как старые лошади пену...

Кочерга и Зинаида сидели на разных концах тахты. На средине тахты, точно брошенный ими, точно неизвестно чей, валялся спящий Андрюшка. Отвернувшись от мужа, Зинаида зло расчесывала волосы. Словно стремилась освободиться от них. Сорвать с себя. Как норовистая лошадь узду. Перехватив рукой, зло била их гребнем. Кочерга смотрел на летающие волосы, на белую мучительную спину, на ложбину на спине, упадающую вниз, из которой вышли два тугих шара ягодиц... и видел во всем этом тысячелетнюю, непоборимую, роковую власть-стервозность женщины. Нутром чувствовал, что все это не его уже, чужое, хоть что он сделай сейчас, хоть свет весь тресни на части! С тоской, со звериной тоской стенал: «Ведь так дальше нельзя! Зина! Надо уйти от Наркома... Он же отравляет все, к чему ни прикоснется... Забил жену. Тебя, дочь свою, науськивает на зятя, внука дрессирует по своему подобию-рылу. Он же самодур. Распоясавшийся самодур. С партийным билетом в кармане. От него же смрад в семье, гибель! И ты... ты...»

Ему тут же жестко, сквозь зубы было сказано, что он, Кочерга, ногтя не стоит Наркома. Ногтя! И потом – что это за «Нарком» постоянный? Вообще, что это за постоянный издевательский – «Отставной Нарком»? Если в любящей семье между любящими людьми есть какие-то шутки, какие-то ласковые прозвища, – то всяким проходимцам повторять их? Повторять, переиначивать, издеваться, мазать дерьмом?.. Да по какому праву? Надо заслужить это, заслужить! Надо знать свой шесток, уважаемый сверчок, и не пикать! н-не пикать!

Она вскочила, хватая свое, ринулась в соседнюю темную комнату. Как голая змея-выползок – удергивала за собой сухой пеньюар. Хлопнула дверью.

Кочерга лежал. Закинув голову. Дышать было нечем... Сунулся к лампе, к столу. Хищно пил из графина воду. Вернулся назад. Старался не смотреть на лицо спящего Андрюшки. Осторожно освободил его от простыни. Снова напустил её на мальчишку. Задул лампу. Лег.

Сверху все время прослушивался топоток ног. Какой-то сам себя пугающийся, замирающий. И от этого – разом множащийся. Шла словно быстренькая паническая работа. Что-то двигали, передергивали с места на место, слышались какие-то ширканья по полу. Словно торопились, что-то прятали. Натурально заметали следы. Веником... Но Кочерге это уже почему-то не мешало. Происходящее наверху подсознательно даже как-то успокаивало. Как успокаивает торопливенькая ночная беготня мышей: живут, значит, еще, жив, значит, и я. И когда вдруг стало тихо, тихо разом – в испуге вывернул голову к потолку, подкинувшись на локоть, вслушиваясь... И почти сразу же по занавескам двери запóлзал свет и на пороге возник Степан Михайлович.

Стоял, оберегая рукой свечу. Молчал. С лицом – как разбитая церковь... Хотел спросить что-то и... и отвернулся. Точно оставив вскочившему Кочерге только свечу, которая задергалась, забилась, затряслась в его руке. Торопливо капала стеарином, сгорала. Кочерга поймал свечу, обнял Степана Михайловича. Тот сразу обхватил ученика обеими руками. Маленький, сжавшийся, словно прятался в Кочерге, спасался, захлебываясь слезами. «Яша, милый Яша!.. Ведь я же... ведь я... ведь я же погубил вас... всех погубил... ведь я... я... погубил, понимаешь, погубил! Яша!..»

Возвышаясь над бедным Степаном Михайловичем, размахивая за его спиной свечой, Кочерга страстно уверял кого-то... что все это ерунда, болезненная мнительность, что он, Кочерга, верит каждому, ручается, головой ручается за каждого!.. Свеча сажно чадила, Кочерга словно катастрофически закидывал комнату выплясывающими чертями. Везде метались тени от них. Стеарин заливал, жег кулак его, но он не чувствовал этого и все убеждал кого-то маньячным шепотом, что не может же такого быть: чтобы за несколько слов, сказанных в шутку, ведь это же понятно, что шутка была, шутка!..

3. Дежурство Кропина

Как всегда пружинно, с удовольствием выкидывала себе прямые красивые ножки Вера Федоровна Силкина, прохаживаясь возле своего стола в своем кабинете. Ручки были сунуты в кармашки жакетика, плечики – остры.

– ...Д-да – делала она ударение на начало «да». – Д-да, Дмитрий Алексеевич, мы должны иметь точную информацию, мы должны быть в курсе, д-да! Вы, как коммунист, не можете не понимать этого. Д-да!

От неожиданности, наглости, от обыденной какой-то простоты предложенного Кропин только раскрывал и закрывал рот. Хлопал, можно сказать, ртом... Заговорил, наконец:

– Почему вы... вы именно меня определили на роль фискала? Почему именно на мне остановили свой выбор? Вам... вам Кучиной мало? Сплетни? – Кропин уже рвал узел галстука. – Что же... у меня на морде, что ли, написана готовность к таким услугам?

– Ну-у, это вы уж!..

– Да, да! Почему?.. Почему вы привязались именно к этим парням? Этим двум? Из всего общежития?.. Ну, хорошо, один пьет, хорошо, допустим, но другой-то чем вам насолил, чем?.. Вы знаете мое отношение к ним, особенно к Новоселову... И вы – мне – такое предлагаете?.. Да это же... это же...

– В рамках, в рамках, Дмитрий Алексеевич! – Силкина перекидывала, хватала бумажки на столе. Словно блуд свой. Умственный, постоянный. Сладко мучающий ее. Выкинуть его стремилась на стол, передоверить рукам, чтобы запрятали они его от Кропина в эти бумажки. Чтобы не видел он, не догадался... – Я ошиблась в вас. Очень ошиблась. Мне урок. Вы ведь чистенькими все хотите быть, без единого пятнышка, без соринки... – Руки блудили, блудили на столе. – Хотя в 37-м...

– Замолчите! – Кропин ударил по столу кулаком. Вскочил: – Слышите!.. Вы в горшок еще делали, уважаемая Вера Федоровна, в горшок, когда мы...

– А-а! – махнула рукой Силкина.

К двери Кропин шел содрогаясь, дергаясь. Как какая-то неуправляемая механика. С ходу споткнулся о порожек, снес каблук. Хотел наклониться, поднять, но от стола пырнула ухмылка. Захлопнул дверь.

Шел болтающимся туннелем, оступаясь облегченной ногой. Как на ограде придурки, скалились люминесцентные лампы. Двери были одинаковы, без названий. Двери были как замазанные рожи. Кропин подошел, застучал в одну. Дверь не отмыкалась. Открылись две с боков и три сзади. «Где у вас сапожник?» Заклацали замками. Хромал дальше. Туннель длинный. Ничего. Застучал. Грубо. Развесились. Опять с боков, сзади. «Где сапожник?» Поспешно закладывались английскими. Дальше шел. Упрямо колотил. «Где сапожник, черт вас задери!.. Сапожник где?!»

В обед вяло ел, накрылившись за тумбочкой у самого стекла. Опять водило у общежития, раскачивало, болтало длинную, седую занавесь дождя. Бутерброд был тугомятен, сух. Буфетный, с кудрявым сыром. Кучина подсунула помидорку. Отмахнулся, не взглянув даже. Давился дальше, запивая изредка чаем. Увидел Серова, вышедшего из лифта. Сразу заспешил навстречу, отирая губы платком. Спросил о деле, о позавчерашнем разговоре. Обега́л взглядом отрешенное бледное лицо парня.

Серов молчал. Ему вспомнилось то время, когда этот старик только пришел сюда работать. На эту вахту. Три года назад. Посадили его тогда между двумя старухами за стол у входа. И тот не подозревал, что посадили на подлую конкуренцию. Потому что кто-то из троих должен был уйти. Один или одна. Старуха, что сидела слева, до обеда была молчалива, неподвижна. Будто стул в чехле. После обеда первый раз хлопнула. Ртом: «Дурак!» Старик испуганно повернулся к ней. Однако старуха словно закусила тайну. Беззубым своим ртом. Странная женщина. Чуть погодя – опять: «Дурак!» Точно беспенный хлопок из бутылки с шампанским. Ему, что ли, она это говорит?

Сидящая же справа приклонилась – и забубнила, забубнила ему. Прямо в ухо. Притом неостановимо. И к вечеру Кропин только плаксиво вскрикивал: «Сплетня! Замолчишь ты, а? Замолчишь?» А слева все хлопало. Уже без остановки: «Дурак! Дурак! Дурак!» – Точно попугай пропадал, слетев с катушек...

Глядя сейчас на Кучину-Сплетню, уже запрятывающую улыбочки свои, жестоко неразделимую, единую со всей этой железобетонной непрошибаемой общагой до неба... Серов с горечью только думал: зачем ты влез сюда, старик? Для чего?..

– ...Ну, Сережа? Говорил с Женей? Что решили? Ведь комната восемнадцать квадратов. В футбол можно играть. Жогин опять сгинул куда-то, одна только Чуша, а я к Кочерге... Давно зовет. А, Сережа?..

Серов боялся только одного – не зацепить старика перегаром. И принимая проступающий с потом стыд Серова за нерешительность, колебание, Кропин убеждающе заговорил, как казалось ему, о главном для Серова:

– И платить, платить не надо, Сережа. Так же все будет – я сам. Я знаю, вам туго сейчас. Потом рассчитаешься, Сережа. Разбогатеешь, как говорится, – и...

– Нет, Дмитрий Алексеевич... Нельзя это... Не нужно...

– Сережа, ведь я от души... Ведь ты тут...

– Не надо, Дмитрий Алексеевич... Прошу вас. Спасибо, но не надо.

Склонив голову, Серов двинулся к стеклянной коробке. На выход.

Кропин напряженно сидел на своем стуле, пылал. Сплетня сунулась к нему, забубнила...

– Замолчишь, а-а? Замолчишь?.. – плачуще вскрикивал старик. – Сплетня?!

Пока поднимался последним, тяжелым лестничным пролетом к Кочерге, с улыбкой думал, будет ли сегодня выпущен кобелек с челкой. Взобравшись, навесил на угол перил сетку с продуктами. Стоял на площадке, пустив руку по перилам, от удушья грудь тяжело вздымалась. Шейная артерия ощущалась острой трубкой от двух слипшихся в груди черных камер, воздух через нее не шел, не прокачивался...

И вот он выбежал ходко. Стриженый кобелишка с челкой а ля Гитлер. Не приближаясь, ритмически-тряско обежал площадку и после неуверенного приказа старичка из двери «Дин... это... на место», так же убежал обратно в квартиру, взбалтывая челкой и ворча. Выказал-таки Кропину. То ли вредность свою, то ли, наоборот – приветственную преданность. Не понять. А старичок медленно прикрывал дверь, довел ее до застенчивости щели и остановил. Как в смущении опустил глаза... «Вы бы зашли к нам, – сказал Кропин, – чайку попьем, познакомимся. Чего одному-то там, целый день...» – «Спасибо, зайду», – ответил в пол старик. Медленно убирал щель. Убрал... Странный. Из деревни, что ли, выписали? К Дину этому, к барахлу? Так не похож на деревенского – те-то больше общительные. Странный старичок. Кропин отомкнул дверь, вернулся, снял сетку с продуктами.

В крохотном коридорчике обдало затхлым, непроветренным, застоявшимся. Включив свет, ворочался в тесноте, ругая себя за то, что никак не может собраться и расправиться с этими ворохами одежды вокруг. Стаскивал плащ, насаживал на рога вешалки шляпку. Зачесывая рыжевато-белесые кучеря... остановил расческу. Испуганно вслушивался в тугую, скакнувшую из комнаты тишину. Проверяюще вскрикнул: «Яков Иванович!.. Это я!..» Секунды рассыпáлись и рассыпáлись. И как-то закидываясь, словно с края земли, из комнаты донесся давно уставший, как пережженный сахар, голос: «Слышу, Митя... Здравствуй...» И добавил всегдашнее: «Раздевайся, проходи...»

4. Кочерга Яков Иванович в 1939-м году

...Дурацкий этот чернильный прибор откуда-то притащила лаборантка. Наверняка графский какой-нибудь еще или княжеский. Фамильное древо, увешанное именными, зачерневшими от

старости бубенцами и бубенчиками. Здесь, на кафедре, на канцелярском замызганном столе Кочерги выглядел он вроде магазина. Магазина «Гужи и дуги». С теми же колокольцами и бубенцами от пола и до потолка. Макая, Кочерга старался не задевать всего этого позванивающего антиквариата. Нужно сказать, чтобы унесла. Просил ведь обыкновенный. В графе «кафедра» (количество членов) твердо поставил «8». Макнул перо. Снова смотрел на всю эту дрожащую медную художественность, которую, казалось, тронь чуть – охватится-зазвенит вся разом. Жалко, моляще. Только бы не трогали, не тревожили. Да-а, где теперь вы, бубенцы-бубенчики? В какой земле лежите?.. Нужно сказать, чтоб унесла. Ни к чему это. Советский институт, кафедра. Смешно.

Дошел до графы «профессора», написал: Качкин Афанасий Самсонович... Да, Самсонович. Самсон. Не меньше. Профессор-автомобилист Качкин... Но как старое сидит в старом, узкое в узком – так, видимо, и подбирается с возрастом боязнь. Боязнь широты, неспособность охвата, инстинктивное самоограничение всякой своей мысли, свободы. Это – Качкин. Выученность у него уникальная, усвоенная прочно, в голову уложенная навечно – из него ее не выбить молотом. Но и только. Теперь больше – автолюбитель. Головы уже нет. Голова постоянно под колымагой. Наружу только ноги. Во дворе института. И рядом – дворник Щелков. Висящий на перевернутой метле – как на деревенской превосходительной своей опоре. Который объяснял любопытствующим: «Нам бы сёдни ее только со двора вытолкать – двести дади-им. Верно, Самсоныч?» – «Верно, Ваня, верно! – хрипел из-под авто автогонщик. – Только за ворота, а там – дуй до горы, в гору наймем!..»

Пришла улыбка. Виделось, как Щелков сумасшедше дергается, крутит рукоятку в передке колымаги. А Качкин, вставив длинную ногу в кабину, под руль, давит. Старательно надавливает. Вся ошпаклеванная колымага начинает трястись, как издыхающий леопард. Профессор и дворник скорей лезут, чтобы успеть газануть, пока «леопард» не рухнул... Какие уж тут лекции? Лекции от и до – и накрылся профессор золотушным кузовом. Опять во дворе. И только друг Щелков показывает любопытным: вот они – ноги! Ноги профессора!..

Когда вписывал дорогое учителя имя, рука, стараясь вывести буквы красиво, с любовью... вдруг дрогнула. Почему-то обмер, как первоклашка, торопливо стал подправлять. Еще хуже. А, черт! Зачеркнул всё. Снова медленно вывел: Воскобойников Степан Михайлович... Но зачеркнутое лезло к вновь написанному, боролось с ним. Глаза в растерянности метались по строке...

И опять засосала тревога. Прошло полторы недели после дня рождения Степана Михайловича, вроде бы – всё, обошлось, дальше можно дышать, – а страх не проходил... Ведь то, что сказал тогда за столом опьяневший юбиляр – сидело в каждом из кафедрантов. Подспудно, загнанным в подсознание, в темноту, но сидело. Зачем он вытащил всё на свет? Ведь он ослепил их! Ослепил, как шахтовых лошадей! Которых вдруг вывели из темноту на волю... Кочерга отложил ручку, повернулся к окну, ничего не видя в нем, не понимая.

Вошел на кафедру Кропин. В габардиновом плаще, весь исстеганный дождем. И остановился. Шляпу как-то нищенски держал в руках, точно не решаясь идти дальше... И, увидев теплую еще, открытую голову его, сырые эти, холодные, длинные прочерки по плащу – Кочерга похолодел: вот оно! Но забормотал – как спасаясь, надеясь еще, не веря:

– Здравствуй, Митя, здравствуй, давно жду, почему опоздал, где был, почему не сказал?..

А Кропин подошел к столу, кинул шляпу на макушку этого прибора, точно всю жизнь только и делал это. Потом сел. Барабанил пальцами, отвернув лицо от Кочерги. Подбородок его корёжило, дергало.

– Ну? Митя. Ну? Говори же! Говори! Что же ты? Что случилось, Митя! – уже знал, что́ услышит, а все бормотал и бормотал Кочерга.

И вздрогнул от заклёкнувшегося в слезах, красненького голоска, улетевшего куда-то к потолку:

– Степана Михайловича арестовали! Вот что случилось! Арестовали!..

– Погоди, погоди, Митя! – Кочерга закрывал глаза, защищался растопыренной пятерней: – Погоди, спокойно... ты...

– Что «годить»! что «спокойно»!.. Как мы смотреть теперь будем друг другу в глаза? Как работать? Ведь среди нас Иуда-то. Среди нас, Яша!..

Дальше Кропин глухо, зло рубил, членил весть. Ворон приехал ночью. Как всегда у них. Управились только к утру. Рылись. Перевернули всю квартиру. Увезли. Позвонил Иванов. Сосед. Понятой теперь. Его жена помчалась на дачу к Воскобойниковым. К Марье Григорьевне. К вечеру, наверное, и привезет ее. Вот. Всё.

И появился Зельгин. Зеля.

– Правда?..

Кочерга и Кропин переглянулись.

– ...Да в ректорате, в ректорате! Крупенина сказала!.. Ну?.. (Кочерга опустил голову.) Та-ак...

И забегал Зеля, и завзмахивал руками, и застенал Кропину: надо же пить, пить уметь! А ты, ты что бормотал! Что! Кто Иуда? Где Иуда? Полный вагон, полный вагон! Люди едут, едут! Слушают! Уши, уши! Везде, вокруг! Тысячи, тысячи ушей! О, господи!..

Левина, увидев три разом повернувшиеся к ней головы, остановилась и побледнела. Словно напоролась на давно известное ей... Пятилась уже, мечась взглядом, хотела выйти и закрыть дверь, но Зеля бросился, чуть не насильно потащил ее ко всем, на ходу объясняя, вдалбливая ей, как тупице, что случилось сегодня. И бросил ее у стены на стуле, как все ту же тупицу, убежав обратно. К Кропину, к Кочерге. Однако взгляд Левиной все так же метался, стремился назад, к двери. Словно чтобы юркнуть за нее. Словно чтобы не видеть ничего, не знать...

Все это немало удивило Кочергу, показалось странным. Словно Левина знала обо всем, давно знала, знала р а н ь ш е... Тогда... тогда вопрос: откуда?.. Кочерга не успел додумать – дверь открыли опять. Быстренко на этот раз. Прошел к столу, на чернильный прибор уставился.

– Это что еще за бандура? – И забыл о приборе, и вопросил: – Это как понимать, товарищи?.. – И слушал риторический свой вопрос. Опять словно бычьими своими глазами. – Как? До каких пор это будет продолжаться?..

И все снова подхватились, заспорили, перебивая друг друга. Кропин доказывал, что надо идти к ректору, к Ильенкову, самому Кочерге надо, немедленно! Нет, нет! без толку, без толку! – горячился Зеля, – знаем, знаем ректора, знаем! Говорильня! Мельница! Коллективно надо, коллективное письмо! вот! В НКВД! в правительство! В ЦИК! Куда угодно! Только не сидеть, не ждать! Да что ЦИК твой! что ВКПб! – уже орал Быстренко, – как это понимать, я вас спрашиваю! После всего, что говорилось на съезде? после таких заявок? Зеля тут же задолбил его: а так и понимать! так и понимать! правый уклонизм! правый уклонизм! началось, дорогой! началось! давно не было! отдохнули!..

Кочерга не мог сосредоточиться. Раздражала уже эта перепуганная солидарность кафедрантов. Это походило на тихую панику. В стане заговорщиков. Злило это. Кочерга угрюмо говорил, чтобы расходились. И в этом тоже было что-то от полицейщины, демонстраций, заговоров, – он уговаривает п о - х о р о ш е м у. Чтоб господа, значит, расходились, б е з э к с ц е с с о в. И это тоже злило, и «господа» не расходились, опустошенно сидели кто где. И с новой силой начинали галдеть, спорить...

Глаза Кочерги все время вязались к этому чертову чернильному прибору на столе. В голове у Кочерги вдруг нелепо заметалось из Гоголя: «Эх, тройка, птица-тройка! Кто тебя выдумал?» И представилось: он, Кочерга, наматывает от этой чернильницы, что называется, вожжи на кулаки. Бубенцы в нетерпении позванивают. – И со столом, и с игогочущими кафедрантами за спиной, да по всей России – вскачь!..

Кочерга поспешно полез из-за стола. Встал у окна. Спиной ко всем. Лицо боролось с ударами смеха. Истерика. Натуральная истерика. Точно. Крутил пальцами над головой, что-то бормотал о лаборантке. Зеля кинулся за дверь, тут же привел ее. Кочерга смотрел на девчушку в великом халате черного цвета, ничего не понимал, не мог вспомнить... отправил, наконец, узнать в кабинете ли Ильенков.

Стали ждать. Кочерга спросил о Колюжном. Начали узнавать друг у друга: где? где он? На работе? Был ли? Видели ли? Избегали напряженно вытянувшегося лица Левиной. И опять разом

забыли и про Левину, и про Колюжного, и про их отношения, и про вопрос Кочерги. Испуганно слушали себя. Торопливо промаргивали ресницами. Словно черное изгоняли из глаз, черноту. И некуда было от нее деваться.

Вместо лаборантки, спиной судорожно вталкивался в комнату Качкин. Повернулся с напряженным испуганным лицом. Сразу понял – правда...

Перед всеми сидел на стуле, в колени уперев стариковские тощие кулаки. С нелепым видом деловитости, глубокомыслия. Вдруг потянул из брючного кармашка тяжелые часы на длинной цепочке. Показывал всем этот хронометр, как вскрытую раковину. Показывал. Словно забыв слова, стукал ногтем по стеклу. Показывал. Стукал...

Кочерга спросил, что, что он хочет сказать?

– У него через пять минут лекция... Да... Ровно через пять минут... – Ноготь стукал по стеклу: – Он должен быть на лекции... Ровно через пять минут лекция... Да...

– Не надо, Афанасий Самсонович, – просил его Кочерга, – успокойтесь. Пожалуйста...

Но часы – уже захлопнутые, опущенные мимо кармашка, – упали вниз. Покачивались длинно на цепочке у пола. Словно забытая слюна старика-маразмата... Кропин наклонился, подхватил их, вложил старику в ладонь. Замороженный Качкин не шелохнулся. Всем стало еще тяжелее. Жалко было и Качкина, и самих себя.

Незамеченной вошла лаборантка. Стояла у порога...

– Яков Иванович, ректора нет... Он был, но сразу уехал... Там только Крупенина... Секретарь... Она и сказала...

Точно для закрытия собрания Кочерга поднялся, одернул пиджак. Но все равно отворачивался от всех, уводил лицо к окну. Говорил глухо, с остановками... Кто может работать, пусть идет работает... Если нет, то надо отпустить группы... Старостам скажите. Студентам не надо. Ничего не надо... А к Ильенкову – я сам. Буду ждать. Не приедет – значит завтра. С утра. Никаких делегаций, писем. Я один. Идите, товарищи. До свидания...

Опустился на место. Колокольцы над столом вздрагивали, тонюсенько позванивали, сотрудники передвигались у стола, собирали что-то свое, уходили к двери, размазываясь в пятна – каждый словно тихо оставлял свой черный колоколец над столом. И осталось вся розвесь Кочерге. Ему, одному. Словно резко увеличилось всё, придвинулось к глазам – как какой-то разорванный, зачерневший колокольни звон... Яков Иванович сжимал, тер виски, закрывал глаза.

...Даже если на минуту только предположить – на минуту! – что это он? Пальцы слепо ползали, искали по холодному атласному одеялу, прощупывали стежки. Шлепанец готов был соскользнуть с ноги, раскачивался у пола. Этот, так сказать, ирландский забастовщик, этот старик пойдет и начнет стучать на такого же старика, как сам? Голове было на подушке низко, взгляд Кочерги блуждал под потолком в вязкой тени абажура. Даже пусть соперники были они когда-то в науке? Забудет об этике, чести, о с т а р о й их этике и чести, которые нам и не снились – и пойдет?.. Да никогда! «Опять с ногами!» – пропахнуло холодно вдоль кровати. Такое же атласное, стервозное, как и под пальцами, недающееся. С «ногами». Кочерга отпустил шлепанец на пол. Зинаида металась, хватала какие-то тряпки. Точно в соседней комнате уже горело. Сомкнутые веки Кочерги подрагивали. Вылетела из спальни. Рыжий, вздрогнул в абажуре свет.

В гостиной забасил Отставной Нарком. Потом Андрюшка начал топать. Старательно шмякать сандалиями по паркету. Строевым. «Тяни носок, красноармиец Андрюшка!» Кочерга закрыл глаза. Словно так можно было не слышать. Мучая себя, копил и копил вопросы. Теперь к Зельгину. К Зеле. Видел закинутое его, вдохновенное лицо. Когда он читал курс студентам. Лицо словно светилось. Как ниспосланное студентам небесами, где одно только божество – Наука. Мог вот такой? Если мог, то зачем, для чего? Цель какая? Словно ледяная вода набиралась. И не в котелок, не в ведро уже даже, а в расшлепнутый здоровенный таз. И ты, голый, разъедаемый мылом, ждешь. Когда вода эта наберется. Ты должен опрокинуть ее на себя. Ледяную. Окатить всего себя сверху. И тогда уж только, задохнувшись, приплясывать и хрипеть от радости в очищении: да нет! не-е-ет! не Зеля!..

Кочерга передернулся. Завел руки за голову. Глаза таращились на пыльный, млеющий под абажуром свет. Ну а если Быстренко? Николай? Даже если он спорил часто со стариком? Был не согласен, часто в корне не согласен с ним? По-бычьи выпучивал всем свои глаза? Как наиглавнейшие свои аргументы? Да и старик в долгу не оставался: долбил Быстренку порой с чувством и от души? И что же, перевести эти споры в донос?.. Чепуха-а...

Фамилию же «Кропин», фамилию верного друга, Кочерга вообще не подпускал к себе. Чуть только выглянет из-за угла – цыц на нее! – и исчезла она. Тогда остаются... Левина и Колюжный. Вернее – Колюжный и Левина. Так будет правильнее. Да, именно так: Виталий Колюжный и Маргарита Левина.

Ведь был вопрос, шутливый вопрос представителя Наркомпроса, а именно: не обижает ли товарищ Кочерга своих сотрудников, не давит ли, не мнет ли? И был поспешный, какой-то радостно сорвавшийся выкрик Колюжного: «А что, товарищи! Давайте развенчаем нашего уважаемого завкафедрой, выведем на чистую воду. Возможность есть! А?» И захохотал. И в глазах метался радостный испуг. Так скидывают царей, владык. И всем стало неудобно, стыдно. И тише стал смех Витальки в пустоте, поспешно сам себя съедал... Такое срывается с языка, когда человек ждет, долго ждет, очень сильно хочет, нервишки не выдерживают, сдают, раскрывается человек, хоть на миг, а сдернет одежонку с душонки... Конечно, тут можно и пристрастным быть, тем более, если это лично тебя касается, но как глаза Колюжного забыть? Это отчаянный, радостный испуг в них: вот он миг! братцы! фантастический! сейчас – или никогда!.. Уж очень таилось, пряталось всё. Сокровенное, вынашиваемое. И вот – выскочило. И сразу: «Шутка! Шутка, товарищи!» Конечно, шутка. Кто ж спорит? Просто по́ходя пошутил. Зато сейчас начал шутить, похоже, всерьез...

Всё шмякали Андрюшкины сандалии. «Уста-ал, де-еда!» «Разговорчики, красноармиец Андрюшка!» – «Папа, ну чему ты его учишь?» – «А чему это я учу его, позвольте спросить? На кровати лежать? Как некоторые? Еврейским сказочкам про Тотошу и Кокошу? Про Бармалеев?.. Шалишь, уважаемая. Не позволю растлевать. Маршируй, Андрюшка! Наш марш завоюет весь мир! Н-не позволим! Н-никому! Мы красна кав-валерия, и в бой идё-о-ом!» От ударов слоновьих ног в гостиной – в спальне подрагивал абажур. Кочерга стискивал зубы, мотал головой, словно отрицал всё, что лезло из-за двери.

В отдохновение себе, в защиту, видел потом под потолком мокрый луг, веселенькую тележку с лошаденкой, сбалтывающуюся по нему к лесу, смеющихся в ней людей под сеющим, как из лукошка, солнцем...

От выпитого ли фужера вина за завтраком, от солнца ли такого ликующего, от мириадов и мириадов его, рассыпанных по мокрому всему полю... всё ночное казалось вымышленным, рассказанным кем-то, рассказанным под злую руку. Все это приснилось в страшном сне, с пробуждением – прошло, исчезло, не было этого, никогда не было. Степан Михайлович и Кочерга, подпрыгивая на кочках, загорла́нивались песнями. Забывали, перевирали слова, хохотали от этого ужасно, отваливаясь друг от друга; пугливо-нервно взлаивала Зинаида, Андрюшка звенел, дергал ножками; как мехи накачивала табачный дым кепка возчика впереди...

И только когда скатившуюся телегу с людьми поглотило темной пазухой леса, когда тяжелый бор высоко надвинулся и окружил, поспешно подбирая отовсюду тени... все по одному стали умолкать. Старались почему-то не смотреть вверх на холодные темные сосны, клонили головы вниз, к дороге. Один Андрюшка искал опять вверху птиц...

На перроне... Степан Михайлович поцеловал все же в щеку Зинаиду... Подкинул разок Андрюшку... Потом держал в теплых спокойных ладонях руку Кочерги. «Ничего, Яша, ничего, все будет хорошо...»

Остался, уходил, убегал, улетал с перроном назад, с вытянутой машущей рукой, словно пытался догнать, увидеть в последний раз, опять мучающийся, в закоро́тившихся хвостатых штанах дачника...

– ...Но ведь это же все погоня за миражами! Ведь это же выдумывание все более и более страшной сказки, ирреальности, жути! Это же сплошь фикция, блеф! Это же страшно! Это же невозможно понять! Неужели о н не видит, не слышит ничего?! Где тут логика, смысл?.. Лучших людей. Лучшие кадры. По одному. Скопом...

Ильенков вскочил, перекинулся через стол прямо к уху Кочерги. Закричал, выкатывая глаза, – шепотом:

– Это провокация! Слышите! Прекратить! Я не позволю при мне! Я...

Рука искала, шарила на столе. Тыкала, тыкала кнопку. Вошла секретарша. С корректной челюстью собаки. И мимо Кочерги два раза было пропущено завитое перманентное лицо: сначала с нетронутым чаем на подносе, затем – в нагрузку к уносимой папке. Кочерга сидел мешком, пустой, потухший. Поглядывая на него, ходил Ильенков. Освобождался от страха:

– Мальчишка! Мы вам доверили кафедру! Людей! Учебный процесс! В тридцать четыре года! Где еще такое может быть? А вы? Вы – так оправдываете?!

Кочерга начал подниматься. Глухо извинился. Двинулся из кабинета. Ильенков вернулся на место, сел. Сунул руку в карман. Вынул. По-собачьи – влёт – цапнул таблетку. Прожевывая ее, деловито, строго оглядывал стол, взяв его во все десять пальцев.

А в декабре, в начале, пошел второй сотрудник кафедры – Зельгин. За ним через два дня – третий, Быстренко Николай Иванович...

Бедняга Качкин домой последнюю неделю не ходил... Вытащили прямо из бокса институтского гаража, из ямы, в которой он ощупывал в последний раз ходовую часть своей машины. Когда вели по двору, старик хлопал замызганную ушанку по серому, в мазутных пятнах, валенку. Вернул ее онемевшему Щелкову. Дворнику. Ему же, сняв себя, – его бушлат. В одной сорочке и жилетке, в култастых грязных этих пимах, никак не вяжущихся с его профессорством, – полез в машину. Щелков стоял, разинув рот, пока у него не вырвали всё из рук и не швырнули вслед за Качкиным. Машина тронулась.

Щелков бежал. Болталось за решеткой отрешенное лицо Качкина. «Самсоныч, как же так? Ведь в гардеробе пальто-то твое, в гардеробе! Бушлат-то грязный...» «Сойдет... – махнул рукой Самсоныч. – Прощай, Ванюша». Щелков все бежал, в мучении оглядывался на прохожих. «Как же, а? Как же?..» К решетке сунулась рожа. Кругло дунула в Щелкова: «П'шел!» – И бегущего дворника как отшвырнуло, он упал на тротуар, на колени, там раскачивался, плакал, царапал тощими руками снег...

А потом пошел и сам Яков Иванович Кочерга, завкафедрой, арестованный в ночь на 30-е декабря 39-го года. Он был последним. Он словно тихо прикрыл за собой и предыдущими дверь.

Переживали нетерпеливые Колюжный и Левина. Смущались. Как жених и невеста. Перед началом неизведанной еще жизни. Похудели даже. Ждали. Постоянно вытянутые, пылающие в зное нетерпения. И на удивление свое, потом на ужас свой, на муки, с ними на кафедре был оставлен... Кропин. Будто – ша́фером. Так сказать, с чистым полотенцем через плечо!..

Уже с середины января стали ходить по кафедре какие-то глухо молчащие люди, взятые в новые скрипучие комсоставские ремни. Все время проверяя себя, как индюки, били гимнастерочными хвостами. По одному закуривая, носили папиросы. Как государственный вопрос.

Завкафедрой был утвержден Колюжный. (Виталька-шустряк, как тут же прозвали его студенты.)

С преданностью не истрепанной еще копирки рядом встала Левина Маргарита Ивановна. Встала – чтобы Виталька мог наколачивать через нее (вежливо пока что, вежливо) приказы молчаливым людям. (Оглушенного Кропина не трогали.) Сердце Левиной вздрагивало бульбой, сладостно и гордо. Заговорили в коридорах, что уж теперь-то свадьбе – непременно быть.

Кинутые на усиление, молчаливые старались. Честно тужили мозги. Пытались хоть что-то понять в учебниках. В конспектах, что им подкладывала Левина. Неделю примерно увязывали, понимаешь, вопрос. Потом пошли в массу. В аудитории. Преподавать.

Кропин ушел из института. Тогда вдогонку сразу был выпущен, восстал слух – он!..

5. Подаренная старинная пишущая машинка

Как перед уходом учил Серов, Кропин довольно-таки смело закрутил листок в пишущую машинку. С запертым дыханием ткнул раз, другой в черные буковки. Одним – средним пальцем. Будто однопалый инвалид. Так, по две, по три буковки и стал печатать. Ме...ня...ем одноко... мнат...ную и ком...нату с дву...мя со...седями на по полутора...ком...нар...нар...нат..ную...

Дело шло медленно, туго. Все время палец словно обжигался не о те буквы. Надо было согласиться, оставить все Сереже, напечатал бы нормально, так нет – сам!

О каком-то там *штрихе*, чтобы исправить – какая речь у новоиспеченного машиниста? Приходилось этак небрежно (профессионал!) выдергивать испорченные листы, чтобы так же лихо закручивать новые. Только этому и научился.

Кое-как нашлепал одно объявление. (А надо-то – с пяток хотя бы.) Отложил лист, перевел дух. Взгляд столкнулся с неузнаваемыми – веселыми – глазами Жени Серовой, на фотографии, на стене. Вздрогнул даже... Смотрел на нее, любуясь. Не отдавая отчета себе, сокрушался, точно знал ее и такой когда-то, в своей молодости, точно теперь она – старуха. Супруг ее на противоположной стенке был по-юношески голоден, тощ, но горд и значителен. Почему-то в шляпе.

Осторожно Кропин дальше стал нашлепывать. Как всегда, когда оставался один в чужом жилище, чувствовал себя неуверенно, стеснительно: с места не вставал, ничего не брал в руки, не трогал. Лишь посматривал на оставленный ему ключ от комнаты. Хотелось пить, во рту пересохло, но к стакану, к чайнику на кухонке не шел, терпел – на улице где-нибудь...

Сзади вдруг зашебуршилось в замке. Кропин хотел крикнуть, что открыто, но в двери уже стояла Нырова. Завхоз. И тоже – с ключом в руке...

И вытаращились они в изумлении друг на дружку. Будто два вора-домушника. Которые неожиданно встретились на сломе. Один уже работает, а другой – вот только ломанулся.

Нырова закрыла рот, сглотнула. Вильнув взглядом, спятилась за дверь. Кропин замер, удерживая случившееся в себе, не выпуская его в комнату. Начал дико, мучительно краснеть.

Снова открылась дверь... Хватаясь за край стола и стул, Кропин судорожно поднимался...

Но его не видели. Силкина и Нырова уставились на высокую старинную чугунную машинку на столе. Уставились, как на завод в миниатюре, фабрику, как на раскрытую, наконец, подпольную типографию.

– Чья машинка?

– Где? Какая?

– Вон – на столе?..

– Ах, эта-а?..

Покраснев еще гуще, чувствуя, что катастрофически дуреет, Кропин зачем-то начал длинно, путано объяснять, что машинка эта была его, Кропина, когда-то, вернее, даже не его, а его соседки, Вали Семеновой, старушки, которая умерла три года назад, а потом она попала к нему, Кропину (??!), машинка, машинка попала, родственники не взяли, а мне – память, понимаете?, просто память, мы дружили с ней тридцать лет (??!), с Валей, с Валей Семеновой, и вот она, машинка, у меня осталась, а потом пришел Новоселов, Саша (??!), ну в гости, понимаете?, чайку попить, а машинка – стоит, на тумбочке стоит, короче – мы ее в мастерскую, там – корзину сменили, ну шрифт, шрифт отладили, потом смазали, то сё, вечная, говорят, ну мы ее с Сашей – и Сереже Серову, сюрпризом, на день рождения... А собственно, какого черта?..

– При чем здесь Серов – шофер, слесарь?.. – подлавливала Силкина.

– Да он же писатель, понимаете? Талантливый писатель! Ему же... необходимо, нужно!

Силкина и Нырова переглянулись.

– А что же он написал? Если не секрет? Где? Что?

Кропин уже искал на книжной полке журнал. Синеватого цвета журнал. С синеватой обложкой. Нигде не находил. «Сейчас! Обождите!» Ринулся из комнатки.

Через минуту вернулся. Журнал – в руках.

– Вот! Вот! Смотрите! – как слепым, как глухим подсовывал под нос развернутый журнал. – Вот «Рассыпающееся время». Повесть. Автор – Сергей Серов! Видите?.. У Новоселова взял. У Саши... «Рассыпающееся время»...

– Почему у Новоселова? При чем здесь Новоселов? – окончательно дубела, соответствуя своему статусу, зло упрямилась Силкина. – При чем здесь Новоселов?

– Да господи! Подарил он ему. Серов подарил. Новоселову. И у меня есть. И мне подарил. А? Непонятно?

Старик рассинéлся весь от волнения. Склеротичность его была очевидна. Силкина избегала смотреть на него. Уходя, пробурчала:

– Должна быть зарегистрирована... Скажите ему...

– Да когда это было! Когда! Регистрации ваши! – Кропин замахал листками. Своими. Отпечатанными: – Вот они, листовки! Воззвания! В трех экземплярах! Только что отпечатал!.. А?..

Вот тут уж было что сказать Силкиной. Это было по ее части. Спокойно-утверждающе, даже, можно сказать, по-матерински, начала она журить неразумного старика. Она же обязана была выяснить все обстоятельства с этой машинкой. Д-да, обязана. Нельзя же быть таким доверчивым, наивным. В такое время. Олимпиада на носу! Нужно понимать это. Даже неудобно становится за некоторых наивных людей, стыдно, д-да!..

Ну конечно, а ковыряться в чужих замках, лезть в чужую жизнь, в постели – не стыдно. Как же – необходимо. Д-да, уважаемый Дмитрий Алексеевич, необходимо. Вы как коммунист... Право, странно слышать такое! Что же – всё пустить на самотек? Кропин сел на стул, отвернулся. Нет, позвольте, уважаемый Дмитрий Алексеевич! Кропин сгреб бумажки, пошел к двери.

– Закройте тут... После себя... Ключи у вас есть... Целая связка... Подберёте...

От удара двери выскочил из щели таракан. Тут же обратно исчез в щель.

Силкина стукала белым сжатым кулачком в стол. Нырова не решалась заговорить, опасаясь крика, взрыва. А все же не выдержала – стала нашептывать, преданной начетчицей наговаривать...

Расставив ноги, люди вставали напротив автоматов с газировкой. Стенка на стенку. Взмелькивали кулаки. Автоматы содрогались. Не отдавали. Ни воду, ни деньги. С картами в руках из будки чистильщика обуви поглядывал настройщик автоматов. Сбрасывал карту внутрь будки. Хихикал. Железные воспитанники стояли крепко.

На первый раз Кропин сдержал себя. Вторую закинул монету. Ждал, тупо уставясь на стакан. Шарахнул. Отшипело поспешно с полстакана. Залпом выпил. Больше трояков не было. Искал разменный ящик. Старушка подала монетку. На без сиропа. Большими глотками глотал пустую жгучую воду. Словно ежей запускал в себя. (Настройщик автоматов страдал, наблюдая из будки.) Кропин напился.

Нужно было теперь за продуктами. Дождавшись светофора, пошел с толпой через дорогу.

Внимательно, осторожно передвигался с продуктовой коляской по универсаму. Брал банку или пакет. Отстраняясь, читал надписи. Разочарованно оставлял. Двигался дальше.

В большой ящик, как собакам, начали выкидывать из окошка зафасованные в пленку, уже взвешенные и оценённые куски колбасы. Люди поспешно рылись в ящике, хватали. У Кропина была колбаса. Дома. В холодильнике. Граммов двести. Сосисок бы. Яше. Кочерге... Заглянул в окошко. Как насчет сосисочек сегодня? А, товарищ продавец? Сосисочек бы...

Оседлав стул перед автоматом, в белый халат затиснутая, торопясь, работала толстыми руками фасовщица. На миг только повернула к Кропину толстое колбасное лицо. «Ну ты даешь, дед!» Кропин отошел в смущении. Постояв, снова приблизился. Тогда кусочек бы. Грамм на двести. Двести пятьдесят. Для Яши. Ему швырнули граммов в восемьсот. Ничего, поблагодарил, положил в коляску.

Дома Чуша опять домогалась ключей от комнаты Жогина. Чтобы засунуть туда свой шифоньер. Временно, Кропин, временно. Упрямый ты старик!

Кропин был тверд, доверенные ему ключи – никому! Ставь в коридоре. Раз не вмещаешься с ним в комнате.

Отсекая себя от домогательницы, старался не слышать падающих в ванной тазов, говорил по телефону Кочерге, какие купил сегодня продукты. И хотел скорее кончить разговор, уйти к себе, но Кочерга, видимо, не слыша шума и грохота, в каком пребывал его друг Кропин, продолжал неспешно, посмеиваясь, что-то говорить.

Тазы подвешивались и хулигански сдергивались. Выплясывали в ванной. Кропин вздрагивал, малодушно помаргивал. Эко ее! Поранится еще там. Поглядывал на потревоженного паука под потолком. Который уже напыживался. Уже дергал, дергал свою паутину, сердито сучил ее.

Чуша в ванной хохотала. Бегал сожитель, отпаивал валерьянкой. Полностью залуповый выказывал Кропину глаз.

Ночью снился диковатый странный сон. Виделся зал огромного незнакомого универсама, придавленный низким потолком, откуда осыпался душный свет люминесцентных ламп. Почему-то совершенно пустой был универсам: с пустыми полками, витринами, с кассами без продавцов.

Откуда-то стали появляться и двигаться в разных направлениях проволочные продуктовые коляски, направляемые женщинами. И все коляски были абсолютно пусты – без пакета, без мешочка крупы, без банки. Все больше, больше их становилось. Десятки их уже перекатывались, сотни, по разным направлениям, пересекаясь, объезжая друг дружку... Вдруг словно на кинутое зерно сбегались на одно место, начинали ударяться, щебетать, как птицы... Но обнаруживали на полу песок. Обыкновенный песок. Серый. Обманутые, расходились... Опять сбегались, еще громче щебетали... И опять обман... И женщины ходили и ходили за колясками, подвывали, мучились. И ни одна не уходила из универсама... И так же мучителен и нескончаем был этот сон...

Утром уже пил чай, а приснившееся ночью почему-то не уходило, не улетучивалось. Покручивал головой, словно брал сон на ухо. То на одно, то на другое. Со стариковским уважительным суеверием прикидывал его к себе. И так, и эдак. Искал смысл в нем, закономерность.

Рассказал Кочерге. Вечером. «Да ты всю жизнь в снах, – смеялся Кочерга. – Ты! Пихта! Увешанная туманами!» Но Кропин все покручивал головой, все прикидывал. Не-ет, тут что-то не так, неспроста-а. Сон был, видимо, из тех, что аукается и через годы. А? Яша? Кочерга смеялся.

А оставшись ночевать, Кропин увидел такой сон: где-то в сельском клубе... или заводском (маленький он был, с тесной высвеченной сверху сценой) какой-то человек, то ли председатель колхоза, то ли заводской начальник, стоя на сцене, – завернул громаднейшую фигу. И поднял ее высоко. Всем в зальце. Строго пошевеливал ею... И все в зальце тоже сразу начали заворачивать фиги. Вскочили, в ответ завыказывали ему. Ну, который на сцене. Пошевеливали. Любовались ими. Являя собой человек полтораста старательных сплоченных кукловодов...

Кропин перекинулся на другой бок – и пошла сразу как бы вторая часть сна, продолжение первой. За стол в красном бархате сел президиум. Докладчик убрал на время фигу и начал большой рассказ. О текущем. Из зала к столу повадились бегать слушатели, пытаясь сдернуть со стола скатерть. Дергали ее, тянули. Президиум сразу падал на скатерть, цеплялся за неё, держал. Слушатели убегали обратно. Докладчик гудел. Через какое-то время выбегали уже другие, снова тащили скатерть. Как бы втихаря. Чтобы не увидел докладчик. Лежащий президиум дергался, крепко держал. Убегали. В президиуме переводили дух, обменивались мнениями. И так – несколько раз: выбегали, тянули, пытались сдернуть, а там – сразу падали, изо всех сил держали. Наконец докладчик снова поднял над собой фигу и понес ее, как звезду, куда-то в темноту закулисья. Все полезли, запрыгали за ним на сцену. Поспешно строились в сплоченность, в марш. Президиум не нравился, его отталкивали. Кропин, маршируя со всеми, на подхват, на затравку первым вдохновенно запел: «Партия – наш руль-левой, партия – наш руль-левой! Тра-та-та-та!» Пошел в темноту, как на рыбалке задирая высоко босые ноги. Вниз куда-то загремел...

«...А? Яша? А это к чему?» – спросил утром. Кочерга опять хохотал. «Ну, пророк! Ну, мессия! Да тебе ж цены нет! Трансмедитатор!» Дохохотался до того, что начал кашлять, задыхаться, синеть. Кропин его по горбу постукал. «Не видят снов только бараны, Яша...»

6. Дмитрий Кропин и Зинаида Кочерга в 1940-м году

...Почтовые ящички на стене чернели, как ящички брошенной голубятни. Кропин прошел мимо и... и вернулся. На его ящичке дверца была прикрыта не им, Кропиным. Кем-то оставлена была еле приметная щель. Щелка. Тоньше мышиного писка... Кропин дернул дверцу. В ящичке резко высветилась сразу узнанная многотиражка. Институтская. Сложенная кем-то в полоску. В несколько раз... Уже зная, что́ увидит, но не веря, не веря, торопливо вытоптался под лампочку, к свету...

Заметка была на четвертой страничке, внизу. Размером с траурную рамку... «Я, Зинаида Кочерга, урожденная Желябникова, и мой сын Андрей...»

На темной улице имени Горького метался меж движущихся, ослепших от мороза машин. Приседая, моляще осаживал их рукой. Машины надвигались, слепили глаза и убегали, тяжелые, как медведи...

Скрежещущего где-то вверху лифта ждать не мог, хватаясь за перила, выдергивал, кидал себя через три, через четыре ступени. Задыхался перед дверью на шестом этаже. Затравленно смотрел по всей ее узкой шершавой черноте, уползающей, казалось, в небо. Сдернув шапку, рукавом пальто грубо вытер со лба. Нашарил кнопку, надавил. Сразу же упала цепочка. В дверях стоял руки в бока Отставной Нарком. В пижамных своих штанах, в майке, по плечам и груди в жестких седых волосках. Предваряя вопрос, состроил, подсунул к лицу Кропина кукиш. Прополыхал затхлым золотом коронок: «Видел?» Захлопнул дверь.

Кропин, весь трясясь, спускался на ломких, вывихнутых, дрожащих ногах. «Шкура! Свиная барабанная шкура!..»

Не снимая пальто, сронив скользкий шарф к полу, как оборвавшуюся петлю, сидел он у стола в полутемной коммунальной кухне, не включая света. Тонул над чернеющей его головой в промороженном окне сахарок луны...

Опять бубнили, ссорились за стенкой в коридоре недавно въехавшие соседи – муж и жена.

На кухню зашла Валя Семёнова.

Смотрела на поникшего Кропина, не решаясь окликнуть... Включила свет. Тихо поздоровалась.

Подобрав полы халата, начала взбираться коленями на подоконник, к форточке. К своим баночкам, кастрюлькам, сверточкам. Проверяюще, как звонарь, пробовала там веревками. Полезла рукой в окно, будто в пазуху, некрасиво изогнувшись. Одна тапка соскользнула на пол. От неудобства положения напрягалась, вздрагивала женская тупейная ступня с растрескавшейся пяткой.

Разобравшись с кастрюльками, опять стояла и смотрела на опущенное лицо недоступного ей мужчины...

«Ну что, Митя, – устроился?..»

«?!»

«Работу нашел, Митя?»

«Устраиваюсь... Ищу...»

Нужно было уже уйти. Больше уже нельзя было стоять тут. Нехорошо, стыдно. А ноги не шли, и в груди все стеснялось в безнадежности... Спросила, потушить ли свет?

Кропин молчал.

Тогда свет словно осторожно сняла, опять оставив в кухне только мерцающий нажо́г окна.

Уходила по тускло высвеченному коридору, приклонив голову к плечу, словно уносила не кастрюльку, а терпеливую женскую свою надежду, женское свое ожидание: ничего, ничего, все образуется, нужно только ждать...

И опять просвечивающий сверху сахарок луны словно набивал колким морозом на столе в кухне стакан молока, который осторожно оставили Кропину.

...Сначала он руководил каким-то арестом или обыском в большой, ярко высвеченной, пустой совершенно комнате, где весь паркет был усеян бумагами. Он нервничал, поторапливал подчиненных: «Быстрей! Быстрей! До рассвета надо успеть! Не спите!» В длиннополых шинелях энкэвэдэшники ходили, будто размашистые метели. А он все поторапливал, подгонял, ощупывая зачем-то кобуру пистолета, точно готовясь в следующий миг стрелять...

Потом он вошел к Зинаиде Кочерге в какую-то тесную комнатенку. Словно бы где-то на окраине это было, в частном домишке. Где хозяин, сопроводив, сразу же спятился с улыбочкой, исчез. Под низким потолком трусила умирать лампочка. Осела, пьяно разъехалась рожа трюмо. Базарные висели по стенкам тряпки с лебедями и девками...

С резким скрипом Зинаида вскочила с кровати, схватилась за спинку ее.

– Зачем вы сейчас?! Зачем же?! Я же не готова! – неукротимый рвался шепот женщины. – Я не готова!..

Кропин стоял в шинели, в ремнях, не знал что говорить. Сдернул фуражку, прыгающей рукой вытер пот со лба. Фуражка выпала из его рук. Зинаида кинулась к фуражке – удлиненные упругие груди метнулись с ней, в прорези рубахи передернулись. «Вот! Вот!» – все выкрикивала шепотом, суя ему фуражку. Отпрянула. Груди замерли. Кропин старался не смотреть на них, все отирал лицо...

А уже через минуту в сумраке угла, на скрипучей ее кровати, руки его словно бредили, уговаривали эти мечущиеся стерлядковые груди. На запрокинутом лице женщины полыхал быстрый шепоток:

– Ну что же вы? что же вы? Скорей! скорей! Хозяин, соседи!..

И он лез и лез к этому плачущему, со стиснутыми зубами лицу, лез, словно по нескончаемым корням деревьев, свисая с них, болтаясь над пропастью...

Потом женщина плакала на кровати.

Серая шинель застыла в зеркале трюмо. Захлестнутое ремешком, повесилось лицо в фуражке. Глаза выпали оловянными бляшками. Бляшки эти вдруг начали плавиться, точно воск, стекать, обнажая разом осознавшие всё глаза...

Кропин взметнулся с подушки. Как жаба мошку, хватал, заглатывал воздух.

Остро горел весь нажог окна. Где-то за ним, выше, выдыхала темные тени луна.

Одиннадцатого утром уже привычно, как на работу, Кропин спешил по улице Горького к метрополитену. Было морозно, как и в предыдущие дни. Будто заброшенная головешка, обдымливалось солнце. Зябли, бежали, тащили туманцы машины. Толстые и медлительные, как битюги, подносили бурые кулаки к усам милиционеры. Палки вниз точно сплевывали. Как слюну...

Пролетев под землей два перегона, Кропин всплыл с эскалатором к переходу на соседнюю станцию. На широкой каменной лестнице густо волновались сутулые спины людей. Кропин присоединился, поспешно закарабкался со всеми.

Когда теснился с людьми в арке, вдруг увидел Зинаиду. Столкнулся с ней... Не здороваясь, плечо в плечо растерянно двигались со всеми дальше...

Толпа отторгнула их в один из метровских спецхрамов. Придавленные низким замкнутым небом его, стояли возле угольно лоснящегося божка с куцым лбом, мрачно нюхающего свои усы. Стояли дико. По обе стороны от него. Словно были в почетном карауле. Точно клялись на верность!..

– Как ты могла?! Как ты могла?! – словно не вмещались, не влезали в глаза Кропина текущие и текущие на него люди. Словно если он сосчитает их – сто, тысячу, десять тысяч – всё сразу решится... – Как ты могла предать его?! Как?!

В злых глазах Зинаиды прыгали шляпы, шапки, тужурки, пальто, полушубки, людишки.

– А ты? Ты сам? Вы сами? Вы думали, когда устраивали эти посиделки?! Думали?! Чем думали?!

– Но ведь он муж твой! Отец твоего ребенка! Ведь вы же с ним... И ты отрекаешься от него... Подло, коварно...

– А-а! Вон как заговорил! Пожалел дружка! Пожалел волк кобылу! Да ты же не зря отирался возле нас! Ты же по мне воздыхал! Я была нужна тебе, я! Я – лакомый кусочек! И сейчас воздыхаешь! Ха-ха-ха! Ты же рад, что Яшка сгинул! Рад!.. Только... только – вот тебе!..

В точности, как отец ее, как Отставной Нарком, подсунула ему кукиш.

Кропин мотал головой и только шептал: «Неправда, Зина, неправда... Опомнись...»

А Желябникова уже шла от него на стройных злых подпрыгивающих ногах в коротком стройном пальто с подпрыгивающей чернобуркой...

Точно теряя сознание, Кропин проваливался с эскалатором обратно вниз, хватаясь за горло, сдирая шарф, шапку. «Вам плохо, товарищ?» – участливо спросила стоящая на одной ступеньке с ним девушка. «Товарищ? Вам плохо?» «Гадина! Мразь! – вдруг начал бить кулаком по резине Кропин. – Продажная гадина!» Девушка прыгнула вверх через ступеньку. С испугом вместе с другими смотрела, как приличный на вид, хорошо одетый этот мужчина, точно пьяный, бил и бил кулаком по резине эскалатора и, словно сдавливая себя, вызывая рвоту, выталкивал только: «гадина! продажная гадина!» Бил и раскачивался, бил и раскачивался...

7. Несчастный случай

Широко расставляя ноги по мокрым, не принимающим снега ступеням подземного перехода, Кропин взбирался наверх. Наверху перед ним расстелилась довольно большая площадь, на заднике которой, под солнцем, стояло характерное крематориальное здание с флагом. Ночью в Москве был большой снег, с утра солнце морозно жгло, но ветерок все еще бегал по площади, вытягивал из искристых сугробов козлиные бороды вьюг. Весь в снежных радугах – гонял снега большеколесный трактор.

В левой стороне площади, уже очищенной, курясь, обширно лоснилось стадо черных машин. Проходя, Кропин видел в стеклах сытые, совсем закинувшиеся в шапки рожи холуев, потрясывающихся на работающих моторах, точно на матрасах. Съехались. Слетелись. Пленум очередной. Важное заседание. Пастухи заседают. Эти – ждут.

Делая вид, что не знают друг друга, вдоль остекленного фасада внимательно ходили трое. В серых одинаковых полупальто с каракулем и почему-то все трое в старомодных подвернутых бурках. Похожие от этого на приехавших председателей колхозов или охотников. С оттопыренными взрезами боковых карманов, словно оставив в них свои большие кулаки, они ходили и смотрели на крыльцо и, наверное, сквозь него. Напряженно, но мельком взглянули на Кропина. Кропину положено было не с парадного. Кропину нужно было, как писали раньше, *на черную*. На черную лестницу. С другой стороны здания. В райсовет. «Проходите, проходите, гражданин! Не топчитесь здесь!..»

В тесной приемной, отделанной панелями и деревянными людьми на стульях, пытался ходить. Потом стоял. Сердито боролся с застенчивостью. Как верблюд с горбом. Тишина давила. Посетители забывали про дыхание свое. Внезапно на машинке застрекотала секретарша. Вздрогнули. Позволили себе пошевелиться, передохнуть. Резко оборвала секретарша треск, выдернув листок. И снова все сидели как загипнотизированные ею. Как в ЛТП каком-то чертовом. На сеансе антиалкогольной терапии. А она, откусывая от шоколадной конфеты, спокойно разглядывала подопечных... Потом достала коробочку с зеркальцем. Глаза свои в ресничках осматривала, как осматривают постоянно вздрюченный татарник. Кисточкой начала взбивать его еще выше. Прорвись сквозь такую. В кабинет Кропин втолкнулся только через полтора часа.

В кабинете начальника сначала бросились в глаза мелконькие че́репные ленины. Рядком расставленные за стеклом. В полированной стенке. Натуральная распродажа. В художественном магазине. А потом и сам хозяин коллекции. Откинувшийся в кресло, улыбающийся. Мода у них, гадов, что ли, теперь такая пошла...

Хмуро Кропин объяснил суть дела. Выкладывал на стол начальнику все бумаги. Сверху положил самую главную, желтую уже, почти истлевшую справку Кочерги, в тесноте которой можно

было узнать, что он, Кочерга Яков Иванович, являлся тем-то и тем-то, побывал там-то и там-то, в таких-то и таких-то годах...

– А вы... кто ему?.. – сняв очки, попытался наладить себе душевность начальник, зовущийся Валерием Ивановичем.

– Да как сказать?.. Друг. Просто друг – если этого мало...

Я, как видите, на ногах пока что, а он... Словом, сами понимаете. Нужен уход... Нам ведь много не надо... Не найдется двухкомнатной – в полуторку пойдем... Прошу посодействовать.

Начальник Валерий Иванович смотрел в окно. Отстукивал время карандашом. И вроде бы заквасившийся в классического москвича – с заученной установочкой, нацеленной на постоянные подвижки, – но... но так и оставшийся за этим столом в тоскливенько бодрящейся своей, природной недоделанности, неудачливости... Тоже усвоенные, точно любовно подвязанные у рта на тряпочку, трепыхались у него пять-шесть... московских, ходящих сейчас слов: *помеха... котировка... переиграть...* и так далее. Квартира *пришла*. Но наверху *переиграли*. *Создали нам помеху*. Ваша *котировка* не подойдет. Слабо у вас с *котировкой*. Сейчас *котируются* – сами знаете кто... Словом, *создали помеху*...

Со всей этой тарабарщиной, болтающейся у его рта, напоминал он давнего-предавнего своего прадедушку – лесковско-тургеневского приписного крестьянина. Который не скажет внятно и ясно: да – нет, а всё – *стало быть, оно конечно, но – вдругорядь*! В самом простом деле способного заморочить и себя и барина до полного умопомрачения... Вон ты откуда, парень, протянулся-то, оказывается...

Кропин начал собирать бумаги. Начальник жестоко страдал. Решившись, чуть ли на ухо посоветовал. Да, *жучка́*. (Найдет, обменяет, все сделает.) Да. Вы понимаете, о чем я? Но – я вам ничего не говорил! *Котировка*, знаете ли. Затем брыкающемуся Кропину были предложены чуткая рука на плечо и проводы до двери. А вскочившим в приемной людям – Солнце. Прямо-таки китайское! После чего начальник бодро и смело прошел в боковую дверь на обед...

Кропин стоял на площади, тупо уставившись на «крематорий». Веером, на две стороны разносились черные машины. В коротком полушубке, жопастой тонконогой балериной скакал назад мильтон, выделывая виртуозно палкой. Проносились «чайки». Что тебе оркестры. Разом, как будто в розвальни, два кэгэбэшника в бурках упали в подлетевший автомобиль. Поехали, выстукивая бурками и закрываясь. Другие, не в бурках, отгоняли Кропина к толпе людей, выглядывающей из подземного перехода, будто из веселой могилы. Казалось, Кропин даже не заметил, что его отогнали. По-прежнему мотался по краю площади на виду у всех. Казалось, по-дурацки не воспринимал главную причину. Всем ясную и видимую причину. Все устремлялся в себя, в себя самого... Толкая, его свели в переход. Поставили ниже. И тут Кропин не понял, не осознал. Душа требовала уравновешивания, выравнивания. Какой-то компенсации, реванша, как сказал бы начальник-гад. И как только кончился спектакль и разрешили двигаться – помчался на троллейбусе в ДЭЗ. Ругаться.

В тесной комнатенке доказывал двум непрошибаемым бухгалтерам, что если нет радиоточки, нет в помине даже розетки, то значит и платить не надо за радиоточку и за несуществующую розетку. Совал платежную книжку Кочерги. Требовал перерасчета. Немедленного перерасчета! За два года!

Комнатенка была сплошь в показательных диаграммах. Бухгалтера поправили нарукавники. Серьезно засучились. И начали отделывать. По первое число. Нет радиоточки? – сходи – заяви – не рассыплешься. Уплати за установку. Да не нужно она ему, не нужна! Газеты читает! А ты кто, собственно, такой? Квартирант? Живешь без прописки?.. Пока Кропин разевал рот, рвал галстук, любовно вернулись к своим бумагам, к своим делам. Плешивый весь, как кукуруза, старший гордо начал выписывать на бумаге пером, размашисто каллиграфирствуя. Другой, пригнувшись, точно блох ловил, кидаясь от одной ци́фирки к другой, сличая в бу́хах... «Гоголя бы на вас, паразиты, – выходя, шептал Кропин. – Салтыкова-Щедрина...»

Тащил к дому несобранный, разваливающийся день, смутно ощущая, что не собрать его сегодня, ничего не выйдет, что так и придется втаскиваться с ним в квартиру, раздрызганным. А там сиди, как дурак, и думай!..

Кропин просмотрел, как этот мужчина очутился перед «Волгой». Кропин увидел, успел схватить самое страшное – как мужчину срезало с дороги. Срезало, высоко закинуло, ударило о верх кузова и отшвырнуло... В следующий миг Кропин уже бежал. Бежал к человеку на мерзлом асфальте. Вокруг визжали тормоза, вихлялись, зарываясь передками, машины. Мужчина лежал, распластавшись вперед. Закинув руку и ногу. Словно не добежал, не допрыгнул. К голой ноге, как к заголившейся палке, точно приложен был култастый зимний ботинок... Уже на коленях Кропин пытался подложить мужчине под голову его шапку. «Не трогайте его! Не трогайте его! – повизгивала из-за спин сбежавшихся какая-то бабенка с сумкой. – Пусть ГАИ определит! Пусть ГАИ определит!» «Чего «определит»? Дура!» Крупный мужчина присел к Кропину, помог подложить шапку. Подбегал шофер. Подвывая, убегал к начальнику в машине. Который не выходил. Сидел ко всему случившемуся спиной. Зло просчитывал варианты.

Приехали гаишники, начали расталкивать всех, а потом деловито вытягивали ленты из рулеток. «Да дайте ему нашатыря нюхнуть, нашатыря! – взывал к ним Кропин, оттесненный, оттолкнутый лапой гаишника в белой жесткой воронке до локтя. – Нашатыря!» Его не слушали. Нашатырный спирт подсунул к носу пострадавшего только врач «скорой». Присев перед пострадавшим на корточки. Мужчина начал вяло отворачивать голову в сторону. Жив, оказывается, смотрите-ка! – простодушно удивлялся врач. Вовсе и не похожий на врача, если б не белый халат из-под пальто. Надо тащить к машине теперь. Смотри-ка! Кропин и крупный мужчина помогали, осторожно заваливали на носилки. Пострадавший стонал. Глаза его были закрыты, сжаты. Длинные ресницы тряслись, как пойманная плачущая моль. Кропин совал за ним в машину шапку. Чтоб не забыли. Потом, словно боясь идти домой, к своим воротам, побрел через дорогу, дальше, не видел уже ни гаишников с их рулетками, ни ждущих еще чего-то зевак, ни ожившего, мечущегося среди них шофера. Шел, как избитая собака, оставляя за собой неверные следы на запорошенной нетронутой части асфальта...

Через час, дома, у своей двери сковыривая ногой с ноги зимние ботинки, слушал Чушин страстный рассказ, страстную интерпретацию случившегося. Час назад. Только час назад. «Ужас, старик! Ужас», – восклицала Чуша. – Прямо напротив нашего дома! Грузовиком! Ударило! Мозги на асфальт! Ужас! Ужас, Кропин!»

Вместе с быстрой напористой речью глаза ее крупно выкатывались и еще сильнее, чем обычно, косили. И Кропин как всегда испытывал неудобство, не мог смотреть ей в лицо. Не знал, куда смотреть. В какой глаз. Будто виноват был в страстном этом ее косоглазии... Коротко рассказал, как все было, и ушел к себе.

Ночью никак не мог забыть плачущие, с длинными ресницами, глаза мужчины, его обрывающиеся короткие стоны... Перекидывался на бок. Слушал в подушке черную, старую, дрыгающуюся лягушку, никак не могущую издохнуть... Удушливо откидывался на спину, задавливал всё затылком... Но всё выходило под потолок. Видел уже себя. Безумного. Бегущего. Визжали тормоза. Зарывались носами машины... Поджимался весь, валился на бок...

Утром нужно было на работу, на дежурство, хотел еще заехать к Кочерге, завести продукты, но встать с кровати сил не было. Лежал пластом, с закрытыми глазами. Ощущал себя лужей, через которую сейчас переедут. Опять сжимались, дрожали веки, словно боялись вчерашнее увиденное, пережитое выпустить наружу, на свет, в комнату...

Точно уже прожив весь день, который и начинать-то не стоило, шаркал устало шлепанцами на кухню. Перетаскивал там себя: от столика к плите, от плиты к раковине, от раковины снова к плите, вроде бы налаживался варить кашку.

Чуша плавала по кухне. Кормила своего сожителя. Переляева. Инженера Переляева. Начальника отдела Переляева. Своего непосредственного начальника. Лучше сказать, соратника. Сегодня Переляев был с ночевой. Три раза за ночь Чуша ставила музыку. Получил полное удовольс-

твие. Полный заряд энергии. Высокий лоб Переляева имел вид истершегося кожаного мяча. Орудуя ножом и вилкой в яичнице, Переляев все чему-то смеялся. Похохатывал. Словно оставался, пребывал еще в опьянении. Голые стекляшки на глазах тряслись, как большие слезы. Чуша носила тарелки. Подхихикивала Переляеву. Как положено всем полнотелым дамам, была в скользком халате. Расписном. Являясь как бы обширной клеткой. Для сотни вспархивающих в ней попок-дурачков. Поглядывала на Кропина. Будто проверяла на нем свое хихиканье. Правильно ли она хихикает.

Кропин вяло мешал манную свою, всхлипывающую кашку, старался не смотреть на откровенную, утреннюю животную радость мужчины и женщины.

8. Знакомство после похорон

Три года назад, в 75-ом, вслед за мужем, пережив его только на два месяца, в декабре умерла Валя Семёнова. Просто изошла в слезах в своей небольшой комнатке. Никого из родных в Москве у нее не было. Обнаружился только племянник, да и то живущий в Ленинграде, военный моряк, офицер, адрес которого Кропин нашел сразу же после смерти Вали. (Листок с адресом увидел на комоде, на видном месте.)

Кропин тут же отправил в Ленинград телеграмму, мало почему-то надеясь, что кто-нибудь приедет. Но моряк этот прибыл на следующее же утро ночной «Стрелой». Ходил по коридору, по кухне какой-то испуганный, напряженный. В морской черной форме своей. Уже не молодой, лысый, с забытым флажком чьих-то волос впереди на голом темени... В раскрытую комнатку, где лежала на столе искусно прибранная старухами Валя, не заходил. А если и натыкался взглядом на нее, то останавливался и столбенел, глядя во все глаза. Словно не верил, что эта высохшая старушка, с любовью прибранная, лежащая как жутковатый восковой цветок – его родная тетка... Словом, толку от него не было никакого. Лепился было с утра к Дмитрию Алексеевичу Жогин, с бутылками, еще с чем-то там, активничал сначала, предлагал сбегать куда-нибудь, но к обеду напился и тоже отпал...

После похорон черные старухи помыли полы, лихо закинули по рюмке за упокой рабы божьей Валентины, в узлы повязали одежду ее и белье, на горбы закинули, крякнули и цепко, по-мужски, пошли на выход. Как похоронный черный отряд. Как десантированные партизаны. Кропин метался, совал рублевки, трешки, распахивал, держал перед выходящим отрядом дверь.

Втроем остались на кухне. Моряк сидел боком к столу, опустив голову, положив на край столешницы руку. Слегка выкаченными глазами удерживал все случившееся за эти два дня, не отпускал от себя. Почти ничего не ел, не пил. Кропин смотрел на раздрызганный чужой флажок на его голове, на безвольно выпавшую из черного рукава белую руку и говорил ему о его тетке, о Вале Семёновой. Вспоминал только хорошее, даже веселое, даже смешное. Словно подспудно прятал от него ее бедность, одиночество, её заброшенность в последние годы – родными, сослуживцами, друзьями. Словно скрывал, что даже на похороны, проводить ее... не пришел никто. Что на кладбище (как будто моряк не знал) пришлось просить кладбищенских людей в черных фуфайках нести гроб. Нести до могилы. И те втроем плыли с ним к могиле по глубокому, почти в пояс, снегу. И ведь больно на все это было смотреть, до слез больно. Кропин быстро сдергивал слезы. В поддержку ему, точно и он участвовал в похоронах днем, Жогин хватал бутылки, подливал. При этом без конца поддергивал засученные рукава пуловера, надетого на голое тело, пожизненного своего пуловера «орангутанг». Словно стремился все время показать моряку, что все с руками чисто, не шулера какие, не шахеры-махеры. Вот, смотрите: сама льется. Без дураков... Напился быстро. И перестал поддергивать и засучивать. Сидел с повялым крестом рук. Ничего уже не понимал, ни за чем не мог уследить.

Когда моряк и Кропин одевались в коридоре, чтобы одному ехать на вокзал, а другому – проводить до автобуса, Жогин тоже мотнулся было от стола за ними. Надел даже мешочное осеннее свое пальто. Но так и остался на месте в раздумчивой одушевленности лифта, открывая и закры-

вая полы пальто. Моряк похлопал его по плечу, попрощался. Жогин хотел, видимо, обнять моряка, но не смог высвободить ру́ки из созданного им лифта. Всё открывая его и закрывая. Уходящим пришлось оставить его...

По дороге Кропин говорил о сорока рублях на книжке Вали Семёновой. Что нужно сходить туда-то и туда-то, там-то заверить бумажку, подтвердить родство. И выдадут. В сберкассе. Офицер махнул рукой. Заговорил о других деньгах. О деньгах, потраченных Кропиным на похороны. Тут двух мнений не будет. Деньги будут высланы через неделю. Телеграфом. Кропин протестующе взмахивал руками: зачем телеграфом-то? Да, телеграфом! – стискивал зубы, упрямился моряк. То ли пьяный, то ли еще почему. Подошли к пустой остановке. Кропин завытягивался, завысматривал автобус.

Снег, таившийся от фонаря в тени, казался... накаленным, красно-пепловым... И сразу вспомнилось сегодняшнее кладбище. Заснеженное, в падающих сумерках. Как ройные огоньки сёл на безбрежных зимних пространствах, всюду мерцали огни прогорающих могил. И могила, перед которой стояли, щель, куда нужно было опустить Валю, среди безбрежных этих снегов, среди жутких огней на снегу... казалась внезапно провалившейся, зияющей... И виделось уже тоскующему Кропину, что неземные те, тайные отсветы на безбрежном кладбище пришли сейчас и сюда, на эту остановку, пришли за ними, и никуда от них не уйти, никак их не забыть... Кропин боялся взглянуть на моряка, боялся увидеть в глазах его то же, что видел в раскаленной тени фонаря сам. Но моряк опять пребывал в туповатой задумчивости, казалось, не видел ничего. Пьяный? Но – когда? Ведь не пил почти!

Появился наконец автобус. Кропин поспешно объявил, что как раз тот, какой надо, 120-й. Прижал левой перчаткой правую. Чтобы незаметно освободить ладонь для прощального рукопожатия. Но моряк вдруг повернулся и, не видя замелькавшей, как птица, руки старика... схватил его за плечи:

– Отец, я хотел сказать... Слышишь, отец! Прости меня! – Встряхивал, жадно ловил испуганные глаза старика: – Прости меня, отец! Слышишь! Прости!

– Да что ты! Что ты! Сынок! – бормотал Кропин, мгновенно пролившись слезами. Моряк крепко обнял, поцеловал его. Спиной влез в автобус. И словно сам захлопнул за собой створки двери.

Непереносимые сдавливали горло ежи, Кропин трясся с непокрытой головой, больно наморщивался, слезами, казалось, сочился из всех морщин и морщинок лица, красно расплавляя в них пропадающий вдали автобус. Потом снял рукой горсть красного снегу за фонарем. Покачиваясь, остужал в нем раскаленное лицо, точно гнулся в колкую, бьющую по глазам ледяную темень. Стряхивая снег, надевал шапку. Пошел.

Так и не справившись с полами пальто, валялся Жогин посреди коридора. Весь раскрыленный, лицом в пол. Точно влетел сюда неизвестно откуда.

Никак не проходил в дверь, когда Кропин тащил. Процедура напоминала закантовку птеродактиля, дельтаплана. Еле затолкал в комнату. Перевернутый на спину на тахте, Жогин сразу захрапел в спертом от несвежей одежды и красок, родном своем воздухе. Не зажигая света, Кропин подбирал валяющиеся по полу сохлые кисти, рваные рулоны бумаги, пустые бутылки. Еле успел подхватить давно пустой скелет мольберта, задев его плечом. Когда уходил, ноги по-слоновьи затаптывали лезущий по полу из коридора свет...

На кухне долго еще мыл посуду, убирал всё.

Из домоуправления явились на другой же день. Параграфами преисполненные, подзаконами. С блокнотами, с карандашами. Осмотрели комнату. Снова промерили. Так, четырнадцать и два десятых метра. Велели очистить жилплощадь. От мебели. От рухляди всякой. Кропин пошел по соседям, по дому. Пенсионеры сначала вяло, а потом все шустрее и шустрее начали растаскивать. Жогин прятался, только выглядывал. Опасался упоминания о квартплате. Потом осмелел. На глазах у комиссии поволок к себе комод Вали Семёновой. Кропин тоже взял себе кое-что. В первую

очередь, Валину печатную машинку. «Ремингтон». Еще раз помыл пол. Вот и всё. Будто и не жила здесь никогда Валя Семёнова. Домоуправ сразу выхватил у него ключи. Закрыл. Опечатал. Оглядываясь строго на печать, комиссия пошла. Останавливалась, осматривала возможный будущий фронт работ, который орал им о себе отовсюду: с облезлых стен, с махратого потолка. Жогин тоже этим интересовался, находясь среди комиссии.

Целую неделю к комнате Вали Семёновой ходили мать-одиночка с ребенком и ее отец-пенсионер со всеми своими льготами. Пенсионер сначала воинственно напирал, бренча медалями. Требовал *вскрытия жилплощади*. То есть *сорвания печати*. Потом как-то утих, освоился в новом коридоре, привык. Пока дочь шмыгала повсюду за Кропиным, ищуще заглядывала в глаза, расспрашивала, – мирно дремал в коридоре на табуретке, опершись на клюшку. Забытые медали свисали, как уснувший листопад. Эх, отшумела роща золотая, подталкивал Жогин Кропина. Четырехлетний внук Вова, тоже раздетый, но в теплом костюмчике, в валенках, ползал по полу, потихоньку тарахтел одной и той же железной облупившейся машинкой. Шло почти круглосуточное дежурство у печати на двери. Кропин поил их чаем, пытался подкармливать, но они сразу смущались, как-то теряя даже дар речи. Потом стали приносить с собой, деликатно брали у него только тарелочку для Вовы, обещая ее тут же помыть. Всё должно было решиться в среду. Да, в среду. На заседании жилищной комиссии. Пенсионер был в льготной. На расширение. Двенадцать метров у них – и здесь четырнадцать и два десятых. Объединить – и здорово бы было. Кропин и Жогин считали их уже своими, соседями. Каждые десять-пятнадцать минут Жогин выходил и выворачивал изумленному Вове к носу большую конфету. Как фигу. Фокусом. Предварительно стырив ее у Кропина из тумбочки. Гордый, уходил к себе.

Но в среду мать с сыном и пенсионер не пришли. Вместо них вечером явился домоуправ, привел с собой совсем другую женщину. Очень полную, в сером коротком пальто, в меху по голове и вороту, будто в ворохах московского грязноватого снега. «Обошла, – выдохнул в ухо Кропину Жогин. – На вороных. На скольких только – вопрос». Домоуправ ходил по комнате, показывал товар лицом.

На другой день в обед уже втаскивали вещи. Командовала эта женщина в кубастом пальто. Ритмически заплетала назад красными, как апельсины, ногами в стоптанных ботиках. Делала грузчикам ручками. Грузчики мрачно танцевали с громадной тахтой. Так и завела их, заманивая, в Валину комнату. Потом считала картонные коробки. Грузчики шли и шли мимо нее, как грумы. Каждый с коробкой. Создавали возле комнаты большой круговорот. Когда было все внесено, она сказала грузчикам «спасибо», улыбнулась и закрыла дверь. Грузчики пошли к выходу спотыкаясь, что-то бубня по дороге.

С кухни не уходили Жогин и Кропин. Вслушивались. То ли боялись выйти в коридор, то ли еще из-за чего...

Женщина явила себя им минут через пятнадцать.

С намазанными губами, в коротком, каком-то шансонеточном обдерганном, свисшем платье, с коленками, как с толстыми красными фонарями – была она обширна. Уж очень как-то объемна. Как вон, через дорогу. Во всю стену дома. «Храните деньги в сберегательной кассе». Улыбалась. Поджимала ручки. На животе. Как будто зябла в незнакомом помещении.

Отчаянно, с какой-то ноздрёвско-чичиковской очевидностью Жогин представил Кропина, вертя его и выхлопывая как товар. Сам уронил голову: «Жогин». Взбодрил ло́хма пуловера своего, как взбадривают жабо́. – «Художник Жогин!»

Быстро выдвинули кропинский столик с чистой клеенкой. Сели. Жогин выхватил портвейную. Как флаг на переговоры. Кропин бегал с чайником и заварником. Искал по тараканьим тумбочкам печенье. Удивлялся, что большие конфеты Жогин перетаскал все. Хотя сразу вспомнил, для кого́ он их таскал. Кому дарил. Молодец – вообще-то.

Выпили. И того, и другого. Больше молчали. Новая соседка приглядывалась к мужчинам. Отпивала чай мелкими глоточками. От ее спокойной необъятной плоти, рассевшейся всего лишь в метре, мужчинам было душно. Сидели прямо. Старались не дышать. Спохватываясь, Жогин

антишулерски засучивался, наливал. Постоянно дергали. Даже Кропин. Дама посмеивалась, переводя то на одного, то на другого по-бабьи понимающие всё, раскосые глаза.

Жогин спросил, замужем ли она. Дыхание свое окоротил. Блуждал глазами. Как будто в газовой зоне. Она ответила, что была. Помолчала, словно туго вспоминая. «Его звали – Никандр. (Имя «Никандр» произнесла широко и неотвратимо, словно нависая над пропастью, осознавая ее.) Он был бухгалтер. Его бритым желтым черепом можно было таранить стены. А ночью посмотрю так сбоку – глаза луплеными яйцами торчат. Черными. Глаза открыты – понимаете?! И – храпит. Нижняя губа хлопает. Как парус... Ужас! Я его боялась... Умер. Прямо неудобно и говорить – как, во время чего. Только приподнялся надо мной, прохрипел страшно «что это?!» – и рухнул обратно на меня... Ужас! Я – кричала...»

Мужчины сглотнули, перевели дух. Кропин полез за платком. Жогин засучился, налил.

«...А потом у меня был Геворгик. Армяшечка. Он меня называл так – Чу́ша. Обнимет меня (а он низенький такой был, лысенький), вывернет ко мне свою головку – и скажет так нежно: «Ты моя чудная Чу-уша!» И глаза всплывают. Знаете – как маслины в коктейле... Ну прелесть Геворгик!» Мужчины расслабились, заулыбались. «Умер... – ошарашила их женщина. – Да, умер, бедняжечка...»

Мужчины думали, забыв про вино. Женщина была покойна. Перед зеркальцем распускала губы свои, как, по меньшей мере, лагуны. Шел небольшой антракт. Бегали рабочие, сшибали декорации. В опустевшем зале болтался непонятно кто... Откровенная автобиография продолжилась только после того, как поспешно подсучился Жогин и мужчины выпили.

Они узнали дальше, что работает эта Чуша чертежницей. Был назван какой-то НИИ. Очень ценима на работе. Начальством. Она давала *хламидку*. Мужчины не поняли, переглянулись. Ну что тут не понять? Элементарно. Она схватила коробок со спичками. Пристукнула на стол, на попа. Вот дом, к примеру. Общий его вид. Голая, так сказать, идея. Высыпала спички из коробка. Все. А это – детальки, оснастка. Сгребла все спички, взгромоздила кучкой. Кучка получилась выше дома. Это то, что дом несет, тащит. Что нацеплялось на него. *Хламидка* как раз. Непонятно? А-а! Жаргон! Понятно! Кто же не поймет! Дурак поймет! Мужчины радовались как второгодники с задней парты. Так вот оно что-о. Вот Чуша – и вот выполненная ее хламидка. Всегда без помарочки. Без волоска, без соринки. Можно смело на множитель ее. Потом хламидку хватает начальник отдела Переляев и бежит. Бежит на подпись к Ответственному Лицу. Лицо всегда долго и тупо разглядывает хламидку, раскинутую ему на стол. Начинает ощущать сердцебиение. Мгновенно все подписывает. Ха-ах-хах-хах! – выскакивает Переляев из кабинета как американский черт из коробки. Бежит с хламидкой к отделу. Хламидка треплется, как боевое знамя. И в отделе сразу торт появляется, шампанское. И Переляев-обаяшка целует Чушу. И все быстренько становятся в очередь, чтобы тоже поцеловать. Подпрыгивают, слюнявят. И перезвон бокалов начинается. И в пузырьках шампанского уже посмеивается всем премия (квартальная). И всем радостно, и все счастливы. И – ну вот вам полный хеппи енд!

Мужчины смеялись. Много. По очереди. Один – и сразу другой. У Жогина желтые зубья, казалось, бренчали. Как амулеты. Оба боялись оборвать козлиный горловой этот аплодисмент. Собрались тянуть его до бесконечности. В поддержку Чуше, в поддержку дружного отдела НИИ. Кропин не хотел раздвоения. Кропин всё застолье держался. Видит бог, стремился забыть. Но раскол в сознании наступил. За столом сидело уже два Кропина. Один смеялся, подхватывал смех от Жогина, козлил. Другой – уже просил объяснить. Да, просил объяснить – почему? Да, просил. Почему старик, пенсионер, весь в медалях, дочь старика, внук его – обмануты. Где? Какой старик? О чем он говорит? Да, обмануты! Требовал объяснить, почему молодые... здоровенные гражданки... обходят их на вороных. Всегда обходят, везде. Обскакивают. В очереди за колбасой! В очереди на квартиру!

Жогин испуганно глянул под стол – всего три пустых. Всего три! Ну стари-и-ик. Нет, почему? Кто объяснит?! Кропин, с шумом отодвигая стул, выкачнулся из-за стола. То ли чтобы дать простор замаху... то ли чтобы уйти. Жогин тут же поднырнул, взял его на падекатр. А мы пошли-

пошли-пошли! Нет, почему? – упрямился старик, утанцовывая с Жогиным. Почему, я вас спрашиваю!

Жогин быстро вернулся. Ну, старик! Ну, дает! Взбадривая лохмы пуловера, как бы создавая новое оживление, продолжил было свои пассы над бутылками, но женщина ходкие руки решительно остановила. Определенно недовольная, надутая, опять стала рассматривать перед зеркальцем губы. Теперь уже просто как капризное красное пятно, съехавшее набок. Жогин смиренненько сидел не очень умный. Не мог уловить, откуда ветерок, струйка. Куда надо ему? Начал говорить на ощупь, неуверенно. О характере старика. Видя, что женщина самодовольно расправилась, что ему еле заметно кивают, задавая нужный темп, смелел и смелел. Плескал язычишком. О том, что было и чего не было. Глаза с хихиканьем бегали. Словно искали по столу гадости про старика. Договорился до того, что сам поверил. В несносность старика поверил. В несносный якобы его характер. Сидел на стуле прямо-таки несчастный. Забитый. Уже чуть не плакал. Явно просился под крылышко. Он хотел бы быть сучочком. Чтобы миленьким девóчкам это самое. На его сидеть ветвях. Он бы выдержал девóчку. Одну бы выдержал. Даже такую. Точно. Если бы не старик. Замордовал. Сгноил. Рубль даст – требует два. Знаете, раньше: кулаки? – он! Мироед! Ростовщик! Со свету сживает. Как жить дальше – неизвестно. С радостью ощутил на своем плече тяжелую руку. Этакое пухлое белое большое крыло. Похлопавшее его. Ощутительно, надо сказать. Мол, не бойся. Тебя теперь есть кому защищать. Не таких обламывали. Хотел по-собачьи лизнуть руку, но застеснялся. После чего, как пущенный с горки снега ком, как-то сразу спьянился. Оказался словно бы под горкой в глубоком снегу. Один, с повялой кистью руки, пальцы которой, уже бесчувственные, зло жгла негаснущая сигарета. Мычащий что-то для женщины, которой давно уже за столом не было...

У себя в комнате лежал, не спал Кропин. Необременительный хмелек, который легко залетает к старикам, так же быстро улетел, будто и не было его вовсе. Душу опять саднило недавнее, непроходящее, казалось, прилипшее теперь навек... Опять виделся глуповатый старик с его медалями... Подвязывающий перед едой в пустом чужом коридоре салфетку. Подвязывающий как какой-то полоумный шелкопряд, не понимающий ни времени, ни места... Виделась высохшая дочь его, быстренькие недалекие глазки которой все время пытались понять, уловить, не опоздать, успеть... С болью вспомнился их Вова, их маленький мальчик Вова, с большой конфетой сидящий как с куклой... Которую он и не думал даже разворачивать – только трогал затаенными пальчиками... А отдав дедушке, чтобы тот запустил ее в бездонный карман пиджака, снова возвращался на стул, улыбался и ждал, когда опять придет волшебник дяденька (Жогин) и свалится ему, Вове, на руки еще одна большая сказочная конфета...

Глаза Кропина закрылись. Мокли в слезах. Отертые рукавом рубахи, облегченные как-то, слушали время в ночной квартире. За стеной тяжело возилась женщина, точно никак не могла уместиться в комнате Вали Семёновой. На кухне мычал Жогин.

Потом, когда на кухне грохнуло, старик поднялся, пошел поднимать, тащить...

9. Срамной сон, или Выдвижение в народные депутаты

Кропин испытывал стойкое утреннее напряжение. Юношеское. Напряжение великое. В комнату заглянула Силкина. Верка. «Ну, как, по-прежнему? Напряжение? Говоря проще – стоит?» Кропин засмущался. «Вы бы, Вера Федоровна... Это ведь интимное... Это ведь...» – «Ничего, ничего. Мы должны быть в курсе. Мы поможем вам. Сейчас». Прикрыв дверь, исчезла. Чушу с диваном за стеной трясли и ворошили как сено. Силкина ввела в комнату врача. Женщину. Молодую, в белоснежном халате. Улыбаясь, та присела к Кропину на кровать. Простыню на Кропине сразу подняло шатром. Но врачиха стала доставать из сумки медицинские инструменты. «На что жалуетесь?» Кропин хотел сказать, объяснить, но сразу встряла Силкина: «Понимаете, доктор, у него...» – и быстро зашептала ей что-то на ухо. Чтобы не слышал Кропин. Кропин, отвернувшись, плакал от счастья. От услышанного бровки врачихи удивленно вздернулись. «Да, да! – под-

твердила Силкина. – Да! Неутомим!.. И в таком возрасте. Ужас, знаете!» Кропин совсем зашелся в плаче. Врач вернула себе деловитость. «Послушаем для начала пульс!» Откинула простыню. Повернула удивленное лицо к Силкиной: «Однако!» Но взяла на ладонь все напряжение. Всё напряжение Кропина. Как берут большого налима. Чтобы покачать, прикинуть вес. Качать, однако, не стала, а средним пальчиком правой руки, поджав остальные пальцы, – приложилась к толстой жиле, стала слушать, считать пульс. Кропин опять испытывал огромное смущение вместе с возрастающим, огромным напряжением. «Доктор, что вы делаете, не надо!» – «Не мешайте считать пульс!» – сдавила напряжение доктор, а Силкина стала гладить по голове, успокаивать. Ничего, ничего, не надо смущаться. Здесь все свои. Члены партии. Сейчас вам станет легче. Мы теперь в курсе. Мы вам поможем. Дело житейское. Облегчим. Спокойно! Прослушала, наконец, врач пульс. «Пульс несколько учащен, но большой наполненности. Наш человек, наш! Отличный пульс!» Кропин с облегчением выдохнул и... и проснулся. Да что же это такое?! К чему это?! За стеной Переляев старался, сено шелестело интенсивней. Черт бы вас побрал! Через минуту Кропин резко всхрапнул. И сразу засмущался, извиняясь перед врачихой. «Ничего, ничего! – успокоила его та. – Теперь мы поставим вам градусник!» – «Зачем?» – «Надо!» Градусник она приложила прямо к напряжению. Вдоль него. «Держите!» Кропин обхватил. Удерживал. Двумя руками. Как на дереве привой. Градусник нестерпимо жег холодом. «Не могу держать, доктор!» Вскочил, побежал куда-то, по-прежнему удерживая все двумя руками. Бежать было очень неудобно. Мельтешил ногами. В коридоре-туннеле общаги его догнали. Опять Силкина. Запыхалась вся. «Ай-ай, Кропин! А еще старый партиец! Ну-ка назад! К врачу!» Схватила за все напряжение с градусником. Повела Кропина, потащила. Как за оглоблю телегу. Кропин приседал, ему было нестерпимо сладостно и больно... и снова разом проснулся. Обшарил простыню... Да-а! Вот так стари-ик!..

Через час на кухне Кропин углубленно сопоставлял утренний сон и его следствие с предстоящим собранием. С собранием в общежитии. Где будут выдвигать Силкину в депутаты. В райсовет. Как голосовать после такого сна? После того, что произошло? И вообще, к чему весь этот сон? Манная помешиваемая кашка привычно всхлипывала, не мешала размышлять, делать сопоставления. Однако интересно – к чему такой сон? Вещий, что ли? Или – наоборот? Пустой, проходной?

Футбольный лоб утреннего радующегося Переляева умыванием был протерт до блеска. Переляев шутил, орудуя вилкой, жадно насыщался, набирал силы после бурной ночки. Хохотал, подмигивал то Кропину, то Чуше. А Чушины попугаи по волнующемуся халату словно бы слегка смущались шутника, словно бы соскальзывали с халата, прятались. Всё было по-семейному. Крепкая семейка. Утром на кухне. Благодушнейший святочный дедушка или дядюшка. В фартучке, в белом колпачке. И его молодые, хорошо плодящиеся детки. А где внучатки? Где они? Эй вы, пострелы! Кашка готова! Живо сюда!

На собрании Кропин сидел рядом с Новоселовым. С Сашей. С председателем Совета общежития. От сцены ряду так в пятом или шестом. На сцене же, за столом президиума, точно надев одну на всех кумачовую юбку, сидели слева направо: начальник автоколонны Хромов, глава треста и данного собрания Манаичев, представитель райкома, импозантный мужчина, который по-хозяйски оглядывал притихший зал, прикидывая, видимо, что можно с него сегодня взять, затем Тамиловский – парторг и секретарем – Нырова. Сама виновница торжества, то есть Силкина, находилась через ряд от Новоселова и Кропина, с краю, скромненько и даже стыдливо клонила головку. Но когда к трибуне чуть не за руку вывели представителя так называемого рабочего класса, какого-то парня из хромовских гаражей, и он с трудом заговорил... Новоселов и Кропин одновременно увидели, что она, Силкина, сразу закивала головой, что губы ее... шевелятся, повторяют за этим парнем, вычитывающим из бумажки. Парень мается, выковыривает слова из написанного, а она – шевелит за ним губами. Помогает ему. Непроизвольно, автоматически. Как учителка. В школе. За послушным учеником. То есть она знает текст. Знает текст этой нахваливающей ее бумажки. Знает наизусть. Она сама ее составила, написала. Говорящий – только попугай. Послуш-

ный попугай. Она и репетировала с ним. Губами своими, киванием своим она сейчас словно вытягивала из парня слова. И парень, с трудом вычитывая, послушно бубнил: «...Вера Федоровна Силкина... с народом... Да... Она всегда... По чему... В чем... С чем ни обратишься к ней... всегда... поможет... разберется, решит вопрос... Я бы даже сказал, всегда...» Парень вгляделся в бумажку. Никак не мог осилить диковинного слова. Силкина готова была лезть ему в рот, чтобы растормошить там язык, чтобы он, язык, заработал, наконец. Заработал транспортерной лентой! «Всегда... *уважит*!.. да, всегда уважит рабочего человека!..» Парень достал платок. В растерянности Новоселов и Кропин воззрились друг на друга. Точно призывая один другого в свидетели. Но Силкина уже опомнилась, опять сидела скромненько, потупившись, и парень спасался сам, один, как мог. Было дальше и «верная... вернее, верный ленинец Вера Федоровна Силкина», и «авангард рабочего класса». И... «призываю... это... голосовать!»

Закончил читать парень. Перевернул в неуверенности бумажку. Однако на оборотной стороне всё... он... уже прочел. Больше – нигде, ничего. Честно повернулся к президиуму. Ему кивнули: свободен. Так я пойду? Иди. Парень пошел. Очень серьезно Манаичев пригласил всех к аплодисменту. Требовательно. Поворачивая во все стороны свои хлопки. Затем, пока хлопали, изучал список. Обдумывал, кого дальше выпускать. Но встал и полез по ряду Новоселов. Вздергивал руку, выкрикивал, спотыкался. Пришлось выпустить. Давай, Новоселов.

С трибуны Новоселов сразу заявил, что ни одно из требований предыдущего собрания, требований жильцов общежития... администрация не выполнила! Ну-у, парень! – загудел президиум. Так загудели бы, наверное, добродушные шмели. Если бы их задели, потревожили на цветущей яблоневой ветке. Да, ни одно из требований! Ни по ремонту общежития, ни по благоустройству территории, ни по столовой. Да ни по чему!

Трибуна, сама тумба все время мешала Новоселову. Все время как-то оказывалась впереди него, вставала на его пути. Он тянулся из-за нее, размахивал рукой, казалось, смещал, переставлял трибуну то вправо от себя, то влево. Пока вообще не бросил, не отвязался от нее и не стал говорить прямо с авансцены, страстно придвинувшись к людям, нависая над ними:

– ...По-прежнему процветает блат, кумовство, если не сказать хуже! По-прежнему лезут в общежитие какие-то шустряки, к которым потом едут их смуглые постоянные братья в больших кепках! Ни одного шофера нашего не поселили за два месяца! Ни одного! Ни одного слесаря! А эти – пожалуйста! И большое подозрение, что многие уже с пропиской. Притом – с постоянной... Откуда?! Как?! Через кого это идет?!

Вопрос этот не повис даже в воздухе, нет, риторический этот вопрос запóлзал по залу, по рядам. Как большой холодный змей. Пролезая словно у людей по спинам, под мышками, меж голых нервных женских ног. Заставляя людей похохатывать, передергиваться, обмирать. И завороженно ждать, прослеживать, как змей этот длинный, пройдя все ряды, вымахнет, наконец, к президиуму: А?! Почему?! Через кого?!

Тамиловский поспешил себе и всему президиуму на помощь:

– Ну, вы это, Новоселов, того!... э-э... лишку, я бы сказал, и не обоснованно, и бездоказательно. Да, бездоказательно. Мы сейчас выдвигаем Веру Федоровну. В народные депутаты. Каково ваше отношение, Александр, к кандидатуре Веры Федоровны? Почему вы не высказываетесь по данной кандидатуре? По Вере Федоровне Силкиной? Выскажитесь, Александр! – И ждал, улыбаясь. Так ждут сальто-мортале от своего подопечного. Мол, вертани́тесь, Александр!

– Так о ком я говорил-то?.. – деланно удивился Александр. И пошел со сцены, добавляя не без сарказма: – Мы вот тоже думали, что Вера Федоровна нас с ремонтом... уважит, а она всё нас никак... *не уважит*... Верно я говорю? – обратился к залу.

Лимитчики сперва захохотали, потом страшно захлопали. Энергия хлопков, казалось, сметет президиум. Весь, до последнего члена. Силкина, вся красная, кусала губки. Манаичев же с недоумением смотрел в зал. С неподдельным изумлением. Люди бесновались как после танца-пляски стиляги какого-то, понимаешь. В пьесе, понимаешь, пятидесятых годов. Аплодисменты бешеные – а не поймешь: в осуждение танца стиляги или в одобрение, в поддержку его? Сосед, райкомовец, однако уловил момент, шепнул Манаичеву, тот моментально предоставил ему слово.

И – вот он. Высокий. Вальяжный. В демократичном сером костюме. Выходит. Руку кладет на трибуну привычно, просто. Как кладут руку на плечо корешу. Который всегда выведет куда надо, не подведет.

– Товарищи! Вы же сами рубите сук, на котором вам сидеть! – Зубы его оказались необычайно белыми. Его улыбающийся рот казался снежной ямой! – Товарищи, неужели вы не понимаете, что в райсовете вашего района будет ваш человек. Понимаете, ваш! Ведь он, ваш этот человек, может стать там... э-э... Председателем жилищной комиссии, допустим. Или, к примеру, участвовать в разработке новых положений о лимите, о лимитчиках, то есть о вас же, о вас! Не говоря уже о прописке в Москве! Не говоря уже обо всем прочем! Неужели непонятно? И всем этим будет заниматься ваш человек. Ваш! Вера Федоровна Силкина!

Лимитчики заслушались, а райкомовец подпускал и подпускал. Кто-то, точно толком не расслышав, отчаянно прокричал, будет ли Вера Федоровна заниматься пропиской лимитчиков?

Рот райкомовца отвесился очень серьезно. Этакой тяжелой белой канавой. Трибуна теперь была уже как бы громаднейшей библией, на которую кладут честную руку:

– В первую очередь, товарищи. В первую очередь. Отложив все дела. Я знаю Веру Федоровну. Это – наш человек!

Его провожали такими же аплодисментами, как и Новоселова. Если не более бурными. Он спустился в народ, подсел с краю к Силкиной. Очень как-то прямо и высоко подсел. Опять-таки очень бело, очень широко ей улыбался сверху. Как пломбир предлагал. Силкина, маленькая Силкина рядом с ним приниженная, вцепилась ручками в его большой кулак. Еле сдерживая слезы, – тискала кулак. Тискала. Аплодисменты разом усилились, накрыли их с головой.

Дело было сделано. Манаичев уже привычно командовал голосовать. Все дружно вытянулись. Не голосовали только Новоселов и Кропин. Да за лесом рук в последнем ряду сидел, матерился полупьяный опоздавший Серов.

Потом выступала сама Силкина. Горящие красные щечки ее отрясались пудрой. Плачущий благодарный голосок ее был вдохновенен, пламенной бился горлинкой.

На другой день Кропин поехал на Хорошевку, в «Хозяйственный», все за тем же «Дихлофосом». Только новым теперь, очень сильным. Вернее нет средства, сказал сосед. Как прошуруешь – через полчаса ложатся. Точно разбитое войско. Прямо, так сказать, с коричневыми своими щитами. Только заметай потом в совок.

Весенние, спорые, как крестьяне, омолодились тополя. Уже середина апреля. Прохладное небо подметалось облачками. Глаза сами стремились к солнышку. На хорошо проклюнувшемся газоне скворцы бегали, кричали. Крик их казался зримым. Походил на очень черные, трассирующие очереди. Они словно перекидывали их друг дружке... Кропин засмотрелся, остановившись...

Вдруг увидел отпечатанных кандидатов в народные депутаты. На заборе какой-то базы. Мрачным рядом. Уже вывешены. Как уголовники на розыск. Все исподлобья смотрят. Кропин торопливо ходил уже вдоль ряда. Прикладывал к глазу одну линзу очков. Нет, не должна еще быть. Вчера ведь только собрание было. Рано еще. В другой партии должна появиться... И – увидел. Её! Силкину! Портрет! С краю! Улыбается!.. В испуганной, но радующейся какой-то растерянности оборачивался к людям. Вот она. Висит. Стерва. Улыбается. Нашел... Двинулся куда-то. Спотыкаясь, высоко задирал ноги, сразу ослепнув и оглохнув. Рукой с очками промахивался мимо кармана. Это что же выходит? Как понимать?

Вывешенный портрет Силкиной подействовал на Кропина точно маска с хлороформом. Потому что очнулся он почему-то... в зеркальной парикмахерской. Уже сидящим в кресле, уже завязанным в простыню; кругом порхали, стрекотали ножницы и жарко сыпался из пульверизаторов одеколон...

«Как стричь?» – спросили его. «Покороче...» – неопределенно мотнул он возле головы рукой. И... снова вырубился.

Тем временем над Кропиным стали шептаться две девчонки в великих халатах. Две ученицы парикмахера. Не без трепета приступили к учебе. Ножницами они сперва выдергивали клок во-

лос с затылка Кропина, а затем разглядывали плешину и шептались. Еще выдергивали. То одна, то другая. И опять смотрели. Потом начали запускать в волосы машинку. Электрическую.

Одна, вывесив язык, запускала, а другая осторожно переносила за ней подающий электричество провод. Девчонка надавливала, выводила полосы наверх. Как бы прокосы давала. Голова стала как зебра. Бесчувственная – только пружинила... В общем – тренировочная голова была. Болванная.

Подходила сама мастер. Тетя Клава или тетя Даша. Начинала все переделывать, перестригать. Говорила – только в нос, не для Кропина. Девчонки тянули шеи. Когда все было кончено, голова стала походить на малярную кисть-ма́клицу. Хорошо отмоченную и поставленную вертикально... «Что это?» – впервые увидев себя таким, спросил Кропин. «Покороче!» – ответили ему и сдернули простыню. Девчонки кинулись, стали выдувать волоски.

Он вышел. Ничего не поняв. Из какого-то дома. Сразу остановился, соображая, оглядываясь на вывеску. Кто-то раскрыл дверь – в лицо пахнул жаркий одеколон парикмахерской. Точно заново. Точно исключительно для Кропина. И какие-то две девчонки в халатах из окна хитро выглядывали... Так, парикмахерская, значит. Он шагнул было в дверь, но вспомнил... Да, вспомнил, что... что был уже там. Да, был. В подтверждение провел по голове рукой. Девчонки начали виновато уклоняться от стекла, хихикать. Был. Точно. И... разом, с разворота рванул к Новоселову. К Саше. Благо – воскресенье. Наверняка дома. Должен быть, во всяком случае...

Новоселов с пятком пэтэушников махал метлой возле общежития. Новоселов подгонял их, вялых, недовольных. Шутил, подбадривал. Подошедший Кропин подхватил его под локоть, повел в сторону.

– Где это вас?.. – Оглядывая его голову, еле сдерживал смех Новоселов.

– А! – махнул рукой Кропин. – Не в этом дело, Саша! – Озабоченно ходил. Можно сказать, метался возле Новоселова. С затылком в прокосах. – Здесь не решились. Понимаешь, Саша! Не решились. Силкину. А подальше пока, подальше. Возле дихлофоса. Возле этого, как его!.. возле «Хозяйственного». А дня через два и здесь уже можно будет, и здесь. Понимаешь? Всю общагу залепят. Любоваться можно будет тогда, любоваться. А пока рано еще здесь, рано. Понимаешь? Стратегия, тактика! Пока нельзя здесь. Вчера только собрание было. Понимаешь? Нельзя. А завтра, дня через два – можно, постараются. Всё обляпают. Вот увидишь!

Новоселову сразу стало тоскливо. Жалко стало доверчивого, наивного этого старика... И прическа эта вот его еще. Как будто специально оболванили...

– Ну, зачем вы, Дмитрий Алексеевич... Разве вы не знаете, как это делается?.. Честное слово...

– Нет, погоди, Саша. Это что же получается? Еще ни кола, ни двора, как говорится, а уже всё распечатано, приготовлено! Выходит, всё предопределили заранее! Еще собрания – и в помине, а уже портрет заказан, отпечатан, уже висит! А мы, как бараны...

– Не надо, Дмитрий Алексеевич...

– Да как же так, Саша!.. Да я... да я сейчас пойду – и выскажу ей! Всё выскажу! – кипятился Кропин. – Да что же это такое! Мы что – бараны, которых стригут, как кому хочется?..

Новоселов смотрел на дико остриженную потрясывающуюся голову старика, и ему стало жаль его до слез... Приобнял беднягу, повел в общежитие, к себе, чтобы успокоить как-то, поговорить, попить с ним чайку. Беззвучные, пэтэушники разом заплясали, задергались, как обезьянки. Затем побросали метлы-лопаты в тачку, смело затарахтели следом. Новоселов не возражал.

От Новоселова Кропин вышел в седьмом часу вечера. Стоял на остановке словно бы с новой верой. Точно начал все сначала. Точно оставил всё за спиной и стремился заново всем заинтересоваться. Вот, скажем, совсем недавно прошел небольшой дождь. Может быть, даже первый. Апрельский, весенний. Три промокшие вороны над рассеянным по воздуху парком сидели на проводах. Напоминали три нахохлившиеся молчаливые ноты. Солнце было далеко – как оставшаяся пройденная дорога...

Спросил у толстой пожилой женщины, стоящей с большой, по-видимому, пустой корзиной на руке:

– Цветы продавали?

– Цветы, – хмуро ответила женщина и поправила на корзине тряпку.

– Подснежники?

– Еще чего!.. По лесам-то лазить...

Так. Значит, уже из теплицы. Кропин хотел уточнить... но тут откуда-то на остановку, к людям, вытолкнулась пьяная. Тощая женщина в длинной вислой юбке. Она стояла и прогибалась на месте, как кисть.

Промахнулась мимо автобуса. Точно теряя за собой ноги, повалилась на проезжую часть дороги, подкинулась. Тянулась рукой, будто выползала из сырой своей, мертвой длинной юбки...

Кропин это... как его? Как же так, боже ты мой! Он же – Кропин! Ведь он же не был бы Кропиным – если б не ринулся, не побежал! В следующий миг он уже растопыривался над женщиной, суетился. Ах ты, беда какая! Подхватил было под руку, чтобы поднять как-то, поставить на ноги... но получил резкий тычок в бок, чуть не сбивший его с ног.

– Ну-ка, старик!..

Два Сизых, невесть откуда взявшихся, сами сдернули пьяную с асфальта и повезли к сизому фургону. И всё они делали быстро, всё у них было отлажено. Закинули женщину в сырое темное чрево. Закинули как корягу. Которая медленно, жутко оживала там на полу. И точно добивая ее, с железным грохотом захлопнули дверь фургона, натренированно, один только раз повернув в замке т-образным ключом. Залезли в кабину. Поехали.

Кропин весь дрожал, отирал пот, подходя обратно к остановке. Все ожидающие автобуса как будто не замечали старика. Смотрели мимо, по сторонам. «И надо было тебе ввязываться?!» Тетка! Которая с корзиной! Смотрела с устойчивым презрением. С брезгливым превосходством. «В луже-то валандаться... В грязе́... А? И не стыдно?..» Кропин делал вид, что не слышит.

В автобусе тетка бубнила ему в спину. Притом так, чтобы всё было понятно окружающим. О чем речь, значит. Призывала всех в свидетели. Такому придурству. Вот только что случившемуся. На остановке. Не могла она простить такого старику, не могла. Ей хотелось сунуть ему по стриженому затылку. И-ишь, стиляга-а! Кропин прошел вперед. Вон он, который котелок обрил! Вон он! Как только автобус остановился – вышел. Тетка лезла с корзиной к окну, дергая сидящих людишек за головы, показывала на Кропина. Автобус убалтывал и ее, и выворачиваемых ею людей.

Кропин сел на скамейку. Все вытирал платком лицо. Склоненная розовая голова его с торчащими ушами походила на ягненка. Усмехался. Случай этот тетка будет помнить теперь всю жизнь. А часа через два-три его будет знать вся ее Кудеевка...

Поздно вечером в звездном небе, будто в сильно траченной молью негреющей кисее, зябла маленькая старушка луна. И опять ждал Кропин, чтобы ехать. Теперь, исправившись перед людьми – в глубоко насаженной шляпе. Как сельский молдаванин. Был тих, задумчив. Глаза его журчали, сроднившись с небом. Как еще две большие планеты. Руки удерживали сумку с продуктами для Кочерги.

10. Старость и болезни Кочерги

Деликатно, как мышь, выше этажом грызла тишину супружеская кровать. Иногда теряла терпение, воспитанность. Тактичность. Принималась громыхать. Поражала ежесуточная эта, священная обязательность супружеского ритуала. Его мышиная извинительность, неотвратимость... Наконец похрустывание начинало обретать постоянную силу, постоянный напор. Приближая себя к наивысшей точке, к пику, так сказать, блаженства. И разом обрывалось всё, – как с вывихнутой челюстью... По потолку тут же бежали пятки. В ванной начинала шуметь вода. Шло пос-

пешное паническое вымывание... И ведь не надоедает людям. Удивительно. Кочерга накладывал на голову маленькую подушку, старался не думать ни о чем, старался снова заснуть. Но ничего не выходило – сна больше не было.

Таращился, смаргивая в полутьме, раздумывая, вставать или нет. В телевизор, как в мутный кристалл, засажена была уродливо комнатенка. Вяло поприветствовал в ней себя чужой ручонкой.

Кряхтел, долго садился в постели. С замотанной полотенцем головой, с остеохондрозом своим, подвязанный шерстяной шалью. Проверяюще подгребал к себе всё смятое вокруг. Походил на бесполую старуху. Или на старьевщика какого-то. Барахольщика. Перебирающего свои «богатства». На Плюшкина, точнее всего. В ермолке. С кистями. Усиливая кряхтение, вздергивался на трясущиеся ноги. Стоял изогнутый, с рукой на пояснице. Как будто опирался на изящную тонконогую подставочку в фотоателье. Надеясь с помощью ее разогнуть, распрямить себя. Сфотографироваться, так сказать, с достоинством... Долго шаркал шлепанцами к туалету, попрежнему согнутый, как каракатица. Разматывал, оставлял за собой на полу шаль, какие-то тряпки.

Умывшись, отогревался первым стаканом чая. Тепло падало с глотками в желудок, заполняя всего. Не чувствуя кипятка, оттаивали на стакане пальцы. За окном жужжала простуженная улица. Слышалось оголенно-горячее, духарящееся бормотание экскаватора. «Опять копают, черти...»

Кочерга старел. Словно ограничивал и ограничивал пространство вокруг себя. Как какая-то башня, зарастающая и зарастающая склерозным, острым стеклом. Зарастающая к центру, к нутру... И в комнате с помощью Кропина сдвинул все к середине. К столу. Чтоб ближе было. И тахту, и тумбочки две, и телевизор на ножках. И даже шкаф. И стулья. Всё сдвинулось к середине комнаты и вроде – как развалилось. Как будто затевали когда-то большой ремонт, да так и забыли про него, бросили... Удобно было на тесной кухне – там не надо было ничего сдвигать: руки сами везде доставали... Сердобольный Кропин, видя ползающие по буфету эти точно удлинившиеся руки Кочерги, страстно взывал: «Двигаться же надо, Яша, двигаться! Ногами! Передвигаться, ходить!» – *«Поздно, Вася, пить боржоми...»* – ворча, тащился в комнату Кочерга. «Ну-ка, подвинь-ка лучше... Да не ту! Не ту! Вон ту (тумбочку)!» И Кропин послушно сдвигал всё. Сдвигал еще плотнее...

Нередко, когда оставался один, странное охватывало, непонятное, нервное состояние – холодели и начинали трястись руки, по всему телу рассыпался озноб, обдавало потом... Лицом вверх ложился на тахту, закрывал глаза и, сдерживая стукотню зубов, старался поскорей вспомнить что-нибудь хорошее, светлое. Точно посреди пересыхающего болота, где только труха, прель, зелень, стремился найти, отыскать чистое оконце воды...

Вот идет он от станции, только что сойдя с поезда, бесконечной сельской дорогой. Впереди все время вспархивает под солнце, как под сверкающий душ, черный жаворонок. Трепещет там недолго. И падает, чтобы тут же снова взлететь и затрепетать. Глаза невольно следят за ним, запоминают, идут как за поводырем. А тот будто прочеркивает, все ставит вертикальные вехи свои. И убирает их. И снова ставит. Плечи Кочерги трут лямки тяжелого, набитого продуктами рюкзака, в оттянутой длинной налитой руке тяжело покачивается громоздкий студенческий деревянный чемодан.

А черненький все вспархивал, все выпускал себя под солнце, все вел к чему-то, уводил. А дорога ползла и ползла вдаль. Падала в балочки к стыдливым речкам, пила там немного воды; обходила выгоревшие взрывы тальника, взбиралась выше, вползала в погибшие поля без хлебов, как по кладбищам пробиралась в них к далеким белым хаткам деревеньки с пыльными свечками тополей...

Незаметно исчез с пути жаворонок, пропал, стало как-то пустынно без него, одиноко... Кочерга прибавил ходу.

В Екатеринославке поразили гудящая знойная тишина и полное безлюдье. Не встретил ни единого человека, не увидел ни собаки, ни курицы. Окна хат были пыльно-усохшими, как прослепшими внутрь.

Словно брошенное давно подворье, на краю деревни сидел какой-то незнакомый старик. Опирался на палочку... Кочерга остановился, не узнавая. Старик, приложив палец, по привычке сморкнул из пустой ноздри. Как из пустой груши. И уставился на Кочергу, раскрыв ротик...

– Дедусь! – Кочерга бросился. Подхватил старичка словно мешочек с костьми. Старик сползал по нему, цеплялся крючкастыми черными пальцами, прижимался, трясясь, плача. Из короткой мешочной штанины сорилась на грязную босую ногу моча. Глаза старика были безумны, белы, но голосок рвался, трепетал как птичка, направлял:

– Там вонú, там! Пийди, скоре, Яша! Пийди скоре к ним! Там вонú!..

В хате, на полу он увидел... великанов. Сизых великанов! С толстыми монгóловыми головами. Великаны эти не вмещались в хату! Он никого не узнавал. Плача, они только тянули к нему великаньи свои руки. Как будто от разбухшей стесняющейся неуклюжести своей – не могли встать с полу. Радостно мычали только ему толстыми губами. Точно не могли, разучились говорить человеческой, мелкой речью. У них словно ворочались черные бревна во рту!..

– Яссаа! Яссаа! Яссааа!..

Быстро запóлзал меж ними мальчонка лет десяти, с животом, как с огромным яйцом, и острым членикóм под ним. Он точно вот только что родился от них всех – с ногами и руками как плётки. Он перебалтывал с места на место огромный свой живот, на который налипли мухи, сам – точно беременный, готовый вот-вот разродиться своим двойником с таким же огромным животом-яйцом и членикóм...

– Побачьте! Побачьте все! – пищал он понятным различимым голоском, – Яшка приихав! Яшка! Хлиба привез, хлиба! Яшка! Побачьте! – дергал он взрослых. И взрослые с просветленно-сизыми лицами все тех же монголов мычали только, ужасно, непоправимо в сравнении с ним, мальчишкой, раздутые, и всё тянули к приехавшему спасителю руки...

Студент Кочерга откинулся с рюкзаком на лавку. Горло сжало. Горло стало издавать какие-то дикие, выпукивающие звуки. Так завыпукивала бы, наверное, клистирная трубка. Если б на ней вдруг заиграл кавалерист-буденовец, призывая в атаку... Студент Кочерга глянул в окошко. Дед Яков пытался тащить его чемодан. Старик падал на чемодан, возле чемодана. Легкий, как перо. А чемодан стоял на месте будто каменный...

Яков Иванович лежал, плакал. Веки крепко смыкались, отжимали слезы, точно не могли, точно боялись раскрыть глаза. Так, срывая ногти, не могут разрядить ружье. Выдернуть прикипевшие патроны... Потом постепенно забывался, засыпал.

Очнувшись, смотрел в потолок. Тяжелое это воспоминание требовало какой-то замены, какого-то другого поля, что ли. Где можно увидеть действительно что-то хорошее, спокойное, не рвущее душу...

Вспомнилось то далекое стадо пятнистых оленей в прибайкальской тайге... На которое каждый вечер люди неотрывно смотрели из лагерной зоны, с бугра. Словно бы на приоткрытый внизу, показанный всему лагерю неземной высший смысл...

Стадо всегда вылетало из запятнанного солнцем вечернего пихтовника. Как еще один – дурной – пятнистый лес. Круто завернутое пастухами на конях в луговину, оно сразу начинало закручивать там центростремительные круги... Под висящими тенетами гнуса слышался учащенный храп, стук рогов, стегающие выкрики пастухов.

Справа от кружащегося стада, на бугре, выгнанный на вечернюю поверку, стремился одним взглядом к оленям весь лагерь. Забыв про все, съедая взглядом запретку, смотрели. Почти не смаргивали, не замечали комара, боясь пролить, как ртуть, как олово, цинготные глаза...

А животные кружили и кружили. Кружили вытянутые, как лозы, маралу́шки. Кружили хулиганами в надвинутых рогах самцы.

Приземистые и кривоногие, как колчаны, начинали бегать пастухи. Хитро, пучком кидаемые ими сыромятные ремешки, как почки, лопались и раскидывались на оленьих рогах черными

цветками-петлями. Пастухи сламывали оленя к земле, чтобы быстро осмотреть у него что-то. И выпускали. И животное резко выстреливалось к несущемуся, неостановимому стаду, чтобы тут же поглотиться им, исчезнуть. А пастухи опять бежали, опять хитро – с колена – кидали петли-цветки.

Солнце зашло за большую тучу, стало черновато кругом. Но туча, помедлив, спятилась, отползла – и снова вниз упал солнечный свет, точно опустил ниже котловину, явственней означил. Сблизил два эти круга в котловине. Один – пятнисто-золотой, свежий, весь в жизни, в стремительном неостановимом движении. Другой – словно бы волглый весь, темный, недвижный на бугре.

Небо перед сном поспешно меняло на себе всё. Так меняют простыни, перекидывают одеяла. Потом всё небо разом успокоилось, подготовилось. Закат падал. На освещенной, резко выделившейся запретке, отмазав от себя животных и людей, поспешно строил икону паук. Торопился, старался успеть до темноты. Потом обуглился и пропал. Одиноким совенком клёкнул в темноте звук ударенной рельсы...

Если днем или с утра приходил Кропин – обязательно начиналось какое-нибудь беспокойство, какая-нибудь дурость. Уборку ли вдруг затеет, и непременно генеральную, изводить ли тараканов примется. Выдумает чего-нибудь. Кочергу срочно собирали. Выкантовывали на балкон.

В пальто, завязанный в тряпки и шали, сидел он в балкончике, точно филин в гнезде. От свежего воздуха задыхался, фыркал. Слезящиеся глаза старались понабрать всего с улицы. Грязные, замороченные, тащили за собой чадную дрянь грузовики. Откинуто вышагивали на тротуарах пешеходы. Многие уже без плащей, по-летнему. В сквере от всех убегал тряской трусцой старик. В тощем трико, упругий, как ветка. Точно в контраст ему – другой старик шел. Хромой, на ногу припадающий. Беременная с взнесенным животом казалась идущей на высокой волне лодкой. Еще одна шла. Понятно, не беременная. Эта прямо-таки вытанцовывала. Почти по-летнему одетая девушка. С намазанными губками – как нацинкованная кисточка. Ей навстречу двигала толстая, пожилая. Заранее предубежденная, осуждающая. Хмуро поглядывала на «кисточку». Пошевеливались поперечно под материалом свиной широкий живот и грудь. Оборачиваясь, споткнулась даже, чуть не упав. И в завершение всего, в доме напротив, на балконе, появился в плавках культурист, эдакий утрированный и даже удивленный Нарцисс. Пригибая кулачки к плечам, начал выставлять народу позы. С ногами в мускулах – как в клúновых галифе! Кочерга отвесил рот...

– Ну, как ты тут? – высунулся Кропин.

– Нормально... – пробухтело в нагорбленной толстой непрошибаемой спине, как в дубовой бочке. – Кхех-хех! Нормально... Не беспокойся... Кхех-хх!

Кропин предложил – одеялом еще? Сверху?..

– Совсем завалишь... Нормально... Кхех-хх! – Кочерга кивнул на культуриста: – Вон – смотри. Закаленный. Не то что я...

Культурист резко согнул, посадил руку. Как небывалый член.

– Паразит! – заключил почему-то Кропин. Исчез.

Полный впечатлений, довольный, Кочерга ввалил с балкона в комнату. В спертое, кисленько пованивающее, привычное теплецо. Начал разматываться. Кропин, улыбаясь, помогал. Разговаривали.

Еще полгода назад, еще прошлой осенью, Кочерга мог как-то передвигаться. Раза три на неделе Кропин выводил его во двор. Самыми трудными и опасными были действия на лестнице. Процедура напоминала кантовку по крутым ступеням вниз растаращенного большого ящика. Пятясь, нашаривая трясущимися ногами ступени, Кропин боялся только одного – не выпустить, не придать ему (ящику) опасного ускорения. Не пустить его на свободное, так сказать, кувыркание... Кое-как спускались.

Во дворе, сырые и серые, как голикú, мотались под ветром деревья. Плотный, сырой, желтый неубранный лист на детской площадке был перетоптан грязненькими, теряющимися в нем до-

рожками. Кочерга сидел на скамье под отдельным пустым тополем, который, как шумовик, изгнанный из окружающего театра, по-прежнему отчаянно шумел, не мог, походило, жить без шума.

В нависающей, клювообразной гангстерской шляпе, остря плечи старинного драпового пальто, Кочерга опирался на самодельную палку, с самодельной же, уже засалившейся лямкой-петлей на кулак... (Когда Кочерга тащил ее обратно по лестнице в квартиру, она колотилась о ступени будто лыжная. Как за лыжником... Ее невозможно было потерять. Вот в чем дело. Она была вечной. И это хорошо. Она так же хорошо шла для помешивания кипящего белья. В баке. На плите. Это – когда переходила в пользование Кропину. Специалисту. Да.)

Строго бодря взор, Кочерга оглядывал все вокруг. Дружно, плотно сидели старухи возле подъезда. Тряся мокрыми, грязными ло́хмами, как попонками, бежали бобики за тощей сукой. Кочерга оглядывался. Еще чего-нибудь искал интересного. Забавного. Начинало как-то доходить, почему старухи ежедневно выползают на лавочки... И сидят. Беззубыми стиральными досками. Да. И не загоните обратно! И будем сидеть! И будем стирать всех!.. В общем – доходило. Понимал.

Когда Кропин тащил на крыльцо, Кочерга молодецки хрипел старухам: «Девки, жениха ведут!» Старушонки начинали гнуться, по-детски прыскать, удерживать в пригоршне последние зубкú. Кропин напряженно метался, раскрывал дверь, стремился скорей прекратить этот жуткий афронт. А согнутый Кочерга все расшиперивался, все стукал палкой по крыльцу, точно не хотел идти в дверь, точно хотел остаться «с девками». «Девки, уво-одят! Спасай!»

Тогда же, осенью, стал появляться во дворе и Странный Старичок.

Очень тихий, прохиндеистый сын с хмурой женой в соседях у Кочерги числились давно. Лет пять, а, может быть, и больше... Тихо всё делали, незаметно, без скандалов с соседями. Месяца два доставали уборщицу лестницы, старуху, недодавшую им когда-то десять копеек сдачи... При виде поднимающегося по лестнице человека – знакомого, соседа, да Кропина, черт побери! – сразу хмуро отворачивались к своей двери. Начиная углубленно ковыряться ключом в замке. Точно только что пришли с улицы, а не намылились с пустыми сумками на выход, в магазин. Он в длинной кожаной куртке, бедрастый, как жужелица, она в коротком клетчатом пальто, толстоногая... Старались ни с кем не здороваться. Такова была хмурая, злая задача. Старались всегда проходить. Проскальзывать. И не из-за боязни людей. Больше, походило, от суеверной какой-то, непоборимой брезгливости к ним. Как к каким-то черным кошкам через дорогу... Иногда, впрочем, пытались смягчить как-то всё. Косоротую улыбку натянуть хотя бы... Не выходило. Старух на лавке не проведешь. Понятно, сладчайшей были для них занозой...

Стеснительный и даже робкий, Странный Старичок, в отличие от сына и снохи, здоровался всегда. Не получалось у него, чтобы не поздороваться с соседями. Первым здоровался... И вот такого – выписали из деревни. Затевался, видимо хитрожо... проворот с квартирой. Расширение. Хитренькое дельце. Детей у них не было. Так не для собачонки же в самом деле старика сдернули? Ясное дело!

На крыльце Странный Старичок появлялся – точно вытолкнутый из подъезда. Топтался в неуверенности, опутываемый по ногам вынюхивающей собачонкой, торопливо перекидывал с руки на руку поводок.

Поздоровавшись со старухами, мимо них шел трудно, застенчиво. Как ходят люди с грыжей. Грыжевики. Сталкивая таз, подплетая ножками. Хотя грыжи у него – и об этом почему-то знали все – не было. Да, не было!

До озноба смущался, когда собачонок его загибался в сладостную свою дугу. В самых, как казалось Старичку, неподходящих местах. Топтался с ним рядом, робко подергивал поводок. Мол, нехорошо тут, Дин, не место. А кобелек давил на землю, не обращал внимания.

Кочерга порывался что-то крикнуть Странному Старичку, прохрипеть что-нибудь веселое, шутку какую-нибудь, призыв, но видел, что далековато, не услышит. Тогда начинал вздергивать

вверх руку с болтающейся на лямке палкой. Мол, эй, Странный Старичок! Рули сюда! Сюда, ко мне! Со своим Дином! Поговорим!..

Старичок сразу как-то застывал. Боялся шевельнуться. С растерянной улыбкой все того же грыжевика. Или как будто стоял на рентгене. Уже по пояс раздетым. А тут еще откуда-то мальчишки набегали целой шайкой, окружали Дина. Который был все так же загнут в дугу. Будто гимнаст. *Охтыбля-я! Стойку жмё-от!* Лет по десять-одиннадцать им. Затаенным, терпким все переполнены матко́м. Не держали его. Эптвою! Как мочу свою. Ночную, детскую. *Охтыбля-а! Эптвою!* Старичку становилось совсем неудобно, мучительно. Тут не сельская школа. Тут город. Тут другие песни у детей. *Это то-очно, дед! Эптвою!* Старичок сдергивался кобельком с места, убегал куда глаза глядят. *Охтыбля-а! Рван-ну-ул! Как Никулин с Мухтаром! Ха-ха-ха! Эптвою!*

Через какое-то время с катающимся в ногах Дином опять трудно проходил мимо старух. Опять точно паховую грыжу нес, подплетая ногами. В старушках сразу возникал оживленный стукото́к. (Такой стукоток возникает в коклюшках.) Кочерга, проследив за всем, азартно ударял себя по колену: разговорю я тебя, черта! Не я буду – разговорю!

Глаза Кочерги хулигански поблескивали из-под шляпы. Смеялись. Какие болезни? О чем речь? Орел сидит! Беркут! Кропин подозрительно оглядывал друга, которого оставил вот только на полчаса. Выпил, что ли? Но – где? Когда? Как? Кочерга в ответ хохотал. Однако когда тащили, начинал стонать, приседать от боли в спине, растаращиваться. Всё возвращалось к нему. Вся его действительность. Но на крыльце про спектакль «с девками и женихом» не забывал, и старушки гнулись опять от смеха, опять словно собирали в пригоршни падающие желтые свои зубку́. И – как мгновенно облысевший вихрь – метался в дверях Кропин...

Когда Новоселов впервые позвонил в квартиру Кочерги (все вроде бы правильно, четвертый этаж, квартира 35), за дверью началось какое-то странное шебуршание, царапанье. Точно дергали дверную ручку чем-то. Не рукой. С кряком дверь подалась, приоткрылась. Образовалась темная щель, из которой пахну́ло затхлым, непроветренным. Странно. Новоселов, давнув дверь дальше, вошел. Ноги сразу наступили на какую-то веревку. Веревка под ногами зашелестела. Ее явно дергали, тянули куда-то по коридорчику. И она была привязана к ручке входной двери. Ага! Понятно! Новоселов, прислонив сумку с продуктами к стене, двинулся по этой веревке. Ощущал себя полярником в пургу. Сунувшимся в темноту полярной ночи, в мороз. Покакать.

В окно солнце не попадало, да еще старые тюлевые шторы съедали свет с улицы, и в комнате было темновато, сумрачно. Вся обстановка как-то сгрудилась от стен к середине комнаты. Как при ремонте, при побелке – в тихом словно испуге была насторожена и как-то давно неподвижна. Торчал испуганно шкаф, какие-то кругом темные ящики, картонные коробки на полу и на ящиках, некоторые раскрытые, некоторые перехлестнутые бечёвками. Со всех сторон стиснутый, астматичный словно бы – стол в махровой скатерти...

– Есть кто живой?

Из-за шкафа выглянуло и, как на морозе, на холодном ветру, продребезжало что-то вконец загнутое, старческое, завязанное в шали и тряпки:

– Вам кого-ооо?

Новоселов поздоровался. Невольно закричал, спрашивая, здесь ли живет Яков Иванович Кочерга.

– Здееееесь. Яяяя... Здравствуйте... Слесарь, что ли?

Новоселов удивился. Вообще-то он...

– Тогда иди. В ванной. Сливной бачок не в порядке. Сам разберешься. Я... оденусь... – Старик поддернул толстые китайские кальсоны к горбу, обмотанному шалью. Ушел за шкаф.

Новоселов послушно двинулся, куда ему велели. Все это становилось забавным. Нашарив в коридоре свет, обнаружил дверь в ванную. Открыл. Тоже включил свет. Так. Действительно вода в унитаз подтекает, журчит. Все правильно. Смотрел озабоченно на бачок. Под потолком. Приковылял хозяин. Уже одетый. В какую-то кацавейку и широченные штаны. В три погибели

согнутый, он смотрел на Новоселова как будто с пола. Как будто лежа на щеке. Ну, что? Мастер? Всё понял?

Входя зачем-то в дубоватую роль то ли слесаря, то ли важного представителя ЖЭКа, Новоселов похвалил старика. Утечка. Да. Непорядок. Устраним. Излишний расход воды. Значительный перерасход по тресту. Спасибо за сигнал. Молодец!

– Да нет! – поморщился старик. – Разговаривает. Как телефон. Заднице постоянно выслушивать приходится...

Старикан-то, оказывается, не без юмора. Устройство все действительно напоминало гигантскую телефонную трубку. Перевернутый телефон. И слушающим ухом его каждое утро и, наверное, на дню несколько раз – была изнеженная задница старика. На телефоне сижу. Ага. Разговариваю. Алло! Да! Слушаю вас! Позвоните потом! Я занят! Фыр-р-р-р!..

Минут пять уже ржавыми мокрыми руками Новоселов пытался что-то сделать наверху в бачке. Поплавок никак не поддавался, не регулировался. Бачок, словно срывая все намеренья слесаря, нагло, во всю мощь начинал фырчать. Новоселов рукой перекрывал хулиганство, не давая безобразничать, снова мороковал. Старикан не уходил, смотрел.

– Что же... у тебя и инструмента даже нет? – полувопросительно, полуутвердительно спросил. – Пропил, что ли?

– А мне не надо. Я руками привык, – честно посмотрел на него слесарь. – Гну. Гайки отворачиваю. Запросто. Пальца́ми (так и сказал – пальцАми)...

– Ну-ну. Давай...

Потом они страшно хохотали на кухне. Узкий горб над кинутой вниз головой Кочерги подплясывал, скакал. Горбик был живой. Горбик верблюжонка. Новоселову хотелось потрогать его рукой, унять как-то, успокоить...

Через неделю, когда Кропин поправился и уже приносил все Кочерге сам, решили пригласить Новоселова на ужин. Заодно и Серова. Чтобы познакомиться с ним Кочерге.

Особых разносолов не готовили, просто налепили сотни две пельменей и стали ждать с томящейся на плите горячей водой в кастрюле. Кропин приодел как-то Кочергу. В полосатую рубаху. С запонками. Попытался раздвинуть в комнате. Чтобы к столу можно было пролезть. На тахте Кочерга посмеивался, зяб, бодрил себя, растирал руки. Пришлось надеть на него старую шерстяную кофту (не пальто же!). Он просил освободить запонки. Чтобы видно было. Запонки были как воспоминание. Запонки были как две тропические ночи. Где-нибудь в Макао. Или на Мадагаскаре. Они явно требовали сигары. Пропущенной меж пальцев холеной руки. Не помешал бы и бокал с терпким вином. *Из моих подвалов. А, Кропин?* Посмеивались. Ждали.

Пришли парни ровно в семь, как обещали. Оба улыбались. Серов подошел, отыскал внизу правую руку Кочерги. С почтением подержал. Точно влажного змея. Сели. Кочерга обратно на тахту, гости – у стола. Кропин поспешил на кухню, к пельменям.

Точно забыв про предстоящий ужин, начали говорить. Сразу о литературе. (Какая там еще погода!) О литературе сразу. Притом, конечно, о текущей. О современной. Кочерга постоянно вставал с тахты, чтобы взять и подать парням очередную книгу. Интересную, с точки зрения Кочерги. Парни сидели с книгами в руках. Поражало мгновенно меняющееся положение старика в пространстве. Он походил на Ваньку... сядьку. Не на «встаньку», а именно на «сядьку». То есть когда встанет – в крючок разом загнется, сядет – опять прямой Ванька!

Серов сосредоточивался:

– Так о ком вы сказали?

Ванька-сядька терпеливо повторил – о ком.

– Ах, об этом... – Серов подумал, что можно тут ответить: – Так какой же он писатель? Он – для пленумов выездных. И только... – Отложил осторожно книгу.

– Не понял, – несколько растерянно повернулся к Новоселову Кочерга. Готовый с Серовым спорить.

– Ну, как вам сказать... – Серов опять отвесил челюсть. Скучно, филосóфно. Обремененный тяжким крестом. Обреченный всю жизнь объяснять, разжевывать истины профанам: – Понимаете, есть писатели, которые пишут, и – всё... А есть – которые для пленумов, для декад. Специальные они. На этом поднаторели. В группки радостно сбиваются. Перед поездками. Колготятся. Потом квакают. Дружно, хором. То в одном месте Союза, то в другом...

– И он что – тоже?..

– Так он главный у них. Специалист по прыжкам. Сегодня в Махачкале под его руководством квакают, завтра в Уфе. Потом еще где-нибудь... Болото большое. На всю жизнь хватит... Так и скачут...

– Ну, хорошо. А этот? – не сдавался Кочерга. Подсунул еще книгу. Толстую.

Серов взял книгу, повертел, не раскрывая даже страниц...

– Ну что сказать... Одна хорошая фраза есть...

– Какая же?

– «Господа, сегодня у Фюрера был отличный стул! Господа!»

– И всё?

– Всё.

Кочерга захохотал. Однако что же, выходит – все его книги никуда не годятся? Макулатура? Так, что ли?

Ну, зачем же так – макулатура? Серов две-три книжки признал. Ничего. Можно читать. Косил по столу. Озабоченно. Уже почти откровенно. Как пересчитывал всё, ревизовал. Сопливые грибы на тарелке. Хлеб. Томатный соус. Сметана. А где – бутылка? Бутылки не было. Точно. И рюмок тоже. Стояли какие-то стаканы. Фигуристого слезливого стекла. Высокие. Под пиво, что ли?.. Неужели под лимонад?! Точно, под лимонад – Кропин тащит. Бутылки в обеих руках. Как связки фазанов. И на стол. Освежайтесь! Серов повернулся к Новоселову: куда мы пришли, Саша? Новоселов шуганул ему в стакан воды с газом. Затем Кочерге. Привстав, перегнувшись через стол. Себе тоже. Своим стаканом обстукал стаканы всех. Будьте! Серов безотчетно взял стакан. Смотрел на все холостое, ненужное на столе – не веря.

Но тут пельмени явились. На громадном въехали блюде. Как отлитые свинюшки. Которых горкой ставят на комоде. Всем на счастье. Ну, чего ж тут! Загалдели все от восторга. Неотрывно смотрели, как от сгоняющей ложки Кропина пельмешки сами торопливо спрыгивали, соскальзывали, схлынывали в тарелки.

Началось сосредоточенное дружное насыщение. Прерываемое только междометиями, короткими восклицаниями, восхищенным просто мычанием. М-м-м-м!

Аттестацию рдеющему повару давал Кочерга. Говорилось ему как бы прямо в глаза. На что он еще способен. Если его, конечно, не остановить. Не дать ему, так сказать, вовремя укорот. По нынешним временам, ты, Митя, из всякого, прости меня, рванья, óбрези, из всякого этого самого, да простят меня все кушающие... делаешь такое же... это самое. Я хотел сказать, – конфету! Из этого самого! Ужинающие хохотали. Сам повар от возмущения начинал подкладывать всем в тарелки. А Кочерга все говорил и говорил ему. Как выговаривал. Как пенял. Притом в той дурацкой манере, несказанно удивляющей повара, когда говорят для одного (Кропина в данном случае), а смотрят со смехом в глаза другому (в данном случае – Серову). Создавая этим самым второй план произносимым словам. Может быть, даже более важный, чем первый. Создавая подтекст. А вот смотрите, что из этих слов будет, что за ними стоит. Поймет ли старая калоша, что ему говорят и о чем?.. Вот такая манера у хихикающего горбуна появилась. Перед молодыми парнями выставилась... От греха Кропин подхватил блюдо – и на кухню. За следующей партией пельменей!

Кочерга после обсуждения его библиотеки, после разговора «обо всей этой советской литературе»... чувствовал себя несколько уязвленным. Ущемленным, вроде бы. Недоброкачественным, что ли. Если принять себя за некий паштет. Рыбный, к примеру. Из частика. Из вчерашней вскрытой банки. Хотелось свежести какой-то. Чего-то осетрового от себя. Какого-нибудь балыка. Потянувшись к сметане в пол-литровой банке с торчащей ложкой, вроде бы рассеянно спросил, на

чем парни работают. На каких машинах. Будто бы не совсем знал точно. Или боялся напутать. Машины ему были названы. Марки. И самосвалов, и грузовиков. Так. Помешал порошковую сметану как жидкую белую краску. Изучая, налил себе на тарелку. С брезгливостью маляра бросил белую ложку обратно в банку. Тогда следует задать вопрос: а *Усатый* с вами катается? На стекле? Кабины? Обмакнул пельмень, запустил в рот. Парни, размеренно заглатывая, дружно ответили, что не доросли еще, не достигли. Ну что ж, вроде бы и всё, вопрос исчерпан. Однако вот тут-то только и началось всё, вот тут-то только и пошло рассуждение:

– ...И ведь что удивительно! Обратите внимание! – заливался уже Кочерга. – Давно, что называется, человек отстрелялся. Давно. Больше двадцати лет прошло, как его нет... Но, упорно размножаясь на барахолках, продолжает рикошетить трубкою своей. Продолжает. Вот как раз со стекол ваших грузовиков. По всему Союзу! Почему?

Докторально Серов начал было опять объяснять. Что мода просто. Вызов. Фронда. Скандалёз. Но старика трудно было сбить. Старика трудно было уже остановить, унять:

– ...Нет, почему люди так любят мифы, легенды? Почему они не хотят, бегут реальности, правды? Ведь некоторых парней этих на свете-то не было, когда он – был? И вот поди ж ты!.. Налепили. Как иконы выставили. Вот они мы – герои! Диссиденты навыворот! Вверх тормашками!

Над столом старик руками словно бы уже раздвигал перед собой горы. Словно бы с лесами, с бурными потоками, реками. Чтобы пройти, наконец, в лучезарную долину, к лучезарной Истине. Чтобы добраться до нее, наконец...

– ...Ведь тащат люди мифы через века, через тысячелетия. Христос, Будда... Аллах... Почему человек готов принять сказку? Миф? Почему он трепетно ждет его? Чтобы подхватить? Почему человек у себя под носом-то ничего не видит? Не хочет видеть?.. Вот загадка!..

Когда Кропин притащил пельмени, Кочерга был уже упрям, черно-красен. Как в явном перекале ржавый тэн. Никто с ним не спорил. Правильно, не спорил. Парни жевали. Верно, жевали. Согласен. Однако нужно было высказаться. Высказать свое. Хотя бы этим ребятам. Сидело это. Занозой. Выковырять ведь надо. Освободиться как-то. Не замечал подсовываемых ему пельменей. Весь был в словах своих:

– ...Да все эти теперешние квартиры, забитые барахлом! Все эти дачи, гаражи... с консервными лакированными банками в них!.. Не стали счастливее от этого люди. Не стали. И не станут... Давно уже Ваня сел в свой автомобиль. Давно. Да перекрестился он, сердешный, ремешком, да как бурлак лямочкой, рулит, назад уже не оборачивается... И что? Лучше он стал? Счастливее?.. Нет – не стал, – отвечал себе философ. – И не станет... Угрюм, замкнут, жаден, всем недоволен. Вот теперешний его портрет...

Напрашивался вывод, виделось резюме: человека может спасти только духовное, истинное, так сказать, вечное. Кто ж спорит? Согласны. Молодые люди отправляли в рот пельмени. Хотя, с другой стороны, и «консервные банки лакированные» не помешали бы, надо думать. В духовном развитии. Но Кочерга все говорил и говорил. Один. Как бежал. Как уже издыхающий в эстафете физкультурник. У которого никто не отнимает палочки. Серов только неуверенно как-то подхватил ее, наконец. Ну, палочку, значит. Тоже с нею побежал. Нельзя же только есть. Ощущал себя лесником-рыбаком-пасечником. В резиновых ботфортах из тайги выбежавшим:

– ...У нас – как: сетчонку кинул, рыбки поймал – так взгреют, забудешь, где река твоя родимая находится. Завод с берега реки рыбу травит – это ничего, это по-хозяйски!.. – Охотник поводил вытаращенными глазами. Потом покатал словно под сивой бородой очень крупным желваком: – Сто грамм лишние выпил, попался – навеки забудешь водки запах. (Ой ли? – подумалось Новоселову. Да и Кропину.) Завод, спиртзавод, винокурит, размывает мозги миллионам людей – это ничего, это государственный подход!..

Пасечник-лесник-рыбак хмурился. Да-да, верно, поддерживал его Кочерга, сам не поймавший ни единой рыбки ни сетчонкой, никак. Зато лишние сто грамм не раз в жизни допускавший. Да-да, как верно. Ка-ак верно...

И они заговорили. Теперь уже оба, враз. Перебивая друг друга. Это было соревнование по разоблачительности. Соревнование по сарказму. Упражнения в едкой желчности. Новоселов и Кропин не могли так. Сидели, несколько стесняясь. Они ведь были больше практики, работяги, волы. Не интеллектуалы, нет, не говоруны. Завидовали. Ишь, шпарят. Что один, что другой. Иногда тоже пытались что-нибудь вякнуть. Умное, может быть, вставить словцо. Раскрывали даже рот... но всё уже проносилось мимо. По-заячьи, быстро. Как мимо плохих охотников. Только что, значит, ружье-то – а уж меж ног твоих! И где-то уже вдали теперь. И топчешься. С ружьем-то, значит. Куда теперь стрелять?.. А то и просто не давали им говорить: молчите! Мешаете! Спугнете только! (Зайцев, значит.)

Первым отвалил на кухню Кропин. А за ним и Новоселов погодя. Мыли посуду. Это дело было привычным, успокаивало. Говорили о философах. Посмеивались.

Однако записным говорунам, профессионалам, без слушателей, без зрителя с раскрытым ртом – не жизнь. Спустя минут десять начали скисать и как-то жухнуть. Пришлось идти на кухню. И даже Кочерга поковылял. И в тесной кухонке снова все было вспыхнуло: и обличения пошли, и боль за Россию, за страну, и с хрустом крупного грецкого ореха опять пошел разгрызаться на зубах сарказм, но... но Серову уже явно хотелось курить. И Новоселову – тоже. Терпели уже. Точно перед маленьким туалетом в очереди. Переминались. Кропин догадался, предложил курить прямо на кухне. Ну что вы! Разве можно тут! Глядели на свесившуюся плешь Кочерги. Которая смахивала на бесценный пергаментный манускрипт. Из какой-то кунсткамеры. Нет, мы лучше уж на лестнице. В ведро высыпали горелые спички из баночки. С пустой баночкой пошли.

Задымили, наконец, на площадке.

Дверь из квартиры напротив приоткрылась, и снизу тряско выбежал... ритмический какой-то кобелек. С болтающейся черной челкой. Как Гитлер. Побрёхивая втихаря, ритмично обежал площадку и так же, взбалтывая челкой, убежал обратно. Вот так номер цирковой! А в образовавшейся щели зачем-то остался стоять старичок. Он точно давал рассмотреть себя. Вороток рубашки его был пожеван, застегнут на верхнюю пуговку. По-деревенски... Он зачем-то сказал: «На место... Дин...» Он стоял в приоткрытой двери, словно в приоткрытой книге. Которую никто не хотел читать... Парни поспешно поздоровались с ним. Он тихо ответил. Прикрыл медленно дверь. Будто жилище свое. Будто жил в двери. Долго не щелкал замком. Щелкнул, наконец.

Туша папиросы, посмеиваясь, парни пошли в квартиру Кочерги. Занятный старичок. Запоминающийся! И кобелек его тоже!

Потом вернулись все в комнату. Где абажур светил вниз. Где абажур был как перс. Расположились за прибранным уже столом. Пили чай из сервизных чашек с блюдцами. Еще разговаривали. Наконец парни поднялись, чтобы прощаться, уходить. Кочерга стоя ждал, когда найдут его руку, застенчиво улыбался. Светил себе, как горбоголовый фонарик. Просил приходить еще. Не забывать. Парни дружно обещали. В тесной прихожей вытягивались за плащами, спотыкались, топтали по полу много обуви. Кропин, смеясь, растопыривался, торопливо выдергивал ее из-под их ног, освобождал дорогу. Распрямившись, красный, слегка окосевший от летающих белых мух, тоже отдавал на прощание свою костлявую стариковскую руку, запрятывая другой рукой за спину какой-то драный черевик Кочерги...

Луна приводила и держала в комнате дрожащие летучие тени. Кочерга лежал среди них, словно в ночном озере среди тенистых весенних льдин. В широко раскрытых глазах его, как в подводных царствах, всё было освещено, просвечено, всё рябило... Потом глаза закрывались.

...Прежде всего он увидел засученные руки Ладейникова, привычно приготовляющие всё на хирургическом словно бы своем столе. Который главенствовал в подвальном помещении, облицованном кафелем, с тремя чашками света под низким потолком... Хирург готовился к операции. Доцент. Профессор. От болезни витилиго засученные пятнистые руки палача были цвета обнаженного нежного мяса... Галифе, удерживаемое подтяжками, висело оскуделой бабьей жопой... Он повернул к нему, сидящему на стуле, свой ласковый голос: «Позвольте вам, Яков Иванович,

для начала галстучек повязать?.. Да не тряситесь, не тряситесь! Я нежненько, нежненько... Куркин, придержи-ка!..»

Через минуту – лежащий на полу, на спине, без воздуха – он подплывал в своей крови. Ладейников высился над ним, широко расставив сапоги. Отдаленная обритая голова была как пест в розовых лепестках роз. «Ну, как, Яков Иванович? Терпимо?»

Пятнистая нежная рука сняла со скамейки ведро – и в лицо, совсем убивая дыхание, ударила ледяная вода. Задыхаясь, вздыбливая грудь, Кочерга... проснулся. Или очнулся – не мог понять сам.

Стараясь не разбудить Кропина, спящего возле тахты на раскладушке, шарил на стуле лекарства. Не хотел ни о чем думать. Провалить бы все обратно, в черноту, в черную яму, в небытие. Пальцы никак не могли выковырять из пластины таблетку, тряслись. Выковыривал. Поглядывал на Кропина.

Круто закинув голову, точно сидя на вокзальной скамье, спал бедный Дмитрий Алексеевич. Как и Кочерга недавно, задыхался, видя нередкий для себя, военный сон. Во сне том, через равные промежутки времени, из пещеры принимался бить крупнокалиберный пулемет. Бить угрожающе, поучительно. Срезанная длинными очередями, хвоя осыпалась килограммами. Кропин вжимался в мох, охватывал голову... Потом на минуту повисала тишина... И опять будто прыгала в пещере устрашающая грохочущая сороконожка!.. Гадина, как до тебя добраться?.. Кропин услышал толчки. В плечо. А? Что? Проснулся. «На бок повернись, Митя, на бок!» Кропин ничего не соображал. «Извини». В раскладушке поднималось щебетанье, точно в птичьей клетке...

Луна ушла, пропала где-то в облаках, стало темно в комнате, а Кочерга все не мог уснуть. Голову ломило, особенно затылок. Голова ощущалась как большая, тлеющая в темноте батарея. Как большой, поедающий сам себя элемент... Снова шарил стакан, запивал какие-то таблетки. Измученно, как сгорая, торопливо храпел Кропин.

11. Сын у меня хороший...

Как-то летом Кропин вышел от Кочерги и закрывал дверь. Дверь напротив была почему-то распахнута настежь. В пустой освобожденной прихожей мелькали то сын Странного Старичка, то жена сына. Переезжают, что ли? А где сам Странный Старичок? В каком-то раздвоении Кропин стал спускаться по лестнице. Однако навстречу с мебелью уже лезли грузчики в комбинезонах. Кропин с сумкой распластался по стене. В двух пролезающих диванах было что-то тигровое. Пара бенгальских тигров пролезала мимо Кропина. Такие же толстые, тигровые были и кресла, тащимые следом. Куда же они ставить-то все это будут? Ведь только две комнаты у них?.. Однако сын и сноха Странного старичка беспокоились, встречали в раскрытых дверях, всячески направляли. Сам Странный Старичок выглянул только раз. В полной растерянности. И исчез. Даже не поздоровавшись.

Через неделю Кропин случайно увидел его в посудном магазине. Неподалеку от дома. В отделе фарфора он просительно протягивал продавщице обломок тарелки. От волнения голос его дрожал. На белой рубашке проступили пятна пота.

Кропин сразу отложил на стеллаж какого-то стеклянного гусака, предназначение которого до этого пытался угадать, и придвинулся ближе. К отделу фарфора... Как он понял из торопливого говорка Старичка, тот просил найти ему точно такую же тарелку. Такой же расцветки, рисунка. Понимаете, разбил. Нечаянно. Мыл ее, она выскользнула – и об пол! Требуют теперь такую же. Чтоб точно такую же принес. Понимаете?

– Да вы что – смеетесь! – У продавщицы волосы были натянуты к макушке. Лицо – будто латунный патрон. – Нет таких! – Двинула обломок обратно. Злая. Пальцами даже брезгливо тряхнула.

Старичок растерянно улыбался. Точно иностранец. Точно ему не перевели. Забыли перевести. На его родной язык... Так оно, конечно. Как же теперь? Ведь сказали, чтоб такую же. Господи, как же теперь?..

Тогда последовало сакраментальное:

– Вы что – русского языка не понимаете?.. Приносят тут... С помоек... – Лицо женщины вознеслось на небо. До него Странному Старичку было не достать.

Подойдя и поздоровавшись, Кропин взял в руки обломок. Половинку тарелки. Однако такого рисунка, рисунка странного, он в жизни не видел. Рисунок походил на какую-то каббалу. На вскрытый мозг человека. На часть запутанного лабиринта, отсеченного от целого... Тем не менее Кропин сказал, что есть вроде бы такая тарелка. У Кочерги. Дома. Вроде с таким же рисунком. Пойдемте, посмотрим. Старичок обрадовался, заспешил за спасителем. Господи, да как же! Ведь сказали такую же. А где ж ее? Ведь не оказалось тут. Продавщица сказала – нету. Да и откуда? Тарелка-то – из Германии. А я, старый дурак – настаивал. Вот ведь как!..

– ...Сын у меня хороший, хороший... – все уверял себя Старичок в комнате у Кочерги. Забыто дергал чай из стакана. Как все пожилые деревенские – с застегнутым воротком белой рубашки. Застегнутым на верхнюю пуговку. – Хороший, очень хороший... Институт окончил... Хороший...

Кропин кивал, соглашался со Старичком как с малым дитём. Кочерга же, ухмыляясь, опускал глаза, готовый к разоблачениям.

Вблизи Старичок казался старей поповой собаки. Волосы реденьким ёжиком. Как у новорожденной, точно уже спекшейся на солнце обезьянки. За семьдесят, пожалуй, перевалило ему. «Я из деревни Долбушка. Наспротив станции под таким же названием. Прямо наспротив. Фамилия моя – Глинчин. Павел Андреевич». Ну, вот и познакомились, наконец. Кропин и Кочерга назвали себя. Пожали ему руку. Оказалось – учительствовал. Сорок пять лет. В этой самой Долбушке. В начальной школе. Жена умерла. Два года назад. Тоже учительница была. Вот и приехал. К сыну. Не хотел, но уж больно звали. Да. А там как же? В Долбушке? Ведь дом, наверное, хозяйство? Всё продал. Сын настоял... Кочерга и Кропин переглянулись. Потом не знали куда смотреть, точно сами пойманные на нехорошем...

– Нет, нет – сын у меня хороший! Не подумайте чего! Хороший! Я всем доволен. Да...

Да – хороший. Кто же спорит?..

Кочерга стукал пальцами по столу. Кропин пылал, сидел-покачивался с руками меж колен.

Никакой тарелки, близкой по рисунку разбитой, у Кочерги не нашли.

Кочерга потом не раз замечал Странного Старичка в окне четвертого этажа. Когда бывал во дворе. Как все та же грустная обезьянка, Глинчин смотрел куда-то вдаль поверх утренних отпаривающих деревьев. Наверное там, вдали под солнцем видел свою дорогую Долбушку... Кочерга начинал взмахивать палкой. Универсальной своей палкой: Павел Андреевич! Эй! Как дела? Но Старичок не смотрел вниз... Потом ронял на стекло занавеску... Да, бедняга. Зачахнет там среди барахла. Сгноят его чертовы детки. Почему же Митя-то не зайдет к нему? Не позовет?..

Однако Кропину было не до Странного Старичка. Кропин уже несколько дней был захвачен совсем другой идеей...

После 56-го, когда Кочерга вернулся из лагерей, почти сразу же у них состоялся разговор о бывшей семье Якова Ивановича. Тогда, перед самым приездом сидельца, Кропин рванулся даже искать их. Окольными путями успел узнать: Зинаида была замужем (этому, собственно, не удивился), однако Андрюша, тот самый постоянно беспокойный толстенький мальчишка... был уже студентом! Учился в институте! Вот что удивило...

Обо всем этом Дмитрий Алексеевич и доложил другу, когда во время встречи (встречи через шестнадцать лет) сидели за бутылкой водки и немудреной закуской в кропинской комнате...

Однако от услышанного Кочерга начал клониться вниз. Лысина его стала как пепел...

– Спасибо, Митя... Но думаю, этого не нужно было делать... Извини, но я их вычеркнул из своей жизни. Давно. Так же, как и они меня... За шестнадцать лет ни одного письма... – Посмотрел на папиросу меж пальцев. Затянулся: – Ни пачки махорки.

Кропин начал спорить. Не могли они! Яша! Время было такое! Неужели непонятно?!

– А ты?.. – Глаза смотрели из черных впадин, как из ям, как из колодцев. – А ты?.. Почему же ты писал? И продукты отрывал от себя?.. Почему?

Ну что тут скажешь?! Чуб Кропина в те времена был сродни бильярду. Бильярдной неразбитой пирамиде. Поэтому что мог ответить такой чуб склоненной перед ним, упрямой серой лысине?..

Однако прошло время. Прошло много лет. Шел 79-й год. Кочерга стремительно старел. Был весь в недомоганиях, в болезнях. Более того, раза два заводил странные, совершенно нехарактерные для него речи, а именно: о любви-жалости. О любви-жалости родителей к своим детям... Кропин сначала не понял, к чему это. Даже удивился: Кочерга ли это говорит? «...Понимаешь, Митя, она, эта любовь-жалость, неведома юности. Она основа жизни зрелого и больше – пожилого человека. И хотя она-то и съедает его, раньше времени сводит в могилу, но человек не был бы человеком, если б у него не было этой жалости к своим детям. Вот почему жалость – самое сильное чувство людей. Вот почему плачут старики-родители при редких встречах со своими детьми. Они ж а л е ю т своих детей. До боли в сердце, до раннего износа его и смерти...»

После таких монологов Кочерги – оба молчали. Избегали смотреть друг на друга. Кропин понимал подтекст сказанного. Второй план сказанных слов. Однако напрямую спросить у Кочерги – «Искать мне Андрея, Яша?» – почему-то не мог. Не решался. Действовать нужно было, наверное, самому. Осторожно. На свой, как говорят, страх и риск...

...К будке «Мосгорсправки» возле Белорусского вокзала Кропин подошел с дерматиновой папкой. С папкой под документ. Однако через полчаса, когда вернулся туда же, ему сказали, что искомый гражданин, а именно Кочерга Андрей Яковлевич, в Москве не значится. Не прописан. Есть один Андрей Яковлевич, но ни возраст, ни дата рождения не совпадают...

Кропин воззрился на большой остекленный вокзал – как, по меньшей мере, на большой остекленный ангар, не признавая в нем вокзала. Как же так? Только начал розыск – и уже конец ему?

С папкой, удерживаемой на колене, сидел на скамье. Ничего не видел. Лица мелькали, как моль...

Снова нарисовался в стекле будки перед толстой служащей, похожей на слониху. Все с той же папкой. Точно решил переписать в нее пол-Москвы. «Может быть, – Желябников Андрей Яковлевич? (Желябниковой была в девичестве Зинаида Кочерга.) По фамилии матери?» – Слониха с белой башней волос недовольно начала накручивать диск телефона. Кропин не отходил, любознательно заглядывал. Есть! Есть такой! Значится в Москве. И возраст, и дата рождения. Всё сходится!.. Получая адрес, Кропин радостно смеялся. Точно смехом щекотал слониху в будке: ух ты моя хорошая!..

Уже через двадцать минут Кропин торопливо переставлялся по широкой лестнице найденного дома. Кропин словно тащил с собой много пыльного солнца, заступившего из боковых окошек на лестницу. Навстречу сверху спускалась девчонка. С черными плоскими косами. Уводила от Кропина надутое лицо. И того обдало жаром: черноглазая! похожа?! внучка Кочерги?! Кропин забормотал: «Девочка, это самое... где тут...» – «Не знаю!» – буркнула, даже не дослушав, девчонка. И прошла мимо. Еще больше сердясь. Она достигла, видимо, того возраста, когда даже с соседями, не то что с посторонними, не здороваются. Уже не здороваются. И не разговаривают. Она подкопила уже в себе подросткового дерьмеца предостаточно... Однако ладно, простительно это, дальше, скорей дальше...

Уже на последних ступеньках таращился снизу на словно прыгающий по дерматину номер квартиры. Номер квартиры вдруг вывернулся старым заклятым смыслом – 39-ый... Что за черт! 39 год – год посадки Кочерги. И вот теперь номер 39 – номер квартиры его сына... В пустом дыхании шелестело сердце...

Когда протянул руку к звонку – рука задрожала так, что пришлось отдернуть. Сейчас, сейчас, закрыть глаза, приказать себе. Случайно всё, всё случайно. Не обращать внимания. Ни на какие номера. Сейчас... Длинно позвонил.

Ему открыли сразу. Точно ждали за дверью. Испуганные два лица. Женщины и мужчины. Одно пугалось ниже, другое пугалось выше. «Вам кого?»

С папкой под мышкой, улыбаясь, Кропин назвал фамилию. Со значением. Здесь ли, так сказать?..

Судорожно единясь, молчком, все трое сместились в прихожую. А потом и дальше – в комнату. Мужчина был копия Кочерги. Молодой, но уже лысеющий. Как и Кочерга когда-то. Такой же черноглазый. В кулачке женщина испуганно сжимала бутылочку с большой соской. Кропин все улыбался, уже растроганно отводил глаза: дети, внуки...

– Вы кто, кто?! – спрашивали его. Как оглохшего, как пьяного. – Из домоуправления? Из милиции?..

Глаза их засекались на кропинской папке. Не вмещали ее в сознание.

Кропин понял. Поспешно успокоил их. Убрал папку за спину. Он – сам по себе. Он – по поручению. Просто ему нужно увидеть Желябникова... Андрея... Яковлевича.. . Только и всего. Хе-хе. Извините.

Муж и жена разом перевели дух. Мужчина щелкнул помочами, идущими от офицерских зеленых брюк – как самодовольно откашлялся. Бутылку с соской женщина поставила на тумбочку. Сразу выяснилось, что они – квартиранты. Всего лишь квартиранты. Сам хозяин живет не здесь. Приезжает раз в месяц. Чтобы взять с них деньги. 120 рублей...

– Так где же он живет?

– На даче. В Быково...

Кропин хотел попросить, чтобы написали адрес дачи, но женщина уже жаловалась:

– ...И главное, ворчит всегда, всем недоволен! Суется во все углы! У нас же все в порядке. Правда же, правда? – Личико женщины было в длинных тончайших морщинках, точно в продолжениях истончившихся ее волос. Подступало к самым глазам Кропина. Точно для того, чтобы тот мог лучше морщинки разглядеть: – Ведь правда?.. Мы же не из милости тут живем, мы же платим ему. Платим целых 120 рублей... Больше половины зарплаты мужа!..

Кропин не знал, как быть. На чью стать сторону.

– Женат он? Есть семья у него?

– Вроде жена есть. (Это вступил муж.) Тоже с квартирой. Где-то в Химках-Ховрино. Тоже, наверное, сдают... Живут, в общем, на даче...

– Так он работает или нет?

– Не знаем.

Вся комната была завешана детским. Младенческим. Пеленками, подгузниками, распашонками, ползунками. В тазу на табуретке – как кучка побитых стрижей – старые бельевые прищепки...

Обнаруживая себя, точно здороваясь со всеми, младенец заплакал. В кроватке у окна с зеленой шторой. Где засахарилось солнце... Мужчина кинулся. Осторожно забрал его. Боясь уронить, помещал кроху в руках, будто в голых длинных ветвях. Баюкая, передал матери. Стал писать Кропину адрес дачи.

Приняв листок, Кропин стоял, почему-то не решаясь уйти. Словно боялся оставить их здесь, бросить...

– Может, чаю?.. – Женщина опять заглядывала к самому лицу. Убаюкиваемый ее худыми руками младенец был весóм. Был – как бомбёнок в чепчике. – Отдохните...

Кропин опомнился, поблагодарил. Спячивался в услужливо распахиваемую дверь. Семья осталась в рамке двери. Все кивал им, отступая. Пока не отвернулся и не стал хвататься за перила, ударяясь жестко пятками о ступени. Хотелось почему-то плакать...

Тем не менее уже через полчаса задувал в Быково на такси. (Ну не было же никакого терпения ждать. Какая там электричка?! Какие автобусы?!)

На загородном шоссе шофер наддал. В машине загудело,будто в раковине. Точно согнанные к дороге войска, не успевали строиться сосны. Зарядом дроби шарахнулась от машины стайка воробьев. Впереди замедленно, как по воздуху, передувался через дорогу с велосипедом мальчишка-велосипедист. Сдернулся с шоссе, исчез. Встречные машины проносились, как тугие парашютные хлопки. И, отражаясь в правом боковом стекле, летело предвечернее солнце. Катилось, скакало куском пламени, пущенным с горы...

Вылез из такси на площади (на асфальтовой площадке, сказать точнее) станции «Быково». Как разъяснили квартиранты, с полкилометра нужно было идти лесом. Однако даже в лесу, как репьи, пошли цепляться ненужные встречи. Первым оказался тяжелый мужчина в тельняшке, с пузом будто нарост. Он возлежал у дуба, на траве, среди просеянного солнца в позе султана на подушках. Длинную бутылку вымахнул Кропину мрачным тостом. Дескать – прóзит! Выкрикнул: «Я – дядя моряк!» Кто же спорит? Кропин, кивнув, деликатно обошел его. В тельняшке вдруг широко запел вслед: «Э-на палубу вышел, А палубы нет, А палуба э-вы тырюм провалилась!..» Кропин с улыбкой обернулся. «Я – дядя моряк!» – вновь объявил о себе в тельняшке. И опять вскинул бутылку Кропину. Как пожизненную какую-то, мучительную свою трубу, звук которой он должен выпить до дна. Да, до дна... Кропин несдержанно хохотал, уходя.

Упрямо шла навстречу женщина, нагруженная рюкзаком и двумя корзинами. По бокам припрыгивали, вперебой жонглировали ручонками дочка ее и сынишка. Счастьем своим Кропину тайно поделились карие глаза. Так и прошла мимо – как с бубенцами лошадь. И почти сразу за деревьями ухнуло: «Я – дядя моряк!» И ребятишки побежали. Освобожденно зазвенели смехом...

Уже в начавшемся поселке старательно ехала на велосипеде девочка лет девяти. Вихляла, подпрыгивала навстречу по вылезшим на дорогу корням деревьев. Кропин спросил про дачу, назвав номер ее. Девочка сразу свалила себя на ногу. В отличие от той, надутой, встреченной Кропиным на лестнице, долго, подробно объясняла, показывая пухленькой ручкой. С одной педали натужно подняла себя на седло. Снова поехала, вихляя и подпрыгивая вместе с косами и бантом. Наверняка отличница, умилился Кропин. Потом свернул и продолжил путь, куда указала ему девочка.

Вышел, однако, непонятно куда. Впереди на обширном взлобке перед лесом раскинулась одна-единственная дача. И дача эта была – как поместье. Нет, перед ней замерло еще несколько домиков. Но как-то нерешительно. Точно боясь сигануть к ней через овраг. И за них не цеплялся взгляд – всё виделось через них. На взгорье этом, на взлобке...

Сердце Кропина обмирало. Он уже понял, он уже знал, что это поместье на возвышенности Андрея Желябникова, и не верил в это, не хотел, чтобы это было так... Он зачем-то начал ходить, путаться в домишках перед оврагом. Эти дома были, собственно, остатками какой-то деревеньки.

Из-за заплесневелого от старости забора быстро выглянула голова в полосатой лыжной шапке...

– Эй, товарищ! – подвиг себя к забору Кропин. – Можно вас?..

– Сейчас... – голова в лыжной шапке исчезла.

Озираясь по сторонам, Кропин опустился на лавочку перед воротами. Гнилая доска треснула. Кропин вскочил. Хотел осторожно присесть ближе к столбику лавки, но передумал, вошел во двор.

Старый домик стоял в глубине, перед огородом. Прямо посередине пустого двора зачем-то был воткнут в землю кривой, какой-то увечный лом. Рядом валялась причудливая, как хризантема, лопата. (Видимо, намеревались когда-то что-то начать, сделать.) Неподалеку без колес, никуда не доехав, застряла телега. Так застревает плуг в земле...

Однако порушая весь этот застой, стремительно бегали от петуха мгновенно худеющие куры. Непоборимым кровавым светочем трепался у земли петушиный гребень. Потом, как из растрепанной капусты, брезгливо выпутывалась лапа с распущенной шпорой...

Хозяин все не шел. Кропин присел на чурбачок у самого дома... В раскрытой темноте сарая вдруг точно начали раздирать в длину двух кошек, делая из них мерные метры. Поочередно. Там

же неожиданно забаловалась, все круша, оглобля. Не могла уладиться на земле... По логике этого театра абсурда, сознание Кропина испуганно ждало теперь пронзающего электрического звонка. Или, на худой конец, крика удушаемой женщины...

– Где вы?! – грянуло над головой с чердака.

– Да здесь я! здесь! – выбежал на середину двора Кропин.

Внутри хибарки будто началась драка – и, хватаясь за косяки дверей, возник странный хозяин. Старик. В полосатой лыжной шапке, с лицом – как уцелевшее германское королевство со свисшим чулком братьев Гримм... Увидел папку у Кропина. «Вы из земнадзора?» – «Да нет же! Нет! Черт побери!» (Куда девать эту папку? Выкинуть, что ли?) Старик с облегчением стащил полосатый чулок. Голова его оказалась сродни пятнистой фасоли...

После всех разъяснений хозяина они сидели на лавочке (ближе к столбикам каждый) и смотрели через овраг на усадьбу, за которой над лесом уже стоял закат...

– Их нет сейчас там... Зря пойдете, – говорил старик. – Пару часов назад только уехали... Хотя нет – вон уже возвращаются... Уже управились...

Вдоль сетки рабица переваливалась «Волга», взбивая к закату взвеси красной пыли. Остановилась напротив железных ворот. Вылезли наружу мужчина и женщина. Толстоватый мужчина в футболке потягивался, сигналил округе обширной лысиной. Высокая тощая женщина была деловита, шныряла всюду по-щучьи. Стали доставать из багажника плоские корзины. («Специально под цветы» – комментировал старик.) Шли с ними к воротам – широко. Будто аэропланы.

– Сейчас загрузятся и... по новой... – посторонний, выскочил из старика жаргонизм.

– Что «по новой»? – так же посторонне спросил Кропин, не сводя глаз с двух людей, теснящихся уже в калитке.

– ...На базар... Или к метро, – пояснил старик.

Кропин поднялся, пожав руку старику, пошел.

В траве овражка ручей казался притаившимся слезливым крокодилом. Какие-то птицы вскрикивали. Трепыхались в кустах точно в ловушках. Кропин по мостику перешел на противоположную сторону, стал подниматься пологим голым склоном.

Остывающий автомобиль пах как зверь...

Несколько раз надавливал на кнопку звонка. Никто к калитке не шел. Рискнул открыть ее и войти, так сказать, на чужую территорию... В глубине усадьбы стоял весь медный, закат собравший, дом. Большие окна его были по-вечернему скользкими. Тем не менее Кропин двинулся к ним, стремясь быть на виду, отходя от яблонь. Поднялся на высокое крыльцо. Дверь была открыта внутрь и завешена марлей от комаров. Надавил на косяке кнопку еще одного звонка, вслушиваясь. Звонка не последовало. Та-ак. Не работает. Или нет электричества. Постучал костяшками пальцев по косяку. Тоже тишина. Тогда ступил внутрь, опять на чужую территорию. Во второй раз, получается... В глубине большой комнаты сразу увидел мужчину. Его, как блин, лоснящуюся лысину. Сидя за столом спиной к Кропину, мужчина отщелкивал на счетах. Выглядел натуральным бухгалтером. Как царевна-лягушка с разинутой пастью, валялся дамский почему-то кошелек, словно отрыгав много денег на стол... Кропин кашлянул:

– Извините... Здесь жи...

Мужчина вскочил.

– Вы кто такой?!

И глядя, как Желябников зло сгребает и сбрасывает деньги в стол... Кропин сразу понял, что никакого разговора не будет, что приехал он зря. Устало спросил:

– Я разыскиваю Андрея Яковлевича Желябникова.

– Я Желябников... В чем дело?

На Кропина смотрел натуральный Яков Иванович Кочерга. Правда, некрасиво молодой, далекий...

– Я пришел от вашего отца, Андрей Яковлевич...

Помедлив, Желябников показал рукой на стул. Сам сел... Смахнул в ящик зазевавшуюся десятку...

– Слушаю вас...

Кропин точно оказался в присутственном месте. Начальник, походило, слушал не Кропина, а самого себя. Себя, внутреннего. Слушал, что происходило у него внутри. И, казалось, ничего хорошего от слов Кропина в себе не находил. У подножья лысины ёрзали складки. Череп был как волнорез. Как надолб. Череп был неуязвим...

Через десять минут Кропин спускался с крыльца этого дома. С лаем рвался, тащил за собой будку проспавший Кропина пёс, от оранжереи с охапками пионов, как с перепуганными детьми, бежала тонконогая женщина в сарафане. То ли теща, то ли жена Андрея Желябникова. Щадяще, с перекатом, кинула цветы на помидорную ботву. Вылетела к крыльцу:

– А чего это он? Чего ему нужно? – Глаза в упор не видели Кропина, глаза скакали по папке Кропина. – Кто он такой? Андрюша! Кто он?!

Андрюша хмурился на крыльце. Переносица его была сродни копыту. Сказал только, чтобы Кропин передал привет. Ну, Якову Ивановичу. Ну и здоровья, конечно...

До женщины дошло. Женщина разом узнала Кропина. Тут же уперла руки в бока:

– Ах, вон оно что-о! Митька Кропин заявился! От папаши Кочерги-и! Так ты в шестерках всё у него бегаешь, Кропин? А?..

– Мама, не надо... – наморщился было сын.

– Нет, погоди! – Голову женщины вдруг начало болтать. Выбалтывать из сарафана. Как пест из ступы! Зинаида Кочерга явно была больна болезнью Паркинсона! Голос ее проглатывал булыжник!: – Нет, подожди, Андрюша! И-ишь чего они удумали! Н-не выйдет! Так и передай своему пахану! И-ишь вы, проходимцы! – Голова все болталась, не находила места на плечах: – И-ишь вы, прохиндеи! На готовенькое прибежали! Я-а вам!..

Весь дрожа, Кропин повернулся, пошел к калитке. Однако Зинаида Кочерга не отставала. Она бежала сбоку, даже впереди. Она боялась, что Кропин ускользнет от ее слов, убежит. Она оскорбляла его. Она поносила и его, и Кочергу. И-ишь вы, какие ушлые-е! Ситец сзади взбалтывало, задирало, высоко заголяющиеся ноги ее торопились, зло култыха́лись друг о дружку коленными мотолыжками. И словно все время перевешивала, тащила хозяйку вперед заполнившая лиф сарафана грудь. Так и передай, старый придурок! Так и передай! Ведь нашли! Вы только подумайте! Нашли! Я вам покажу! Только заявитесь еще сюда! И-ишь вы, маразматы! Сволочи!..

Ситуация была совершенно дикой, скоротечной, страшно терзающей Кропина. Хотелось вопить, бить женщину кулаками, плакать. Все произошло за какие-то полминуты, точно виделись только вчера, точно не было почти сорока лет пропасти между ними, точно не пролетела уже вся их жизнь!..

Кропин оказался за калиткой. Кропин пошел вдоль усадьбы. Сорвавшийся (наверняка спущенный) пёс напрыгивал на сетку рабица как разъяренный акробат.

Швырнул ему пустую папку с адресом. И псина начал рвать ее, растерзывать. Под низкорослой яблоней. Где все плоды пошли трястись. Румяными испуганными девчонками...

Сидел на скамье перед станционными путями. С явным намереньем прыгнуть под поезд. У киоска синяки давились пивом. По перрону провели двух собак на поводках. Одинаковых. Почти без лап. Похожих на вьющихся червей. Удаляющаяся с ними дама из зада своего произрастала как из кадки. Как из кадки пальма. Закатное солнце походило на переспелый помидор, свисший с куста...

Поглядывая на Кропина, снова прошла женщина, похожая на пальму. И собаки ее так же сверлились понизу...

В вагоне, поощряемые хозяйкой, собаки заползли к ногам Кропина. Долго укладывались. Кожа их, засыпая, подрагивала, точно обнаженное живое мясо. Женщина сидела напротив. Нога на ногу. Отцинкованные, какие-то мотоциклетные глаза ее почему-то неотрывно смотрели на Кропина из острых патл пальмы...

– Вам нехорошо?.. Товарищ?..

Как будто получив команду, Кропин сразу заплакал. Отворачивался. Потом поднялся, перешагнул через собак, пошел, покачиваясь, неизвестно куда. Женщина, не расцепляя ног, выворачивала голову за ним...

В тамбуре грохотало. Точно давало по зубам. Загнуто стоял в закате. Словно черный обворованный подсолнух...

...Поздно вечером позвонил Яков Иванович. Сразу спросил, что случилось, почему не приехал, не позвонил. Устало отвечал ему:

– Ничего не случилось, Яша... Ровным счетом ничего... Просто дежурил... Пришлось подменить... Извини, что не позвонил...

Точно в узкой, еле освещенной сверху щели, Кропин стоял в коридоре, слушал в трубке голос Кочерги и смотрел все на того же паука вверху. Большой паук распято висел, напряженно подрагивал, словно в муках рожал свою паутину. Непоборимый. Бессмертный...

И слушая сейчас далекий, успокоившийся голосок Яши, глаз не отрывая от паука, цепко держащего всю свою сеть, прямо в сердце ударенный простым, банальным этим, примитивным символом... Кропин до боли, до тоски стал жалеть и Якова Ивановича с его далеким, посмеивающимся, ничего не подозревающим голоском, и себя, Дмитрия Кропина. Жалко было и свою жизнь, и жизнь Кочерги – всю изломанную, исковерканную, и такую даже – уже прошедшую, пролетевшую...

Кропин отстранил трубку, опять заплакал. Закрывался рукавом. «Митя! Митя! Ты слышишь?» Заглатывал слезы, боль. Молчал. «Митя! Куда ты пропал!» Хрипло сказал, наконец, в трубку: «Обожди, Яша... Я – сейчас».

Из кухни вышел, сжимая в руках половую щетку. Ходил, таращился снизу на паука, который в неверном зрении Кропина уже двоился, троился. Быстро уталкивался в сторону и вновь возвращался на место. Кропин начал тянуться, подпрыгивать, тыкать паука щеткой. Загнанно дышал, все так же вытаращиваясь снизу. В свою очередь, паук настороженно смотрел на какую-то уродливую, вытянутую голову, которая, как бомба, подпрыгивала, стремилась к нему, пауку, пугала...

Снова Кропин бил. Снова. Однако разом остановился, когда потемнело в глазах. Шатался, отбросив щетку. Как слепой искал рукой висящую телефонную трубку. «Да, Яша... Слушаю. Продолжай... Ничего, ничего... Говори...» Отирал пот рукавом, на паука старался не смотреть.

Через полчаса, теребя, просушивая возле ванной волосы полотенцем, толстая женщина с ухмылкой смотрела, как длинный ревматический старикан кружил по коридору, плакал и тыкал щеткой пустоту под потолком... Ходил, подвывал и тыкал...

– Ты чего, Кропин? – спросила женщина. – Кыхнулся?..

Тем и кончилась поездка Кропина в Быково. Обо всем этом Якову Ивановичу Кропин не сказал ни слова. Как и не было этой поездки к сыну Кочерги...

А в конце августа обворовали квартиру сына, но другого – сына Странного Старичка. Средь бела дня обчистили. Под видом переезда человек шесть в комбинезонах стаскали всё вниз (всю новую тигровую мебель, два холодильника, столы, буфеты, телевизоры), споро загрузили в грузовик-фургон и уехали. Как говорится, не оставив адреса. Где был в это время сторож (Странный Старичок) – неизвестно. Ничего не подозревая, он пришел во двор откуда-то значительно позже произошедшего. Долго сидел на скамейке. По двору передувало жару. Старичок вытирался платком. Через час вместе со снохой поднялся в квартиру. Приземистая плотная женщина бросилась по пустым комнатам и пустой кухне. Чисто! Была оставлена только голая железная кровать Старичка, где привязанный на веревочку за ножку ее – зябнущее грустил, трясся Дин. Собачонок Дин. Павел Андреевич хотел отвязать его, но женщина сразу налетела и начала стегать и кобелька, и его, Павла Андреевича, по ногам невесть откуда взявшейся веревкой:

– Ах ты паразитишка старый! Ах ты, старый паризитишка! – Женщина все пригибалась, била. В короткой тесной юбке, как оплеуха. – Ах вы, паразиты, дармоеды чертовы!..

Кобелек взвизгивал, прятался в ногах Павла Андреевича. Старик стоял, вцепившись в спинку кровати, вздрагивал от ударов, смотрел мимо снохи...

Кропин рассказал о случившемся Якову Ивановичу. «Сгноят они его теперь! – сразу воскликнул тот. – Натурально сгноят!» Сжимал на столе сливовый кулак. Опущенная голова была как бескровная личина. Поднял глаза на Кропина: «А ты?.. Чего же ты?..» – «А чего – я?!» – тоже вскричал Кропин. Однако на душе стало нехорошо...

Дня через три Яков Иванович сидел во дворе, как всегда выведенный туда Кропиным. Опять ветром гоняло по двору полуденный зной. По тополям скрючившиеся листья принимались свистеть. Точно стаи прирученных птиц...

На дальней скамейке неожиданно увидел Глинчина. Павла Андреевича. С опущенной головой Странный Старичок сидел как раскрывшаяся вдруг всем... лагерная зонка. Ничего не скрывающая уже, обнаженная... Черт подери-и! До чего довели мужичка!

Яков Иванович начал было кричать и как всегда болтать своей палкой на веревке, но... Глинчин быстро глянул на Кочергу... и заплакал. Не таясь, открыто. Тряслась, искажалась его новорожденная, старообразная головка обезьянки. У Кочерги точно повернули что-то в груди. Оглядывался по двору, искал, кого позвать на помощь Старичку. Однако двор был пуст...

Павел Андреевич сам перестал плакать. Посморкался в белый платок. Посидел. Потом встал. Издали поклонился Кочерге. (Яков Иванович, задохнувшись, окаменел.) Пошел к воротам, к арке. Словно все решив для себя. Словно навсегда из этого двора...

Кропин застал Кочергу бьющимся в страшном кашле. Пригнувшимся, панически размахивающим руками. Кропин метался вокруг, зачем-то хлопал по горбу, совал платок. Кочерга дергался, уже синел, не мог остановиться. Да что же это! Что же делать! Да помогите кто-нибудь!..

После приступа, отвесив рот, Яков Иванович тяжело, с сипом дышал. Красные глаза словно висели на слезах. Как голубиные разбитые яйца.

...На Странного Старичка случайно наткнулись через два дня. Один гражданин решил справить нужду под летней танцплощадкой в парке. Там специально была выбита пара досок. Страждущими... С вытянутыми и раскинутыми ногами Павел Андреевич почти сидел под балкой. Казался просто спящим пьяным... Если бы не свернутая набок, захлестнутая эластичным проводом голова. Голова новорожденной убитой обезьянки...

12. Сорок лет спустя. (Почти по А. Дюма)

Тогда, в начале лета, она сидела перед ним в кухне вместе с внучкой, толстенькой девочкой лет восьми-девяти.

При виде ее старого, какого-то желтовато-оплавленного недовольного лица, подожженного склеротическими костерками, при виде высоко и необычайно чадливо взбитых волос... на ум Кропину приходила далекая, дореволюционная еще смолокурня. Теперь вот обретшая ноги, пришедшая к нему в квартиру откуда-то с Алтая. А может быть, и вовсе из Дальней Сибири. Пришедшая с посохом. С заимки. Со своей сермяжной правдой...

– ...Вы слышите меня? – громко спрашивали у него, как у охлороформленного в операционной. И он вздрагивал, говорил, что слышит. То есть слушает, конечно. Извините.

Ходила по кухне Чуша, игриво поглядывая на Кропина. Как, по меньшей мере, на алиментщика. Долго разыскиваемого и вот, наконец-то, пойманного. Кропин, как заяц, косил крупным глазом. Однако боялся только одного – как бы не ушла на плите манная кашка. Не подгорела бы там, не уделала бы плиту. Вставал, помешивал длинной ложкой. Возвращался на стул.

Постепенно стало что-то проступать, проясняться. В далекие тридцатые здесь, в Москве, в небезызвестном ему, Кропину, институте работали с ним следующие товарищи... Товарищи

были названы. Все. Никто не забыт. Притом особо подчеркнуты были две последние фамилии: Левина и Колюжный...

– Улавливаете теперь суть?

– Нет, – честно взбодрил глаза Кропин.

– Я ее сестра...

– Кого?..

– Левиной... Родная... Елизавета Ивановна...

Та-ак. Она хочет, чтобы как в романе. Сорок лет спустя. Но, собственно, что же должно изобразить тут? Руками всплеснуть? Вскочить? Не может быть! Невероятно!.. Однако задача...

Женщина ждала. Улыбчиво, требовательно...

– Ну, и что же она?.. Как?.. Вероника Федоровна, кажется?.. Если память не изменяет, конечно?..

– Маргарита Ивановна! – вскричала радостно женщина. – Как вам не стыдно забыть, Дмитрий Алексеевич!

Дождавшись, когда Чуша ушла к себе, сестра Левиной приступила к подробному объяснению причин своего с внучкой визита, столь странного для Кропина. («Вы должны всё мужественно выслушать, Дмитрий Алексеевич, и принять. Всё!»)

Через полчаса выяснилось это всё... А зачем, собственно. Но – ладно.

– А почему вы сами не привезли *эти бумаги*? Чего ведь проще!.. – удивился Кропин.

– Видите ли, Дмитрий Алексеевич. Тут было две причины. Во-первых, мы не знали... живы ли вы – уж извините, пожалуйста. Во-вторых – самое главное – Маргарита сама хочет вас увидеть, сама, понимаете? Ей многое нужно вам сказать лично. С глазу на глаз. Понимаете? Она больна, неизлечимо больна, да, все это так (и это ужасно), но она борется, она дождется вас, Дмитрий Алексеевич, дождется. Этим только и живет сейчас. Неужели вы откажете ей?..

На Кропина смотрели глаза собаки, молящие, готовые заплакать. Кропин смутился.

– Но ведь я работаю... А ехать... сами знаете... На Алтай, в Сибирь...

– В отпуск, в отпуск, Дмитрий Алексеевич. Мы обождем... Мы дождемся вас, дождемся. Вы не пожалеете! Мы встретим вас как... как царя! Как Главу Государства! Дмитрий Алексеевич!

– Ну, уж – «как Главу Государства», – совсем смутился Кропин. Покраснел даже. Однако сразу же поднялся, чтобы тащить два здоровенных чемодана в свою комнату. И, поднатужившись, потащил. Забытая кастрюлька с манной кашкой чадила, как подожженный паровоз. Женщина кинулась, выключила газ. Затем догнала с внучкой хозяина и деликатно шла с ним в ногу, как бы не мешая ему нести два чемодана. Словно бы даже помогая ему в ответственном этом деле...

В комнате Кропина она удивилась ее размерам: да тут десять раскладушек можно поставить, не то что одну для вас! А, Дмитрий Алексеевич? Кропин начал было, что лучше бы ему у Жогина, соседа, отсутствующего сейчас, или, на худой конец, в кухне хотя бы...

– Но мы же взрослые люди, Дмитрий Алексеевич! Да и ребенок вот... – Игриво она обняла внучку: – Правда, Ёлочка? (Ничего себе «ёлочка», – подумал Кропин, глядя на чересчур упитанного ребенка.) – И подвела черту: – Нам э т о сегодня, думаю, не грозит. Вы согласны со мной? Хи-хи-хи!

Так и не поужинав, через десять минут Кропин лежал на раскладушке, вытянутый как покойник, укрытый одной только простыней. Боялся шевельнуться. Скрипнуть.

Уже в ночном сером коробе гостья металась вокруг кропинской тахты: раскладывала, расправляла, разглаживала простыню, выказывая Кропину обветшалые ляжки старухи. Потом быстро раздевала внучку. Толстенькая девочка покачивалась от усталости – тельцем беленькая, как свечка, с красным, пылающим перед сном лицом. Приняла на себя ночную рубашку... Когда все было сделано и внучка лежала у стены, – гостья с озабоченностью посмотрела по безбожным кропинским углам. Не найдя ничего, быстро приклонилась на колено к полу, как бы создала быстрый божий мирок, пошептала в нем что-то с закрытыми глазами, перекрестилась несколько раз и юркнула под одеяло, перед этим метнувшись и сдернув свет... В темноте сначала говорила о сес-

тре, о Маргарите, о ее положении в городе, о семье, о внезапной страшной болезни, рассказала вскользь и о себе – как попала в Казахстан. Кропин уже задремывал, когда его вдруг спросили, почему он до сих пор не женат. Спросили строго, словно бы даже официально. Да, товарищ Кропин! Повисла пауза. Смягчая ее, спросили еще раз. Более душевно. Даже с некоторым кокетством. Почему бы вам, Дмитрий Алексеевич, не жениться? Его попросили включить свет. Чтобы видеть его лицо. Ёлочка спит. Кропин потянулся, включил настольную лампу, стоящую на стуле. Гостья хотела, видимо, *поговорить по душам*. Она даже приподнялась на локоть на тахте – из ночной рубашки, как из оперенья, словно бы торчал старый, но еще довольно кокетливый беркут... «Видите ли, сударыня, – откашлявшись, почему-то глубоким басом начал Кропин. Как мастодонт-генерал из старого анекдота. – Для того чтобы жениться, нужно для начала... как бы это сказать?.. нужно для начала помешаться, что ли. Стать помешанным. Одуреть. И довольно-таки сильно. Основательно. И самому одуреть, и той, на ком ты собрался жениться. Ей тоже. Понимаете? А в нашем возрасте это сделать уже довольно трудно. Почти невозможно. Не получается уже... одуреть...»

Увидел, как в большом пленочном глазе женщины удивленно выгнулось целое мироздание... Сразу заторопился: «Но я не хочу сказать, что женитьба – дурость. Нет, женитьба не дурость. Я не говорю, что женитьба – дурость. Никто не говорит, что женитьба... В общем, если вам показалось – из моих слов – что женитьба – дурость, то ни сном, ни духом, понимаете? Нет!..»

Она упала на подушку – ничего не поняла. «Нет, если вам показалось, что я хотел сказать, что женитьба... То поверьте!..»

Она полежала с минуту. Отвернулась к стенке, к внучке, буркнув «спокойной ночи». А Кропин еще долго не мог успокоиться... Нет, конечно, если это понимать так – то конечно. Но ведь совсем по-другому, поверьте! Полежав молча какое-то время, осторожно выключил свет.

...Все ждали, нетерпеливо ждали. Вытягивались, вертели головами, срываясь с бордюра на дорогу. Милиционеры снисходительно не замечали нарушений. Похаживали. Бодрили себя подскочным шагом и резкими подхло́пами по сапогам палками.

Вдали, на горбу пустого проспекта, обрамленного бесконечно-вытянутой, волнующейся порослью людей, показались три легковые милицейские машины с мигалками. Мчались. Раскрашенные, как попугаи. И за ними, наконец, всплыла на проспект широкая открытая машина, где и был установлен Глава Государства. Двумя рядками, плотнясь, терпеливо, как кобельки за сукой, трусили за ним на машинах кто пониже рангом. «Как хорошо всё! Как прекрасно! – шептал Кропин со слезами на глазах, забыто хлопая в ладоши. – Глава Государства и его народ! Какое единение! Какое это счастье!» Не удержавшись, скромно похвалился соседу, что и его, Кропина, тоже скоро будто встречать так же. Как Главу Государства. Глаза соседа завернуло восьмеркой. «Не верите? Вот увидите – она работает начальником торговли всего города. Всей области!» У соседа глаза развернулись на место. «Бывает», – сказал он. «А-а!» – торжествующе смеялся Кропин.

Между тем машина с Главой Государства приближалась. Была она настолько завалена цветами, что казалась – могилой. Богатой широкой движущейся могилой! В равных промежутках дороги, вложенные в схему движения кортежа точно, выбегали на прямых пружинных ногах на проезжую часть дороги девушки. Цветы летели более или менее точно – кашкой. Отбросавшись, девушки так же на пружинных ногах пригоняли свое смущение назад, в толпу, которая уже не видела их, которая восторженно ревела. «Как хорошо всё! Как прекрасно! Какой хороший сон! Какое счастье!» Кропина мяли со всех сторон, толкали. Он не чувствовал этого, хлопал, тянулся, подпрыгивал, дергался навстречу машине, махая рукой.

Как кукловоды, внезапно раскрытые всем, стелились по машине вокруг Главы какие-то люди. Точно не в силах оборвать представление. Точно продолжали подталкивать правую руку Главы кверху (чтоб приветственно стояла она, не падала, не валилась). Снизу, снизу старались, как бы исподтишка. Рука держалась какое-то время. И рушилась. И люди эти снова стелились, мучительно прятались в машине, опять раскрытые всем, всему миру.

Вдруг руки Главы Государства замахались сами. Ветряной мельницей. Потешные крутящиеся извергая огни. Все это трещало в красном дыму, хлопалось, стреляло мириадами огней и огоньков. Народ обезумел. Кукловоды и пиротехники заметались по машине, включали, дергали какие-то рычаги, добились-таки своего: пустили главный какой-то механизм на ход, расшуровали его как следует, – и, как безумный радостный аттракцион, Глава Государства летел и еще яростнее махался, извергая крутящиеся мельницы огня.

Обезумевший Кропин не выдержал, кинулся. Догнал. «Ур-ра-а-а! товарищи-и!» Бежал, подпрыгивал рядом с машиной. Глава Государства перестал махаться, скосил дремучую бровь. «Отстань!» Кропин бежал. «Отвали!» Кропин подко́зливал на бегу. Успел увидеть только резкий, тыквенный оскал зубов и тут же поймал в лицо тупой резиновый кулак. Отлетел к обочине.

Машина покатилась дальше. Улетая спиной вперед, подобно китобою, выцеливал Главу аппаратурой с другой машины хроникер. Вместе с укатывающимся ревом, как отдрессированный дождь, сразу начинали хлестаться флажки по тротуарам.

Выбитый зуб Кропин разглядывал как чу́дную жемчужину. Озаренный ею, стоя на коленях. Хотел подарить зуб в трепетных ладонях людям... и увидел, как хроникер на машине вдруг начал откручивать ручкой всё обратно, к исходу. Поскакали назад люди, съедая, пряча флажки; машины, дергаясь, пятились, приближались. И всё размазанно остановилось перед Кропиным... «Нука, дай сюда!» Глава выхватил у Кропина зуб. В нагрудный карман себе вложил. Рядом с густым звездъём. Гулко стукнул себя по груди – «Алмазный фонд СССР!» И приказал: «Поехали!» И всё опять двинулось дальше, и полетел хроникер, выцеливая, и – отдрессированные – захлестались флажки по тротуарам...

Кропина – как толкнули: разом проснулся. На всю комнату словно скворчал, жарился черный петух... Кропин деликатно – соловушкой – посвистал. Старуха оборвала храп, прислушалась. Повернулась на бок. Петух заскворчал внучке в голову и в стену.

Второй раз свистеть Кропин не решился. Повздыхал. Глаза его смежились. Рот распустился, забалаба́нил потихоньку губой тоже.

Черный петух вылез из глотки старухи. Спрыгнул на пол. Походил. Весь полуощипанный. С упавшим гребнем – как одноглазый пират. Вдруг больно клюнул Кропина в ногу. «О, господи!» – волной проколыхался Кропин – аж раскладушка защебетала. Старуха разом оборвала храп, вслушивалась. Кропин затаился. Но пружины раскладушки предательски поскрипывали. Словно невероятным усилием воли Кропин заставил их замолчать. Старуха сразу захрапела. Кропин с облегчением расправил тело, принялся обдумывать всё. Пошел, что называется, потусторонний нескончаемый курсив воспоминаний. И хорошего, и плохого. До утра времени было много...

...осколок ударил его по напружиненным ногам сбоку, вскользь. Но разом порвал подколенные сухожилия. Он должен был вымахнуть вместе со всеми на бруствер и бежать. Бежать с синим воплем в темноту, в сверкание огня, в разрывы, в вой. И он уже закричал и выкинулся наверх – и его полоснуло по ногам. Он никогда не играл в теннис, но ощущение было такое, будто его, как теннисный, мячик подрезали острой железной ракеткой. Он слетел в окоп, вскакивал на ноги, и ноги его были как тряпки, он падал, снова вскакивал, потом ползал, скулил от боли, беспомощности и какой-то мальчишеской обиды... Когда несолоно хлебавши взвод свалился обратно в окоп, его, обезноженного, везли-тащили на плащ-палатке по грязи, по хляби узкой траншеи, а он все пытался сгибать и разгибать ноги, но у него ничего не получалось. И дергалось, останавливалось и снова резко уходило назад черное безлунное октябрьское небо в серебряно-резкой парче звезд...

...не снимая полушубка, прямо с вещмешком он прошел в кухню родной своей коммуналки, где не был – как успел прикинуть – ровно два года. Тумбочка его и столик стояли на месте. Цела была даже керосинка. Вдобавок – заправленная. С непонятным волнением, с радостью даже он принялся тут же что-то готовить. Посуда забыла его, не слушалась. Он только посмеивался. Раз-

бил тарелку, еще что-то на пол ронял, веселясь от этого, как пьяный, как дурачок... Потом пил чай с пугающимися почему-то его новыми соседями. Мужем и женой. «Всё ваше цело!» – поминутно, наперебой повторяли они. «И в комнате вашей все цело!.. Но вот ключ – он не оставил». (Имелся в виду новый жилец, которого временно поселили в комнате Кропина.) Предложили переночевать у них. Кропин сказал, что может и Валю Семёнову подождать. Ну а в крайнем случае, мог бы и здесь вот – в кухне. Что вы! Что вы! – замахали они на него руками, как можно! «В кухне»! А Валя придет только утром. Она же в ночной. А, Дмитрий Алексеевич? Новый сосед уже просительно заглядывал Кропину в глаза. Был он бледен, изможден. Явно больной. Язвенник или туберкулезник. Кропин уводил взгляд. Кивнув, согласился...

...большая, почти пустая эта комната была словно из какого-то давнего сна его. Казалась нереальной, фантастической. Пустой стол с трехлинейной горящей лампой посередине, две табуретки у стола. Странный, не вяжущийся с комнатой, – усохший рояль в углу. Серая голая стена над ним... Ему постелили на полу. Больше не на чем было. Молча приходил и смотрел на него сажный кот со стеклянными усами. Так же молча – уходил. Бесшумный, растворяющийся. Исхудалые тени хозяев метались по стенам, словно любящие друг друга смерти в саванах. Ему было больно на них смотреть. На ходу они ему говорили, чтобы утром, как встанет, обязательно разогрел жареную картошку и непременно поел ее, потому что их уже не будет, им в первую. Он узнал, что работают они вместе с Валей Семёновой на одном заводе, только в разных цехах, что работать приходится по 12-14 часов, поэтому если домой – то только отсыпаться, иначе не выдержишь. Что у мужа вторая группа, туберкулез, еще с финской. Что отсыпаться и отъедаться, как сам он со смехом поведал, будут после войны... Мужчина долго, как заклиная кого-то, смотрел на высохший свет лампы на столе. Потом на цыпочках протыкался к нему. Сдунул. И они с женой легли куда-то за рояль – и как пропали там. Словно их и не было никогда в этой комнате... Как будто расстроенные черненькие клавишки рояля – густо, истерично заработали сверчки. Глаза кота горели жёлто – пиратским золотом...

...приснился ему почему-то Качкин. Никогда раньше не снился... Профессор Качкин. Автомобилист Качкин. Всё происходило во дворе института. Стояли возле его колымаги, и Афанасий Самсонович что-то рассказывал ему, посмеивался. (Что рассказывал? – пустота, звука не было, просто раскрывался-закрывался рот Качкина, и видно было – смеется человек при этом.) Потом привычно, без участия даже глаз, привязал под капотом к мотору свои руки. Точно фокусник. Точно готовил в ящике голубя. Который сейчас вылетит. А неизменный друг его Щелков с метлой стоял рядом и в восхищении покручивал головой. Мол, вот дает Самсоныч! И всё было хорошо: приблудный преданный кобель переломил ухо вопросом, солнце слепило, отскакивало от институтских окон, холод цветущей черемухи – словно метлой Щелкова – был свален в углу двора... Но вдруг машина дернулась, затряслась, заработала. Сама. По своей словно воле. Руки Качкина рвануло, потащило, стало втягивать куда-то внутрь мотора. Лицо старика перекосилось от боли, он уже вскидывал головой, удерживал крики, стонал, боролся. Как будто руки затягивало в молотилку, в барабан. Щелков метался вокруг, хватал, тянул, старался выдернуть, вырвать его из страшного механизма, но ничего не получалось – Качкин падал на капот, терял сознание, руки под капотом перемалывало, волнами сходила, скатывалась по лаку машины кровь. И Щелков, с белыми глазами, оборачивался, кричал: «Люди! Помоги-ите!» Кропин рванулся к ним, но кто-то крепко схватил его сзади, вывернул руки, держал. Кропин пытался вырваться, но этот кто-то сразу начинал вывернутые руки дергать вверх, и Кропин ломался к земле, от боли теряя сознание, воздух... Приблудный кобель ослеп, скулил, полз в угол двора, под черемуху...

...он открыл глаза, почувствовав сдерживаемое близкое дыхание. Темное, как закрытый медальон, лицо женщины было близко склонено над ним, и только светящимися обвеивалось волосами. Глаза на лице сияли радостью, и болью, и мольбой... «Митя... родной...» – еле слышно шепта-

ла женщина... И, может быть, впервые в мужской своей жизни он обнял, загреб голову женщины крепкой рукой, припал, прижался своими губами к подавшимся женским губам. Припал мучительно, надолго. Как припадает путник после долгой обезвоженной пустыни к источнику, к вожделенной воде...

...потом они ели на кухне. Никаких уже баночек и кастрюлечек, до войны заполняемых подоконник между стеклами кухонного окна... давно у Вали не было. Стояла там только одна-разъединственная кастрюлька с какой-то затирушкой, которую Валя и потянула было за веревочку... но Кропин бросился, снял женщину с подоконника и прямо так, обезноженную, отнес и посадил на табуретку. Метался потом от керосинки к столу, вскрывал какие-то консервы, быстро резал хлеб, а она сидела – в сорочке, худенькая – смотрела возле себя, стеснительно поджимая оголенные ноги под табуретку, и слезы скатывались по впалым ее щекам... Она молча ела, виновато, трудно глотая, часто приклонялась к тарелке и досадливо откидывала лезущую к губам светлую прядь волос. А он смотрел на нее – на ее провалившуюся шейку, на исхудалую грудь, которая больше походила на горбатый зонт, чем на грудь – и на душе его было тяжело...

...и опять в радостной муке стремился он к запрокинутому некрасивому счастливому плачущему лицу женщины. А женщина, стараясь не очень умело, уже как-то по-семейному, утвердительно-отмечающе спрашивала его:

– Так, милый?.. Так?.. Так?.. – Как будто падали коротко медленные утвердительные капли... И он, совсем теряя голову, пойманный, схваченный острым красным желанием, проваливаясь в него, как безумный, только твердил: – Да!.. Да!.. Да!..

– Так, милый?.. Так?.. Так?..

...переданное ему письмо было такого содержания: «Дорогой Дмитрий Алексеевич! Пишет вам Маргарита Ивановна Левина, бывшая ваша сослуживица по институту. Ваше соседка, Валентина Семёнова (как она назвалась), сказала мне, что вы сейчас (а пишу я это письмо 3-го ноября) находитесь в госпитале в Куйбышеве. Что дела у вас идут на лад, на поправку (слава богу! слава богу!) и что, возможно, перед отбытием на фронт вы заедете на короткое время в Москву... Так вот, Дмитрий Алексеевич – я вас прошу, я вас заклинаю, молю зайти ко мне, когда вы будете в Москве! Дело касается всех нас, бывших сотрудников всей нашей бывшей кафедры в небезызвестном вам институте. Понимаете, о чем я хочу вам рассказать?.. Извините, что поступаю опрометчиво, оставляя это письмо совершенно незнакомой мне женщине, но у меня... просто нет другого выхода. Итак, мой адрес: . . . . . Жду вас, Дмитрий Алексеевич, с нетерпением жду. Левина».

Он прочел письмо. Сворачивал его снова в треугольник. Как было свернуто оно. Словно для фронта. Надписанное только одним словом: Кропину...

– Неприятное письмо, да, Митя? Нехорошее? Плохое?

– Да уж чего хорошего... – Складка над переносицей у него как у внезапно повзрослевшего подростка резко означилась, похудела, стала острой... Женщина прижалась к нему, обняла всего: – Не ходи туда! Не езди! Митя!..

Однако вечером он поехал по этому адресу, написанному в письме...

...дома с печными трубами среди пробеленных морозом деревьев были как уснувшие хохлы с едва курящимися люльками... Нужный дом среди них оказался двухэтажным. Финского типа. С двумя входными дверями. Он вошел наугад в левую. Тускло высвечивала площадку первого этажа лампочка с потолка. Дверь квартиры номер три была обычная – обтянутая дерматином. Он нажал кнопку звонка. За дверью прострельнула тишина. Он еще раз надавил. Еще. Не работает, что ли?.. За спиной хлопнула входная дверь. Он повернулся, чтобы спросить, но торопливо проходящая женщина сама быстро сказала, отвернув лицо в сторону: «Уходите. Ее нет. Увезли. Понимаете? Месяц назад. Уходите». Застучала ботами по лестнице...

Он быстро шел прямо посередине проезжей части дороги. Бился под фонарями крупный снег. Будто спешно брошенные игровые лотереи. Ни души кругом, ни звука. Зачерненная луна вверху оскаливалась. Словно взнузданный, глодающий удила, негр... Кропин побежал. Все быстрее, быстрее. Но застукала, забила по ногам боль. Прихрамывал, но все равно торопился. Не сворачивал на обочину, в темноту, на тротуар. Тащился только мимо брошенных фонарей с бьющимся светлым снегом, только мимо них...

Опустошенный, Кропин забылся на рассвете, когда в комнате было светло, а храп старухи не казался уже таким страшным, обессилелся, просто тихо побулькивал. Спал, как показалось, всего несколько минут. Теперь его разбудили голоса. Настойчиво забубнившие вдруг из коридора. Кропин глянул на тахту – ни старухи, ни девчонки. С кряхтениями, но быстро выкарабкался из раскладушки и как был – в пижаме – вымахнул в коридор.

При виде перепуганного старика женщины (Чуша и гостья) разом замолчали. Перестали кричать. Словно пойманные на нехорошем, словно устыдившись. Забыв о ванной, о битве за нее... Старуха первая опомнилась – с внучкой юркнула за дверь, защелкнула задвижку. И сразу же, пущенная, там зашумела вода.

– Ну, Кропин! Ну, привел ты бабу! – опахнули старика злые и в то же время изумленные слова. В халате своем в птицах, с банным полотенцем, как громаднейший самбист с золотым поясом через плечо, получивший вдруг поражение от какого-то замухрышки (в данном случае – шмакодявки), – Чуша прошла к себе, саданув дверью.

Идя в кухню ставить чайник, Кропин радовался. Зло радовался. Уж он-то знал, к а к она моется. Эта чертова толстуха. Сколько ей надо времени. Взгромоздясь в ванну, она мыла себя как целую дивизию толстух. Как целую армию. Наверное, отдельными полками, батальонами, ротами... И час, и полтора... Кропин не выдерживал, стучал. С полотенцем на руке, с бельем... «Успеешь», – розовый, довольный слышался из-за двери голос. Кропин уходил на кухню. Ждал. Полчаса. Возвращался, яростно барабанил. «У-уть, Кропин!» – слышалось в ванной уныривающее, и женщина дурашливо волóхталась. Как на озере. Одна будто. И – голая... «Она что, соблазняет меня, что ли?» – испуганно думал первое время старик... «Это же черт знает что!..»

...С удовольствием, быстро готовил в кухне завтрак на свалившуюся семейку. Как привычная утренняя хозяйка с шулерскими проявлениями рук. Руки перекрещивались, распадались, открывали, прикрывали, ставили одно, убирали другое, смахивали третье. А сам повар все посмеивался, покручивал головой в невольном восхищении перед этой приехавшей Елизаветой Ивановной: надо же! отбрила-таки! и кого – Чушу! Прожженную Чушу! Вот женщина!

И даже когда после завтрака его повлекли в центр и стали таскать по цумам и гумам (а считалось, что это он сам, Кропин, водит, показывает, что он – гид), когда с одичалыми глазами и покупками она выходила из очередной секции и сбрасывала всё в его руки, как в кузов, не видя, не воспринимая его самого совершенно – Кропин и тогда только снисходительно улыбался. С тем всегдашним мужским дурацким превосходством во взоре: женщины... (А что, собственно, – женщины? Не люди?)

Но постепенно что-то стало раздражать, даже злить его в этой хваткой старухе. Флегматичная внучка, всегда оставляемая с ним, не очень-то смотрела по сторонам – она все время жевала. То очередную шоколадку, то мороженое, то печенье. Зато бабушка ее преподобная – носилась. По секциям. Выпучив глаза. И Кропин только стоял, кипел, нагруженный как мул.

...Возле перекрестка зацепило, сбило мотоциклом пожилую женщину. Она сидела прямо на асфальте, перед разбитой полной своей ногой, как перед разбитым большим сосудом, истекающим на асфальт кровью. Раскачивалась, закидывала голову, плакала. Игрушечно, плоско валялся мотоцикл, тут же просыпались яблоками, еще какими-то продуктами хозяйственные две сумки женщины. Мотоциклист, молодой парень, бегал вокруг, тоже весь ободранный, зачем-то пытался поставить женщину на ноги... Елизавета Ивановна увидела. Сразу заторопилась, потащила туда за руку внучку. Подвела испуганную девчушку вплотную к женщине. Не обращая внимания на

уже сбежавшихся, суетящихся вокруг женщины людей, на месте показывала ей, объясняла происшествие: «Вот видишь, видишь – как переходить, где не положено!» Менторша старалась. Размахивала руками. Всё втолковывала ребенку, показывая на женщину как на своевременный, упавший с неба экспонат. Видишь, видишь! Кропину стало нехорошо, нудно. Виделось в старой этой неумной бабе что-то от богатой, строгой церкви. Которая всегда... которая специально держит при себе на паперти нищих, убогих, увечных. Держит исключительно в воспитательных целях. Для назидания, для воспитания у прочих, благополучных, дозированного милосердия. И, наверное, если бы не это – были бы разогнаны все нищие, как голуби... Кропин подошел к телефону-автомату, стал накручивать диск, вызывать «скорую».

И еще был в этот день подобный урок воспитания... Точно услышав и запомнив мысль Кропина о церквях и нищих при них... тоже остановила внучку возле нищего. Правда, не церковного, а сидящего у решетки в подземном переходе. Дидактически-страстно начала было объяснять, как можно дойти до жизни такой, ч т о доводит до такой жизни... Однако опухший забулдыга сразу стал шарить вокруг себя какой-нибудь предмет. Чтобы запустить им в стерву... Тогда поспешно повела внучку дальше. Видишь, видишь, какие они! Кропин был забыт. Кропин еле поспевал за ними. Не переставал испуганно удивляться. Это был семейный эгоизм какого-то высочайшего, совершенно неведомого Кропину градуса. Вдруг остановился и начал хохотать, вспомнив анекдот о Дистрофике и Даме, которая, приведя того к себе домой, кокетливо попросила его раздеться, и непременно до плавок, а потом вывела из другой комнаты мальчишку лет пяти, который плохо ел... «Вот, Вова, будешь плохо есть – таким же станешь!» Ха-ах-хах-хах!..

Сидели на скамейке в каком-то скверике. Гнутый старик в грязном плаще и рваной обуви кормил голубей. Выщипывал мякоть из полбуханки и кидал. Голуби слетались. Голуби заворачивали и бежали за хлебом армией. Внучка спросила бабушку, проявив внезапный интерес: почему голуби летают? «От голода. Они от голода легкие, потому и летают» – долго не думая, ответила практичная бабашка. Кропин отворачивался, задирал голову, опять ударяемый истеричным внутренним смехом. «Что с вами, Дмитрий Алексеевич?» – повернулись к нему изумленные глаза. «Ничего, ничего, не беспокойтесь!» Когда пошли, отставал, оступался, ничего не видел от давящего смеха, от слез...

Ночью Кропин опять не мог уснуть – храп неутомимой старухи был свеж, по-морскому крепок, накатен. Бушевал. Кропин свистел, хлопал в ладоши – ничего не помогало. На минуту прерываясь, испуганно вслушиваясь в измученную тишину, гостья раскатывалась с новой силой. Демонстративно громко проскрипев пружинами, Кропин встал, сгреб подушку, направился к двери. «Вы куда?» – сразу спросили его из темноты. «Сейчас!» – Хлопнул дверью.

Лежал на боку, на разложенном жогинском диване, сплошь измазанном красками – как на шершавом, засохшем макете-панораме Бородинской битвы. Рука ощупывала заскорузлые редуты, укрепления, пушки, вроде бы даже кивера страдных солдат... И начал как будто бы засыпать, проваливаться в сон... но тут откуда-то прискакал на коне Денис Давыдов, оказавшийся Жогиным, спрыгнул на землю и сразу закричал, мотая головой и плача: «Товарищ фельдмаршал! Товарищ фельдмаршал! Наша жизненная битва полностью проиграна! Полностью проиграна!» Стал приседать, ударяя себя кулаком по голове: «Обошли! О-обошли!» «Где?!» – вскричал Кропин и прищурил единственный – зоркий – глаз и приставил к нему трубу. «Вон! Во-он!» – все кричал, плакал Денис Давыдов-Жогин, чумазый, в пороховой гари, но в кивере и с усами. Кропин водил трубой. Не туда, оказывается. «Во-он!» И верно – слева наседали носатые французы. Слева обошли русаков. «Обошли-таки, ятит твою!» – выругался Кропин и схлопнул трубу как мандашку.

А потом густо потянуло по всей панораме дымом, и стала ходить по ней Женщина. Женщина-Мать с распущенными волосами и в длинной рубахе. Вместе с сильным симфоническим ветром музыкально звала: «Дмитрий Алексеевич! Где вы? Отзовитесь! Дмитрий Алексеевич!»

Сбросив ноги, Кропин на тахте сел, раскачиваясь. Ничего не соображал. Голос жалобно доносился из коридора. Раздергиваясь ногами, чтобы не упасть, Кропин пошел...

Словно находясь на крохотном подтопленном островке, вокруг которого было сплошное наводнение, держась за руки, они топтались на месте и высматривали его, Кропина, почему-то по потолку. Бабушка и внучка. Словно искали его там, как на небе. Взывали к нему, точно к прячущемуся где-то за грязным облаком ангелу. «Дмитрий Алексеевич! Где вы?!» Увидели его в раскрытой двери, заспешили. «Дмитрий Алексеевич, родной вы наш, – боимся!» Старая всклоченная женщина дрожала, моляще взглядывала ему в лицо. Смотрела и девочка, не отпуская рук бабушки. Обе в серых коробах до пят, испуганные. «Пойдемте к нам. Пожалуйста». У Кропина сжалось сердце, перехватило дыхание. «Простите меня. Сейчас». Он ринулся обратно в комнату Жогина, схватил подушку, тут же вышел. Повел плачущую женщину. Предупредительный, сам страдающий, с подушкой под левой рукой. Из своей двери на них смотрели Чуша и Переляев. Оба веселые. Откровенно прыскали. Захлопнулись. Кропин осторожно завел бабушку с внучкой в комнату и включил свет. Снова укладывались. Обнятая сразу заснувшей внучкой, женщина по-прежнему плакала, говорила, что больше не будет. Что темноты боится, когда никого нет в комнате. Кропин ее успокаивал, бубнил что-то, мол, ничего, бывает, и уже засыпал, но за стеной заиграла музыка, поставили пластинку, и, как всегда, Переляев начал там *трясти сено*. Под забойный фокстрот. «О, господи! Эти еще опять!» «Что это?!» – вскинулась на локоть женщина. «Не бойтесь... Любители эстрадной музыки... Спите».

Через минуту Кропин, наконец, спал. В сон – провалился. Сам храпел. Отчаянно, пропаще, страшно. Женщина вздрагивала и все прислушивалась. За стеной сено уже будто – косили. Выкашивали косами. Шыхх! Шыхх! Шыхх!..

Ранним утром Кропин выплясывал с тяжеленными чемоданами на лестнице к нетерпеливо сигналящему с улицы такси. Кропину нужно было на работу, на дежурство, поэтому поехать на вокзал и проводить гостей он не мог. Вдвоем с шофером кое-как засунули чемоданы в багажник. Потом пошли сумки, сетки. Перестав суетиться, руководить, Елизавета Ивановна взяла внучку за руку, готовясь к прощальным, очень важным словам, которые она должна сказать Дмитрию Алексеевичу. Но Кропин, глянув на нее и внучку, стоящих в каких-то одинаковых дорожных пелеринках и с сумками через плечо, вспомнив, что почти так же стояли они и ночью в коридоре и звали его, Кропина – Кропин стал отворачиваться, глотать слезы. Да что за сентиментальный старик! – корил он себя. Да что же это такое! Елизавета Ивановна начала было говорить заготовленные слова... но Дмитрий Алексеевич повернулся... и вдруг присел к девочке, к внучке ее. Рассматривал ангельское личико во все глаза. Точно увидел его впервые. Точно привезли ее к нему, как к деду, как родную. «Что, Элечка, домой хочешь? К маме с папой? Соскучилась?» «Да»,– прошептала девочка, застенчиво опустив глаза. И так же, как Жогин, старик вывернул ей из кулака большую конфету. Фокусом. «Спасибо», – взяла конфету Эля. Щеки ее были как две вишенки. Кропин осторожно поцеловал их. Потом держал в руках руку Елизаветы Ивановны и, не давая ей говорить, заверял, что всё понял, всё, не волнуйтесь, что приедет в августе, как сказал, что телеграмму даст и крышки для банок привезет непременно, не забудет... Тоже поцеловал. Старуха охватила его шею, стала подпрыгивать и неудержимо целовать. Но он уже теснил ее к машине, к раскрытой двери. Следом подсадил внучку и захлопнул дверцу. «Волга» разом бросилась вперед. В заднем окне махались две руки. Большая и маленькая. Чувствуя всю остроту, всю предрешенную безысходность прощания, разлуки, Кропин не сдерживаясь плакал, тоже махал им рукой. Шептал: «Сентиментальный старик! Глупый сентиментальный старик!»

13. Среди людей, или Одинокие глаза ротозея

Внутри новосибирский вокзал был как пасека. Как раскинувшаяся пасека под высоким небом. С везущимся чемоданом-калекой (тянул за полуоторвавшуюся ручку) Кропин продвигался вдоль деревянных диванов с пчелино-слипшимися, вялыми конгломератами людей, от которых изредка отрывались, жужжали и проносились мимо отдельные, так сказать, особи. Кропин совал-

ся на освободившееся местечко, но ему говорили строго – занято! Ага. Ясно. Извините. Дальше увозил чемодан. В уши лез постоянный, пристанционно-тарабарский голос. Вернее даже – вольный перевод его. Граждане пассажиры. Ага. Ясно. Десятый путь. Понятно. По-ез-д. Что вы говорите! Ту-ту. Дошло? Чего сидите-то? Олухи! Чешите! Голос был как болтающийся под потолком стропальщик. Из породы громогласных архангелов. Мгновенно сдернувшись (со скамьи), два пассажира чуть не пришибли Кропина чемоданами и даже поволокли его чемодан за собой, но, изловчившись, Кропин от них чемодан вырвал, отнял – и тут же прыгнул щучкой. На освободившееся место. В обнимку с чемоданом. А-а! Никто теперь не скажет «занято». Шалите! Завоевано на глазах у всех!

Сидел, откинутый на спинку скамьи, опустошенный.

Нужно было перекомпостировать билет. Немного погодя поднялся, опять поволокся с чемоданом. Что сказать, отец? «Занято», что ли? Махнул рукой. Зачем вообще, собственно, садился. Сверху вновь задолбил по голове пристанционный. Опять призывающий куда-то бежать.

Стоял в длинной очереди к одной из билетных касс. Чемодан сдал в камеру хранения на первом этаже. Прямо так, с полуоторванной ручкой. С большим ворчанием взяли. Надо бы багажные ремни, что ли, поискать. Может, продают тут где.

Впереди Кропина, человека через три, стоял тоже старик. Низенький, большеголовый. С коком на голове – как перегорелая проволока. Когда дошла очередь, он начал торопиться, искать деньги. Так же судорожно доставал их из бумажника. Сунул, наконец, под стекло. Заслонял коком всё, что за стеклом. На цыпочки вставал, учащенно дыша. Целое событие, оказывается, – покупка билета на поезд. Из кассы что-то сказали ему. А? Что? Что вы сказали? В репродукторе зло заколотилась картошка. Опять начал судорожно выворачивать всё из бумажника. Теперь уже мелочь. Близоруко-быстро, трясущимися руками набирал на подоконничке. Толкал, толкал опять за стекло. И снова тянулся, лапками цепляясь за подоконник. Ему выкинули билеты со сдачей бумажками. Отошел и сразу на билеты уставился. Ничего не мог понять. Кок стоял как электростанция. Хотел было обратно... А! Сунул все в задний карман брюк, пошел, отираясь платком. Событие. Да, событие, черт бы его задрал совсем!

Подошла очередь Кропина, и он начал точно так же, как старик с коком, судорожно шарить по карманам, напрочь забыв, где деньги, где билет. (Да что же это такое! У всех стариков, что ли, одинаково!) Точно так же не понимал, что ему сыплется из репродуктора. Переспрашивал (а?), уточнял (как вы сказали?). Вытряхивал мелочь на подоконник, ничего не различая в ней, совал, совал ее, подряд, как в пасть, лишь бы отстали... И вот уже выходит из очереди, деньгами осыпаясь, как раджа (все бегают, собирают скачущие монеты, а он: спасибо вам! спасибо!). И ни черта не может понять в билете. Хочет снова – теперь уже вся очередь орет ему: в два тридцать! Что называется, в ухо. Какого? – уточняет пенсионер. Местного или московского? МОС-КОВ-СКОГО! А местного, новосибирского? В ШЕСТЬ ТРИДЦАТЬ! (ОЛУХ!) Ага. Спасибо. А если дальше представить? Что было бы дальше? К примеру, объявили бы посадку? Куда бы побежал пенсионер, вытаращив глаза? В какую сторону? Да, событие. Залпом замахнул в себя два стакана газировки из автомата. Точно, событие. Черт бы его побрал.

Каким-то старообразненьким развратным мальчишкой стоял и указывал ручкой вождь, весь извозюканный золотой краской. Золотком. Рядом, как его корешки, как его воспито́ны, бегали цыганские мужчины тринадцати-четырнадцати лет. Все в величайших брюках. Все точно бурые узкогрудые голуби с колечкам-хохолками на затылках. То ли высматривали чего бы стянуть-слямзить, то ли спекулировали. Толстые отцы и дядья их – отдельно стояли. Все в рубахах навыпуск – как цветные ботвиньи. Почему-то были они все без крикливых своих женщин. Забастовка. Бросили мужей и деток. В воду. Плавайте, заразы! Усы на пузачах повело, закосило мучительной свастикой.

Улыбаясь, Кропин смотрел какое-то время на цыган.

Прямо на середине зала, вокруг горки рюкзаков и чемоданов, сбился студенческий стройотряд. Парни и девчата. Все в зеленых куртках и штанах. Все хорошо отклеймённые. Оттавро́ван-

ные в спины. Со значками, с нашлепками на рукавах. Ну, понятно, парень пел. Сидя на чемодане. Затачивал на гитаре. Остальные, с обязательностью поглядывая на людей, – подпевали:

...До свиданья, друзья, надо ехать,
Мне рукой махнет суетливый вокзал,
И колеса закатятся смехом.
Полнедели пути, полнедели вина,
Проводницы раскрытые губы...

Кропин подошел, сразу тоже запел:

...Но упорно брели мы к цели,
Правда, трое из нас утонули, эх!
А четвертого, жирного, съели...

Как будто всю жизнь знал эти слова. Дирижировал даже рукой. Но все уставились на него. Тогда умолк. Оказалось – позже всех. И дирижировать перестал. Ничего. Бывает. Кивал головой, прощался. В другой раз лучше. Да. Отошел. Комик, вообще-то. Если честно. Решил осмотреть вокзал.

Долго стоял на первом этаже перед дамской парикмахерской. Вернее, перед красоткой на витринном стекле. Губ такого размера Кропин не видал никогда. На ум приходил удар ножа. Его результат. Кропин даже оглянулся. Какой-то проходящий мужичок подмигнул: что, забрало, отец?.. Кропин покраснел (не разучился). Поспешно запал в какую-то дверь. Оказалось – в мужской зал. Этой же парикмахерской.

Кругом сорили, торопились пульверизаторы. И было видно ожидающим на стульях: одеколон здесь – что тебе керосин в ресторане – сверху стрижки обязателен. Потом все ножницы опять заколотились, как эпилептики в припадке. Уже над новым поголовьем. Над новыми ушами. А Кропин в неуверенности трогал затылок. Но... поборол себя. Вышел наружу. Куда податься?

В пылающих неоном киосках с разной мелочью, здесь же, на первом этаже, помня о багажных ремнях – высматривал их. Иногда спрашивал. На него смотрели как на умалишенного. Да где же их спрашивать-то? Как не на вокзале? Ну, дает старикан! Ну, дает!

Как-то незаметно вышел из вокзала. Солнце трубило из облачка вниз, и над только что политой площадью висела длинная синяя взвесь, шаль, полная жемчужных вспыхивающих капель. Неподалеку увидел толстого нищего. Слепого, сидящего прямо на асфальте. Перед частоколом идущих ног он точно сердито запрятывался в мясо на своем лице. Левую ногу подвернул под себя, превратив ее в толстый крендель... Кропин подкинул ему в кепку двадцать копеек. Ни слова в благодарность, Ни кивка. Слепой словно не слышал, что ему подали. Что ему звякнули в кепку. Более того, – брезгливо наморщился. Кропин замер. Потом чуть не на цыпочках – отошел, переводя дух. С другой стороны, что же – он должен тебе поклоны бить полчаса? За твои двадцать копеек? Так, что ли? И все же – обижало почему-то это. Как впёрся не туда. Куда-нибудь в подсобку. Как схватили там за шиворот: куда?! Назад!

Вдруг набежала какая-то испитая бабенка. С личиком как киселек.

– Колька – легавые!

И громоздкий, крупный этот слепой широко, неуклюже побежал, хватаясь за бабенку, уволакивая отсиженную ногу. Так побежал бы, наверное, сарай, утаскивая за собой отваливающиеся балки, доски...

Из здания вокзала на эстакаду вышли двое в красных повязках. Два сизаря. И сразу внизу, рядом с эстакадой, какой-то бич повис на бетонном заборе. С сеткой бутылок на руке. Не взял высоту. Влип растаращенно. Прыгун без шеста.

Сизым было лень идти к нему (пройти нужно было всю эстакаду, потом свернуть, потом спуститься еще по длинной лестнице к первому этажу вокзала, к забору с бичом) – пощурились на солнце и ушли обратно в здание. Бич сразу рухнул вниз, на задницу, разбив, расплескав все свои бутылки на асфальт большим стеклянным половодьем. Да ятит вашу! – ворочался на битом стекле несчастный... Кропину было не смешно.

Пришел в себя на небольшом базарчике. Рядом с пригородными кассами. Овощи продавались тут. Молоко, яйца. А также сметана, творог. Всё под невысокими навесами, на прилавках. Кропин глядел на сильно загорелые руки в белых нарукавниках, которые сновали над овощами и молочным, и на ум ему почему-то приходила Куба. Ноги мулаток. Выделывающие на кубинском карнавале.

Поколебавшись (гигиенично ли будет?), купил молока, тут же налитого ему в бутылку. Красная гипертоническая матрешка приговаривала, наливая через воронку: «Чистая, чистая бутылка! Не бо́ись! Кипятком мыла! Потом сдашь! Парное молочко, парное!» Молоко и вправду было свежее, очень вкусное. Кропин кивал женщине, когда отходил. Выпил больше половины. Икнул. Покрутил в руке бутылку. Вспомнил бича. Осторожно приставил бутылку к урне. И снова увидел печальное.

На тарном пустом ящике, воткнувшись в коленки локтями, сидел старик с подглазьями как с бляхами. У ног его, на грязной холстине валялись какие-то ржавые железки. Старик задумчиво посасывал табак из длинного наборного мундштука, полсигареткой начиненного. Весь вид старика говорил: жизнь, собственно, прошла, прожита... Господи, кто же купит у него здесь хоть что-нибудь? Здесь, на вокзале? Кропин присел, для вида перебирал железки. Может, так как-нибудь дать денег? Деликатно? (Старик даже не смотрел на покупателя.) Сколько стоит? А сколько дашь. Старик выпустил кудельку дыма. Потом еще одну. Кропин положил на холстину рубль, отошел с трубой, на которую была навернута гайка. Со сго́ном. И куда его теперь?

Сгон, оглядываясь по сторонам, незаметно опустил в урну.

Сидел на приземленной, длинной, без спинки, скамье, один, сидел тоже облокотясь, как и тот старик, взяв рукой руку, тяжело задумавшись. В душе вроде бы летал грязный ангел. У каждого бывают такие минуты... Покосился на присевшую на скамью женщину с девчонкой лет пяти-шести, красиво одетой, с белым вздутым бантом на голове. Сама женщина тоже была одета во все новое: строгий серый костюм, какие надевают сельские учительницы на праздники, на экзамены, красивые туфли на стройных ногах. Косы на голове. Тяжелые, ули́товые. Узкое белое лицо... Тоже, наверное, проездом. Кропин отвернулся. Блуждал взглядом. Однако услышал всхлипывания. А дальше неудержимый плач раздался. Рыдания.

– Что! Что такое! – как от тока подкинулся Кропин. И вскочил: – Что с вами?!

Лицо женщины стало неузнаваемым. Перед Кропиным дергалась, рыдала вдруг ожившая, страшно искажающаяся театральная маска! Одна из двух, что висят в театре на занавесе! Челюсть отпала и хлопалась, точно привязанная, а глаза стали мгновенно красными, и слезы изливались из них как жар, как лава!

– Я... я... Мы! Помогите! Спасите! Мы... – Губы женщины дергались. В подбородке словно ёрзала кость.

– Да успокойтесь, успокойтесь! – Кропин метался возле: – Прошу вас! – (Господи, да что же это!) – Ну, скажите, скажите мне, что случилось? Скажите!

Ребенок ее вдруг начал лезть, заюливать к ней в колени. Точно прятался, спасался. Словно не давал, чтобы она говорила. Охватывал ручонками. А женщина уже – как каркала. Куда-то вверх, в небо:

– Всё! Всё, мы пропали! Деньги! Чемодан! О, какие негодяи! Украсть! У женщины с ребенком! О-о!

– Где? где украли? Когда?! – Кропин сидел уже рядом, прямой, дергался от вскриков женщины.

– Сегодня! Как только с поезда! Утром! О, господи! Сумку! В ней документы! Деньги! Билеты! Чемодан! О-о-о! В чужом городе! За тысячи километров от дома!..

Два-три человека приостановились, раскрыв рты. «У нее документы украли. Чемодан», – как мать, объяснял им Кропин, приобняв пригнувшуюся, невыносимо скулящую женщину, другую свою руку отдав ей на растерзанье. Ее ледяным, мокрым, судорожно хватающим пальцам. «Идите, идите», – говорил зевакам. Девочка дергала мать за руку, плакала, перекашивая лицо: «Мама, не плачь. Мама...»

Женщина как-то взяла все же себя в руки, начала зло, четко рассказывать, вытирая лицо платком. Они с дочерью были в Туркмении. Ездили к больной матери женщины, бабушке девочки. Не виделись три года. («Я учительница начальной школы. Любовь Петровна Журенко. Работаю в Приморье. В деревне Ракитовка. (Это от станции Дальнереченской еще 70 километров. В сторону, в тайгу, на автобусе.) Попала туда по распределению. Так и осталась там. Десять лет уже прошло. Там и Вера родилась. В садик в старшую группу ходит. На следующий год уже ко мне пойдет, в школу».) Ну прожили они с мамой и бабушкой почти два месяца. И как ни тяжело было расставаться, как ни тяжело было оставлять больную женщину (инвалида второй группы), ехать назад надо. К первому сентября – на работу. До Новосибирска доехали нормально...

– ...И вот сошли с поезда, идем по перрону в толпе, к вокзалу, где нам нужно закомпостировать билет и переждать шесть часов до нашего поезда. У Верочки бант развязался, остановились, я завязываю, люди толкают, все с поезда, оглянулась: ни чемодана, ни сумки. О, негодяи! О-о! Надо было кричать, звать на помощь, а я иду дальше с дочерью, как по голове ударенная. Так и вошли в вокзал. Как будто ничего у нас не было с собой. Ни чемодана, ни сумки. И все идут, не подозревают даже – что́ среди них произошло. Вот только что. О, Господи! Что делать? В чужом городе! Ни одного знакомого! За тысячи километров от дома!..

Кропин спросил, были ли они в милиции? Заявили ли? Ну конечно были, конечно были. Здесь же на станции, в вокзале. Сначала смотрели с недоверием, с подозрением, как на аферистку какую-то. (Ведь ни документов, ничего!) Потом все же записали данные. Фамилию, адрес, место работы. Составили протокол. Сказали, что будут искать. Чтоб заходили. Как в насмешку. Как в магазин какой. В комиссионку. Пока, мол, этого товара нету. Заходите. Господи, где они найдут?! Кого?! Ведь тысячи людей через этот вокзал проходят! Тысячи! Господи, что делать! Ребенок не кормлен, голодный!.. (Бант девчонки понурился. Как какой-то посторонний головке стрекозёл. Было видно, что он привязан.)

Кропин спросил, сколько стоит билет. Ну до этой станции, до Дальнереченской. Оказалось, 82 рубля. Страшно даже сказать. Узнавали в кассе. Взрослый и детский. На Веру тоже ведь надо. Цена показалась Кропину великоватой. Для железной дороги. Не самолет же. Впрочем, пилить-то надо еще четверо суток. Да еще автобусом потом. Это же на краю земли. Эта их Ракитовка... У Кропина было 150 рублей... Если не хватит на обратный билет... Новоселов... Новоселов Саша вышлет. Телеграфом. На обратный путь. Телеграмму ему – и порядок. Вышлет сразу, не подведет!

– Вот что, Любовь Петровна... Я вам дам на билеты, и до Дальнереченской, и до вашей Ракитовки, а до дома доберетесь, вышлете мне... Хватит уже с вас тут всего... Согласны?

Женщина на него как-то странно, испуганно посмотрела. Как будто резко остановилась перед ним на бегу. И в следующий миг Кропин вырывал руку, которую она хватала и пыталась поцеловать. (Ну-ну! Что вы делаете! Право!) Это была кульминация всего, апофеоз. Дальше торопливо отсчитывал деньги. Еще добавил. Еще. На еду же надо, на еду. Да мало ли в дороге! На постель. Вот – 120 рублей. (Новый взрыв плача. Обильного, счастливого.) Уже быстро писал адрес. Вырвал листок. Протянул. (Женщина говорила как в бреду, неостановимо. Прижимала деньги и бумажку к груди.) Предложил сам пойти купить билеты. Что вы! Что вы! – хватали его ледяные руки. Зубы женщины стучали. Дмитрий Алексеевич! Что вы! Ни в коем случае! Успел крикнуть уже бегущим, что телеграфом не нужно, не нужно! Простым переводом! Простым!.. дешевле... будет... С умилением смотрел на быстро идущую, сразу обретшую гордую осанку стройную женщину, на ее ладную, подпрыгивающую сбоку девочку с вздутым бантом. Слезы набегали. Сентиментальный старик. Совсем сентиментальный... Посидев минут десять, успокоившись, тоже пошел к вокзалу. Поесть там, что ли, где. Да и печёт. Облачко девалось куда-то. Солнце стало оголенным, сильным. На солнце рьяно прислуживали тонконогие комарики. Как бы давление опять не нагнать. Да и переживания эти...

Проходя по кассовому залу, увидел их в одной из очередей. Они замахали ему руками. Девочка заподпрыгивала. Женщина показывала, показывала на табло. Там уже горело – Харьков-Вла-

дивосток. Свободные места есть. Ну что ж. Все хорошо. Очень рад за вас. Он покивал им, как бы прощаясь. Шел дальше, стеснительно улыбаясь, подергивая себя за ухо. Приятно все же сделать людям доброе дело. Приятно. Чего уж.

Сидел опять среди людей, среди пассажиров. Было легко на душе, свободно. Забыл, что собирался где-нибудь поесть. Как-то незаметно для себя стал следить за девчонкой лет шестнадцати. Сидящей напротив. Девчонка эта, явно деревенская, с раздернутым, без затей, пробором на голове, с косичками, все время подавалась вперед и как-то наглядно, по-деревенски, принималась думать. (О парне? о маме с тятей? о своей Ракитовке какой-нибудь?) Подступала словно к чему-то очень важному для себя. Потом, точно ухватив ответ, откидывалась на спинку скамьи – и лицо ее прятало быструю счастливую улыбку. Снова придвигалась вперед. К серьезному, важному. И Кропину было радостно смотреть на эти сшибки чувств и ума. Бормотали губы: да, да, милая! Для счастья ты живешь, для будущих своих детей, для любви, да, да!.. Почувствовал на щеках слезы. Ах ты, боже мой! Опять! Сразу поднялся, стал выбираться куда-то вбок, через ноги, вещи. А девушка с улыбкой всё вслушивалась в себя, даже не заметила поспешно пролезающего мимо старика с отпавшей, прямо-таки крокодиловой челюстью.

На новом месте уже с удивлением наблюдал (да что за осел такой! только б наблюдать!) за женщиной лет пятидесяти пяти. Тоже сидящей напротив. Женщина разворачивала еду рядом с собой. Женщине было неудобно: в тесной юбке короткие ножки ёрзали, дергались над полом, напоминая почему-то палисад, белый, голенький. А на пельменном лацкане жакета побалтывались две ветеранские запёкшиеся медали. Глазированной, так сказать, кровью. Но почему – две? На двух работах, что ли, получила?.. Сразу вспомнил свое пятидесятилетие. В ту далекую уже весну были поздравления. Этакая сладостная, юбилейная экзекуция от общественности. Брызгался звонками домашний телефон. Подходил к нему. Отвечал. Не узнавая себя. Этак устало... Подумаешь – пятьдесят... Ну и что?.. Работает человек, не высовывается, при чем тут пятьдесят?.. Ни к чему это всё, честное слово, ни к чему... Спасибо, конечно, но, право!.. Отходя, смотрел на фамилии, выписанные им вразброс на лист. Как на загадочные планеты. Планиды. Взял ручку, сбил в столбец. Фамилии стали смотреть с угрозой. Некоторые подчеркнул. Обладатели которых позвонили. Но неподчеркнутых фамилий оставалось еще много. При новых звонках – срывался. Хватал трубку. Но опять будто кто-то совсем другой – вконец уставший от поздравлений.. Подумаешь – пятьдесят... Право! Стыдно даже. Ни к чему...

Дали грамоту. (Медалей тогда не было еще. Не давали.) Подарок. Будильник. В коробке. Дружно аплодировали, провожая со сцены. Сердце сладостно обмирало. Весь вспотел. На месте, когда садился, дергали на разные стороны за руки. По плечам также хлопали, бухали в спину. Ощутимо... Право... подумаешь... ни к чему... спасибо...

Дома всю ночь не спал. Как будто все в лихорадке, набегали и набегали улыбки. Ох, слаб человек, ох, слаб... На другой день утром боязливо взглядывал на встречных. Идя по коридору. Но – ни гу-гу. Ничего о вчерашнем. Кроме обычных приветствий. Забыли. Уже забыли. Хватит, Кропин, хватит! – говорил он себе. Ох, слаб человек, ох, слаб... Да-а...

На скукожившегося красного Кропина безмятежно смотрели чистенькие фарфоровые глазки женщины напротив, уже принявшейся есть... Однако... однако тоже ведь надо, наконец, где-нибудь поесть. Кроме молока, ничего сегодня не было. Поднялся.

Когда стоял за столиком в буфете и ел, услышал, что объявили посадку на поезд Харьков-Владивосток. Надо было бы проводить, посадить в вагон. Но это выглядело бы, наверное, уже лишним. Женщина чувствовала бы себя неудобно. (О чем говорить? Все об этих деньгах? Что непременно вышлет?) Доброе дело, видимо, должно останавливаться где-то, у какой-то черты. Иначе это уже не добро будет, а – навязчивость. Влезание в душу. Да.

По территории буфета шныряли так называемые чистильщики. Городские, так сказать, волки-санитары. Можно? Кропин не успел рта раскрыть, как существо вроде бы женского пола увело за собой его бутылку. Из-под ситро. Можно? И кефирная бутылка поплыла следом. Не допил же! Эй! Поздно. Да-а. Вот ловкачи.

А не прогуляться ли (вот только вытереть губы салфеткой)... не прогуляться ли теперь в город? В кино сходить, например? Да и Оперный театр посмотреть (ведь наслушался о нем, подъезжая к Новосибирску)? ЦУМ там какой-нибудь? Базар? Время до поезда – море.

Кропин вышел из вокзала и, миновав площадь, пошел вдоль широкого проспекта. Глазел на тяжелые дома, на витрины, читал названия магазинов. Несмотря на массы машин, небо было чистое, свежее. Тополь смеялся, как пудель. Люди были легкие, зыбкие в солнце, не мешали. Кропин шел, улыбался. И – рот вдруг опять раскрыл. Как всегда. По проспекту со спорой повозкой на шинном ходу сыто трусил конь-тяжеловоз. Нисколько не пугаясь машин. Передние мощные ноги, что тебе мохнатые штаны индейца, резко впечатывались в асфальт, как будто сбрасывали на него подковы. Задние – пружинно подтанцовывали, несли. Рассыпчатый пышный хвост точно заметал что-то за конягой, ритмично заметал. Красавец конь! Кропин радовался, оглядывался на людей. Понимая значимость действа, коновозчик пролетел чугунным артистом. Кропин тянул голову на проезжую часть, готов был рвануть следом. Эх ты! Убегает!..

Квартала за четыре от вокзальной площади вышел к довольно большому, новой постройки универмагу в два этажа. Сплошь в стекле и с лестницей во все здание. Зашел и долго ходил по нему. В одном из отделов на втором этаже вдруг увидел вроде бы ремни. Багажные ремни. Ах ты боже мой! Как повезло! Это ремни у вас, да, ремни? Продавщица молчала. Остановленные глаза ее смотрели... словно сквозь Кропина. Кропин обернулся, потом невольно начал приседать перед ней, пытаясь уследить, куда она смотрит. Бесполезно – глаза как будто на цыпочки встали... Да-а... Вдруг повернулась к Кропину спиной. Точнее – пышным задом. Вдобавок вспышенным еще и плиссированной юбкой. Как фря какая-то. Прямо от Ги де Мопассана. Пышка. Что-то делала там руками. Не оборачиваясь, кинула Кропину ремни. Кропин ловко поймал. Как сеттер. Зачем пошла работать сюда? Если брезгует людьми? Прямо на каторге человек! Кропин усердно мял ремни, косясь на продавщицу. Дергал, проверял на прочность. С ремнями пошел к выходу, к лестнице. В общем-то довольный. Фря не проронила ни звука. Даже когда расплачивался. Говорил почему-то ей, не останавливаясь. Как балаболка какой. Тренькал. Болван.

Увидел, наконец, здание Оперного театра... Оперный театр был... как гробница. Гробница Тутанхамона... Если такого громадного размера могла она когда-либо существовать... Впереди, на подходе к театру, на низком пьедестале (издали казалось, что прямо на земле) стояли вооруженные Рабочий и Партизан бородатый. Оба небывалых размеров. С глинобитными ножищами. Прямо-таки циклопы. Словно бы надежно они охраняли всех муз у себя за спиной... Подходить ближе не стал. Хватит, пожалуй, таких достопримечательностей.

Когда повернул назад, к вокзалу, вдруг понял, что не донести. По-маленькому. Ах ты боже мой! Оглядывался. Сжимал уже всё своё внизу. Корчился. Как мальчишка какой. Заигрался. До обдувания портков. Ах ты беда какая! Спросил у одного, другого: где тут? Поблизости? Никто не знал. Тогда начал тянуть куда-то в сторону от проспекта, помня, что тот должен оставаться слева. Быстро шел какими-то дворами, полными детей и взрослых. Еще куда-то свернул. В какой-то проулок. Как казалось ему, торопился в сторону вокзала. Хоть бы что-нибудь где-нибудь! Вдруг увидел впереди кусты, подпираемые низкой оградой. Глиняной набитой дорожкой побежал к ним. Вылетел из кустов то ли на заброшенную детскую площадку, то ли на маленький заросший детский стадион. По тропинке, по диагонали припустил через всю площадку к ее противоположной стороне, к густому кустарнику там. Как лось вломившись в кусты, засовывал в карман багажные ремни... И точно в благодати истекал возле какой-то дощатой заброшенной горки. Кустарником завален был с головой. В просунувшихся столбах солнца скорчивающиеся кровожадные пауки дергали свои паутины. Из провала в деревянном сооружении вдруг с воплем выметнулась кошка. Проскочила прямо под ногами. Да чтоб тебя! Снова на траву блаженно истекал. Казалось, вылил из себя ведро. Застегиваясь, полез из кустов, ступил на тропу, отряхивая с себя пыль и паутину. И увидел... по той же тропинке (по которой пробежал! только что пробежал!)... идущих женщину и девчонку. Тех, с вокзала. Идущих прямо навстречу ему. Кропину. И Кропин мял в руках багажные ремни, как вытащенный с ними к барьеру дуэлянт, в глаза не видевший пистолетов.

Уходить с тропинки было поздно и некуда. Женщина быстро шла с большим тяжелым пакетом, какие можно купить в магазинах самообслуживания. Вертела головой, Кропина почему-то не видела. Девчонка вприскочку поддавала сбоку, слизывая с мороженого на палке. Надутый бант подпрыгивал вместе с ней. Дернула мать за руку... Резко остановились в десяти шагах от Кропина. Женщина, казалось, даже не испугалась, начала пятиться, напряженно высматривая путь. Повернулась, быстро пошла назад. Побежала, удергивая за собой девчонку. Они влетели в низкую зеленую арку кустов, исчезли. Всё это произошло за секунды. Кропин часто дышал, ловил ртом выскакивающее сердце. Как будто увидел женщину голой. Как будто свершил половой акт с ней!..

Две пожилые женщины куце, настороженно поджимали свои груди-животы руками. Как два МВД, по меньшей мере. Не внушал старик этот доверия. Не внушал. Без единой вещички сидит. Но – с багажными ремнями! Зачем? Ремни-то у него? Не иначе, как это самое. Ремнями-то этими: раз! – и порядок. Увел. Чемодан. Или еще чего. Подозрительный тип. Жулик. Точно. Длинное лицо, что тебе палка. Только что ошкуренная. Вся в чернильных пятнах. Сильно вспотевшая. Все время отирается платком. И все время улыбается, главное. Головой покачивает. Вроде бы удивляется. А сам ни на кого не глядит. Всё возле себя зыркает. Всё по вещам, всё по вещам чужим шмаляет глазом. Ишь, гад! Во, во, пошел. Новое местечко выискивает. Новую жертву подбирает. Здесь-то ему обломилось. Шалишь! Не на тех напал!.. Да-а, Кропин, это тебе не поезд. Не в вагоне ты. Не в единой как бы семье. Здесь никто ни с кем не разговаривает. Здесь следят за вещами. Друг за другом. Можно к вам? Занято! Да-а. Не вагон это тебе, где душа нараспашку, не вагон, не поезд.

Старик все бродил, вроде бы искал место. Все улыбался. Одна из теток уже нашептывала милиционеру. Не спускала глаз с передвигающейся спины старика, готовая в случае чего разом броситься на свое место. Милиционер внутренне подобрался. Пошел. С фотографическими усиками херувима-казачка. Требующими к себе хорошей нагайки.

Но глаза обернувшегося старика показались стражу безобидными. Репьями какими-то исхудалыми. Давно сшибленными палкой... На требование документов старик вдруг начал словно бы посмеиваться. Шарил во внутреннем кармане пиджака. И все не мог унять смех. Он прямо заходился смехом, лаял, протягивая билет и паспорт. Милиционер для проформы проверил всё. Отошел, хмурясь. Странный старикан. В Москве еще живет. Москвич. И смеется. (Чему смеется-то?) Вон, скомканными ремнями взмахивает уже. Как в припадке весь от смеха Старый полудурок!

...Наверняка ходила за мной по всему вокзалу. Вместе с девчонкой. Видела, как пел возле студентов. Дирижировал рукой. Точно идиот. Затаивалась где-то рядом, ждала. И на базарчике потом была. И опять все видела. И молоко как пил. И с трубой, со сгоном этим. Как избавлялся от него, как спускал в урну. Можно только представить ее состояние. Как радовалась она, как замирала. Ведь стопроцентный осел! Господи, стопроцентный! Какая удача! Только спокойно, спокойно. Не спугнуть. Ни в коем случае не спугнуть... Да-а. Откуда приходят такие? Где, на каких свалках вызревают? Ведь исключительные психологи. Величайшие артисты. Так рыдать! Конец света пред тобой! Катастрофа! А девчонка-то, девчонка ее? С белым бантом?.. Это же уму непостижимо!.. Господи, какой стыд пришлось пережить. Лучше бы провалиться ему там было на месте. На этой тропинке. Провалиться и никогда не жить. До смерти теперь не забыть этого стыда, до смерти. Кропин откинулся на спинку скамьи, смотрел на высокий потолок вокзала. По времени была глубокая ночь. Пристанционный женский голос по-прежнему терзал соловеющих пассажиров. Врывался с сообщениями о пролетающих станцию товарняках, о напрочь пропавших техничке Гридасовой и милиционере Куркине. Исчезающий голос, безнаказанный. Эх, добраться бы до тебя. Найти бы, где ты там засела.

Два длинных молоденьких негра откуда-то явились. Долго в растерянности ходили. Вертели головками. Как две курительные трубочки мира, попавшие не туда. Нигде места им не было. Один не без удивления сказал по-русски с английским акцентом: *«Муравьейник»*. Второй не без удивления расширил акцент, добавив английское определение: *«Муравьейник Russia»*.

Потом не без помощи одного старика (с багажными, конечно же, ремнями) им сдвинулись всё же на одной из скамей, похлопали ладошками по дереву – и они без промедления сели. Сидели, не веря в чудо. Плоские, как шезлонги. *«Муравьейник Russia-a»*. А через минуту спали, сронив головки набок.

Сильно потея, закинувшись раскрытым ротиком, спал напротив Кропина очень полный мужчина. Иногда рот закрывал – тогда как-то хрюкально принимались работать его ноздри. Сынишка лет трех – не спящий – пытался раскачивать его слоновую пропотелую ногу. Мать вяло останавливала. Худенькая, в сравнении с мужем, осоловевшая, готовая, казалось, для сна упасть на пол.

– Вы бы сходили в комнату матери и ребенка, – сказал ей Кропин. – Чего же вам мучиться?

– Вы думаете – можно туда нам?

– А отчего же! Для кого же она существует?

Женщина начала поталкивать, трясти мужа. Тот только лупил бессмысленно глаза. И снова откидывался. А сынишка баловался уже с его сцепленными пальцами. Как с со́сками...

Кропин сказал женщине «сейчас», начал выбираться из ряда. Долго переступал негров ноги. Будто раскиданный кабель.

...Перемазанный кашей, безропотно ворочал ложкой в тарелке еще один не спящий малец, лет полутора, забитый в маленький стульчик с горшком, как в колодку. Да что же они не спят-то сегодня? – удивился Кропин. Но, приглядевшись в полутьме большой комнаты, обнаружил, что везде на раскладушках раскидались спящие дети. Причем по двое на одной. А по бокам на крохотных табуреточках клюют носами их матери. Тут же тихо ходила женщина в белом халате. Носила зачем-то целые стопки наглаженных простыней. Хотя ни на одной из раскладушек простыней этих не было... Кропин подошел, спросил. «Сами видите...» – ответила женщина. Они вместе смотрели. Рядом с согбенными кочками матерей – дети точно закарабкались на раскладушки в свой сладкий сон...

Опять переступал разбросанные ноги негров. И развел руками женщине с сынишкой: мест нет. Битком, оказывается. Женщина слабо улыбнулась ему, благодаря. Все утихомиривала сына, отстраняя рукой от отца.

И снова мучительно потянулось ночное бессонное ожидание. Опять потянулись заскорузлые, отупелые мысли.

Толстяк внезапно проснулся. Ничего не мог понять. Откуда-то вывезли на потолок большую люстру. Пылающую, как торт. Щурился на нее, осмысливал. Потом начал что-то бубнить жене, крепко зажмуриваясь. Словно не мог видеть уже своих противных слов. Настолько они ему надоели. И было видно Кропину, ка́к они ему надоели. И остановить их – не было никакой возможности. Кропин старался быть хладнокровным, аналитичным, строгим. Хватит рот разевать. Научили. (Надолго ли?) А толстяк уже замолчал. Поводил головой, подумал – и вдруг сделал из себя могучую букву Ф. Могутную, можно сказать. И в два уха этого получившегося слона тут же просунулись его сын и жена – и вся эта слоновья композиция разом начала зевать, тянуть рты, пошевеливаться, как тесто, засыпать на станционном диване, вполне довольная и счастливая... Кропин опрокинулся головой назад, полетел в сон, как в пропасть.

...Когда объявили посадку (как? чудо, что услышал!), Кропин помчался, выхватил из камеры хранения чемодан. Давай лихорадочно способить ремни на него. Багажные, пресловутые. Ремни были велики, ремни были на три таких чемодана. И когда стоял у вагона (дисциплинированный, в очереди) – мятый чемоданишко повис на ремнях до земли. Так висят издыхающие коровки на гужах. В бескормицу. В голодный год. Ничего. Ладно. Нормально. Лишь бы не выпал. Когда полезешь, значит. Ничего, обошлось. Втянул за собой на гужах – как из колодца.

Где-то вставало солнце. Кропин вдруг остановился в коридоре. Во все глаза Кропин смотрел в окно. Не слышал толканий в спину, возгласов. – По крышам тронувшегося с соседнего пути поезда беззвучно шли, перескакивали с вагона на вагон лиловые замерзшие ноги Бога...

14. Пряные цветы Востока

Даже когда Кропин подъезжал, наконец, к своему пункту Б и сидел с приготовленным уже чемоданом, поглядывая в окно, даже в этот ответственный момент... старикашка опять резко распахнул дверь купе. Опять пьяный! Он деревянно шагнул мимо старухи-жены и Кропина, резко развернулся и, как это делают аквалангисты в ластах, – спиной кувыркнулся на нижнюю полку. И сразу страшно зажмурился. С раскрытым ротиком. Как находясь в кресле дантиста. Как изготовившись страдать... И так происходило – Кропин сбился считать – от самого Барнаула. Где старик влез с женой в это купе. И начал бегать в вагон-ресторан каждые полчаса, час...

Старуха жаловалась, что пропивает наследство. Продал дом умершего брата. Так отберите деньги! – не выдерживал Кропин. Нельзя-а, – тянула старуха. – Хозяин. Столяр-краснодеревщик. – Так пропьет ведь! Или сам умрет! Разве можно так пить? В таком возрасте?! – Да уж, соглашались с ним. Старуха была опрятна, сдобна. Оттопыривая мизинчики, оглаживала свои оборочки на опрятной кофточке.

Появилась река. Наверняка большая. Сжатая устьем гор. Поезд стал замедлять ход. И остановился. По большой дуге – поезд точно застрял в висящем параллелограмме моста. Что это за река? Иртыш, сказал кто-то из коридора... Иртыш... Так же, как в Омске... Это какой же протяженности дугу нужно было проделать поезду (сколько тысяч километров?!), чтобы снова выехать к этой реке и замкнуть ее (дугу) на этом высоко висящем мосту?.. На противоположной стороне вдоль скал по дороге сновали машины. Дальше, правее, в зелени по горе тонули пяти- и девятиэтажки...

Потихоньку тронулись. Внизу у насыпи, в по-утреннему сырых, отпаривающих огородах грели под солнцем крыши частные дома. Старуха-мусульманка в белом платке шла к будке на огороде. Кунган побалтывался в тощей руке, как солнце на веревке... С моста вода в Иртыше казалось зеленоватой, не глиняной, как в Омске. Тяжелым зеленым кораблем уходил вверх по реке вытянутый остров.

На станции Кропина никто не встретил. А ведь была дана телеграмма из Барнаула. Давно разошлись пассажиры с поезда, давно ушел сам поезд, а Кропин все ходил вокруг своего чемодана, сверяя досаду свою с часами на руке. Вокзал повыше от перрона был обыкновенный. Одноэтажный, серый, без выкрутасов. Пойти, что ли, туда? Там еще обождать?

На первый же путь подошел пригородный поезд. Растопыриваясь ревматическими ножками, спускались на перрон дачницы-пенсионерки. Однако на асфальте сразу начинали бодрить себя, подхватывать ведра, рюкзаки. Потом спешили по перрону, чуть не бежали. Помидорками тряслись их спекшиеся личики. У мужей их, тоже пенсионеров, от тяжеленных корзин лица были серьезны, натянуты, как жгуты. Всё людское поголовье торопливо колыхалось к лестнице, к переходному мосту...

Кропин поднял свой многострадальный чемодан, тоже пошел за всеми. Адрес Левиных у него был. Улица Тохтарова. Ориентир – парк имени Кирова. В центре города.

В переполненном трамвае Кропин ехал через весь город. С обеих сторон проплывали дома, в общем-то, обыкновенные, все те же пяти- и девятиэтажки; из дворов лезла на улицу зелень; многолюдно было на остановках, вокруг магазинов. Какой-то парк с аттракционами, где болтали крохотных людей гигантские осьминоги и выстреливали резко в небо катапульты тоже с мелкими людьми. Кинотеатр «Титан» – как какая-то башка циклопа домиком. Снова пятиэтажки. Обилие цветов по газонам и скверам, где машины-поливалки нарождали много радуг... Сначала Кропин стоял, потом ему уступили место, и с чемоданом на коленях он неотрывно смотрел в окно, как смотрит всякий нормальный человек, прибывший в незнакомый город...

Улицу Тохтарова нашел быстро. Короткая была улица, тихая, действительно упиралась в парк. (Кропин проехал лишнюю остановку и проник на улицу с другой стороны, с конца.) Про-

шел несколько домов, почему-то очень тихое и скромное здание Госбанка (ни одной машины рядом, впрочем – суббота же!) и увидел три одинаковых одноэтажных дома. Три номенклатурных особняка – с высокими заборами, с телевизионными антеннами на крышах, с железными глухими воротами в кованом крупном звездье. Сразу понял, что дошел, что здесь. Возле первого дома, на лавочке, как натуральный русский, сидел старик-казах. Однако, как и положено казаху, скоблил на домбре. Длинная обвязанная ладами палка домбры походила на висящий переходной мост над пропастью. Вправо-влево – погибнешь! Только прямой дорогой! Казахской! Поздоровавшись, Кропин спросил про искомый дом. Старик прервал игру, выставил перед собой левый глаз. Обстоятельный. Сродни алтыну. И указал на крайний дом. Поблагодарив, Кропин двинулся к дому.

– Телеграмма... – вдруг сказал казах. – На вокзал все поехал...

– Ну правильно, телеграмму давал, – приостановился Кропин, ожидая объяснений. Но старик опять заскоблил. Вдобавок закатился Кропину песней: «Ия-а-а-ай-ай-ия-ия-а-а!»

Кропин нажал, наконец, кнопку звонка на кованых воротах. Долго никого не было. Еще давил... Таращился на кованые звезды...

– Товарищ Кропин, по-видимому... С приездом. Проходите... – Худая блеклая женщина отступала от калитки, уводя приглашающую руку и взгляд за собой, и с чемоданом Кропин шел за ней по большому двору. Больше – саду. На тонких высоких стеблях какие-то цветы. Точно бархатные бабочки. В воздухе повисли ромашки. Казались намалеванным снегом. Еще какие-то высокие узластые цветы. Вроде вырезанных тромбофлебитов. Тут же высокие стрельчатые цветы, кудрявые, как флейты. Всюду почему-то пьяно склонившиеся подсолнухи с желтыми толстыми затылками. Женщина изредка оборачивалась и поводила Кропину формальной, равнодушной рукой. Кропин задевал какие-то деревья, вроде лимонных, с мокрыми свернутыми листьями, как со скрючившимися зародышами. У крыльца перед Кропиным появился и заюлил толстошерстный кобелек. Как бы представляясь. Было что-то в нем от толстой мягкой щетки. Им хотелось обмахнуть ботинки. Вернее, туфли. Кропин представил лицо сопровождающей, если бы он проделал это. Кобелька звали Боней. Бонифацием. Сопровождающая смотрела в сторону, пока старик ласкал собаку...

В ожидании уехавших (на вокзал), вежливо сидели у стола на большой веранде. Словно дальше не приглашаемый, чемодан остался стоять у самой двери, на выходе. Кропину были предложены груши. Крупные переспелые груши в синей волнистой вазе были как свиньи. Кропин не решился взять ни одну из них. Тогда ему коротко объяснили, что в телеграмме он допустил ошибку. Дал неправильный номер дома. Не 23-й, а 25-й! Поэтому телеграмма попала к казахам, через дом, ну а те – сами знаете. Кропин хотя и не знал про «сами знаете», однако согласно кивнул. Из дома явно слышались голоса, но никто не выходил. Кропин осторожно спросил про Маргариту Ивановну. Здесь ли она, в доме, или в больнице?..

– Маргарита Ивановна умерла, – ошарашили его. – Месяц назад. 23-го июля.

Та-ак. Отмучилась, значит, бедняжка. Сочувствую. Искренне сочувствую. Жаль. А он-то, выходит, зря ехал сюда. Его не стали разубеждать.

Опять вежливо молчали. От услышанного старик чувствовал, что поднимается давление. Женщина тоже была бледна. Но привычной, по-видимому, бледностью астенички. Несмотря на уже ощутимое утреннее тепло, – женщина была в шерстяной серой кофте. Руки запрятывались в рукава кофты, как мыши. Равнодушием, бесцветностью своей – женщина Кропина уже раздражала. От раздернутых и затянутых за уши волос темя ее походило на изломанный чертеж.

Кропину стало невмоготу. Кропин попросился на двор. Не в смысле этого самого. А в смысле погулять пока там, подышать свежим воздухом. Посмотреть цветы, хе-хе.

– Хорошо. Погуляйте, – разрешили ему. – В случае чего – я в доме... Я дочь Маргариты Ивановны... – Женщина помедлила, как бы оценивая Кропина: – Вероника Витальевна Колюжная...

Кропин разинул рот. Однако! Такой поворот сюжета! Выходит, дочь, родная дочь Виталькишустряка! Когда же он успел? Неужели с неродившимся ребенком законопатил Левину в лагерь?!

Вот да-а. Кропин плюхнулся обратно на стул. Тем более, что женщина уже ушла. Однако ему не дали очухаться. С другого конца веранды, прямо на него, шла другая женщина. Женщина – в чем мать родила! Точно! Только полотенце на плече! Кропин чуть не упал со стула. Однако женщина прошла мимо. Не поздоровавшись! Ничего не сказав! Тяжелая сзади, как глина. Как озол! Да что же это такое! Публичный дом тут, что ли? Сердце в груди лупило.

С чемоданом Кропин ломился сквозь сад. Собачонок Бонифаций бежал рядом, подпрыгивал, играл. Однако было поздно удирать. От калитки к нему спешили люди. Человек шесть-семь. Во главе с самой Елизаветой Ивановной. Кропина окружили, завернули, безоговорочно повели назад. Были тут сын и дочь Елизаветы Ивановны, чьи-то жены, мужья, еще кто-то. Собачонка будто поддавали ногой – летал как футбол. У крыльца группка разом расступилась. Освободила от себя Кропина с чемоданом. И, как доверенное лицо всех, к груди Кропина припала Елизавета Ивановна. Сорочка Кропина сразу стала заметно намокать. Бедная Маргарита! Бедная! Не дождалась вас, Дмитрий Алексеевич! Кропин тоже зашмыгал носом. Все свесили головы. (Бонифация куда-то упнули.) Однако скорбная минута кончилась, и Кропина потащили в дом. Он победно поглядывал на Веронику Колюжную, которая вышла все же на крыльцо, чтобы запрятывать в рукава свои мышиные лапки.

Кропину нужно было звонить в Москву Саше Новоселову, чтобы тот срочно, телеграфом, выслал деньги на обратную дорогу. Причем звонить конфиденциально, с почты, с переговорного пункта, который предстояло еще найти... По получении денег так же быстро купить обратный билет (Кропин намерен был отбыть обратно на другой же день). И ещё... Да мало ли чего еще нужно было сделать Кропину! В конце концов разобраться с бумагами Левиной! На это тоже нужно время! Однако его сразу усадили за стол, завтракать. Усадили одного, в доме. В большущей комнате. Можно сказать, в зале, с громадной люстрой над столом. (Вообще, сколько в этом доме комнат? Идя за всеми длинным коридором, – Кропин сосчитать не смог.) Кропин давился какой-то едой, торопливо докладывал Елизавете Ивановне, что крышки для консервирования купил, привез. Елизавета Ивановна, сидящая охранницей рядом, в смущении и в восхищении одновременно всплескивала руками. Остальные с умилением смотрели. Опять же, сколько в этом доме людей? Люди у стола все время менялись – одни уходили куда-то, зато приходили другие и вставали на места ушедших. Елизавета Ивановна каждого представляла. Сутуло, как крокодил, Кропин вскакивал. Точно давился бараном. Отдавал правую руку. Снова падал на стул. На знакомство начали выводить детей. По одному и группками. Кропин и им кивал. Ёлочке (Эле, внучке Елизаветы Ивановны) успел даже сделать кривое дупло. В смысле, улыбку. Люстра грозилась сорваться. Кропину на голову. Размером была с хороший куст винограда. Старался не смотреть. Пригибался, орудовал вилкой. Точно стремился успеть до гибели. У него деликатно спросили, взял ли он с собой купальные принадлежности, плавки. Это еще зачем? – вскинул бровь пенсионер. Сейчас мы повезем вас в «Голубой залив», будем все там отдыхать и купаться. Всё было предопределено заранее. Сопротивляться, протестовать бесполезно. Уже через десять минут на двух «Волгах» – отчалили. С детьми из окон и лающим Бонифацием.

На кладбище, куда Кропина посчитали обязательным завести... он совершенно не узнал Маргариту Левину. С фотографии на стеле смотрела совершенно незнакомая худая женщина. И самое главное – с кудрями как табун. Глаз не видать! Да Левина ли это вообще? Вернее, та ли это Левина, с которой он работал до войны? У той же были совершенно светлые прямые волосы? Притом в очень скромном виде на голове? А эта-то! Туда ли он попал?.. Парик. Всего лишь парик, Дмитрий Алексеевич. Последняя фотография. Почти облысела от облучения. Не мудрено не узнать... Елизавета Ивановна опять заплакала. Кропин положил свою граблю на подрагивающее ее плечо. Точно соединился клеммой со скорбящим аккумулятором. Смотрел на высокий вы́сей берез, задрав голову, заполняясь слезами...

Пошли в печали с кладбища наружу к машинам. Справа, с пологого бугра, тянулась в небо церковь. Вверху на занудном ветру потихоньку удерживали иссыхающий цинковый свет цинковые крестики ее... В этой церкви бедную Маргариту и отпевали. Елизавета Ивановна опять стала сморкаться в платок. Она ведь верить стала в конце. Так были против все! Чтоб отпевать! И Вероника, и муж Николай, и сын Сашка, и мои дети туда же! Я настояла, я!.. Так курили на воздухе! Ни один внутрь не за-шел! Верите?.. Партийные. Вон они – спешат...

Впереди, чтобы быстрей смотаться с кладбища, тесно катился почти весь семейный клан умершей Левиной. Как с поводков бобики, рвались на стороны дети. Кропин пожалел свою спутницу. Смотрел на нее с сочувствием. Однако это не помешало ему сжимать зубы в машине. Уже на ходу. Бедро... бедро Елизаветы опять было тесным. Опять липло к нему. Будто ласта! Кропин ужимался, старался отодвинуться. Однако с другой стороны сын Елизаветы ноги держал вольно, этаким раздвинутым ухватом, точно имел грыжу или яйца слона. Вдобавок Ёлочка, крупный упитанный ребенок, с колен бабушки постоянно кидалась Кропину на грудь, вытягивала ручонку к окну: а вон мелькомбинат! А вон мост! А вон гора!..

Пресловутый «Голубой залив», о котором Кропину по дороге прожужжали уши, упал в гигантский полуцирк из гор и лесов по нему. Размерами впечатлял: левый берег еле угадывался вдали, а пансионатики по цирку справа казались детскими кубиками и спичечными коробками, установленными на попа... Пологой дорогой стали спускаться вниз, и Кропин подумал, что сразу на пляж, однако не тут-то было! – его повезли в «домик». «Сначала в домик, дорогой Дмитрий Алексеевич, а уж потом на пляж». Длинными террасами машины снова пошли забираться вверх, теперь уже хвойными и березовыми лесами и перелесками, мимо пансионатов с фонтанами и млеющими толпами людей, мимо каких-то забегаловок вдоль дороги с пивными бочками при них. Постепенно все это осталось позади, минут десять ехали как в пустоте, выбираясь почти на самый верх горы. К «домику», как опять сказали Кропину.

И увидел Кропин! Сосны были почти в пояс «домику»! Стоял передней частью на сваях, казался трехэтажным, победно скалился Кропину пастями двух уже раскрытых гаражей!.. Кропин тоже разинул рот. Все смеялись. Номер с «домиком» был, видимо, накатанным. Апробированным не раз. Как и положено, возле домика метался *Перфилыч*. Оказавшийся бельмастым бородатым кержаком из ближней деревни, все лето живущий при домике в сторожке, как пёс в будке. Кропин подержал его руку, будто сваю.

После второго завтрака за столом под березой, у пустого пока что мангала, отправились, наконец, на пляж Пионерский. Скрывая купальники, женщины усаживались в машину в легких летучих халатах, мужчины лезли в плавках, дети тоже, Кропин как был – в брюках и рубашке с коротким рукавом. Чуть не забыли прыгающего в высокой траве за бабочками Бонифация. Однако прибежал. Тронулись. При доме остался, понятное дело, Перфилыч.

В машине, спускаясь все той же дорогой, Кропин даже забыл про «бедро». Ставший как-то значительно крупнее всех, как идол, он сидел заторможенный, с пустыми цинковыми глазами... Это сколько же стоит этот домик на сваях с двумя гаражами и перфилычами? С шестью спальнями внутри... с кухней... с сауной... с бильярдной... с громадной столовой, откуда был выход на открытую веранду, где он, Кропин, даже постоял, раскинув руки по перилам, и взглядом попытался охватить раскинувшийся перед ним пейзаж размером во весь мир?.. Вот так Левина Маргарита... Где же она работала? Вроде бы в райкоме. Или – в обкоме?.. Кропин внезапно вспомнил – она была начальницей торговли всей области... Об этом же ему еще в Москве сказали, с гордостью сказали. И была – больше двадцати лет!.. Господи! Чему тут удивляться? Вот дурень-то, честное слово! Громадный особняк в городе, «домик» у воды в горах, две «Волги»... да две ли? Гаражи!.. И это только на поверхности. Вот так Левина... С другой стороны – как будут делить? Кропин поворачивал голову к веселым наследникам. Как?..

Сколоченные из досок, прочерневшие от времени будки для переодевания просматривались понизу. Имели вид загонов. Изредка там падали на песок мужские брюки или из трусиков пере-

ставлялись ноги женщин. Поверху ровным рядком раскачивались головы, точно кого-то петрушили внутри... Кропин благополучно переоделся. Вернее, разделся и надел только плавки.

Однако уже на самом пляже, непосредственно на «Пионерском»... Кропин не знал куда смотреть. Кругом ходили по песку коричневые пляжницы почти в чем мать родила. Уже не в купальниках, не в трусиках даже, нет, уже в каких-то взрезах. В шлейках. И спереди, и сзади... Груди из кошелей на веревочках – натурально вываливались... Это всё девицы. А уж у мамаш, таскавших за собой капризных детей, – груди мотались как торбы... Черт знает что! Совсем, оказывается, отстал от жизни Кропин!

Он согбенно сидел среди семейства Левиных, охватив колени. И, походило, собрался сидеть так вечно. Ни о какой воде, о купании и речи не шло. «Вы бы искупались, Дмитрий Алексеевич. Жарко ведь! Да и обгорите!» Платок у Елизаветы Ивановны был повязан лихо, по-пиратски... Сейчас, сказал Кропин.

Страшно, как лопастной, подбитый наконец-то вертолет, Кропин носился вдоль берега по мелководью. Его несло то в одну сторону, то уже в другую. «Лопастями» всюду расшугивал пузатую мелочь. (Что он делает?! Да он же с ума сошел!) На берег выскочил, как из ледяной воды – минуты не прошло. (Вот эт-то лопастно-ой!) Плавки были явно велики ему. Длинный детский сачок истекал на песок водой. В сачке еле угадывалась пойманная, можно сказать, Кропиным рыбка. Мягко, но сильно, как молодой, Кропин припал на песок грудью. Рядом с голыми брюквами Елизаветы Ивановны. Как молодая, Елизавета Ивановна откинула лицо к солнцу, упершись сзади в песок руками. Вы хорошо плаваете, Дмитрий Алексеевич. Очень хорошо. В черном плотном купальнике Елизавета Ивановна походила на очень крупную ракушку. Старых таких ракушек тут тоже хватало. Кругом или ракушки эти, или молодые взрезы. Другим тут нечего было делать. Это уж точно. Кропин старался смотреть вдаль, по воде. Солнце трубило в залив вовсю. Будто китята с ездоками на горбах, носились, фонтанировали водные скутеры. Макались меж них головенки купающихся. Вдали завис алый парус яхты. И, завершая пейзаж, ставя в нем жирную точку, картинно стоял на громадном валуне парень с торсом, завязав жопку в узелок. Этакий капитан Грей без штанов.

Постоянно месили песок перед носом Кропина толстопятые пивники с ёмкостями. Ёлочка, та самая тихая Ёлочка (это в Москве) и ее два братёныша все время пру́цкали ему на темя водой из большой клизмы. Со смехом убегали. Чтобы побыть хоть минуту одному, Кропин, извинившись, двинулся к лесу, который от берега начинался метрах в пятидесяти. («Ну вот, Ёлочка! Обидели дедушку Митю!») Солнце било в лоб. За кустарниковым подлеском, как в алтаре, горело в знойном иссыхающем сосняке. Вдруг точно понизу кто в лесу пролез. Испуганными метелками промотались сосны. Снова. С другой стороны. И опять как от пролезающего кого-то затрепались верхушки сосен. И знойная тишина упала в лес. Как будто и не было ничего... Кропин знал, что при большой воде по берегам могут возникать такие явления. Видел подобное даже в Подмосковье. Неизвестно откуда в небольшом, ограниченном месте на удивление всем вдруг вылезали такие ветры-дуроломы. Точно из земли. Точно из могил Вавилы. С дикой силой своей. И бедокурили по берегам и в лесах. И вновь – как в землю уходили... Кропин, постояв, повернул назад.

Бесштанного капитана Грея на валуне уже не было. Вместо него валун густо облепили рыбаки. С длинными удилищами – как усатые тараканы. Тесно махались удилищами вверху, точно заняты были только тем, как спихнуть лишних в воду... Кропин присел на одеяло. Можно сказать, – присел к своим. В голове пошумливало. Кропин чувствовал, что перегрелся. Солнце было как палач. У Кропина явно поднялось давление. Он был опять среди полуголых людей, опять среди надоедливых ребятишек. Всё так же дефилировали по песку мимо полуголые девки, откидывая пятками назад, будто мочеными яблоками. Один он тут такой, что обращает на это внимание? Вот старый придурок! Кропин злился. Уже на себя. Однако и парни в плавках тоже защуривались на девиц. Только в отличие от Кропина – маслено. Как коты. Так ведь мимо всё! Мимо! Зря стараетесь! (Кропин чуть не выкрикивал эти слова.) Ведь ущербно это всё! Занудно! Вы, полудурки! Чего прикидываете свои возможности-то? Чего пристраиваетесь? Ведь мимо всё! У старика что-то спрашивали. Он не слышал, не понимал. «Как правильно – «секс» или «сэкс» – спросил вдруг

глухо. «Что, что вы сказали?» Ему заглядывали в глаза. Глаза старика роднились уже с круглыми антеннками марсианина, – синие нарождали всюду круги. «Что, что он спросил?» Не обращайте внимания. Не надо. Ничего. Это. Как его? Я – так. Пора нам, наверное. Жарко. К машине надо. К машинам. Лучше. Все сразу завозились, поднимаясь. Кропин тоже пытался участвовать, сворачивать одеяло. Кривоногий, тощий. В седых волосках по груди и плечам – как облезлый какой-то одува́н. Или обдува́н. «Искупайтесь еще! На дорожку!» Однако старик норовил уже в будку. С брюками уже, с сандалиями. Кораблем вышла на него из будки дама. И, конечно, с обязательным – белым – взрезом в паху. Строго уперла перед Кропиным руки в бока. Дескать, подглядываешь, старый козел! Ноги ее были как питоны. Кропин отпрянул, выронил одну сандалию. На эту оборачивались все. Задница – как коричневый громадный султанат, белой полоской разделенный надвое. Стерва. Кропин прыгал на одной ноге в будке, надевал носок. Всё расс... расс... всё рассчитала, стерва. «Вы, наверное, перегрелись, Дмитрий Алексеевич?» – с беспокойством спрашивали у стриженной под барашка, раскардашной головы, прыгающей поверху будки. Как бы в кукольном театре. Зачем повезли его? Кто придумал? Старику же явно не по себе! Ведите его к машинам! Да побыстрее! И его уже вели, заботливо окружая. Ничего, ничего. Я – в порядке. В полном, – деревянно отвечал старик. В полном порядке! Они меня добьют. Домой я – не доеду...

Ночевал Кропин в «домике». В персональной спальне. Итальянские простыни были шершавы, точно в занозах. Всю ночь нарывались из тьмы и наглухо прятались во тьму хоры. Хора́. Честный Перфилыч бегал, ухал филином.

Утром в сопровождении Елизаветы Ивановны Кропина увезли в город.

Только после того, как позвонил в Москву Новоселову (звонил с переговорного) и договорился о деньгах, вернулся в дом на Тохтарова. Получил от Вероники Колюжной *папку с документами*, засел над ними в кабинете Левиной.

Доносов было семнадцать. Отсылаемых помесячно. Отсылаемых Колюжным добросовестно, регулярно. По одной, по две, по три страницы, отпечатанных на машинке и раздельно взятых сейчас в скрепки. Глядя на выцветшие листки, избитые мелким неровным кеглем, Кропин никак не мог сначала понять, как Маргарита сумела достать эти бумаги. Как к ней они попали. Ведь Колюжный отсылал их с подписями, с датами. Не из Органов же они оказались у Левиной... Вдруг понял: да ведь это всё вторые экземпляры! Хитрюга Левина закладывала в каретку по два листа! С копиркой! Один (первый) Колюжному, второй (слепой) для себя! Утаивала от Колюжного! Воровала!.. Самодовольный болван разгуливал по своей квартире руки за спину, диктовал, а скромненькая верная любовница знай пощелкивала на машинке да на ус мотала. Как говорится, один пишем, два в уме... Однако любовнички были! Один закопал беременную подругу в лагеря (пусть там рожает, стерва!), а другая крепко запомнила всё. Да теперь вот и ужалит!.. Правда, уже не своими руками...

Кропин все перекладывал и перекладывал бумаги на столе. Точно душа его, душа въедливого канцеляриста, не терпела непорядка в них... Перед тем как начать читать, в последний раз пустил взгляд по кабинету Левиной, по бывшему ее кабинету.

В притемненной комнате было, собственно, пусто. Из нее почти все вынесли. Ее явно подготовили уже для чего-то другого... Как прощаясь, утекали к скудному свету окна неснятые со стены фотографии под стеклом... Да-а, Левина... Бедняга...

Однако нужно приступать. Тем более что за дверью ждали, что-то бубнили, точно уже сердились на Кропина. Сердились, что он медлит...

Через десять минут Кропин дышал, как насос, таращась вверх на усы, оставшиеся от оборванной люстры. Сил вернуть глаза на стол, на бумаги не было... Лучше повеситься ему сейчас там наверху, просто повеситься!..

Заставив себя прочитать всё... *троцкистский подпевала Кропин* вышел из кабинета Левиной. Лицо его пылало. Мне нужно побыть одному, сразу заявил ожидающим, отдавая папку. Извините. Поговорим потом. Глаза его не находили места, выкатывались как у коня. Я – в город!

Он шел по парку. Но ничего не видел вокруг. Как на глубинной психотерапии, голова его словно была утыкана иголками. Иголками с флажками: *шестерка Кочерги!.. скрытый педераст!.. любовник Кочерги Зинаиды! (это после «педераста»!)... он и Зельгин!.. полные разложенцы!.. пьянки!.. карты!.. был связан с ленинградской группой!.. разбил бюст т. Сталина! НО НЕ ОПАСЕН!!! Легко нейтрализуем!.. может быть использован!..*

Кропину не хватало воздуха. Он плюхнулся на скамью, хватаясь за грудь. Нет, домой он не доедет. Это точно. Кропин оказался прямо напротив пьедестала с несостоявшимся вождем из Ленинграда. Бронзовый вождь простирал руку над бывшим своим «соратником». Как осеняя, как благословляя его. Однако старик не видел этого, не понимал. Старик выхватывал белый платок и сдергивал слезы. Точно торопливо устранял открывшуюся течь на лице. Выхватывал и устранял. Господи, как могут ранить слова! Как могут ранить паскудные словёнки! Какая грязь! Педераст! Пьяница! Бабник! Какая гадость! Ведь это читали люди. Чужие люди. Ведь это читали... все Левины!.. Господи-и! Зачем он приехал сюда! Зачем он, старый осел, влез во всю эту грязь!.. Старик уже горько плакал, жгуче жалел и себя, и весь мир... Какой-то карапуз на велосипедике, подъехав, качал себя педалями на месте. Перед карапузом уливался слезами старый крокодил Гена... Карапуз умчался к матери...

Сколько горевал Кропин в парке, он не помнил. Его трогали за плечо, о чем-то спрашивали, потом уходили. В какой-то момент, перестав плакать, он крепко задумался. Как вошел в ступор, в туман. И вдруг уснул. Обморочно. Разом. Запрокинув голову и раскрыв рот. «Ну вот, пожалуйста! Старый человек! Нажрался с утра!» Две женщины пожилого строгого вида обходили выкинутую ногу, как оглоблю. «Срам! Честное слово!» Женщины всё оборачивались. На подрагивающих бледных ножках задранные крепдешинчики у них потрясывались, точно осыпáлись песочком...

Кропин пришел в себя только на почте, когда получал Саши Новоселова перевод. Однако внутренняя дрожь не проходила. Накатывала. Позвоночник ощущался растопыренной ёлкой. Дрожащей всеми своими игрушками. Сильно дрожала и рука, когда заполнял бланк. Прежде чем макнуть в чернильницу перо, рука начинала натурально выделывать над чернильницей. Выделывать кренделя. Как алкашу, ее нужно было привязывать к шее. Эко её! – глядя на руку, удивлялся сосед за изволженным чернилами канцелярским столом. Со своим пером в руке – как прилежный ученик. С похмелья, что ли, дед? Кое-как заполнил.

В городской железнодорожной кассе надеялся на вечерний какой-нибудь поезд. Но – нет. Только утром. На другой день. В девять. Пришлось взять...

Дрожь внутри прошла, однако душу саднило. Набегали откуда-то слезы. Чтобы как-то оттянуть, чтобы не идти в дом на Тохтарова... кружил по городу. В основном в центре. Садился в трамвай, ехал, снова выходил...

Шел вдоль сквозящей ограды какого-то парка (не кировского). Ударяемые сквозь ветви солнцем, пряно отпаривали нескончаемые цветники. На широкой улице зевлáсто к небу разинулся кинотеатр. Черные и мокрые, как лягушки, прыгали в фонтанчике ребятишки. Здесь тоже было полно цветов. Каких-то белых и очень крупных. Стоящих обезумевшим на жаре хлопком. Еще цветы – как высеянный ураган. Как сплошные веснушки по клумбе. Однако, немало в этом городе цветов. Присел на одну из скамей тут же, у цветов, у кинотеатра. И тоже как цветы были идущие девушки. В летних легких платьях – точно в поджигаемых солнцем тюльпанах. Вспыхивали, обугливались и снова нарождались девичьи стройные ноги. Старуха с соседней лавки внимательно смотрела. Поверх очков... Вздохнув, начала ворочаться, подниматься. Склонялась над сумками, свертками. Обнажала свои творожные уже ноги... Кропин тоже поднялся. Спотыкаясь, пошел.

Стояло впереди, отдельно от зданий, небольшое кафе. Окружая его, провисали толстые цепи. Так провисают цепи вокруг памятников на кладбище. Внутри отрешенно ел какую-то еду. За столиком – один. Муж бубнил склонившейся над тарелкой жене без остановки. Он казался неостановимой злой машиной по выработке вермишели. Беспокойные руки бармена точно трогали на стойке онемевшие ксилофоны, изготовленные из стекла...

И только на улице Пролетарской к Кропину наконец-то вернулись его глаза пожизненного любознательного ротозея.

Зеленые и тяжелые, везде над дорогой стояли тучи тополей. Город этот тонул в цветах и зелени буквально! Здесь же, на Пролетарской, долго стоял перед необычной девятиэтажкой. Гипсовые лоджии ее были проточены национальным орнаментом. Без разрыва орнамент струился по всем этажам подобно бороде правоверного мусульманина. Под «бородой» курили две казашки в мини-юбках. С лицами как плывуны. Сигареты удерживали в пальцах независимо, фасонисто. На Кропина смотрели насурьмлённые глаза. «Ну, чего уставился? Старый козел?» Кропин пошел, как пошел бы китаец на приподнятых каблуках – слегка подплясывая. Он догадался, откуда были эти девицы. Гостиница протянулась как их картотека...

Неожиданно вывернул к переговорному пункту, где был уже утром. Как истукан, сидел с талоном в руках. Включены были только уши. Освобождаясь от всего, радостно кричал на весь переговорный пункт: «Яков Иванович! Дорогой! Здравствуй! Как ты там! Как здоровье! Всё в порядке! Завтра выезжаю! Четверо суток – и дома! Да! Саша Новоселов! Да! Встретили! Лучше некуда! Всё расскажу! Ну, закругляюсь! Три минуты! Всё! Жму руку! Пока! До встречи!»

Воспрянувшая душа пела. Всё забыл Кропин! Люди улыбались Кропину, Кропин улыбался людям. Он снова шел куда-то, заходил в магазины, стоял на перекрестках, поражаясь множеству машин. В тихие улицы уходил – как в высочайшие зеленые тоннели из деревьев, где солнце чуть только пятнало асфальт. Пил из автоматов воду. Снова выходил на солнце к оживленью широких улиц. Он, казалось, сроднился с этим городом, с его приветливыми людьми. Он заговаривал с аксакалами, сидящими на скамьях с обстоятельными серьезными клюшками. Он дурачился с ребятишками у радужных фонтанов. В чудесном этом городе он был уже как бы постоянным жителем.

Однако в четыре часа пополудни стоял напротив дома на Тохтарова. С длиннопалой сизой курицей в сетке, как с балериной. (Где собрался варить-то ее?) Он не решался перейти дорогу... Над улицей, словно изнывая от зноя, погибали послеполуденные облака. Пирамидальные тополя слегка покачивало под ними, точно дам в вечерних платьях до пят. По топольку у дома маслянисто принимались трепетать листочки. Так, наверное, трепетали бы бабочки над зеленой грязью... Кропин малодушно не шел, маялся...

Курицу... курицу в сетке долго всучивал пугающейся старушонке. Старушонка понесла балерину в руке на отлете, оборачиваясь, явно считая Кропина психом...

В дом проник как вор. Не встретив никого ни на веранде, ни в коридоре. Он хотел уже юркнуть в бывшую комнату Левиной... но увидел младенца... Возле дальнего окна, в осолнечненном пространстве ходил, рассматривал что-то на полу этот младенец лет полутора. Веющий золотистый султан волосиков на его макушке – носил солнце...

– Андрюша! – позвал откуда-то материнский голос. И Кропину мгновенно вспомнился другой Андрюша. Далекий сынишка Яши Кочерги. – Андрюша, где ты? Иди сюда!

Султан мотнулся на голове, заспешил вправо, в темноту, вскинув за собой золотистой пылью...

Не дав Кропину зареветь, откуда-то налетела Елизавета Ивановна. «Что такое! Дмитрий Алексеевич! Как вам не стыдно! Куда вы пропали!» Кропина опять вели. Как государственного преступника. Опять несколько человек. Откуда они берутся тут? Чуть не силой его втолкнули в какую-то комнату. За столом сидел, можно сказать, следователь – Вероника Витальевна Колюжная. Она уже раскладывала перед собой на столе, так сказать, «дело». Дело Кропина. Не глядя кивнула подследственному на стул. Ладно. Сел. Пусть. У Кропина спросили, как он отнесся к прочитанному, к этим доносам. Которые вот надо раскладывать на столе. Искать в них сейчас самое, возможно, главное. Кропин удивился. «Как»! Что значит – «как»? Кропин начал заводиться. А как можно относиться к грязным инсинуациям, поклепам, к подлой клевете! «Как». Надо же!

Тогда, так же гуляя взглядом по столу, ему начали втолковывать, ч т о он должен сделать с бумагами по прибытии в Москву. Куда пойти, кому отдать. Чувствовались большие знания в этих

вопросах у Вероники Колюжной. Однако одновременно с этим, сначала подспудно, как-то со стороны, а потом и явно она стала протаскивать мысль, что Кропин должен действовать один. («Понимаете, один!») От своего имени. Никого из них не упоминать, никого не впутывать в это грязное дело... Это как же! – несказанно удивился Кропин. Вы инициаторы всего, и вы – в стороне? И-интересно. Кропин уже шел пятнами, рвал ворот рубашки. И подследственный, и следователь начали поспешно городить каждый свою правду...

– Да поймите вы, поймите! (Глупый старик!) У каждого из нас тут положение в городе! Авторитет! Добытые немалыми усилиями, честным трудом! (Ой ли!) Мы не можем допустить, чтобы все это рухнуло в одночасье! Ведь начнут таскать, выяснять! Всплывет имя Маргариты Ивановны! Что мы им ответим?! Мы не можем этого допустить! Вы понимаете это?! – На Кропина откровенно смотрела стерва с бледным острым носом. – Понимаете?!

– Ага-а! У вас, значит, авторитет, авторитеты! А нам, значит, с Кочергой терять нечего! Нам, значит, можно в помоях купаться! Да кто затеял-то это всё?! Кто?! Я что, с неба сюда упал?! Я вас звал в Москву к себе, звал?! – Голова старика, стриженная под барашка, тряслась, точно звенела бубенчиками: – Звал?!

– Да говорят же вам (глупый старик!) – мы ничего не знали! (Ой ли! А может, не хотели знать?) Маргарита Ивановна скрывала всё! Сама, сама хотела это дело... провернуть. А тут болезнь. Вот и вспомнила вас. Лучшего друга...

У Кропина отпала челюсть. Кропин хотел призвать в свидетели саму Маргариту Ивановну. С портрета в кучерявом багете. Однако не дотянув до красного угла самую малость, та в портрете еле угадывалась в густых красках. Как будто болела там корью или золотухой. И ничего ни подтвердить, ни опровергнуть насчет «друга» явно не могла...

Зато в книжном шкафу, за стеклом, всё было зримо. Тут уж не придерешься. Не-ет. Полное сизое нечитаемое собрание сочинений! Все пятьдесят пять томов! Тут уж всё на месте. И мелконький черепный автор при собрании. Да не просто в одном экземпляре, а модненькой ныне горкой. Как же – не в Тмутаракани живем!

– Вы чем-то недовольны?

– Ничего. Не обращайте внимания. Я – так.

Собственно, разговор был закончен.

– И всё же, Дмитрий Алексеевич, мы надеемся на вас. Думаю, вы нас не подведете. (Да где уж! Всё на себя! Железно! Кремень!)

Женщина устала от разговора. Глаза женщины были как бледные чирьи. Стоя женщина складывала бумаги в папку, чтобы передать ее Кропину.

Неожиданно Кропин спросил у нее:

– Может быть, похоронить это все? Забыть, сжечь, выкинуть? А, Вероника Витальевна?.. Он ведь вам отец... Не жалко вам его?..

– Он негодяй... Он сломал жизнь мамы... Он должен ответить... – впервые по-человечески ответила женщина от стола. Глаза ее начали краснеть от слез.

В свою очередь, Кропину сразу захотелось въедливо вопросить: а кто, собственно, была ее мама в тридцатые годы? Маргарита Ивановна Левина? Кто? Разве это не она была глазами и ушами своего любовника, Витальки-шустряка? Не она ли прежде всего стучала на своих коллег? А уж потом вдвоем кропали они подлые эти доносы? Не она ли их печатала, в конце концов?

Приняв папку и завязывая тесемки на ней, о многом хотелось спросить Кропину у этой женщины про ее маму, про их с мамой прямо-таки загубленную жизнь в этом городе!.. Когда шел к двери, в спину неожиданно прилетело приглашение. На день рождения. Брату Александру – тридцать пять. Ждем вас к столу, Дмитрий Алексеевич. Кропин сказал, что у него нет подарка. Да и хотелось бы побыть перед дорогой одному. Вы уж извините...

– Напрасно. Будут интересные люди. Колоритные... – Колюжная была прежней. С бледными глазами. Добавила загадочно: – Есть возможность увидеть современные нравы провинции...

Кропин пожал плечами, не сказав ни да ни нет.

В пустом кабинете Левиной ему уже была поставлена кровать на ночь. Сидя на ней, решил твердо, что ни на какие дни рождения не пойдет. Хватит ему приключений! Однако как всегда налетела Елизавета Ивановна. А уйти от нее можно было... только ракетой. Пробив потолок. Поэтому, толком даже не отдохнув, Кропин, как миленький, сидел в семь часов на веранде. Куда, как в накопитель, в предбанник, уже прибывали гости. И где Бонифаций подпрыгивал большой шайкой блох, со всеми здоровался.

От непоборимой застенчивости Кропин сидел на стуле в совершенно дикой для себя позе – в позе виолончелиста. Причем виолончелиста без виолончели. То есть с широко расставленными ногами и занесенной правой рукой. Казалось, вот сейчас вдарит смычком, заиграет, но нет – железно молчит, ни звука.

Не иначе как с коллегами, «виолончелиста» подвели знакомиться с двумя актерами. Из местного драмтеатра. Большеголовые, плечистые, те на диване сидели уж очень как-то артистично, – небрежно и много набросав впереди себя изломанных своих ног. Холеные руки Кропину отдавали утомленно, вяло. Как гинекологи после работы. Кропин подхватывал, держал, называл себя. Вроде даже один раз шаркнул ножкой. С почтением отошел. Да-а, господа...

Позвали, наконец, к столу. Все оживились, задвигались, потянулись к раскрытой двери. Некоторые заспешили. И больше всех, теряя лицо, наши актеры. Хорошо потирали руки, прежде чем первыми ворваться в зал.

А Кропин большую столовую не узнавал. Если вчера утром виноградный куст с потолка казался зеленым, то сейчас он сиял, был полностью белым, точно засыпанный снегом. Кропин толокся со всеми, чувствовал чью-то направляющую руку, но из-за яркой, прямо-таки дворцовой этой люстры (люстры из дворца!), плохо различал, что под ней на столе, не воспринимал по-настоящему всё великолепие блюд. За стол его вставили прямо посередине. Он сел. В дальнейшем не мог вспомнить, что ел и пил за этим столом – белый свет люстры и белоснежная скатерть просто оглушили его. Ему начинало казаться, что он на приеме в царском дворце екатерининской эпохи, кругом одни только заголенные бюсты дам и раззолоченные камзолы мужчин... Словом, чертов этот свет люстры надолго выбил Кропина из колеи, заморочил голову.

К действительности его вернул чуть не под руки приведенный старикан. Который был посажен прямо напротив. Неживой уже. С голой костяной головой. Сосед Кропина, выщеливая вилкой кружок колбасы, гундли́во поведал: «Транквилизаторами мозги вымыл. Угу. Пачками жрет. Блоками. Угу». Оказалось – муж Елизаветы Ивановны! Официально представленный, Кропин привстал. С намереньем пожать через стол руку. Старикан даже не шелохнулся. Кропин сел, не зная куда глядеть. «Придурок, – опять точно в сторону поведал сосед, все выщеливая. – Угу. Транквилизаторы». Кропину подсунули судок с горой салата. Углубленно брал на тарелочку, найдя занятие. Хорошо хоть руку не протянул. Удержал в последний момент. Была б картина. Хвалил салат. Вкусно, очень вкусно! благодарю вас! Ему обильно забулькало в фужер. Подвигнул себя с большим протестом. Да так, что фужер опрокинул. Всеобщий смех! Вскрики! Кропин схватил солонку, сумасшедше зафонтанировал солью. По разлитому вину. Сейчас, сейчас, ради бога, извините! Его удерживали за руки, останавливали. А он всё вытряхивал, солил. Усадили, наконец, беднягу, отобрав соль. Смеялись, хлопали по плечам. Да ерунда! Что – скатерть! Кропин кивал, как артист после исполненного номера, благодарил. Опять с полным фужером вина, непонятно кем и когда подсунутым.

Точно постоянная, узаконенная в этом доме нищая, гордо вышла перед всеми певица-бард с гитарой наперевес. В вечернем платье с длинным разрезом по бедру, худая. Парень при ней, тоже с гитарой – как смирившийся пожизненный воздыхатель. Все сразу захлопали. Нина! Рысюкова! Просим! Однако певица резко подняла руку: тихо! тишина! «Для нашего дорогого именинника, Александра Николаевича Белостокова, прозвучит его любимый романс!» И она ударила по струнам (воздыхатель тоже) и страстно запела за спиной именинника: «От-цвели-и уж давно-о хризантемы эв саду-у-у...» Именинник сидел под раскатами гитар и пением, потупив голову. Точно под конвоем. Это был лысеющий блондин в очках. Гре́нок. Золотистый поджаренный гренок. Жена преданно трогала его руку. По окончании романса он привстал, и Рысюкова чуть не отвер-

нула ему голову в поцелуе. Все ужасно захлопали. «Еще, еще! Нина! Пой!» Именинник упал на место, а певица продолжила свой мини-концерт на дому. Теперь уже пела свое, бардовское. И каждый раз ей бурно хлопали. Два актера лупили лапами вверху. Браво, Нина, браво! «Из театра! Она тоже из театра! – радовался сосед Кропина. – Блядь – каких свет не видывал! Одна шайка! Все трое из театра! На халяву сюда! Ага! Маргарита подкармливала! Шмотки, продукты, машины вне очереди! Ага!» – всё кричал во всеобщем гвалте Кропину сосед...

Однако гитары чуть погодя куда-то исчезли. Певица Рысюкова уже приклонялась, целовалась почти со всеми, а ее гитарист скромненько сидел перед большой штрафной рюмкой водки. Однако певица упала рядом, схватила у воздыхателя штрафную, крикнула за именинника тост и хлопнула! Воздыхатель глазом не успел моргнуть. Бойкая дамочка, подумал Кропин, в общем-то концертом довольный.

Но когда подали жаркое, поверх застолья вдруг вынырнул похабный анекдот. И рассказывала его эта самая певичка. Эта Рысюкова. Называла всё своими именами. Причем проделывала это с веселой, роковой какой-то наивностью кобелька. Который постоянно, прямо посреди людей, оседлывает своих сучек... Кропин замер. А бабенка продолжала все выше и выше, что называется, задирать подол. Это был, видимо, постоянный, накатанный номер артистки для этого дома. Этакий смакуемый всеми, матерщинный эксгибиционистский акт. И все приглашающе смеялись Кропину. Гостю. Заглядывали ему в глаза. Мол, как? Что скажешь? Здорово? Однако Кропин сидел красный, злой, не знал что делать...

Не унимался, постоянно нашептывал сосед. И тоже все нехорошее, отвратное об окружающих. «Вон ту видите? Третья с краю? Угу. Муж-импотент. Сама пациентка сексопатолога. Угу. Он обучает ее оргазму. Сестра есть. Вон. Угу. Эта нимфоманка. Точнее – спортивный мессиалинизм. Коллекционирование партнеров. Угу. Записываются ею в специальную тетрадь. Как бы ее книга отзывов о них. Возраст. Размер члена. Примерный. На глаз. Сколько коитусов за ночь. Поговаривают, уже перевалило за 200. Партнеров. Днем разгуливает по дому голая. Угу. Вы еще не удосужились зрить?» Кропин удосужился, вчера, утром, однако вскричал:

– Да вы-то – кто?! Вы-то кто здесь?!

– Брат. Вон того. Угу.

«Вон тот» был хозяин дома. Муж умершей Левиной. Отец именинника. Еще недавно вдовец безутешный... сейчас изучающий у себя под мышками двух... сказать так, племянниц. Двух веселых куколок...

– Зачем же вы тогда мне всё это рассказываете? – зло недоумевал Кропин. – Зачем?!

– А-а! – хитро засмеялся сосед. Длинноголовый, лысый. Он казался пьяненьким. Однако тут же – точно ударил себя по затылку – объяснил все четко, трезво: – Обидно, уважаемый. Обидно. В таких семьях всегда так: на одного гения – сотня придурков. Угу. Присосавшихся придурков. И сосут они его. Сосут. Пока не высосут. Так и произошло. Угу.

– И кто же... этот гений?

– В могиле который. Вернее, которая. В могиле. Которую вы – не застали. Угу. А остальные вот, перед вами. Веселятся. Угу.

– Чего же теперь станет с ними? – строго спросил Кропин. Тоже слегка подкосевший.

– А ничего. Половину пересажают. Половина – по миру. Угу.

Кропин задумался. Однако один за другим следовали тосты. Тосты-команды. Неимоверно растянутые в начале и, как сельский бич, в конце резко стегающие. После чего все вскакивали и начинался большой перезвон над столом. (Один не вскакивал со всеми. Рюмка у него стремилась ко рту, сильно треплясь. Вроде геликоптера.) И снова были тосты-команды (славили всех подряд, даже Кропина), и опять все вскакивали и необычайно озорничали над столом стеклом, умудряясь его как-то не разбивать. (Рюмка у алкаша уже летала. Свободная, без привязи.) Но постепенно перезвон бокалов становился интимным, без вскакиваний, становился доверительным, между соседями, как бы следуя через раз. (Рюмка перед алкашом бездействовала. Как внезапно развившееся его косоглазие.)

Гулянка, как и все гулянки в мире, казалось, теряла направленность, контроль, но кем-то все же, наверное, еще руководилась.

К пианино на вертящийся стульчик стала усаживаться толстой попой какая-то дама. Дама походила на тюленя с усиками. Голыми руками, точно цепáми, дама захлопала по клавиатуре. Все разом подхватили мотив, запели. Дама-тюлень поворачивалась к поющим, сама пела, усики ее черно лоснились, руки хлопали еще пуще, и одобренные таким вниманием, вдохновленные им, все начали орать что есть мочи, и Кропин больше всех:

...Для т-тебя! для т-тебя! дли т-тебя!
Самым лучшим мне хочется б-быть!..

После пения, долго отходя от него, Кропин только отирался платком. (Зачем, собственно, орал?) Неожиданно увидел Веронику Колюжную. (Что за чертовщина! Не было же ее здесь!) Вероника склонялась к имениннику, что-то ему говорила. Даже гладила его голову. Его гренок! (Вот это да-а!) С большим ухом Кропин разом придвинулся к соседу. Сосед не заставил себя ждать: «Змея. Подколодная. Угу. Подмяла всю кафедру марксизма-ленинизма в университете. Хотя сама только с кандидатской. Но – в фаворитах у *башибузука*. Угу. Все пляшут под ее дудку. Здесь, в доме, бьется насмерть с отчимом. Угу. Как ни странно, любит Сашку. Именинника. Сводного брата. Вместе с матерью женила его. И в карьере тащит. Директор ЖБЗ. Хотя дундук, каких свет не видывал. Угу».

Ничего не подозревая, «дундук» блаженно улыбался, свесив гренок, пока сестра шла от него. «Теперь смотрите, смотрите, – где сядет!» – толкал сосед. Колюжная села прямо напротив своего отчима. «Племянницы» засмущались, в неуверенности начали освобождаться от рук «дяди». Однако Вероника посидела немного, поваляла вилкой еду – и ушла. Точно не найдя в ней, еде, ничего интересного. Бокал тоже остался нетронутым. Отчим нервно похохатывал, освобождаясь от напряжения. С большими скулами, походил на седло. (Однако Достоевский бы явно отдыхал в этом доме.) Кропин старался не смотреть на мужа Маргариты Левиной. На неутешного вдовца. Тот же, наоборот, – как давно разоблаченный, более того, при Левиной отсидевший весь срок в этом доме от звонка до звонка, – все время что-то кричал Кропину с конца стола. Все пытался узнать, как там наша столица, не провалилась ли еще в тартарары. А, товарищ Кропин? Лоснящееся «седло» его тряслось от смеха.

На всеобщем пьяном фоне резко выделялся своей трезвостью крупный мужчина с курдючным свисшим лицом. Национал. Всё человек имел, через всё прошел. Пухлой, вялой рукой отводил лезущие к нему рюмки, ничего не ел. Казался серьезно больным... Наконец тяжело поднялся, никому тут не нужный, лишний. Устало похлопался с вскочившим хозяином по-национальному, с двух сторон. (Отвалившиеся девки чуть не попадали со стульев.) Ему что-то пошептали. Умными глазами смотрел на Кропина. Издали кивнул. («Бывший предрайисполкома. Угу. Друг Левиной. Соратник. Рак последней стадии. Скоро встретятся. Угу».) Потом вышел. Как отряхнулся от провожающих.

– После восьмидесяти человек словно выходит в пустую степь. (Что за черт! Это заговорил старикан с костяной головой! Муж Елизаветы Ивановны! И говорил, ни к кому не обращаясь, для себя! Как сомнамбула!) Он остается в ней один. Его сверстники, родные умерли. Он один в степи. Он ушел дальше, далеко вперед от остальных. Он бессмертен...

Костяного сразу начали выдергивать из-за стола. Похороненные им же племянники. Двое. Повели. Костяной протестно щелкался в дверях, как в кегельбане. Вывели. Елизавета Ивановна (жена) – даже бровью не повела. Елизавета Ивановна давно и неотрывно смотрела на Кропина. Мечтающе, подпершись рукой. Точно влажные миражи, глаза ее были растерзаны от любви и краски... Кропин смутился. Но тут ударила на всю мощь музыка из магнитофона. И все обезумели. Выскакивали из-за стола. Хватали друг дружку в обхватку и пихались, как бочки. Какая-то беременная молодая женщина, до безобразия обтянутая трико, выделывала ногами вперед. Как стригла ими. По белой майке, по белому животу было написано по-английски: ЭТО СПОРТ! И беременная все сучила прямыми ногами, подкидывая живот этот с надписью, как дом.

Два актера прыгали высоко и крупно. С поднятыми руками. Будто в баскетбол играли. Будто закидывали мячи в корзину. Пригнувшись, откидывая ногами назад, устремлялась к ним певица Рысюкова. С ужатой заднюшкой, как с ёрзающей домброй. Сосед Кропина вдруг кинул себя на стол и закричал: «Ж-жарь, Нинка-а! Ж-жарь!!» Головенка его пригибалась, колотилась на столе, как фаллос, выпавший из мошонки: «Жги, Рысюкова! Ж-жги-и! Мать-перемать!» У Кропина начали вытаращиваться глаза, соседа он не узнавал.

В какой-то момент Кропин почувствовал, что сам опьянел. Что он, Кропин – пьяный. Да, пьяный. И крепко. Но с опьянением, как ни странно, всё происходящее стало видеться резче. Казалось нереальным, перевернутым с ног на голову, но резко четким. Так бывает, если находишься в перевернутой зеркальной операционной. Кропин хотел залить всё слезами и не смог. Поцелуй подкравшейся сзади Елизаветы Ивановны был тянуч, как пульпа. Как сырая резина. На стуле Кропин колотился и руками, и ногами. Резко восстал. Пора кончать эту лавочку. Эту козуностру. Да! Пора кончать! Хватит. Пожировали, гады. Пора. Что я говорю? Говорю, что пора. Хватит. Пожировали. Прошу не трогать! Я сам! Без рук! Я сам дружинник! Не сметь!..

...Глухая торцовая стена девятиэтажки была шершава на ощупь, черно уходила вверх. Нужно было лезть по ней Кропину к беззвездному, сажному небу. Таков был дан Кропину приказ. Не выполнить его – нельзя. Невозможно. Кропин подходил к стене, раскидывал по ней руки. Словно пытался обнять всю. Примериваясь, смотрел по стене вверх. Нет, невозможно забраться по ней. Начинал плакать, сглатывая колом торчащий, поскрипывающий кадык.

Стена вдруг разошлась. Сама. На метр-полтора. Светящаяся, ударила вверх щель. Кропин отпрянул, отбежал от стены.

Открывшись, дико, симметрично уходя в небо, один над одним сидели на унитазах люди. При общей толстой трубе. Все со спущенными штанами, белозадые. Почему-то в буденовках на головах...

С болью в сердце, всей душой стремясь снизу к ним, Кропин спросил их:

– Где же ваши кони, Красные Дьяволята? Почему вы не на конях? Где вы их потеряли, Красные Дьяволята?

Люди при общей трубе не ответили. Не обернулись и не посмотрели на Кропина. Кто-то из них тихо дал команду:

– Внимание... Рысью... марш!

И они разом дернули цепочки. Каждый свою.

Труба страшно зашумела, обрушивая всё свое содержимое на Кропина...

Кропин подпрыгнул в кровати, задыхаясь.

В комнате Левиной на полу испарялась лужа луны. Фотографии висели по стене как слизни... Кропин опрокинулся на подушку.

Ранним утром, со страшным запором он являл собой крокодила, который сидит на своем хвосте:

– Ы-ы-ы-ы-а-а-а! – пропадал он. – Пррроклятье!..

Кое-как исполнил всё – и вода рухнула в унитаз аплодисментами ему. Бурными, долго не смолкающими. Черт бы их задрал совсем!..

После утреннего чая, чая формального, быстрого, почти без слов, прощание в коридоре было таким же скомканным и торопливым. Все словно стремились поскорее избавиться друг от друга (не только от Кропина) и разбежаться по комнатам. Надменная Вероника только кивнула и первой ушла. Впрочем, Бонифаций и Елизавета Ивановна провожали Кропина до ворот и на улицу. Веселый собачонок прыгал, ударялся о чемодан, норовил допрыгнуть до лица. Елизавета Ивановна плакала, просила писать. За воротами Кропин надолго обнял затрясшуюся женщину...

В машине племянники поталкивали его, подмигивали. Как приз за мужское геройство, поставили ему громадную корзину, укутанную белым. Что это еще такое! Уже на ходу Кропин стремился

избавиться от корзины. Племянники не давали. Как гусей, ловили кропинские руки, держали. Машина скрылась за углом. Бонифаций подбежал к забору, сделал акробата, расписался: всё! уехал!

По перрону быстро шел с племянниками к восьмому вагону. И здесь были цветы! Синие цветы, расстеленные ковром. Как пышная синяя плесень. Еще клумба. Теперь цветы рыжие. Точно большая, пряная изжога, лезущая из Кропина. И, наконец, как громаднейший вывернутый цветник уже всего города – кучевые облака над составом. Да-а, такое не забудешь. Не-ет. На всю жизнь наелся цветов. Кропин жал руки. Кропин уже лез с чемоданом в вагон. Как бы случайно, корзину – оставил. На перроне. Племянники не дали смухлевать – толкали корзину наверх снизу. Уже на ходу поезда. В купе сидел – как торговец. На коленях – корзина. Ему посоветовали поставить ее пока на пол. Сейчас, сказал он и полез с корзиной из купе. Поезд уже вовсю шел. Мелькали за окнами пакгаузы, козловые краны, взмывали и падали провода. С корзиной на руке Кропин двигался по проходу вагона.

– Дед, что несешь? Пирожки, газировку? А ну-ка посмотрим!..

– Нет, нет! Нет пирожков! Ничего нет!

В тамбуре подергал наружную дверь. Уже закрытую. Точно не веря, что ее закрыли. Ч-черт! Между вагонами, как в наколачивающем грохот гофрированном баяне, смотрел на ёрзающие под ногами железные пластины. Нигде не было ни дыры, ни даже зазора. Это ясно. Дальше пошел. Через следующий вагон.

– Дед, заходи сюда! Чего принес?

– Ничего нет, ничего! Принесу!

Неожиданно вышел к вагону-ресторану. В тамбур перед ним. Кинулся мимо жара кухни к раскрытой двери с решеткой до пояса...

– Куда?! Назад! – Его ухватили за хвост пиджака.

Отпрянул. Корзина на руке.

– Куда полез?! Выпадешь!

– Хотел посмотреть...

Пошел от решетки. Пошел не туда.

– Ресторан закрыт!.. И вообще – ты кто такой? – Плотный повар в грязно-белой куртке придвинулся. С ним придвинулся еще один. Такой же бело-грязный. С добавлением ножа в руку. Первый уже объяснял второму: – Ты смотри! Со станции! Конкурент! А?

– Нет, нет!.. Я... я частное лицо... Извините...

Мимо подставленных глаз поваров Кропин с корзиной протискивался. Так циркач лезет мимо острейших ножей через ящик наружу...

– И-ишь ты, деловой! «Частное лицо»! Мы тебе покажем! – неслось вслед.

Уже в своем вагоне, когда прошел туалет, увидел, как оттуда вышла девочка с полотенцем. Разом остановился. Девочка прошла мимо. Тогда, оглядываясь, втиснулся с корзиной в туалет. Заперся. С трудом стаскивал, сталкивал раму со стеклом. Совал корзину. Корзина, гадина, никак не вылезала наружу. Не проходила. Ручка мешала! Начал остервенело выворачивать, ломать ручку. Оплетенная лозой ручка была вделана на совесть. Вывернул-таки! Вытолкнул, наконец, всё наружу. Корзина ухнула под откос, ударилась несколько раз, закувыркалась и, не теряя ни грамма содержимого, улетела в кусты. С большим облегчением Кропин вымыл руки. Когда вышел – в проходе вагона уже металась женщина. Полная, перепуганная, совалась ко всем:

– Вы видели? вы видели, товарищи! Сейчас выкинули чемодан! Из туалета! Украли, выпотрошили и выкинули!.. Товарищ, вы видели? – Кропина схватили за рукав.

– Нет! – сразу выкрикнул Кропин. – Ничего не видел! Вам показалось!

Протискивался по вагону, ужимался, обходя длинношеих выскакивающих пассажиров. В своем купе отирал пот с лица.

– Товарищ, – тронули его за колено, – вы нигде не оставили свою корзину? Не помните? С вами же корзина была? Где она?

На него смотрели улыбающиеся лица.

– Да что вам всем далась она? А? Чужая она, чужая! Отдал, отнес! Понимаете? А?..

15. Я все забыл...

Когда Кропина спросили, для чего ему нужны фотокопии «со всех этих бумаг», он ответил коротко: «Для суда».

Через час его спросили с ужасом: «Ты что принес, старик? – Фотограф тащил его куда-то в сторону от всех посетителей фотоателье. – Это же КГБ! Статья! Ты понимаешь это или нет?!» Кропин пытался что-то объяснять. Фотограф выдвинул ладошку: «Всё, старик, всё. Гони десятку и уходи. И я тебя никогда не видел». Кропин подхватил фотобумагу, свернутую в трубку, отдельно такую же трубку своих бумаг, жонглировал ими, вышаривал деньги. Как всегда напрочь забыв, где они находятся... Фотограф маялся рядом, точно по малой нужде. Глаза его высвечивали, как водянистый виноград. «Только восемь рублей... – сказал Кропин. – Но я занесу. Сегодня же!» – «Не надо!» Фотограф быстро уходил от Кропина, засовывая деньги в задний карман брюк. Задернул за собой тяжелую черную штору. Кропин чувствовал себя вором, взбираясь по крутой лесенке этого полуподвального фотоателье.

Пройдя серый, уже облетевший сквер, Кропин увидел, наконец, дом, который искал. Над шестиэтажным зданием толпились толстощекие облака, точно архангелы, дующие в трубы.

Понятно, что дом являлся сталинским. С тяжелыми четырьмя подъездами. Двери которых высотой своей и шириной напоминали плоты.

Кропин сунулся было на дорогу, пропустил одну машину, другую и отскочил обратно на тротуар. Потому что принеслось с середины квартала: «Граждане пешеходы!.. Не подвергайте свою жизнь опасности!..»

Точно густо соря за собой этими самыми пешеходами, которые сразу же начинали перебегать дорогу по всем направлениям, на малой скорости приближалась «Волга» с матушкой-гаишницей за рулем. Доверяя оставленным (разбросанным) пешеходам вполне, матушка умеренно профилактировала вперед, удерживая микрофон у лица, как крест: «Переходите улицу только по обозначенным переходам...»

Проехала мимо. Все так же вещая, профилактируя. Кропин опустился на ближайшую скамью.

Приближался праздник. На фасаде здания, с краю, уже висел человек со всем своим рабочим звездьём на груди. В ряд к нему подвешивали на здание остальных... Сдернутые с земли веревками, они испуганно болтались в воздухе, однако быстро выправлялись, гордо плыли наверх...

Проходя, какой-то мужичок поведал Кропину: «Алибаба и сорок разбойников!.. Вон они. Висят... Хи-их-хих-хих!..»

Дальше шел. В затрапезном плащишке, в шляпке. Оглядывался на фасад. И снова пригибался к сидящим на скамейках и показывал на Руководителя и его ряд... А уходя, прямо заходился от смеха.

Кропин, не спуская глаз с «Алибабы», хохотал дико, истерично. Его подкидывало как торбу с чертом. Идти в таком состоянии к Колюжному было нельзя. Просто невозможно! Ха-ах-хах-хах!

Вечером, сидя на той же скамье, никак не мог заставить себя перейти дорогу... Уже висели над упавшим солнцем грязные кудели облаков. Было безветренно, тихо. Осенние, прокаленные, остывали на противоположной стороне улицы клены...

Когда смерклось, с ветерком прибежал и стал сечь лицо мелкий дождь. Черный асфальт заблестел, как река. Однако окна дома продолжали теплиться, дремать. На Генерального и Членов, как на кресла в театре, до утра будто накинули серый саван...

– Закурить не найдется, дед? – спросил веселый голос. Веселые, молодые придвинулись к Кропину глаза.

– Не курю, сынок... Извини...

– На свидание пришел, а? Дед? А если старуха узнает? Ха-ха-ха!

Кропин смотрел на мальчишку лет семнадцати, на его странные, тонкие ноги в спортивном трико... Парень был инвалид...

– Не узнает, сынок...

Мальчишка смеялся. Почему-то раздетый, несмотря на дождь и холод, в одной только белой рубашке...

Сильно выгибая грудь вперед, махаясь локтями, он заширкался от Кропина через дорогу. Сжатые ноги под ним сминались, гнулись, как ветки. Кропину думал, что он ковыляет в этот дом напротив, но парень прошел вдоль дома, свернул за его угол и пропал...

И, наверное, полчаса прошло, и весь час, а Кропин все сидел, не чувствуя холода, сырости, не находя сил подняться и тоже идти через дорогу. И в последний раз прокатила мимо говорящая вперед гаишница. И рябили в плачущих глазах старика точно разбрасываемые с задка «Волги» пешеходы, как разбрасываемые мелкая галька и песок...

Опустошенный, поднялся. Пошел к далекой автобусной остановке.

Ночевал у Кочерги. На раскладушке. Лежал, вперив взгляд в потолок, где от света лампы, бьющего вверх, образовалась и дрожала какая-то накаленная заводская шестерня. Все время меняющаяся, надоедливая. И все это потому, что на тахте Яков Иванович перед сном взялся, видите ли, читать детектив... Причем читал он его не молчком, как подобает читать воспитанным людям, а все время громко комментируя прочитанное: «Многие слова, Митя, как и люди, бывают ложно мнимы, многозначительны. С понтом, как сказали бы на зоне. И слова эти произносятся всегда с придыханием, с большим пиететом. Вот, например, здесь: табельное оружие. (Прямо-таки священное оружие!) Что это за оружие такое? А это просто пронумерованное оружие. И всё. Его выдают под расписку. Милиционерам, оперативникам. «Я был убит из табельного оружия!» А? Какая честь для меня! Это вам не просто из пронумерованного – из табельного! Грохнули, попросту говоря. Понимаешь? Вот такие и люди порой. В петушиных перьях. В таких случаях хорошо выражение: а король-то голый!..»

Кочерга смотрел на Кропина. Тот на удивление молчал. Странный сегодня наш Митя. Скошенный какой-то... Кочерга вновь уходил в чтение. Но ненадолго: «Или вот! Смотри! Из той же оперы. *Контрольный выстрел в голову*. А? Безжалостно добили! Вот как это по-русски называется! Но нет – «контрольный выстрел в голову». Прямо профессора, а не убийцы...»

Кочерга снова ждал от Кропина хоть каких-нибудь слов. Из-за светящего тюрбана лампы выглядывал каким-то прокопченным турком... Но Кропин все так же молчал, уставясь на дрожащий самокал на потолке...

– Что с тобой, Митя?..

Кропин ответил, что все нормально. Не стоит беспокоиться. Повернулся на бок. Стал таращиться теперь на тряпичный коврик на стене. Где в розвальнях неслись парни с девками, красношекими, как яблоки, а бегущие кони шеи выгнули гуслями звончатыми... Кропин готов был плакать. В трусости своей, в нерешительности он не мог признаться никому...

Он вошел в подъезд этого дома с подвешенным Центральным комитетом на другой день, в полдень. Шагнул за тяжелую дверь с ручкой в виде чугунного зверя...

«Виталий Иванович, простите... К вам из института...» – Домработница в кокетливом фартучке пропустила Кропина в кабинет. Затем прикрыла за собой дверь.

Как и ожидал увидеть Кропин, – книг было много. Очень много. Тихие, безвольные, они стояли и по стеллажам, и в книжных шкафах вдоль всех четырех стен огромного кабинета. И за письменным столом единовластным царьком этого гуманитарного государства восседал желч-

ный старикашка со свинцовым хохолком и старческими пятнами по лбу и щекам. Кропин его не узнал. То есть не узнал совсем! Как говорится, встреть на улице...

– Что вам?.. Принесли что-нибудь?.. – приняв Кропина за курьера, перестал писать Виталий Иванович Колюжный. Академик. Член-корреспондент Академии Наук СССР.

Подходя к столу, Кропин заговорил почему-то высоким торжественным страдательным голосом. (Сам себя не узнавал!) Как какой-то ходок в лаптях. Как крестьянин. Как будто явился все с той же алтайской заимки. Что и Елизавета Ивановна Левина (к нему, Кропину) в свое время:

– Ну, вот и здоро́во, Виталька! Вот и пришел я к тебе через сорок лет! Долго шел – и пришел. – Он являлся сейчас продолжателем дела Левиных. Их правопреемником.

Однако «Виталька» явно не хотел признавать в Кропине ходока. Тем более, чьего-то правопреемника:

– Я не понимаю. Кто вы такой? В чем дело? Откуда вы?

– Не признал! А? Смотрите – не признал! – оборачивался, искал свидетелей по кабинету Кропин-ходок. И заорал в самое лицо «Витальки»: – А Кочергу, у которого ты на побегушках был, помнишь?! А Быстренку, Качкина, Зельгина?! А Воскобойникова, учителя своего – помнишь?!!

Дальше произошло невероятное. От внезапно побагровевших пятен лицо Колюжного стало походить на курицу. На большую курицу-пеструшку! Ручонкой он пытался прикрыть, защитить его от Кропина...

– Вы... вы провокатор! Я позову... Я вызову сейчас милицию!.. Вы...

– Что-о, что ты сказал?! – Кропин выдернул из кармана плаща сверток. Чуть не ломая ногти, начал развязывать бечевку на нем. Бил фотокопиями об стол, как картами: – На! На! На! Мало? – И все об стол, об стол лупил: – На! На! Узнаешь свою работу, мерзавец? Узнаешь?!

– Я... я... я ничего не знаю... – приподнимался Колюжный. – Я вас не знаю... я... – Лицо его было ужасно. Куриные пятна казались теперь ранами. Кропин думал, что он сейчас умрет. Просто упадет на стол! Грохнется! Но Колюжный начал кричать. Кричать тонко, зажмурившись, мотая свинцовым хохолком:

– Я всё забы-ы-ы-ыл! Я всё забы-ы-ы-ыл! Отстаньте от меня-а! Я всё забы-ы-ы-ыл!..

В распахнутом плаще, со шляпой лихо на затылок, с бутылкой шампанского у бедра, сияя, как именинник, предстал вечером Кропин пред очи Кочерги. Показывая на бутылку, не без торжественности сказал:

– Ну, Яша, есть повод открыть эту дуру сегодня. Прямо сейчас. – Поставил бутылку на стол.

Раздевшись в прихожей, ринулся на кухню, чтобы спроворить что-нибудь к столу. Помпезная бутылка осталась один на один с Кочергой, который торопливо приводил себя хоть в какой-то порядок, дергая к себе одежду со всех сторон тахты...

Шампанское Яков Иванович не столько пил, сколько смотрел на него. Смотрел на гибнущие в бокале пузырьки. На их неизбежный исход...

Зато Кропин разошелся. Постоянно тыкал бокалом в неподвижный бокал Кочерги, рискуя его опрокинуть, хорошо отцеживал в себя шипучки, хорошо закусывал и говорил, говорил без умолку:

– ...И веришь, Яша, когда он закричал это свое «я все забыл», – я испугался. Честное слово! Думаю – всё, конец ему. Сейчас умрет. Вбежали какие-то люди: вроде дочь, зять, еще кто-то. Суют ему таблетки, капают в рюмку. Я сам, как дурак, воду наливаю, графин уронил. Стакан протягиваю. А у него это – истерика. Натуральная бабья истерика. Представляешь? Колотится в кресле, как припадочный, хлебает все эти валерьянки, слезы ручьем, челюсти молотятся, и всё бормочет «я все забыл, я все забыл». А ему манжетку скорей наворачивают, ему накачивают грушкой. «Ну-ну, папочка, «забыл, забыл!» Успокойся!» И на меня зыркают: дескать, у-у, бяка! Нехороший! Расстроил папочку!.. Рассмеялся я с большим облегчением. Веришь, вся злость разом прошла. Живи, говорю, гнида, если сможешь! Они всем гамузом взревели: негодяй! Да мы милицию сейчас! Да мы

тебя! Но-но, граждане, отвечаю, если я сейчас приведу сюда кого надо... валерьянка ему уже не понадобится!.. Бросил все подметные эти копии снова ему на стол, хлобыснул дверью и ушел!..

По-сиротски Кочерга все сидел возле бокала... Заговорил, наконец:

– Ну что ж. Хорошо, что всё этим кончилось, Митя. Бог с ним, пусть живет. Я давно призывал тебя бросить это, не ворошить... Да разве тебя остановишь?.. А теперь вот всё и закончилось... А то ведь тоже стучать бы пришлось...

– Как «стучать»?! – подавился Кропин. Прокашлялся. – Ты хочешь сказать, что мы – как он?! Так я тебя понял?!..

– Ну пошли бы мы, ну требовали бы возмездия. Ну били бы себя в грудь... И – что? Да ничего бы и не случилось... Не тронули бы его... Там много таких. Еще с прежних времен. Из золотого, так сказать, их фонда... Бесполезно было всё, Митя... С самого начала... Ворон ворону глаз не выклюет. Никогда не выклюет... Он вот академиком стал, а – ты?.. Так что сам понимаешь... Забыть надо всё, Митя, не помнить...

Кропин пытался спорить, доказывать. Злился на Кочергу. С его упрямой непрошибаемой лысиной. С его мгновенной безоговорочной отстраненностью, перенаправленной уже на идиотский этот бокал с издыхающими пузырями. Ведь он, как надо понимать, «закрыл вопрос». Раз и навсегда. Другие пусть стараются, а он – закрыл. И – баста!

Кропин не чувствовал хлещущего в мойке кипятка. Зло шоркал тарелки щеткой. Опять он влез не туда. Опять не в ту дверь. Опять в дураках остался!

Как дерево, от света редких машин начинал пылать в окне висящий тюль. Сгорал свечой. Улетал в черноту.

Кочерга шевельнулся на тахте, тихо заговорил: «Я ведь знал, Митя, что это – он... Еще до ареста знал...» – «Как знал?! – вскинулся на локоть Кропин. Вспугнул всех «птиц» раскладушки. – Да что же ты молчал?! Почему ты не сказал? Мне?! Всем?!»

Кочерга помедлил, точно колеблясь: говорить или не говорить другу всю правду... «Мы были обречены, Митя. И умри он тогда внезапно, переедь его трамвай, еще чего-нибудь случись... убей мы его в конце концов – ничего бы не изменилось. Мы были уже под колпаком. Мы слушали Степана Михайловича. Мы думали так же, как он. И этого было достаточно. Мы же часто собирались у него на даче. Мы были с ним заодно. Мы были заговорщиками, так сказать. Организацией. Подарком для Колюжного. Мы сами всё облегчили ему. А то, что ты остался... так просто ты был нужен ему. Нужен для счета. Чтобы Левину прикрыть. Он, Колюжный – и еще два честных коммуниста. Левина и Кропин. Минус остальные – враги».

«Но почему именно я!? – все торчал над раскладушкой Кропин. – Почему не Быстренко, не Качкин, не Зеля?! Почему я попал в этот «счет»?!»

«Потому, что те ершисты были. Талантливы, своеобычны. Он их не обломал бы. А ты, Митя, уж извини меня, человек мягкий. Уступчивый, стеснительный. Совестливый. Ты у него проходил по рангу неудачника, бездарности. Ты был самым подходящим для него. И хорошо, что ты ушел из института. Он бы год, полтора дал бы тебе всего. Не больше. Отправился бы за нами... Ну а потом, видимо, как-то забылось: война, ты на фронте, его карьера распухала, не до тебя... Но даже когда ты ушел из института – он тут же воспользовался этим. Сразу пустил слушок: он! Кропин! Мол, потому и ушел!.. Он был гроссмейстером, Митя, по части интриг, доносов. А мы оказались слабаками. И это – правда... Вот в чем наша беда была тогда... А сейчас... Перегорело всё. Бессонный шлак один в голове остался. И больше ничего... Поздно...»

Кочерга замолчал на тахте. Точно провалился.

В раздражении Кропин смотрел на тюль. Тюль начинал вспыхивать, гореть в окне... Кропин встал, задернул шторы. Лег. И почти сразу начал мучить кошмар...

В каком-то длинном подземном переходе людям приказывали не дышать. Везде махалась палками, металась милиция. «Не дышать! Не дышать!» Со всеми людьми Кропин побежал. Набрав воздуха и не выпуская его. «Не дышать! Не дышать!» Не выдержал, потихоньку вдохнул. Тут

же получил палкой по горбу. Разом сомкнул губы, продолжая бежать. Точно от землетрясения тряслись, болтались кафельные стенки с обеих сторон. Как ледяные палки, по потолку вперед скакали люминесцентные лампы. Густая топотня ног началась на лестнице перехода. К воздуху все лезли, наверх, к свободе. Но там их встречали все те же окрики и палки по головам. «Не дышать! Не дышать! В очередь! Строиться в очередь!» Людей строили в очередь к трем проверяющим. В шляпах те стояли, в серых плащах. Люди по-прежнему не дышали. Многих уже качало, они стремились лечь на пол. «Никто не дышит! Никто!» – В плащах внимательно изучали глаза подходящих очередников. «Годен! Дыши!» Очередник отходил, счастливый, кашлял, хватал ртом воздух. «Не годен! Убрать!» Несчастного оттаскивали от проверяющих в сторону, он мгновенно умирал, и его кидали на кучу таких же мертвых. «Годен! Дыши!» «Не годен! Убрать!» Куча с мертвецами росла прямо на глазах! Походила на бесформенную кучу одежды и обуви! В которую почему-то накидали много париков! Мужских, женских! Кропин видел это, приближался. Вдруг рванул воздуха и закричал: «А-а-а-а!» «В чем дело?! – вздрогнул один из проверяющих, видимо, главный. – В чем дело, я спрашиваю?!» К нему подбежали, торопливо начали объяснять: «Сумасшедший, товарищ генерал! Сумасшедший! Не обращайте внимания! Всего лишь сумасшедший!» Переодетый в плащ генерал перевел дух: «Фу-у, как напугал! Даже в пот ударило!» Вытираясь платком, похлопал Кропина плечу: «Дыши, Дыши, ха-ха. Сумасшедшим можно дышать. Разрешается, ха-ха-ха. Дыши». Подчиненные в фуражках бешено смеялись. Все меднощекие. «Дыши, дыши! Полудуркам можно!» Но Кропин опять закричал. Причем хитро, провокационно. Мол, что будет? «А-а-а-а!» «Да дайте ему кто-нибудь! Дайте!» – просил проверяющий меднощеких. Кропину дали. По голове. Очень сильно. Кропин вскинулся на раскладушке, часто дыша и хватаясь за сердце... Покосился на тахту. С агрессивно храпящим Кочергой... Тихо лег обратно.

Утром за завтраком Кропин не стал рассказывать Кочерге про свой сон – ничего, кроме насмешек и подковырок от него не услышишь. И простился даже с ним холодновато. На немалое его удивление.

Когда спускался по лестнице, на площадке между этажами увидел необычайного белого, очень чистого пуделька. С ножками – как гамашки... Смурное настроение разом исчезло. Мгновенно вспомнился Глинчин. Бедный Павел Андреевич... Хотя в отличие от его вредного Дина, этот кобелек был добрым – сразу подошел и обнюхал штанину Кропина... Более того, стал спускаться с Дмитрием Алексеевичем вниз. Старался даже деликатно в ногу...

– Чей же ты такой ласковый будешь? – спросил у него Кропин во дворе.

Ответа в немигающих бусинках пуделька не было... Он был словно из продолжившегося сна Кропина. Из новой, светлой его части... Чьим-то добрым посланником... Может быть, Павла Андреевича?..

Татьяна ЩЕРБИНА

Дыханию одиноко

СТРАШНЫЙ СОН

Среди ночи проснулась от ужаса.
Сижу в комнате, еще люди,
Звук открывшейся двери,
кого-то приветствуют, шутят,
как они узнали, кто это,
думаю, тут же ни зги не видно.
Это рыжий, ты что!
В воображении вижу яркую шапку волос,
а в реальности – антрацитовую черноту.
Отмечаю разницу: внутри все так,
как видишь при свете,
а тут – ни дохленького фотона.
Кто-то дотрагивается до меня,
«Кто это?» – вздрагиваю. Они смеются:
здесь светло, ты что!
И перестают смеяться.
До них дошло, что я ничего не вижу.
И до меня дошло.
Ко мне подступают с участливыми вопросами,
и вдруг звук лопается, как пузырь – чпок,
это не они замолкают,
это я перестаю слышать.
Очень страшный сон.

***

Всё потаенное понято,
произносимое сказано,
ну какие ж тут комменты,
слезы выглядят стразами,

Татьяна ЩЕРБИНА окончила филологический факультет МГУ. До 1986 г. публиковала в самиздате стихи и прозу (авторские книги, публикации в «Митином журнале»). В 1989–1994 гг. постоянный автор радио «Свобода». С 1991 жила в Мюнхене, затем в Париже. Публиковала статьи и эссе в газетах «Suddeutsche Zeitung», «Le Figaro», «Коммерсантъ». С 1995 г. живет в Москве. Создатель и главный редактор журнала «Эстет» (1996). Публикации в журналах «Воздух», «Вестник Европы», «Дружба Народов», «Октябрь», в «Независимой газете», интернет-изданиях «Частный корреспондент», Полит.ру и др. Автор книг «Ноль Ноль» (1991), «Жизнь без» (1997), «Диалоги с ангелом» (1999), «Книга о плюсе и минусе, хвостатом времени...» (2001), «Прозрачный мир» (2002), «Лазурная скрижаль» (2003), «Побег смысла» (2008), «?Они утонули» (2009) и др. Выпустила книгу стихов, написанных по-французски (1993, премия национального центра литературы Франции), ее поэтические книги в переводе на французский и английский языки выходили также в США, Великобритании, Франции и Канаде. Переводила французских поэтов, составила авторскую антологию «Современная французская поэзия» (1995).

и восторги – хлопушками,
и стихи – конфетти,
вроде выстрелят пушкиным,
а потом – подмести
и в пакет целлофановый
с оцифрованной сагой
и шуршащей сафьянами,
будто платье, бумагой.

***

Такое впечатление про воздух,
весенний, с желтым бочком –
саднящее, будто он поцарапан,
как коленка в детстве,
целлулоидная пленка с призраками.
Что-то недосовершилось,
молекулы бродят выжидающе,
пинают пивные банки,
толкают в метро,
сестры злобность и тупость
набухают, не лопаясь.
Газированный воздух
щелкает пузырьками
телефонных сот, глазков видеокамер,
бензоловых колец с отливом –
кристаллическую решетку перекосило,
и воздух заклинило,
хоть этого и не видно,
но как-то всё наперекосяк.

***

Воздуха нет – это мое дыхание,
заполоняющее собой
щели в городе: между домами,
шкафами, винтажными кренделями,
мистически размножающаяся материя –
из любого угла толпой
надвигаются книжки, кружки,
флэшки, наушники, друг на дружке,
окаменевшие горечи, остекленевший елей,
океаном надаренные ракушки.
Тараканы пропали – бессмертные вещи
опустились до мизерных их щелей
и повыдернули окаянных как клещи.

У подножия океана
дыхание огибает редкую здесь предметность:
буйки, маяки, пляжный этнос –
модели людей, в них подышишь, рот в рот –

запульсирует альтер-эго,
и модель оживет. Но недолго
быть им одушевленными мной – телега
или там пароход
их увозит на склад, туда им дорога,
где они хранятся. Дыханию одиноко,
затаилось, будто его не любят – ветер,
воздух зашевелился и стал заметен.
Волны гарцуют, показывают крупы, зубы
оскалены – оседлать как винд-серф,
запихнуть океаний нерв
пенными языками обратно,
в плоский экран,
сжав дыхание до причастия,
удержать наводнение части
речи, сжимающейся в стихотворение.

ПРОШЛОЕ

Вроде есть вещи, которых будет хотеться всегда:
замки, устрицы, пальмы – ничего подобного,
Атлантический океан – как с гуся вода,
виноградник в колечках – сто раз опробованное -
прованские маки, оливковые стада,
овечки вечности с боков поездов сверхскорых,
а люди, которые, без которых..?
Простолюдины, как оказалось.
Даже не ангелы, падшие или павшие
в сраженьях с космической темной кашей -
просто летняя буйность и зимняя чахлость,
гормональные крылья,
в порывах как бы нездешней пыли
не успеваешь ахнуть.
Поиски личного краха –
сбагрить себя в объятия вертопраха,
обновленная версия замусоренного «я» –
нелицензионная,
так что ей понадкусывают края
и надорвут клаксоны.
Хотелось друзей вытащить из щелей,
а они там ссохлись и стали хрупки,
посадить на клей
лапки их, стебельки, скорлупки –
ушки склеиться могут, такая ценность.
Прошлое значит «перехотелось».

Сергей СЛЕПУХИН

Что-то случилось

***

«маятник чиркает воздух»
Елена Лапшина

Селитра отсырела в темноте,
Скребется время в онемевшей детской,
И прислонившись к вещей немоте,
Болеет кожа скорлупою грецкой.

А спички чиркают и валятся на пол,
Минут погибших мусор беспризорный,
И катят бусины за плинтус и под стол
Зверьки ночные в щуплый морок норный.

Тень потеряла контуры, ищи
Штамп тождества на черной амальгаме.
Скрипят часов артрозные хрящи
И стрелки шаркают по воздуху ногами...

***

Саше Кузьменкову

Что-то случилось. Но что? Посмотри по углам:
Мебель изваяна сумрачным пепельным светом,
Стены меж мною и богом подобны телам
Зрячих теней со щетиною серого гетто.

Дверь отверзается пропастью в тлеющий сад,
Между деревьев враждебно крадется мокрица,
Темным рельефом на клумбах недвижно лежат
Стынущих астр посиневшие хмурые лица.

Мечется голос-сквозняк в деревянной груди,
Сердце пыхтит одряхлевшею грузной медузой.
Лампочка вспыхнула в кухне, жена, бигуди...
Что-то случилось и стало обычной обузой.

Сергей СЛЕПУХИН родился в 1961 году в городе Асбесте Свердловской области, живет в Екатеринбурге. Поэт, эссеист, художник. Публиковался в журналах «Арион», «Звезда», «Знамя», «Интерпоэзия», «Крещатик», «Новый Берег» и др. Автор книг «Слава Богу, сегодня пятница!» (2000), «Осенний покрой» (2003), «Вода и пряжа» (2005), «Прощай, Парезия» (2007), «Новые карты Аида» (2008, совместно с М. Огарковой), «Задержка дыхания» (2009).

***

Свисток... и гремят, и грубят буфера,
Захлопнулась дверца, в бряцанье размножась.
Рывок. Паровоз, не проснувшись с утра,
Подсвеченный дымкой, сдвигается, ёжась.
Блуждающей рельсой ползет под откос
В морозный подол, за черту невозврата,
И режет пространство нулями колес,
И сыпется грязная серая вата...

***

скорый пассажирский ежедневный
остановка пять минут буфет
на кулак намотанные нервы
наспех наведенный марафет

машинист ужаленный несётся
рвут пространство желтые глаза
рельса отутюженная гнется
матерно скрежещут тормоза

до свиданья города и страны
родина ни пуха ни пера
мы всё едем едем за туманом
чавкает и чавкает дыра

***

«И душа для видений ослепла...»
А.Блок

Пыхтит маневровый, споткнулось молчание – звук,
Зачехлены тени, зажмурены льдистые лужи,
В застегнутом наглухо сквере брожу, близорук,
Душа для видений ослепла внутри и снаружи.

Раскроен по меркам ненастья осенний разброд,
Отклеилось время от вмерзшего в холод пространства,
Афишей кружится в дыре почерневших ворот,
А мне – недород, неустройство и непостоянство.

Вторичные признаки жизни – сомненье и страх,
И слышится темное слово, как злая обида:
Вглядись в этот лист, через осень, и морок и прах
На дряблой ладони проявится карта Аида.

***

вин трист креплёное на ароматах сены
с горчинкой асфоделевых лугов
отравлен воздух и сошел со сцены
последний из отвергнутых богов
остывших волн остекленело эхо
навис угрозой гребень откликной
сомнительна последняя утеха
схождение из этого в иной

орфей баюкай равновесье страха
аид подсвечен кем-то изнутри
на капельдинере кровавая рубаха
нашарь проход звонят тревожно три

вот перестали ерзать музыканты
всеобщая готовность на местах
вступая в смерть
ослабь как струны ванты
перемогая беспричинный страх

***

Набухающий свет, фонари наливаются кровью,
Контур ночи нечеток, размыт в одичавших домах,
Угловатые мысли в окне процарапаны бровью,
Узловатые руки на шее, смятение, страх.

Просыпайся, у рыбки проси по привычке корыто,
Безразличьем уколет тресковый мороженый глаз,
Птица в клетке летит золотой, но тобой не подбита,
Засорился стояк и на восемь – чинить унитаз.

Год за два – солитерное время двойное,
Где со скоростью света течет непроглядная тьма,
Где охрипшее радио хвалится новым удоем,
Но упрямо чернят молоко сулема и сурьма.

За бетонной стеной терпеливо молчит лепрозорий,
Прокаженные здания, люди, ночное зверье,
Фонари наливаются кровью, отчаяньем – зори,
И срывается сердце с катушек – твое и мое.

Рафаэль ШУСТЕРОВИЧ

no discharge

День начинается с новостей
О том, что нам не собрать костей,
Что мыслей вряд ли найдется горсть,
И, вроде, здесь ты – незваный гость.

Гостил, гостил ты – да надоел,
Немало выпил, немало съел,
Порою строил, порою жег,
Должок завелся – отдал должок.

Теперь привалишься на корме
Капралом армии Малларме, –
А младший ангел дует в трубу
У корабля в деревянном лбу, –

Следит, как судно режет волну,
Которая слышит себя одну, –
Проходит, не оставляя следов, –
Таков обычай летучих судов...

Вам, кораблям, изживать червей,
Нам, кобелям, от своры своей
Рваться, выкусывая из мечты
Злые подробности темноты.

2007

анатомия ангелов

анатомия ангелов подвергается пересмотру
крылья станут крепить на вставные болты
одновременно заново входят в моду
рюши сборки плиссе банты

надо бы придерживаться образа и подобья
но сквозная пернатость прочней на ветру
за подшефным не углядишь исподлобья
и особо спросонок когда поутру

Рафаэль ШУСТЕРОВИЧ родился под Москвой в 1954 году. До своего отъезда в Израиль (1993 год) жил в Саратове. Окончил Саратовский государственный университет. Инженер-физик. Участник поэтического сборника «Сто двадцать поэтов русскоязычного Израиля» (Тель-Авив – Москва, 2005). Публикации в журналах «Крещатик», «Иерусалимский журнал», «Зарубежные записки», «Интерпоэзия», «Зинзивер», «РЕЦ».

доработки вечные переделки
сохранение сущности под угрозой
на столе тарелки над головой тарелки
никому не внятен бесплотной позой

в утвержденном перечне правит хаос
подопечный то здесь он то его нет
иногда наваливается усталость
или меркнет подбадривающий свет

2008

гарнитура

Ольге Гришиной

С утробных давних пор,
Стеснительный чернец,
Ты знаешь слов набор,
Молочный их свинец,

Их вкрадчивую суть,
Их губчатый прихват,
Когда осядет муть
И выйдешь виноват.

Цицеро, нонпарель,
Пробелов полукегль,
Шуршащий терпкий хмель
При полусвете кельй.

Тесноты тех рядов,
Длинноты тех шагов,
Проулки городов,
Промоины снегов.

Угрюмый профсоюз
Заутренних расстриг,
Их непомерный груз –
Сухие стопки книг.

2008

Филомела

И давно ли миндальная вьюга мела,
а теперь белизна поредела.
Ты кому-то мила, Филомела, мила,
ты кому-то мила, Филомела.

То сестра, то наперсница праздных затей,
рассыпатель серебряной дроби...
Упирайся, потей, записной грамотей,
настрочи мимолетной зазнобе.

Неурочного часа остыла зола,
ни на йоту согреть не успела.
Пустота за плечом, трепетанье крыла –
это ты, это ты, Филомела.

Дом, устало-малиновым крытый листом,
на отшибе. Хозяева строги.
И с шипастым кустом за горбатым мостом
Ты бормочешь свои диалоги.

Костяной язычок, золоченый зрачок,
ты пернатую шкурку надела,
чиркнешь где-то поблизости, снова молчок –
прилети, промелькни, Филомела.

2008

станция

Сколько на ветер бюджетных затрат,
чтоб управляться со взбалмошной нечистью.
Здесь заночует лауреат,
перемещаясь в другое отечество,

здесь ему скажут: дальше – родней,
воспоминай эти пущи и топи,
издалека, понимаешь, видней,
как мы заботились о мизантропе –

пухом стелили, резали сыр,
жаркие ласки, руки да волны,
ветхие дести стирались до дыр –
вы ж это небо воруете, воры.

Росчерк на бронзе, краски плевок,
запах морозный, дым низкосортный,
старый шлагбаум, таможни зевок,
пункт позабытый, бесповоротный.

2008

корабли и капуста

Возьмем на вкус из древних дрём,
ну, скажем, энный Рим
(порой не знаем, что берем,
а также – что творим),
давай слегка убавим гром,
давай поговорим:

о королях, о кораблях,
капусте, сургуче,
о бурей пахтанных морях,
о пыли на луче,
и о преодолевшем страх
армейском палаче.

Ему вести нас по грядам,
где пчелы держат рой,
где сад готовится к плодам,
где горечавок строй,
и чаек ненасытных гам
над Адриатикой.

Он, иллирийский земледел,
балканский старожил,
мог дури положить предел,
но все ж не положил –
поскольку плод давно поспел
и губы освежил.

До заготовочных календ
дожить на сквозняке,
Пирей присвоить или Гент
в походе налегке,
при трепетаньи ярких лент –
и тонкий нож в руке.

Шинкуют кочаны. Морквы
заложат от щедрот –
идут на вонь морские львы,
и подставляют рот
те, кто совсем без головы,
и те, кто с ней – народ.

Но не страшнее ли цинга,
когда в глазах пестро,
дорога в океан долга,
и ставишь на зеро.
Мы убегаем берега.
Квашеное нутро,

сиречь – капуста. Корабли
уходят. Скрип руля.
И сколько море ни соли,
но солоней земля.
И ветер гонит от земли,
их мачты окрыля.

2008

***

... и один из Брейгелей,
понимая, что все мы сбрендили,
ведет их цепочкой на стройку башни –
обозреть небесные пашни,
эволюции небесных плугов, небесных мельниц,
и бабочек, бабочек – вечных насельниц,
видимых только оттуда

2009

мумия

он учит историю
история учит отчаянию
разматывая мумии льняной покров
обнаруживаешь поучения и ворчания
затесавшиеся из других миров
где надеялись на птиц мол сорвут корону
подержат в когтях и тотчас вернут
младшему катону старшему варрону
да и прочим полагается справедливый суд
по делам по словам

уток и основа
отделяются за волокном волокно
буква буква буква
кажется слово
и почти разборчиво
если бы не пятно

2009

допрос такого-то

– День ли упущен?
– Упущен день,
упущен один из дней.
– Всё ли забыто?

– Забыто всё,
забыто о них, о ней.
– Всё ли оставлено на потом?
– Оставлено на потом.
– А то, что было?
– Оно уйдет,
за год за один, гуртом.

– И что прогноз? Отменили ковчег?
– Базальтовое вино,
ласточки трепет,
залетный снег,
а там уж черно, черно.

2009

Валерий ВОЛОДИН

Рассказы

Что-то не тянет домой

(легенда о нашем человеке)

«Прийти домой да еще слушать в домашней обстановке бред подрастающего поколения... Ну нет, это уже не по моим нервным силам. Увольте меня заранее», – так помыслил не пылко отец подрастающего поколения и благодаря кстати возникшему огорчению крепко – чтоб враз было не оторвать – запил, даже не заходя множество дней кряду домой, более-менее благополучно существуя помимо родных пенат и всего остального, что бы ему ни осмеливалось опрометчиво подвернуться под остальное.

Из подобного стрекочущего текста недолго произвестись превратному впечатлению, будто он массу времени находился в потере сознания или гадским совершенно образом растерял из прохудившегося себя что-то еще, всегда влекущее с задором и мысленной песней вперед и заставляющее иметь неуклонно лицо человека, и по этой именно причине недостойно выпал из натуральной действительности, которая, несмотря на свою частичную утрату и легкое искривление, естественно, не уставала его заедать с аппетитом размашистым и в дурную охотку с разгону бодать. Но это хоть и правда, но не до конца истинная правда, отнюдь не та, которая любит тишком погреть душу и втайне упиться ею, порой иссушая данный кубок до дна, а такая ущербная, неполновесная правда что-то мерзит, мы не находим в ней ни нужды, ни скромного счастья, с подобными красотками нам не по пути. Впрочем, и про истинную правду потом как-нибудь, а пока пусть наскоро введем в курс дела, уже заметно распираемого досадой всяких неясностей: наш человек ничего не терял, а, решительно наоборот, приобрел. Вот он, курс дела. (И где-то близко струит самый его фарватер.) Теперь вы знаете, введенные в него. Приобретение именовалось внешне неброско: запой, даже скромность какая-то есть в этом названии и некоторая сдержанная красота, сдобренная изрядной порцией стыдливой грации. (А запой, дружок, запой, ну чего тебе стоит?! – ласково просило, сияло, сманивая для начала как бы другой дорожкой, которая на деле существовала злостно одним и тем же роковым путем, что лукавой словесностью гнусно прикидывался двумя или тремя сладкими стезями, чуть ли не с объятиями бросающимися навстречу.) Однако внутренне это было очень сильнодействующее и несколько катастрофическое приобретение, хоть поначалу и многообещающее, игриво резвящее многие члены, если не все кряду. Ну а потом... О, это мерцательное, очень гадательное потом! Лучше бы его иной раз и не было.

Обещаний своих та дрянцевитая штука, естественно, не сдержала, а завела исправного на протяжении многих лет родителя в края запустенья столь дикого и вероломного, что впору схватиться бы нашему человеку за полную отчаяньем голову, да вот практически ничего уже не оставалось от головы, на ее месте так и зияло одно неприкрытое лишь отчаянье, сумевшее затмить даже ясно проглядывающую всегда анатомию. Все чаще теперь жизнь грозила стать лишь способом существования белковых тел. (Скажите, пожалуйста, какова! – Как будто от этого лучше б ей стало!) Но наш человек и этим угрозам разъяренной фурии, каковой в до обидного короткий срок стала его прежде горячо любимая жизнь, внимал плохо, в основном мимо ушей и с оскорбляющей все живое смурной вялостью, с которой и умирать стыдно, не то что продолжать быть прилично шевелящимся человеком. Напротив, он продолжал в себя вливать, на что шевеленья оскорбительно мало надо.

Валерий ВОЛОДИН родился в 1956 году. Закончил отделение психологии биологического факультета Саратовского университета. В журнале «Волга» печатается с 1989 года. Живет в Саратове.

Когда он, насильственно пользуясь спотыкающимся шагом, таки вернулся в смутно им признаваемые родные пенаты, к которым уже явственно брезговал относиться как к родным, подрастающее на глазах поколение и сухощавая, жилистых нервов женщина, в видимости дымковато все плывущей куда-то жены, повстречали его на пороге усугубленным образом и довольно-таки исподлобья. В противоестественно закативших под лбы взглядах (наш человек обнаружил это сразу, несмотря на устроившее тут непредусмотренные танцы его зрение, пустившее в принудительный пляс всю одурелую обстановочку дома) таилось что-то мистически пугающее, точно это пялились на него одичавшие от давней смерти фараоны, и крайне отталкивающее, так что двигательным образом невозможно было ступить хотя бы на шаг вперед к этим трудным и полным несусветной схоластики взглядам, всей тяжестью налитых за ними и вложенных в них тел удушливо придавливающим прямо к проклятью, а может, уже и распятью входной двери, лишний раз не рыпнешься. Так и стой, дверью казнимый с помощью явленных ей на подмогу союзнических взглядов. Казнь что спереди, что сзади была одинаковая. А это не могло утешить. Равномерность всестороннего наказания оскорбляла неравномерно виноватые чувства, они роптали. Казнь занималась изнутри нашего человека, расчистив себе территорию под полыхание от сердца до самой печени, подумывая прибрать под оккупацию шальную, еще потихоньку и с огромным запозданием празднующую голову и не менее шальные, но мало праздничные ноги: они радость свою отрадовали, их замотала дорога обратно.

Наш человек решился ходить здесь, в былом расположении своего дома, только тенью и несколько бочком да всякими косвенными прокрадываниями, ни на чуть не забывая, что при этом он не столько устремляется поперед себя, сколько норовит в возвратное положение, как в давно приглянувшееся ему, милое нраву убежище, коим он редко прежде пользовался, а зря – многие охваченные дрянью и захватанные жизнью проблемы были бы решены, еще и не начавшись, даже до зародыша их заморышного дело вряд ли б дозрело: просто бы наш человек до проблем дойти никак не сумел, двигаясь от них в другом направлении, попутно обманывая проблемы не тем путем и ложною траекторией, вдобавок слабо прочерченной.

Некоторое натянутое до звонкости время казалось, даже надоедая казаться и становясь неприличием воображения, маленьким его безумьем: он и для проклятий домочадцев (и особенно этих самых чадцев) уже неуловим и не годился ни под какой их самый сумасбродный или завалящий конфликт напрочь. Для проклятий их, оказалось, он уже умер. А он и не знал, по старой привычке продолжая живо ждать от них оскорблений, не сознавая, что сильно наглеет в ожиданиях теперь ему не положенного, что зарывается, нарывается, – в этой-то части сознания он точно был мертв, так что полностью наш человек запутался, где он живой, а где полагается ему быть исключительно жмуриком недрогновенного образца. Где б ему быть молчаливее камня, гробовее воды, он непростительно вдруг оживал и лепетал до ужасов неуместно живое, а где наоборот – становился надежней могилы, когда бы бегать ему вовсю вкруг нее да порхающим бабочкам радоваться, ответно им нравиться поспевая, не уставая. Ну куда ж это годится в виду реальной разумной картины мира, не пошедшей ведь пока совокупным спонтанным приветом, не испускающей бзики тотальным огнем?!

Никто не снизошел даже до пошлых машинальных оскорблений, до грубости вызывающе принижающих жестов или до красноречивого молчания, прямо стенания ярко говорящих косых взглядов – так он был воззреньем их уничтожен и выглядел сущею пустотой, с какого-то перепугу втеснившейся в узковатую для желаний квартиру и только подчеркивающей жалостливое отсутствие некоторых важных, льнущих к человеку вещей, какие есть в других порядочных домах и без каких не бывает, не может быть хоть капельку уважающего себя дома, гордящегося именем скромным и тихим своим. Чадцы и сухощавых нервов жилица просто сверхметодично молчали, и этим все было наотмашь сказано, молчанье зудело в обмолчанной сильно его щеке. Судьба нашего человека висела не на волоске (о, какое б то прочное было удержище!) – нет, она уже судорожно корчилась, досыта навалявшись в подножном прахе и устав быть исползавшейся судьбой, перепачканной в уму не постижимых земноводных отбросах. Такую судьбу все желательней не

хотелось иметь. Кому нужна изгвазданная замухрышка, которую вряд ли починишь для дальнейшей более-менее работающей исправно судьбы? Выкинуть ее окончательно становилось все больше не жалко, и радость этого выкидыванья опережала само выкидыванье, мешкавшее трусливо.

Чуткая, оборотившаяся весьма человечной входная дверь (непромедлительно сделавшаяся из солидарности с ним дверью выходной и сугубо прощальной), наблюдая своеобычным манером за отважным попячиваньем человека, скрытной повадкой пылко одобряла эти его возвратные поступки и, нетерпеливо ликуя внутренне присущим ей скрипом, желала самым сильным дерево-плиточным желанием дать все больше назревавшему изгнаннику всякий приемлемый для него приют, правда с обратной стороны, и только и ждала, чтоб оказать начинавшемуся изгою разностороннюю помощь, на первых порах, может быть, в рамках накатанной программы спасения беженцев, утвержденной ООН, а там посмотрим, в зависимости от поведенья стихий, как они уж себя покажут. Ведь это была чрезвычайно русская выходная дверь, а не хухры, знаете ли, мухры, не что-нибудь массивно и уперто английское, еле ползающее в петлях от утяжеленья традиций, и потому наша с виду легкомысленная, из одичавшей полуфанеры сляпанная дверища была шире любой программы ООН и заметно сердечнее. Наш человек, не будучи промахом, это прекрасно чувствовал (в отличие от себя, коего прекрасность чувств никаким боком что-то не могла да, видать, и не больно горела коснуться) и не уставал интуитивно опираться на такую отзывчивую поддержку, которая в хлипкую минуту полного провала семьи дорогого стоила, здесь счет шел уже на метафизические рубли (они существуют, я держал их в запредельных руках), недосягаемые для одиозных ценностей и изуродованных самомнением драгметаллов, неотличимых порой от вскормленных салом народным и наученных всему идиотов, которыми хоть свет пруди, лучшего заторного вещества для световой плотины по всей земле и в рудах ее не сыщешь.

Из всей нехорошо пришипившейся квартирки ощутимо родной запоздало оставалась одна эта скорбяще сочувственная, донельзя его понимающая дверь, все остальное, вульгарно и грубо насупившись, сгрудившись в неразборчивую кучу безлико остального, лишь умело метко молчать да маячить да, чтоб неповадно было, впрок презирать, дабы опыт проучений закреплялся на уровне его побалованного водкой организма и стал бы по крепости вроде второго алкоголизма. Фыркалки какие! – лишь для какого-нибудь обихода мысли, чтоб голове окончательно не иссякнуть, думал волевым образом такими вот словами-возбудителями наш человек, за общей разочарованностью, однако же, не упуская себя впасть ни в одну крайнюю, экстремистски настроенную эмоцию, и получалось всё неприлично нейтральное, какое-то уничтожившееся мышление, унынье и скукой повитое, как повиликой худой; всякая новая мысль только и мечтала нескрываемо о том, как избавиться бы поскорей от собственного удушливого существования, прямо удавилась бы, думала без христианского стыда и утайки всякая мысль, поскольку истязаться своей пошлой бессмысленностью среди русской любившей покушать людьми действительности исторически было выше всяких ее рассудительных сил.

Потому-то он к двери и тяготел откровенно и с нею одной в милую охотку (если только что в нем милой охоткой назвать с натяжкою да с нажимом большим было) сопрягал свои доверчиво вверяющиеся ей идеального свойства будущие поступки и немного задичавшие от перестоя запоя планы – а их была тьма тьмущая, они уж тучно роились, друг от дружечки на лету сладостно размножаясь, от преизбытка мельтеша и перед глазами, преображенные в тоненькие, тихо пищавшие существа мыслей, которые пели какую-то еще толком не разученную песню мира и поэтому нередко давали дрозда, хоть и косили под эльфов. Мало-помалу от тесной толпы его порхающего ума в квартире сделалось душно и невместимо. Крепко потягивало на свежий, бодряще кличущий воздух, чтобы немедля глотнуть обновленного дыхания, знаменующего зажигательное будущее, которое наверняка не окажется суженным да скукоженным атмосферой так низко павшего дома и неизбывной подлостью двухкомнатной типовой квартиры.

Скромные и прежде обидчивые до тихой истерики вещи нашего человека, по его возвращении из восвояси запоя, были тошнотно тщательно и даже со следами былой любви упакованы

прежними, но, к сожалению, уже неумолимо черствыми руками и постаивали себе, как бравые голубчики, готовые отправляться куда угодно, хоть к черту на рога, а может быть, и за их пределы, если таковые за чертовыми рогами простираться умели. Видок у молодцеватых вещиц развязный, с доброкачественным уклонцем в небольшую, но вполне терпимую уголовщинку – ни дать ни взять российский человек в его расхожем незаунывном явлении; поднабрались вещицы шатучей свободы, находясь в ежедневном контакте с нашим непрерывно и вулканически волеизъявляющимся народом. Им явно и море было по колено, мелковато им было всякое море, хотя их владельцу, который что-то зачастил исчезать, злоупотребляя своими отсутствиями, море по колено давно уже не было, оно держалось на такой отметке неделю назад, а сейчас и валяющаяся среди улицы простая житейская лужа ужасала, всколыхивая в нем дрожащее крупно чувство, которое распространялось вплоть до смертных мраков и другого лихого загробья, сотрясая и их заодно, чтоб не тратить дрожь понапрасну: во время кризиса на всем приходится экономить.

Наш человек натужился всеми потемочными уголками натуры, задействовав самые отдаленные и редкие потенции, но сколь потрошительно ни вынуждал себя, сколько торжественных мук ни прикладывал к чему-то под ложечкой и в низу живота, стимулируя искомое веселье внутренним волевым хохотом, а также умозрительными похихикиваньями, почерпнутыми из разных восточных и южных методик (никчемнейшие, абсолютно формальные смешки, насыщенные благополучно лишь одной анемичною пустотой, квело скатывались вне смеха с нутряных исстаравшихся губ, словно капли осенней напрасности), все равно попасть в эмоциональный тон своим ныне безудержным вещам не мог, будучи близок к точке замерзания собственных страстей, и он скорбел всем существом альдегидного тела, вопиял, можно сказать, всетело, не умея в текущие мимо моменты быть никакой самостоятельной тонкой страстью, приемлемой для инфузорийного хотя бы ответа все терзательнее изучавшей его на предмет неизвестно чего действительности.

Вещи дерзали горяченьких увеселительных новшеств и повсеместных приключений с идущими далеко последствиями, он грезил только упаднически лежать, закрывшись от пыток мира и от назойливости шершавых видений чугунными, практически надгробными веками. Коллективно сознательным взглядом эти пассионарные вещички поглядывали нескромно на бесцеремонно их упаковавших и разделавшихся с ними исподлобных людей, столько грубого отречения насильственно заронивших в разочарованные вещи, и в вещном взгляде, лишенном всегдашнего теплого и обаятельного доверия, до прозрачности ясно просматривалась лишь малость повитая печалью едкая разгульная насмешка, которую при более тщательном обследовании можно было без колебаний опознать за их в кои-то веки расцветшую вовне, но немного покалеченную гордость и, если не ошибиться, за изъявление непреклонной, втайне взлелеянной мысли, что они выше и морально на порядок чище всякого не без содрогания оставляемого ими здесь махрового потребительства, смехотворно очерченного прижимистыми пределами заплесневелой квартирки.

Бойкие, полные развязной решимости вещицы ждали только явленья из блужданий прогорклого хозяина и чтобы он дал им, желательно ничуть не медля, одобрительную отмашку, поощряющую походы и неблизкие странствия. Будучи во власти преданного призыва вещей и не умея иначе ответить на их неразлучность, он не удержался и дал им добро на выход, словно вдруг заразившись чужой судьбой и став неисправимо другим человеком, который, внезапно пристрастившись к забвенью, не мог взять в толк, кем он был, как очутился в чьей-то кромешно незнакомой жизни, и только тяжелая, неповоротливая пустота иного человека, чьим наполнением он причудливо стал, казалась отчасти прежней, смутно знакомой; ту пустоту из любопытства хотелось пальцем потрогать и чуть отколупнуть: что таим? Такою эта довольно-таки трудная для осуществления неличная пустота старалась изо всех сил казаться, потому что нечему больше было в нем даже приблизительно казаться, он и самому-то себе прекратил как следует мерещиться, будучи в растерянности – за что бы зацепиться в сей пустоши безличья пусть и каким-нибудь безгранично хватким бредом.

Напрочь наш человек не понимал, как могло с ним случиться это его полное, выскребшее дочиста отсутствие, это изумительно выкравшее его исчезновение, притом что вместо него все же

ведь кто-то терся о казни родимой двери спиной и что-то почти знакомо и чуть ли не внятно бурчал сквозь губу, космически отдаленно о чем-то ему напоминая, как будто бы сквозь него сквозяще припоминая, дразня неприоткрывающейся памятью, тяжкой, как переплавленная в свинец голова, бездарно превратившаяся в какую-то излишне виртуальную башку, совершенно сейчас неуместную; такой башкой о себе не подумаешь точно и наверняка уж себя не найдешь. И ему все большим смущеньем ума (он до конца не исчез, видимо, из стеснения перед полной пропажей) мнилось, что он избежал себя навсегда, разминулся с собой на всю оставшуюся неизвестно чью жизнь, лично для себя распустев чересчур шикарно и безвозвратно, – покуда не придет смерть и не расставит все по точным своим и сверхнадежным местам; чего-чего, а это она превосходно умеет: устроительница из лучших, непревзойденных.

Но вернемся хотя б на минутку к его скоропостижному уходу из дому (не разминуться бы с ним ненароком, а то, чего доброго, обезглавим рассказ сиротеть без героя), чтобы на краешке бурно скомканного прощания успеть застать самые последние мгновенья домашней жизни (все последнее ведь особенно прекрасно и ценно), которой ему, по всем все более увеличивающимся признакам, вряд ли когда еще доведется вкусить. Напружив духовную мышцу нашей отваги, приступаем к трепещущим в жути прекрасной последним мгновениям – с той неописуемо истошною скорбью, какую способны навлечь только последние мгновенья, будь они, в конце-то концов, неладны, чтоб не терпеть разлада от них.

Итак, последние мгновенья во всей поучительной их, но бесстыже раззявленной наготе: во внешне скромных, вкрадчивых действиях женщины жилистых нервов и в мучительной скорострельной моторике мощно подрастающего поколения внушительно проглядывало, в отличие от истощенной бедности его гаснущих на глазах проявлений, ужас как много полноты, а также, неустанно маяча, без фикций давало о себе знать прямое свинское желание расширить свое заморенное жизненное пространство, частенько урезаемое явленьями выродка отца и мужа, этой неоперабельной опухолью семейства, и окрепшие на беспрерывном калаче детки, придерживаясь эстетических выходок восточных единоборств, не без красоты изящных движений проводили папца взашей туда, куда и должен он заблаговременно проследовать согласно их представлениям о избранном верно пути, – чтобы в квартире немедленно обнаружилась освеженная возможность разжиться пошире и плотнее заняться своей личной вечно взбешенной на что-то судьбой, не знающей, чем ей занять себя, куда замечательней всего приклонить беспокойную голову гиперактивную, тем более в душащих условиях современной жилплощади, и оттого со страшной силой вянущей-пропадающей, будучи материей чрезвычайно нежной и невыносимо капризной применительно к жилищным параметрам существования. А этот мутный и обычно полубеглый папашка, жизнь истаскавший до онтологических дыр, все время норовил поперек шибкого хода их модернизированных судеб и лишь бестолково толокся, путался беспрестанно под бодрыми судьбинными ногами, налипая на них иногда чуть ли не в виде сора, а может, чего-то еще, сразу повисающего на их молодости неизгладимыми гирями. Так и так папца в недалеком будущем пришлось бы нечаянно растоптать, все равно уж был не жилец, только напрасные длить мучения, – шляется рисковый в непосредственной близости от их судьбоносных трактов, нередко засоряя собою и оживленную проезжую часть, глаза выпуча забредая, точно это соседняя ему комната, в любое их устремление и располагаясь посреди всякого попавшегося наугад юного намерения балаганом иль бивуаком, смотря сколько выпьет. И чего шляется? Ищет, что ли, приключений на свою опу? Приключения ты нашел, но вот не потерял ли ты после этого опу? Где ни будь, чем ни будь, везде сплошь – он да он, как будто кроме него больше и являться некому на свете и посередь человеков! Только и жди его во всякой своей молодой и нежно, деликатно еще развивающейся потребности в виде какого-нибудь вертлявого безобразия или рвотных масс, никакому порядочному желанию не хватит самообладания, нервной и моральной выдержки, голого просто терпенья – непродвинутой поступью прямиком ему в полный отстой, так что и желать приходится не чем-нибудь приличным, насквозь благородным, а какой-то натуральной гадостью, вроде кильки в томате. Отсюда – и наши поступки. Нечего тогда их винить. У нас не было условий воспитывать

наши желания в человеколюбивом направлении. Весь дом своим долбаным хождением да валянием забил до отказа, свежему шагу на хрен ступить негде! Ему – пей, а нам за здорово живешь – не живи! Лучше, пока для сердец не поздно, уж добром прогнать, чем потом с некоторыми чувствами рассматривать от него одно мокрое бессловесное место. На том и поперли резко изредевшего в их сердцах предка из слишком присосавшейся к нему квартирки, снабдив, помимо совершенно незаменимых в данном случае восточных оплеух, также и всем остальным, в чем бы он только ни обнаружил хоть слегка понуждаться. А то больно любит папашка пожить хорошо и даже припеваючи, большой любитель он был песняка давить в приподнятом настроении! Которое приподнималось последнее время все чаще и чаще, замучились опускать...

Радость благодетельства скрашивала их утомленные трудами изгнания лица, а просветленье односторонней драки, бродя неприкаянно во многих ранее скудных чувствах, делало эти отменно вскормленные мордасы почти замечательными, будто написали музыку к стихам, – они выглядели проникнутыми хорошо согретой задумчивой душой и красотой сердца.

– Мы не запрещаем тебе жить красиво, – чуть ли не по-хорошему сказали вдогонку, в сутулую от множества носильных тяжестей спину. – Ну и живи, это самое, на здоровье красиво. Но не забудь нас оставить. Дорожка, которая сюда вела, теперь для тебя никуда не ведет. Нету ее. Ты прекрати нам свои вечные приходы и вообще выбрось всякие возвращения из головы, дурь это. Чтоб даже близко к голове никакие возвращения не валялись! А то ведь мы иногда и злые бывам. Ишь он ходить тут набаловался!

И в дальнейшем, то есть до первого попавшегося поворота (а он вскоре попался, не стал долго прятаться за лестничным маршем), сопровождали его уже сквозь пустую их зреньем фигуру только дружным гробовым молчанием, которое, за неимением другой участи, грузно осело бездыханным, скучно воззрившимся хаосом, превратив эту наспех возникшую местность родного порога, эту беспощадно унылую теперь местность, где все произошло не без красоты крупномасштабных страстей, в картину открытого разора, ужасно зевластого, точно блатной; потом, слегка посомневавшись, поколебавшись между различных сущностей, выбирая себе сносную наглядность, молчание стало здешней домертва затерзанной пылью, из которой уж и душа вон, да грязноватым, межеумочным полумраком лестничной площадки в целом недефективного, но что-то весьма грустного, даже сокрушенного облика, словно была обманутой женщиной. Она-то, эта тихоня площадка, эта непрезентабельная дурнушка, то ли из-за своей зашедшей в тупик грусти, то ли от каких еще скрытных упадков судьбы, – она-то, она, чего никто абсолютно не ожидал, именно она и слилась между делом, пока не видят, не уличат, с проникшим сюда вороватой повадкой вечерним алым часом, отвратительно брызжущим буржуазным здоровьем и буржуазной же вполне хлыщеватой наружности, слилась и слилась, здрасьте вам, втихаря в изощреннейшем акте безопасного секса, совокупляяся без стыда, без совести, до потери себя в самозабвении! А вот этого-то бы как раз и не надо! Только этого огромно лишнего безобразия здесь не хватало, остальных безобразий было в полном достатке. Такие, получается, выворачивались тут бесстыжие остроловые дела. Навела преотличного шороху на наш не повинный ни в чем и пугливый сюжет эта смиренькая на поверхностное зренье площадочка, нечего сказать... Эх, шагу теперь в России ступить некуда, чтоб не наступить вдруг на секс, тотчас жалящий как простая змея! Вот и попиши порядочные рассказы, увиваясь меж безжалостными половыми сношеньями, которые, едва завидев тебя, бросаются на записные твои телеса как ненормальные...

Чего-чего, а вот скромное обаяние вороватого секса братаны одним махом учуяли, на это у них мозгочков в самую тютельку, один к одному хватало, на это самое их глинистые в основном извилины мгновенно зашевеливались и ощетинивались массой трепещущих вопросов ребром: где и когда и сколько раз кому вставили? Моментально прочухали, что за нежный зверь тут завелся, – и повели изумленными органами в поисках оного. Однако оный был ужасно скрытен. Был, словно не был, и не был, словно был. Те, упомянутые, спаривались в дружный оргазм чересчур метафизично и потому недосягаемо укромно, легко избегая чужого, кинувшегося полакомиться даровыми виденьями зрения, упиваясь безнаказанной незримостью и почти что небывалостью,

здесь какой же острый да глубокий глаз промежуточный нужно иметь! Братаны имели только обыкновенные глазелки (сплошь усы́павшие видимости зрения населения), которыми посмотришь – будто вляпаешь сплеча, рубль последний отняв, и они бросились задаром блуждать своими грубыми чувствилищами устрашающего образца в поисках того самого оного, малость обескураженные подлой призрачностью где-то возившегося себе потихонечку-полегонечку секса. Обостренное половое чутье, беспощадно душа жаром соблазна, надрывно-сладко шептало им несказанными словами: он здесь! он должен, поганец, быть где-то здесь! не улизнешь ты, сука! (Меж тем вечерело.) Но даже они, до бесподобности настырные и квадратноголовые, отступили с заметной в коленках их робостью перед наглядным отсутствием половых фактов, бессильные прищучить резвокипящего на месте преступления одними откровенно голыми руками – и всхохотать для веселья испуга над двояковыпученным телом, бурно питающимся бесплатным оргазмом, хотя бесплатное только в мышеловке бывает, о чем братаны знали тверже обыкновенного.

Укрупненные значимостью сделанного детки (мы по поводу усекновенья отца, а не насчет прокола с оным, именуемым в дальнейшем Резвокипящий), оставив глубоко простывший презрительный след, топотко – так как были, с младых ногтей взрастая на беспрепятственном калаче, изрядно весомы и полны актуально играющих дурноватым избыточком сил – отзынулись обратно в тотчас присмиревшую квартирку (вовремя это она сделала, а то было бы неизвестно что!) и посмотрели на нее новыми, враз посвежевшими и умягченными зреньями. Многое в ней тут же понравилось прочистившимся желаньям, заметно усовершенствованным свободой. Как продвинуто было в квартирке! Не зря старались умными рукопашными руками! Жилплощадь классно очистилась и блистала нужным отсутствием. Отстой родителя типа непродвинутого, бля, предка не виднелся теперь ниоткуда. Не махрил вспыльчивых глаз. Да и чему было б повиднеться тут и взмахрить? Они чисто и мокрое дело сделают. Остаточные родителевы признаки наподобие прелого запаха диких его ног в счет идти уже не могли. Это мы мигом выветрим, мысль слегка порожали глазелки. Плоды родов глубоко зароним в молчанье, чтоб никому не глядеть на ублюдка.

На сем глубоко опечаленном месте случившегося у нас вырваться из-под пера триллера должна бы пролегать замысловатая, колобродно устроенная дорожка дальнейшей судьбы родителя типа непродвинутого, бля, предка, но мы от растерянности и всякой внезапности, непосредственно граничащей с самой развязною уголовщиной, эту дорожку выронили в страхе из виду, и поэтому здесь ничего даже близко не пролегает ..... ну, как вы успели воочию убедиться, кроме заунывного, все мертвящего ряда вполне бессмысленно здесь протекших непутеводных точек, гори они синим пламенем...

«Так мне и надо. За дело. За все хорошенькие мои делишки», – сквозь похмельные взвеси и веси и воздуся горячим, наверное обжегшим и его самого шепотом возгласил вдруг средь отвратительно беззвучной улицы заполночный и, судя по некоторым беспрекословно указующим на то признакам, заполошный прохожий, немедля шарахнувшийся от чужой яви собственного голоса, показавшегося ему чересчур живым и посторонним, вроде явственно растворенного в воздухе бандита или сразу целых двух, для кучности воображения.

Не красящим и не возвышающим его дерганым рывком шарахнувшийся мужчина, от мужчины которого осталось полое лишь название, – этот даже собственным названием не признаваемый и упорно стираемый человек, донельзя, однако, облепленный главными, а равно и второстепенными вещами и мусорной их необходимостью, тотчас же вслед вылетевшим и в неведенье унесшимся что было духу словам от носильных вещей напрочь отрекся, отставив их лабуду в никчемную сторонку на приличное для порядочных отречений расстояние, а потом и, будучи бестрепетным сгустком холодного отвращения, беспощадно покинув смутно полегшие на лице земли личные груды, мгновенно объятые забвением, точно безвидным пламенем. (И повадками был похож на злостного поджигателя собственного прошлого, ночной производитель самоуничтоженья!) Вещички только тихенько взойкнули от совершенного над ними нечеловеческого предательства – и с вытянутыми личинами скончались в себе скоропостижно, по-видимому, их хватил

вещной летальный удар, обычный спутник потрясений, так как именно так и бывает, когда ничего обычно не происходит.

Вскоре, теснимый невыносимым избытком, прохожий начал на одних голых нервах поваплива́ть, дескать: «Ну не люблю я подрастающее поколение! Что ты со мной будешь делать, ну не обожаю, хоть ты меня режь, хоть прилюдно казни! Вечно придут и вместо простой благодарности сожрут за здорово живешь прежне цветущее поколение, еще жилистое, трудогольное... А нам пропадай. За милую душу. И-и-эх, а нам пропадай... Припев. И-и-эх, припев... За милую душу...» Тут-то он и сорвался, тут-то и соврался в безумие. Был умом совращаем то в неведомое, то в невероятное, а потом застрял в промежуточном между ними, поскольку там себе чувствовал приемлемую уместность и обретался комфортно, как русский в репетирующей ад бане.

Адресат данных мятежных криков так и остался никому, кроме читателей, неизвестен (вот почему иногда быть полезно читателем), он оказался покрыт мраком прежде всего изначального, даже раньше, чем стали густо плодиться, изничтожаясь, эти слова, особенно пылкие средь очевидных продроглостей ночи, которая плохо на все реагировала, будучи вечной старушкой, вырвавшейся из нудности поколений, далекой их мелочным чудам и распрям.

Затем, поднабравшись какого-то нездешнего пристрастья и сделавшись от дурноты украденных им далей не очень-то близким всему человеческому, вопль стал совсем негражданси перекрывать все разумные пределы и мыслимые концы, отважно и провокативно якшаясь с безуминкой и иными феноменальями лихой, не знающей за собой проблесков ясности отсебятины. Дальше вопль развивался в чисто животном жанре, предоставляя для путного смысла исчезающе малое место, поэтому всполошенный абзац закругляем в пожарном порядке: горим, братцы, горим, пылаем мы синим пламенем! Вы вот пожарные дружины не спешили присутствием своим утучнять, а я долгонько в них обитал, все огнеупорно мелькал, пылом маялся; с опытом огней абзацы обугливать легче мне не в пример, чем непожарно устроенным гражданам. (Приносите свои располыхавшиеся неудержимо создания – специалист я возрос неплохой по тушению сложной категории рукописей, грозящих перекинуться на соседние помещения, кроткие улочки и на отдаленные, ни в чем не повинные, в поджогах не замеченные города.)

Собственно, «А нам пропадай...» и были крайние его освещенные более-менее сносным разумом слова, опасливой украдкой и суетливо попрощавшиеся с устранившимся от хлопотливости всякого мыслительного процесса умом и заодно с неповрежденным былым человеком; затем, с разлету споткнувшись на какой-то до неприличия взвихренной и много про себя мнящей мысли, которая вдруг хитро и усиленно бодро начала подмигивать самой себе, к тому же с развратцем ехидным приплясывая, бывший наш человек понес сплошь невразумительное и совсем не по тому делу, по какому нести требовалось, да с большой и все нараставшей, все ясневшей охотою, с затяжными и массивными певческим духом припевами:

– Заедают! Заедают! Заедают! Фигли-мигли вы мои, цветики лесные... Дорогой дальнею, дорогой длинною!

А потом, прекратив певчески дальней дорогой следовать, без абсолютно напрасного для таких случаев перехода, без всяких вычурных излишеств не нужной ни для чего подготовки, совсем уже в другом регистре – в идеально катастрофичном регистре «караул! убивают!» – напрямую криком попер, продираясь сквозь умственные кусты с треском досель небывалым и смелым:

– Растаскивают на куски! Растаскивают на куски! Растаскивают на куски! – И, будто далью взамен себя подумав, проблеял: – На ча-асти...

Дальше – больше:

– Опустел бедный мой сад, осень в листах сквозит утомленных... Весь в белых перьях сад! Весь в белых перьях сад! Возьми перо любое наугад! (Регистр резко веселеет и наливается, точно брызжущим жизненно соком, мелодиями и ритмами зарубежной эстрады.) Оп! Хей гоп! О-оп! Хе-эй хоп!

И т. п. бред.

(Можно бы сказать: бред чистой воды. Но бреда у чистой воды отродясь не бывает. Бред лишь в грязных помыслах о чистой воде. Поэтому слова о поврежденной умом воде стремительно заби-

раем обратно, дабы не возникло средь смыслов паники. Вода всегда точно вровень со своей поверхностью стоит в собственном разуме, отклонений с ней не бывает! Вот у кого учиться бы не съезжать с катушек, не снисходить к уму!)

И т. д. дикорастущая умалишенность, ведущая прямой репортаж из мест горящих событий, из мест, многими никогда не посещенных. Вы видите, как на незримом огне гибнут события? Обратите внимание в следующий раз – он-то, подернутый пеплом, уж обязательно будет, невзирая на пожранные тем огнем, пламенем кратким представшие нам события. Не правда ли, как свежа, как хороша пред нами раскинувшаяся бессобытийность! Любо-дорого посмотреть на нее, способна конкурировать с нынешней девушкой, пышущей грацией, голым пупком и нежным матом с туманами.

Превышая гениальные возможности, бывший наш человек надолго – точно мастерски изощренно раздувал всякую секунду до величин истязающих, не вмещаемых ни в один самый бескрайний ум (чудовища секунд меж тем, нежась в блаженстве затяжения, зевали широко, с нескрываемым смаком дурака валяли) – припал к этому возмутительно сильно мерзящему окрестности крику и, не переводя настырного духу, не отпадал от крика ни на слабину, не отлынивал и не увиливал ни на единый личный атом от мгновенным чудом образовавшегося звучного своего призвания, будучи, ясное дело, самой что ни на есть сердцевиной истошности. Словом, предстал сплошным, беспримесным ором на несколько добрых старых минут, которые, разумеется, также повредил своим кромешным душераздираньем, так что они, хоть панически и прикрывались остатком былого названия, в натуральности перестали быть добрыми старыми минутами, превратившись непромедлительно в какое-то измызганное отребье времени, в коем никакого лика благородного Хроноса не узнать. Ни чуточки похожего на лики там не помелькивало, одни только жутко перепуганные глазки немножко, кажется, смахивали на то, чем батюшка Хронос прежде выглядывал наружу, но это, возможно, грубая ошибка беглого восприятия, ибо все тотчас до безобразия сделалось возможно и бегло, даже без сомнений и то ..... бессильные иметь продолжение, поприсутствуем с нужными лицами при скорбной кончине фразы, которая безвременно и после продолжительной болезни...

Наступила великая мгла ума, раскинувшегося разом во все не нужные ни для чего стороны, которые перестали быть сторонами, смытые тотальным валом потерявшего смекалку пространства.

Лишь неприглядное, муторное – бр-р вообще-то! – разоренье шепелявящей ночи было вокруг, не считая, конечно, пылкого разоренья человека, – того просто разносило на звуковые куски, становящиеся все более бесчеловечными и не достойными, чтобы их назвать хоть сколь-нибудь нормально выглядящим словом, всякое слово тут моментально теряет набранный от жизни жирок приличия и глядится голым ругательством, готовым неотложно сделать тебя собою для свободного существованья порока.

Всем близлежащим улицам сделалось дурственно от непомерно живой, с резвой охотою заскакавшей на корявых ножках тут и там безумины, каковой человек начал злоупотреблять не без экстаза и с чувством большого пристрастия, очевидно бы нарушая общественный порядок, случись общественному порядку на то время здесь посуществовывать хотя бы в какой-нибудь случайно завалившейся под приблудную скамейку ипостаси или в нечаянно призрачном виде.

Приличной мыслью трудно догадаться о том, что могло бы вскорости произойти с вкусившими несчастья улицами, предпринявшими уже нервично выламываться из чинного устройства ночи, и ближайшими окраинами этого талантливо стращающего мраком мира, но тут, дабы донельзя не испропащать дальнейшего, не дразнить понапрасну готовых на разное бесов будущего, мягонько этак подкатила к источнику истошности, становящемуся, увы, все большим источником, специальная такая не завуалированная ни под что другое машинища, как нельзя более кстати случившаяся быть поблизости, и внешне этак кротко, до крайности пристойно углотнула, не таясь, нашего... глубоко в былом теперь нашего... человека в недра свои жутко спокойные, странноприимные и увезла себе человека куда надо и на сколько надо, а то мудозвонно таранит воздух,

заколебал в доску безвинный спальный район и улицы раком поставил, когда и так шумовая обстановка в городе изобилия огней золотых шла показателем резко вниз и давала испуганную навсегда картину.

Из законов единственное вызывает вполне законную обеспокоенность: вот как бы не ошиблась милиция (а это была неотклонимо она, пусть не покажется кому-нибудь странным иль вздорным) истинно ждущим адресом, ведь этому столь опрометчиво покинувшему наши писачьи руки человеку нужно было всеми фибрами души как раз не туда, куда с прямолинейной очаровательностью норовила добраться сия доблесть в мундирах, а в другое, похожее на что-то заветное место, по множеству неуловимых признаков более совершенное, чем все остальные места подлунного мира, сколь бы они ни сманивали добреньким внешним цветеньем да чаромутием, проворным на гадость. Люди в погонах и с кулаками, отдававшими добром, были ему что-то резко не по пути и не по чему-то еще (желания сигнализировали желтым огнем о неполадке в сфере влечений, дерзили невнятным протестом, однако, если вдруг прямо бы спрашивалось: а чего ж вы, голубы, хотели-то?! – не говорили о том, о чем бы им следовало сказать открытым текстом, проясняя ехидные мраки; все молчком да тишком вершили темные дела устремлений), но былой наш человек, будучи несколько помимо себя, смутно приветствовал дельный мотив продвиженья вперед, так как по своей поколенческой природе был всегда пронзительно солидарным человеком и запевалой на демонстрациях.

Порядком зачарованный собственным бессмыслием, поздний час цепенело всюду постаивал обалдуй обалдуем у обочины быстро истрачиваемого пути; жаль было гибнущую стремительно под колесами ночную дорожку, не повинную в метаньях людских. По всему как-то сугубо однозначно и не очень блестяще чувствовалось: скоро уже – быстрей истеченья любого желания – должно остаться совсем ничего, оцепенелые километры истощатся вчистую, и расстояний не будет. О! хорошо еще, что так приветствовали вдоль дорог президентов, и государственно весомых гостей, и не убавившихся до размеров Земли космонавтов, а то бы нашему былому человеку не выдержать этого пристального взгляда обочин, о чем-то смеющихся лишь про себя, в угоду собственным так и сяк ими вертящим тайнам, – той завидной, соблазнительной прелести эмоций доставалось маловато, а хотелось, а не терпелось прямо ветра веселья в лицо и мощного, дивного пира посреди чувств роскошных... И т. д. вплоть до катарсиса, который минуть нас не осилит, как ни старался бы кое-кого и кое-где обогнуть. Все равно на нас он нарвется, катарсис, где б ни блуждал, ни кружил: человечества много, промахнуться мимо него проблематично.

Но без малого матерно зыкнуло: «Сидеть, охламон!» – и в ухо довольно студено повеяло дуновением кулака, который скоротечно подправил его прущие наобум мысли в умеренно правильное направление, во всяком случае, точно уж в обратную сторону от обочинной мании величия. Под убежденческим влияньем изобильно дуновенного кулака он легко согласился стать очень величественно им прочувствованным никем. Невзирая на изначальный сквозняк, вокруг уха и в нем самом так пылко набрякло, словно оттуда нестерпимо просилось наружу какое-то неизведанное объятие, оно вот-вот прорвется, изъявится в благородном порыве средь арестованного воздуха, и будет в толпе возвратившихся поцелуев что-то уникально хорошее и очень-очень общее, как бывало давно. Вполне возможно, – не исключался и такой вариант усиленного несения службы, – уморившиеся терпеть законы милиционеры вдруг встанут изящно, возьмутся за стертые о преступления руки и образуют нежным веленьем грянувших зычно сердец греческий хор. Он-то и пропоет что надо, кому надо и сколько надо. Он все заранее объяснит всем, кому что-то не ясно и до кого не сразу доходит. На то он нам и дается, греческий хор, даже пришедший в мир через милиционеров.

А наш человек с тех пор привольно, во всю сласть обширной души стал бомжевать, и это ему замечательно удавалось. Он начал видеть в бомжестве теряемое раньше на каждом шагу призвание, и этого хватало на жизнь и на отдельные от нее радости. Со временем он гедонистом-сангвиником стал – сказались альтруистические уроки поющей отныне и во веки веков греческим басом милиции, лишь с очень маленьким русским вкраплением. Которое тоже выходило порой голосис-

то и пред басом себя не позорило, лица не теряло. Не могло все никак потерять. Наверное, разучилось, переняв незаметно повадку утрат, окончательно полезному у них научившись. На то оно и всемирно отзывчивое.

Пыцца

(кривые гримасы планиды)

Ввалились в столовую, за ненадобностью выставив глядящее многим лишним и напрасным окно. А чего бы не выставить, само оно виновато, открыто манило, подзывая совращающими в проникновение ловкими знаками ночи.

Они до основания рта поднабились тепленькой еще от вечерних рук поваров пиццой, меж делом проглатывания непринужденно беседуя о добротно пройденной жизни, о постороннем (бабы) да и дедо́ы лютовали, на это тоже язык сворачивал, не мог не свернуть, если повернуться ему пицца давала.

– Пыцца страшно вкусная попалась, зараза! – завидовал потом себе всю жизнь Боярчук. Он так и припечатывал с украинским трубным моментом: пыцца! пыво! – более чем конкретная, весомая определенность преподнесенной на блюде иль в кружке натуры, а не вымогательски тонюсенькое, канючащее сиротой пи-и-иво. Москальская противно выпрашивающая писклявость, заискивающая перед продуктом, который сам должен заискивать, чтоб угодить в снисходительный рот, – нет, это низкопоклонство не по нему, это псюканье получается, это будет не пыцца, не пыво, а даже страшно сказать, какая гадость то будет, такое есть-пить – за подлость себе. Воротит с души и кишки сразу возмущаются отказом: пускай москальские животы эту дрянь охаживают! С пищей, то есть пыщей, нужно обращаться твердо и определенно, не виляя, не дрожа в коленках, ей надо моментально показать голосом свою власть. Пыща, как и женщына, обожают дельную грубость и чтоб их жадно хватали. Вот тогда с ними можно что-то доброе сделать, а так одна толкотня да замарательство рта.

Тотально покушав, обратно удавами наглотавшимися нырнули в смирный город через дышащую свежим воздухом привольную оконную панораму, состоящую из невозможно косвенных прелестей заднего двора и нахмуренных до злобы и признаков дегенеративного мщенья потемок, страшно недовольных, видимо, тем, что сами пожрали, а потемкам шиш показали глумливый, и привет, и гляди себе, ночка, до одурения наслаждения на этот от какой-то чумы облезающий двор, что казался себе самому уже при смерти; чумазый и брошенный со дня своего рождения, двор не имел и, главное, подлец, не хотел иметь никакого понятия о личной гигиене, а потому очень часто допускал, не протестуя, справляющих по-всякому нужду (половую тоже с искусством справляли), лишь с ласковой укоризной взирал, как будто и сам был большой любитель участвовать в проходящей нужде и одобрял это важнецкое жизнеутверждающее дело. Благодаря подобному к себе наплевательскому отношению, не случайно двор был посрамлен до сотрясенья предела, ибо как сам ты к себе относишься, так и к тебе отнесутся другие: одна закономерность на этой территории все-таки действовала, другие законы были слабы и властвовали впустую. Но оставим двор в покое, нет нам в нем неотложной нужды; зря мы к нему жадно строкой присосались, словно к спасенью последнему, таких дворов везде навалом, и они скорее уж угробят, чем мелькнут хотя бы фиктивной какой-нибудь иль образцово-показательной помощью, которая на поверку оказывается угроблением в мелких масштабах.

Любящие пастись средь тихих пицц, нагретых вечерними руками поваров, роскошно попаслись. Но неувязочка все-таки вышла, не утерпела. За плотным кушаньем запамятовали пилотки, – пока себя набьешь до основания рта, много времени уходит, не все ж держать в голове снятые и аккуратно, с любовью положенные рядом пилотки, любившие поджидать. Да и к тому же избыточно калорийная еда не располагала к долгосрочному хранению в головах однообразно упертой

информации – она не удерживалась и начинала перевариваться вместе с пищей, не в силах отстать от задорно направившегося куда-то процесса пищеварения. Эта еда их смутила и злокозненно расстроила барыней разнеженную и разомлевшую на харчах память, которая беспечно вихлялась меж разговором и пустыми, но непокорною вонью снабженными столами едового помещения, проникновенными руками как будто бы самого вечера (а на самом деле, не будем мы забывать, вечерних, разгоряченных выручкой поваров) приготовленного назавтра зазывно встречать здоровые, бодрые аппетиты, но вынужденного вот прежде всего таить преступление и явить утром его ограбляющие следы, которых при гробокопательских способностях следствия наберется немало: дружаны не абы как оттянулись, наслаждаясь обладанием беззащитного общепита, успели снять все разгульные сливки, какие способен был настоять этот тщедушный, но амбициозный горшок столовки, очень плохо и бурыми пятнами перекрасившейся из социализма.

Шалава, а не память обоим досталась в подарок их нетрудным с детства мозгам. Ну а чего она меж столами вихлялась, вместо того чтобы заискивающе ловить каждое их движенье и глядеть в оба, докладывать по обстановке?! Выбросить не жалко такую память, тем более что ее почти нет, одно толстозадое красованье да пышнобедрые гарцеванья, облаченные в мадамов кружавчатые панталоны, как у их пола для подлости соблазнения заведено.

Выбрасывать, можно сказать, нечего, один головной пшик, на пуканье, не говоря о псюканье, и то больше всяких видений уходит.

Они забыли на столе отдыхающие без голов пилотки (кушали ведь по христианскому обычаю простоволосыми), что было по отношению к самим себе неприкрытым преступлением, которое никак отчего-то не захотело согласовываться с их коренным, ведущим преступлением, совершаемым по-честному прямо и непринужденно в ночи (под незримым, но теплым покровительством вечерних рук поваров, которые их как будто вели и гостеприимно всюду усаживали, где б ни заблагорассудилось рассидеться задам. Но и они не туда привели, ложными оказались). И это совершаемое ими против себя преступление, самонадеянно отделившись от основного преступления, каким они единственно только и мечтали заняться, оставило сложные для чувств следствия улики, капитально авторам воровства подгадив, а впоследствии и посадив. Дружанам бы чуток пораньше смекнуть, что дело тут крайне нечисто, что в столовке против них втайне разрастается, все более изощряясь в тенетах, огромное ловящее их преступление, – и поскорей укротить его шапошным разбором, ан они всей раскаленной и, получается, напрасно пышущей страстью были увлечены другим, более сладким правонарушением, которое поглотило их всецело, пока поглощали они, в свою очередь, доверчиво пиццы, снедаемые коварством. Шум совокупного жора в столовке стоял такой, что тараканам мерещилось переселенье народов, и они начали переживать минуты рано их посетившего земного владычества и сопутствующего ему торжества блаженства.

Их понимание на то время прекратило всякое существование, деликатно уступив место стремительному, даже пострекочивающему пищеварению, что, с одной стороны, было, конечно, справедливым, – не сидеть же идиотски раздумчиво без питания во рту, ссылаясь на нехватку аппетита или нелепо смотрящуюся в потемках стеснительность, – а с другой, обернулось вспыльчивыми последствиями – они выглядели заметно не так, а много по-другому, если зрелищно не совсем иначе, чем могли показаться в ночной столовой, неназойливо мельтеша на периферии купающегося в удовольствиях глаза; в столовой, завуалированной ложно теплыми и подло вечерними руками поваров под беспощадно жнущую человеков высокорентабельную ловушку. Пиццами здесь кормили явно для отвода глаз и для отмывания каких-то темных других событий.

Где покушали, там и забыли. А чего тут удивительного, сногшибательно невероятного? И такое бывает, как правильно отмечалось раньше в населенчески плотно обожаемой газете «Сельская жизнь». Дело среднежитейское. Со всяким может случиться такой кляксовидный мазочек судьбы, даже и с человеком с мозгами. Тем более на тугой, благодушно расслабленный, умиленный буквально всем несовершенством мира пиццевый желудок. На подобный мощно дурманящий сознание пищевой орган, дающий огромные искажения всех чувств сразу и тотальную лжи-

вость общего вывода, терялась не одна светлая голова, крепкая в основном костяке мыслей, а что уж говорить о головах недоразвитых и разжиженных, которые, не успев с блистательным жевом и глотом еще отобедать, даже не выйдя из-за стола или где они там себе пылко рассиживались, обитая нечленораздельно, исчезать начинают прямо у вас на глазах, так что ни в одной голове не узнать прежнюю личность или что в ней помелькивало раньше, имея наглую честь в видениях ошиваться.

На внутренней стороне любовно положенных отдельно от голов пилоток беспрецедентно предательски было вляпано неприятно кокетничающим белым шовчиком, кому им следовало принадлежать в безотлучном порядке. От такого вычурного кокетства солдатской вязи, от которой обычно ждешь чего-то другого, впоследствии стало не по себе даже многим прочно скроенным, непрошибаемым и непотопляемым следователям выверенных дознаний, ибо они привыкли к суровости и точности голого до порнографии факта и терпеть не могли расписные стороны события, как далеко, а главное непонятно куда, уводящее от жизни искусство, к тому же не оставляющее никаких указующих строго следов, по каким до него бы добраться, вменяя статью за незаконное ношенье неизвестно чего и кому в особо крупных размерах.

На запаренной прежней, доедовой головой Боярчука пилотке поевшего божества пицц рядового солдата так и было без лишней заморочки прошито крупной любовной ниткой суровой: Боярчук, дескать, роты обеспеченья улетов. Мускулистый такой автограф, мясистый добротной военной тканью. Не автограф, а мышцей бугристой волнуемый при движеньи качок. От букв не отвертишься, а тем более от любовно вышитых, от пышущих бисерным почерком букв. Они прямо-таки дышат первородной любовью и, взамен исторгаемого ими пронзительного чувства, просят в свою очередь не отрекаться от них. От них и не отреклись. Скорее еще больше к ним привязались.

А на дружно и не без тепла соседствующей с боярчуковой отдельно от головы пилотке сподвижника по желудочной приватизации пицц без обиняков и выкрутас так прямо и было начертано все той же ядовитейшей вязью любвеобильной: се – Кудряшкин, причем сразу – Слава, хотя если тут и существовала слава, то очень дурная, скорее уж славный позор. И не преминуло: роты обеспеченья улетов. Дескать, и про тебя мы, Кудряшкин, все знаем, со всеми потрохами ты у нас, милок, будешь! Таково-то вот связываться с белошвейной вязью, опасная штука, оказывается, ужасно предательская... Только, конечно, без «се», это для армии уже роскошь и широкая блажь. Устав строго за такими вещами поглядывает и таким вещам претит довольно чувствительно, привлекая на свою сторону всю строгость голов со звездочками, особенно просачивающихся в любую щель прапорщиков, в три раза обычно превышающих по толщине всякое звание и в два раза любую земную стезю.

Это пилотки подгадили, они, сволочуги, навели на них, больше некому, все остальное было на стороне благополучного изъедания пицц и дальнейшей непоимки владельцев живота своего. Так Боярчук впервые столкнулся с хищной природой и предательством личных вещей, от которых можно всего ожидать: чуть что не так, вещичка и переметнется без совести в прямую улику и ну давай преподлейше на тебя наговаривать, бесперебойно против тебя врать, неродная до боли. Только и жди от нее доносительства и хорошего в душу плевка.

Ничего не попишешь, избытка следов преступления просто некуда было девать, пришлось служивых найти и второй раз отобрать их в пользу государства, как ни лень было милиции, потягивающейся от сытно жрущих тело обеденных харчей, нарушать свое душевное равновесие, до аптекарской точности выработанное годами размеренной и непорочной службы, в которой лишь изредка встречались вздроги тяжких преступлений, да и то их старались побыстрей затереть в лишенный действий, связанный по рукам-ногам архив, чтобы равновесие по-прежнему было душевным.

Чтоб никого не обижать в отдельности, дали дружанам дисбата поровну, по три годика, каковые только годиками назывались, а отраженные на личной шкуре – целые клыкастые вызверились годищи: дни там сплошь без пицц и вольных походов в окно. Государство щедрое, оно до-

вольно широко на распространенный всюду пинок, а в любви признается чуть пореже, когда все уже остывает и греет одним названием. По три года вкатили каждому в качестве профилактики от непозволительного аппетита и неосторожных впаданий в окно да и вообще туда, где их не очень встречно ждут и не будут им нестерпимо рады. Государство ведь не жмот какой-нибудь, любит поизобиловать. Примат закона над расплывчатой, двоякотолкуемой субъективностью должен соблюдаться неукоснительно, на то и прокуроры на белый свет беспрерывно рождаются и туда же неотлучно смотрят, отслеживая в течении белого света стройное круговращенье законов; некоторые залюбовывались до потери себя, до буйных обмороков на личной почве, до утраты житейского смысла пульса, в упавший строй, мгновенно прорастая из-под земли, вставали с надеждой веселой другие: круговорот прокуроров в природе и вечная их весна.

Отбыли они дисбат доблестно, правда, к завершению срока дни все тягостнее влачились сплошь без пицц и окнами взирающих озорно пиццерий. С этой стороны дни наполнены были почти баландой, да и то с натяжкой скажем, будто бы – наполнены; ополовинивали сосавшие паек с тыловой стороны в три раза толще званий земных прапора, а также отдельные, выше всяких мер и похвал прапорыла. Усилившиеся к концу срока пожары утраченных иллюзий дружаны беспорядочно, по сути наугад заливали этой без малого баландой и отбыли наказание без видимых миру огрехов, их чуть-чуть не наградили за успешное поведение, пронесенное сквозь весь срок незапятнанным, но вовремя опомнились: изнутри наказания человек не должен выглядеть с геройским оттенком, не то многие падкие на славу головы охотно потянутся в исправительные учреждения, по пути туда охотясь на что-нибудь другое, увлекшись заместо подлинных творений жизни неистовством уголовного романтизма, в эпоху которого нам приходится благополучно жить, ни на что не жалуясь, с одной стороны, а с другой, – вынужденно процветая.

Когда Боярчук возвратился из армии и прочих воинств, времени, как это часто бывает, прошло больше, чем он ожидал: в стране с треском упала эпоха, население и время подчеркнуто скурвились и продолжали с видимым наслаждением извращаться дальше, гордо плошая. К тому же его угораздило дослуживать после дисбата невостребованный с него, прекрасно уцелевший и сохранившийся от прежней службы годок. Таким образом, он вернулся через эпоху плюс этот невменяемый год, который преодолел практически напролом, не чая дорваться до полнокровной, порхающей всюду свободы, и получалось, что воротился он черт-те знает во что и когда. Поначалу Боярчук чуял себя находящимся скорее всего на Луне или в местах, на нее похожих, не менее сногсшибательных, чем обычаи и ландшафты той самой планетки. Вскоре то чувство благополучно его миновало, интенсивные не лунные толчки отовсюду помогли ему втянуться во все более похожие на земное дни, и он постепенно очутился на Земле, спустившись с небес, стал вменяемо чувствовать себя непреходящим гражданином своей страны, ответно старавшейся в силу возможностей вести себя также вменяемо, но не всегда получалось: случаев бывает много и они разные, зачастую на самих себя непохожие.

Но сперва, для плавного избавления от продолжавшего преследовать его лунного наваждения, он пристроился на ипподром адекватным по мере случая фельдшером-программистом, большей частью по линии случки, хотя и другие животные надобы не забывали тяготить неотложно (они порой просто блистали памятью): призвание ведь иногда обязывало, ну и потеплее, душевно нежнее, надежнее было приткнуться к привычной, с набитой в ней колеей должности. За плечами Боярчука маячил, пусть и смутно, и сплошняком почти троешными ухмылками, а то и набычившимися на плохо познаваемую жизнь молодцеватыми колами, ветеринарный техникум, копытно-балетный сей взбалмошный университет, – его любовь с первого взгляда, впрочем, оказавшаяся не пристальной любовью, любовью рассеявшейся. Учебные колы в журнале успеваемости заранее перенимали скотскую манеру самовыраженья, ибо знали, в каком заведении находятся и с какой областью знания им пришлось связать судьбу, – несмотря на изначальную их тупость, в колах все же иногда вздрагивало живое, смышленое чувство проницания, что иной раз мерцнет и в самом невзрачном дебиле. Так с Боярчуком произошла животная профессия, в путь по жизни он получил скромную нескользкую стезю, если регулярно чистить стойла и усыпать

мясо-молочные дорожки каким-нибудь съедающим грязь материалом. И такая профессия на дороге не валяется, как другие слабосильные профессии взяли за обыкновение поваливаться где придется, без пощады ноя и ударяясь в панику, что мешало миру быть окутанным в цветной туман.

Кони стремительно уважали его, он стремительно уважал коней. Все правильно, так и должно быть, если хочешь занимать в учреждении коммерческого скока человеческое, а не животно-прикладное место. Все в мире должно быть правильно, даже и на ипподроме и в его своеобычно заскорузлых конюшнях, иначе мир споткнется, и полетит вверх тормашками, и грянется своим многоликим лицом о дорогу, по которой он куда-то бредет, как привидение, получившее неверную профориентацию. Данное привидение набьет себе лихих синячищ, коими вынуждено будет светить вместо порядочного прямого света, сникнувшего от страха происшествий и вне себя где-то дрожащего в мерцательной аритмии.

Все на первых порах шло даже мучительно превосходно, Боярчук новаторствовал и порхал, порхал и новаторствовал, чуя незаменимость должности, и лишь это чувство крепко привязывало его к шаткой реальности, иначе бы он мог запросто отлететь от нее и очутиться неизвестно где и когда, а в тотализаторе, как способе нетривиального улета, он избегал участвовать, боясь ненароком разворошить по неотделимой от него бедовой горячности тамошнюю мафию, которая из-за неровности духа не переносила поражений и только сплошь любила лучших коней, что на крыльях галопа, точно ангелы прибытка, весомо обогащали отдельный и строго хранящийся в тайне карман, уютно примыкавший к карманам иным и поворовывавший заодно из них, чтобы им не слишком пухло жилось.

В закрытые дни мафия, сердечно тоскуя по прошлому и по некоторым особо несгибаемым его архетипам, устраивала парадный выезд с тачанками и пулеметами заветного образца, незаметно для себя увлекаясь картиной грандиозного сражения и не удерживаясь все-таки впасть в прорежающий ее ряды бой, как наиболее приемлемую для нее форму жизни, – бредила горячей романтикой былых свершений, так как в действующей жизни, которая действовала все как-то мимо да вяло, было мало чем хорошенько побредить, особенно если хочется бредятинки утонченной, а лучше всего – искрометной. Не успеет мафия чем-нибудь насладиться, как это сгоряча излюбленное занятие, не перевалив даже за середину наслаждения, успеет вдрызг приесться, отталкивает тошнотинкой, подавай ей неизведанные ощущения, а их в стране не бездонный колодец, они тоже имеют конечный запас (возникли поднявшиеся на неизведанных ощущениях олигархи, прибравшие к извилистым волосатым рукам тончайшие эти ресурсы). Вот и приходится мафии впадать в архаичные формы удовольствий, чтобы расширять спектр своего капризного меланхоличного счастья, объевшимся глазом скучливо глядящего по сторонам, где бы ему урвать лишнюю зевласто хохочущую эмоцию. Но гражданскую войну на тачанках и с заветно стрекочущими пулеметами мафия до невозможности сердец уважала, – эта пылкая древность очень здорово и по делу бродила в ее адреналиновой крови, для полировочки резкой сей жидкости это было самое то, – и не представляла без тщательно скопированных с прошлого ристалищ дальнейшего счастья, взявшего дурную манеру увядать и беспрерывно кончаться, сколько денег ни суй ему в пасть. А это никуда не годится, для удовольствия мафии ничто не должно исчезать, не смеет исчезнуть, будь ты хоть самое натуральное исчезновение, пользующееся депутатской неприкосновенностью.

Под давлением тех же неукрощенных архетипов, неминуемо наводящих ужас из темного прошлого, Боярчука, предварительно как следует погноив, уволили с ипподромных конюшен из-за неверной случки кобылы: ее больше чем всласть покрыл, исподтишка дорвавшись, не тот жеребец, какому бы надлежало в первую голову озаботиться этим и дорваться, чуткой заботой селекционируя потомство, а плюгавый замарашка, который, втайне вынашивая мародерское преступление, возил скромные бочки на хоздворе и был там до последнего случая вроде почетного сторожа в стариках. Но за стариком, оказывается, стоял злобный и расчетливый лошадиный маньяк, в нужное время и в нужном месте резко отбросивший пожилую личину и молодецки прыгнувший в пучину удовольствий (бедная лошадка не ожидала ничего подло полового и была за

беспечность в мгновение деморализована). За ним полового уж и не должно бы водиться, кто б мог подумать, ан вон как оно экстремнулось: что-то и в нем старостью не напрасно придуривалось, что-то и в нем резко размножительное всшевельнулось – и дернуло коня на половые преступления молодости. Тоже угораздило в архетип вдариться, как порядочному, не терпелось шкуре барабанной торчать в водовозах и сытехоньких сторожах! А все преспокойно сбросили его со счетов, чересчур рановато уверовав, что он давно и надежно был мерин и мерином, так сказать, был безвозвратно умерен. А оно – вот оно что, нате вам! Выждал хищный момент, дающий возможность наибольшего безобразия, и сверх всякой меры доказал двоедушно, кто он такой, оттянулся по полной программе, хоть и поплатился за самоидентификацию собственной ржавой шкурой, то есть в конечном счете антиидентификацией (вынуждены были, для чистоты семенного материала, изолировать его от жизни). Но вписал в свою блеклую жизнь, вписал-таки, невольник ошибочно понятой чести, последнюю яркую страницу, и его долго помнили как героя, сотворившего подвиг через не могу и через не хочу. Но все ж каков был гад, а? Натворил себе лишней памяти!

А кому платить за такие подвиги? Отдуваться за сивых меринов, конечно, Боярчуку, больше некому. Такие подвиги лежали в зоне его ответственности, он должен был пресекать вылазки сексуально неправильного характера. Грозила нешуточная опасность ярко вырожденного потомства, так как выше себя прыгнувший мерин был низких кровей. Именно за потомство Боярчук и пострадал, и полетел со всеми вытекающими отсюда последствиями, хоть у кобылки той и случился потом ехидный выкидыш: дескать, ни вашим и ни нашим, а будет-таки как-нибудь все равно по-моему! Достойна была та кобылка по исподтишка ползущим намерениям своего случайно образовавшегося супруга-покрывателя, покойного мерина распущенных взглядов, которые ловко он прикрывал хозяйственно насыщенной работой, очень даже достойна! В обоих бездны темные крылись, теряясь за тьмой коллективного бессознательного, которое уж делало вид, что пропадает в галактиках, а само еще дальше в головы жалось, чтоб неизвестней разить!

Выкидыш без колебаний вписали Боярчуку в трудовую книжку, правда, немного другими словами. Но приблизительно это было все-таки про выкидыш, все вокруг него крутилось, не обошли стороной и этого скользнувшего помимо Боярчука промаха в профессионально теперь насквозь горемычной судьбе. Вменили ему чуть ли не прямую вину за кощунственно извращенную наследственность, как будто это он сам собственной охоткой пытался размножаться с помощью лошади и сознательно исказил в ответственный момент свой приплод, извратил последствия до неузнаваемости, так что наследство вышло не просто сильно вымученным и чем-то удрученным, а ни на что вообще не похожим. Хотя и приплода-то, заметим повторно, не было никакого. Это уж так они, придирались, потешали свои мафиозные страсти, почесывая отросшие в удовольствиях животы, возжаждав дознавательных, творчески примененных к нему пыток: кулаки о что-то стачивать надо, иначе люди в них израстут.

Затем в пределах допустимого просто обыкновенно побили, держа страстью господней трепещущую трудовую книжку в собственных мучительно неправовых руках, – чтоб много-то о себе не думал, пока его не без предупредительной вежливости прикладывали да охаживали за хорошие о себе мысли. Потом якобы с Богом начали отпускать, а на деле и еще добавили замысловатого, до отвращения вычурного в своей красивости пинка в мягкий задний таз. И он грустно (как бы высоко-высоко пролетая над собственной скорбью и осматривая необъятные ее пространства... тощищу такую не перелететь), можно сказать, сверхгрустно, чувствуя в себе развинченную походку, в которой свирепел застрявший в тазу пинок, выдворился в полупустынный город, рассеянно взиравший повсюду, но на него взглянувший в упор, точно именно ему выборочно и не доверяя ни в чем, вроде бы приговаривая сквозь угрюмость и нелюдимость и, видимо, сквозь лютую небритость: ага-ага! знаем мы вас! глаз да глаз за такими нужен, а то залезут кое-куда и наглотаются, как простые удавы! Вечерние руки поваров витали вокруг уж реальнее явственности. Душа умоляла вступить с ними хотя б в деловой контакт, но он был физически крепче души и одной левой контакт удушал, зная за ним пропасть лишнего.

Боярчук был явно на подозрении у этого мизантропичного взъерошенного городишки. Такое недоверие крупно обижало чувствительного в шкурных случаях Боярчука, подрывало основы его существования и подталкивало к ответному недоброжелательству, а также к суровым и неприступным выходкам. Ему претило быть на плохом счету у этого антропогенного замарашки, с неприкрытой роскошью бардака раскинувшегося вокруг. Боярчук привык себя уважать, хоть это чувство сейчас и было отбито почти до печенок и уважало его лишь оттуда. А сам-то ты! – в сердцах огрызнулся в ответ стенавшему, легко ополчившемуся против него городу немножко самостийный все ж Боярчук, не желая стираться с лица земли под его в упор бьющим взглядом, становящимся все подозрительнее, прямо-таки бредить уже начинавшим боярчуковым отсутствием и даже вечной его небывалостью. – Сам-то на кого похож?! Сначала бы на себя посмотрел! – И сделал городу идеально изощренный половой жест, от которого вроде бы все повидавший город изумленно замер и отвернулся, чтоб неприличием не засорять зрение и не зачумляться, но потом пересилил себя и уставился на него с пристрастно удвоенной силой, взявшись неотлучно ипподромного деятеля сторожить: глаз да глаз за вертлявчиком нужен. Боярчук решил больше ничего изощренного пока не делать, чтобы не выводить психопатически неуравновешенный город из себя, а то от него всего ожидать можно. Боярчук еще успеет вывести этот город из себя, он сможет.

Резко, как застарелого врага, сбил он влет выглянувшую от обиды соплю насморка, наступившего после побоев, которые всегда давали искажения немотивированно лишних мокрот. Он шел, ужасаясь собственным существованием, потому что больше нечем было ужасаться: всем остальным он переужасался чуть не до дыр, а чего-то для острастки побаиваться все-таки надо бы. С назревшей соплевидностью он устроил разборку, поскольку не знал, с чем бы ему сразиться еще, давая организму разрядку в виде уничтожения какого-то расплывчатого врага, которого надо срочно повергнуть, иначе эта тяжесть врага будет в нем тяготеть изводящим грузом, сулящим не много хороших поступков и их побочных осколков. Носовой шматок с преувеличенной скорбностью (вел себя как баба) отлетел за пределы видимости, стараясь изо всех сил показать, что он навеки озлен на Боярчука, им лучше на узкой дорожке никогда не встречаться, не то выйдет такое, такое ужасное, чего этот своенравный шматок даже от себя не мог ожидать и собою ручаться. Так Боярчук и брел малость вороватой от побоев, вконец развинченной в основных шатунах походкой, изгаженной выкидышем книжкой труда обмахивая для вентиляции досужие чешущиеся изнутри синяки, исправно напущенные на его опавшее было от неверной случки лицо, желтоватое по случаю массового выброса несанкционированной желчи. Одутловатым оно было от других причин, о которых можно справиться выше, если еще не утрачен огонь легко перекидывающегося и на вещи познанья. Вот уж, гляди, и сгорели вещички дотла в какой-нибудь пламенной истине... О-хо-хо, о-хо-хо, ведь не этого мы хотели...

Но пожизненно напрасную книжку труда на протяжении многих шагов в карман не скрывал, давая встречным понять, что он тоже документально выверенный человек, а не расплывчатая масса населения, и нервично подергивал ею у самого синего носа, стараясь веерным движением остудить или развеять в себе ту непрезентабельную личность, которую он не хотел иметь в своем дальнейшем ношении для расширенного бытового пользования. Боярчук сейчас сильно себе разонравился. Любой бы, наверное, человек сошел под него, только не он сам, – так жаждалось ему от побитого и выгнанного того человечишки отказаться. Ан шел да шел никуда не выкидываемый и незапропащаемый он все да он сам, который скорей всего прилип к нему до обидного на всю жизнь, только и будешь всегда на себя натыкаться, лоб в лоб множа внутренние синяки, двояко душевные кровоподтеки.

Тоска забирала его и без малого за шкирку тащила куда-то не в те места, где бы ему не терпелось отметиться всей страстью хватких и глотких желаний, а тем более явно не туда, где бы задорно выпивши хотелось толком пошляться, и он про себя гулял настырно и непокоренно не там, где мрачно влачилось сквозь повальную серость улиц его тело с изрядно застуженной книжкой труда головой, а где резво порхала и, путаясь в диких дебрях эмоций, взрыдывала иногда истеричным

хохотом, будто птица ночная, не очень трудного ума греза, которая – только ее и видели! – могла стремглав впорхнуть даже в узкое, нечеловеческих размеров окошко, ежели сдуру ей или по натуральности своеобычного запаха чуялось хотя бы что-то отдаленно напоминающее добычку, святую в любом случае, а особенно если она плохо лежит.

Так уж она у него внедорожно устроена, греза, дивная бы и рассудительная в других головах, – чуть что подозрительно шелохнулось, она и порхнет как безумная, невзирая на личности и околичности. Только почует какой слабенький бредок или приблизительный соблазн, тут же, гляди, вокруг них неотлучно и вьется с явственно захватническим, алчущим видом, примериваясь к удобненькому бочку, где безопасней и добычливей цапнуть. Ни дать ни взять – шмель в мыслях о дани полевой, не чающий, как бы ополовинить цветок, хватануть беспроблемно нектарцу.

Из-за лошадиных неурядиц Боярчук впал в отчетливо завертевшую им лошадиную депрессию, а потом, уже выходя из нее, на излете черных торжественных чувств решил крепко завязать с ветеринарным, отнюдь не потешным искусством и вообще с животным неласковым миром, так как это не искусство, а только прикидывается, будучи прежде всего прямым издевательством над человеком. (Ну разве крокодил – это не издевательство над человеком? – глубоко подумал вдруг Боярчук, ощущая тяжелостопно идущий в несвойственной ему голове редкостный процесс, буквально огорошив и застав врасплох забывшую мысли башку.) Да еще отправляют тебя куда бы глаза твои не глядели, без всяких средств к существованию, выдавая за средства совсем не то, что ими бывает и что обожаешь иметь не с пришибленной радостью ускребшегося еле спасения, а с бурлящим стихийно восторгом, внушаемым бодрящими взорами шелестящих купюр, чуточку обдающих неземной нежностью и другими галактическими эмоциями. Деньги это умеют – взглянуть прямо из космоса и оттуда запредельно порадовать... А синяки и множественная лицевая припухлость не могут являться средствами к существованию, как бы того очень сильно кому ни хотелось. Уж в этом-то Боярчук крепко-накрепко убежден, проникнут убежденчески до самых костей и екавшей по-лошадиному селезенки (от коней екать так пристрастился). Тут дополнительных аргументов или вопросов на засыпку больше не требовалось, всыпали ему предостаточно, еле регулировал своей вышедшей из управления рожей, хотя в кое-какое употребление, например для схематичной видимости человека, она еще немного годилась и могла сойти за подобие потерянного кем-то и найденного Боярчуком на свалке для неизвестных целей лица.

С прытким на такие дела воодушевлением Боярчук начал зажигательно придумывать стезю, на которой было бы всем хорошо, а ему всех лучше. Губа у него не дура (она была намного умнее мозгов), следует это отметить со всей определенностью, дабы не вводить никого в дальнейшие заблуждения, которые и без того будут в должном избытке, поскольку всякое произведение искусства любит всенепременно забрести туда, где до него никто не бродил и где шляться массовым порядком вряд ли много имеет смысла, а ума эти коллективные похожденья так и вообще не имеют.

Начал он зажигательно, а кончил, да не убояться бы нам этого слова, пеплообразно, о чем уведомим ниже, раскрыв во всей красе тайну пеплообразности, которая на самом деле, при дотошном рассмотрении, просто швах и крах в образе завидневшихся вблизи окон, из коих не ускользнуть даже с нечеловеческими – если вести в сторону преуменьшения – размерами, а с человеческими тактико-техническими характеристиками там и близко делать нечего, будешь торчать в железе до встречающего тебя с удивленьем рассвета, который начнет с бодрецой на тебе отрабатывать удары лучей, в солнечное превращая месиво... Что-то все чаще оконная дребедень стала резко к Боярчуку придвигаться, на соблазнительно опасное расстояние. Злодейское дыхание неотвратимо приближалось, но он еще не ощущал его, так как, будучи человеком металлических нервов, не был чувствителен к мелким вздохам вечно всполошенного и заполошного будущего, вдруг задышавшего ему в затылок с изведенной стрижкою в строгий ноль растительностью. К тому же Боярчук обладал не редким в человеческом обиходе свойством путаницы, а именно: он легко подпадал под сомнение, сам ли он что-то делал или это что-то делало все за него само, подчиняясь своему прихотливому нраву, а мнимого хозяина желаний – Боярчука – не ставя ни

в грош, будто он не должен был иметь к себе даже простого касательства, беспрекословно выставлялся из себя вон, и тогда эти зигзагообразные прыжки поступков совершались на диво отдельно от него, являясь собственностью дико обитающего на задворках нашего героя существа, на которое мало распространяется как мысль Боярчукова происхождения, так и его же источников чувство, всегда, едва успеет оно пропорхнуть, нагло прячущееся от всякого преступления где-нибудь в тихой натуре, а ты потом один отвечай, никакого подстрекателя-чувства словно и не бывало, след простыл. Не любил Боярчук чувств, откровенно не любил, чувством брезгуя, был твердым противником исповедуемых ими отношений с действительностью и мрачно запихивал их куда поглубже да понезаметнее, чтобы ни в коем случае не связываться с этой сумасбродной материей, только сбивающей с толку четкие, голые в своей первозданности действия и делающей до обидного чужой, неприспособленной к жизни его законную наглость, благодаря которой он более-менее сытно существовал вовне и был привязанным к земле, крепко на ней стоящим, а не упавшим с луны человеком.

Он ее почти и нашел, стезю, однако она вскоре неизвестно как затерялась, будто сбежала от неподходящего ей, скользковатого для нее человека, – то ли ненароком выронил, руководствуясь беспечной оплошностью, то ли оставил где по пьяни, руководствуясь в точности пьянью. Извилистая история его жизни крепко об этом умалчивает иль норовит тут же соврать. И чем дальше, тем крепче, так что истину нам не раздобыть: она успешно самоликвидировалась, чтоб не достаться, похоже, врагу, – весьма фанатичная была истинка; к ней бы еще и порядочного человека приложить, может, что-то б срослось, и вышел бы сносный, для глаз обольстительный кентавр существа, призрачно напоминающего человека.

Тогда настырный по характеру своего существования Боярчук придирчиво стал искать другие стези, менее исчезающие и не столь привередливые в обращении с ними, согласные на хлеб-соль и сидеть на одной картошке. Но такие не нравились Боярчуку, теперь он ими не обольщался – очень бедно жить с ними за одним столом. Он, конечно, что-то находил, но опять все не то: либо стезя хиловата и не туда ведет, либо он непроходим для стези, а то и вовсе не поймешь, в чем паскудность подло действующей причины, но только выходит дикая, все пределы расшугивающая несовместимость, как, иной раз чувствуется, с исподтишка вызревающей буквально из ничего женой, на которой, правда, не успел и вряд ли успеешь жениться, так как вряд ли у этой девицы выгорит уж невтерпеж прыгануть замуж, потому что она больно шустро горит и захватывает беспощадным пламенем, будто не в ласке побывал, а на уничтожении пожара повышенной категории сложности.

Хоть бы и правда, что ли, жениться на какой-нибудь мелькающей женщине, с горя неудачливости подумывал Боярчук, но не женился, так как тотчас под невесту ничто не подворачивается, данные особы с неба моментально не падают, достойные леди пожизненной участи с переполоху не бывают, тем более, с бодуна; эх, продавали бы в секс-шопах жен, как лапшу, быстрого приготовления... Эти гноящие будущую жизнь умозаключенья, вставшие поперек пылких мгновенным сватовством желаний, порядком Боярчука подрасстроили и только наградили его грядущие поступки еще большей невменяемостью, каковой, возможно, и не было бы или стала бы она как-то мягче, покладистей, не будь такого скользкого уклона мышления в дамскую область, по которому он съезжал на заднем месте дальше собственной жизни. Хотя, впрочем, невменяемость так и так была бы (зря врать мы наловчились), даже наперекор всему и в самой жестоко отменной форме, поскольку она в Боярчуке, образуя как бы государство в государстве, мало от чего зависела и мало с чем спешила считаться, являясь незатмимым качеством и крупной константой этого уникального по душевным потемкам человека. Лошадиная депрессия, которой он был обуреваем частенько, будучи профессионально падок на всякую зоологическую страсть, лишь того и ждала: опять резче обычного пошла по шкале вверх – да и зашкалила, ставши безумием поперек жизни остановившихся глаз. Не только ищите женщину во всем, но и тут же, не сходя с места, ищите отсутствие женщины во всем! В долговременной несостыковке ни с чем шатко женским скорее всего и нужно нашаривать да выщупывать все последующие боярчуковы беды, которые, известно, только и вы-

глядывают до поры до времени жалобно сквозь всякие прорехи в жизни и судьбе, чтобы разнузданной ватагой, выкидывая поспешно напускную жалкость и сиротливость, ринуться с дурной веселостью на враз опешившего от обилия собственных передряг человека. «И откуда их могло наплодиться столько? – думает он, потерявшись, недоумевая. – Не могу ж я один быть причиною этой массы невзгод! Слишком мал я для такого обилия горя, что взросло из меня для меня...» Так бы подумал на это разумный человек, но не Боярчук. Боярчук бы на это как раз ничего не подумал, а сплюнул слюной об асфальт, дав смачного миру презрения. И все дела разума. Долго будешь думать – скорей дураком станешь. Лучше ничего не думать, башка целей будет, концы умней всех отдашь.

Имея всяческие промежуточные чувства, поправляя на лице неловко съезжавшие вниз синяки, Боярчук шел разметанной походкой пустынным ночным проспектом. Внезапно что-то, резким и точно нацеленным соблазном метнувшись в глаза со стороны, ярко ошарашило его и немедля остановило. В дело вступило не мешкая давнишнее, заманчиво машущее своими своеобразнейшими руками воспоминание, которое также сигналило еле зримой отмашкой: э-э! стоп-стоп! не покидай меня, голубчик! Не отвлекаясь на темно говорящие смыслы сторонних знаков, прямо скажем: была это оглушающая сознание (и без того прибитое конно-прикладной мафией), но и что-то враз до бездн прояснившая вывеска «Пиццерии», пылавшая нестерпимо призывным светом, хватающим за душу и умоляющим ее отдаться, хотя в игривых с виду буковках бегали явственно блудливые и наверняка болотные огоньки, даже и умственно отсталому намекавшие на то, что с ними лучше не связываться: заведут, хищно попользуются и бросят, превратив тебя в буквяной иль световой свой кал, черной молнии подобный.

Боярчук с невероятной долей совершенно уж невероятной раздумчивости, граничащей с полным разорением ума, сглотнул сложноаналитический горловой ком (который конечно же не одним тривиальным комом был, а еще и метафизикой пристрастья), переполошивший в желудке и дальше вдоль по кишечному тракту доселе мирно дремлющий аппетит, после чего, натворив делов, уже управляемый безудержным аппетитом и будучи целиком в его тиранической власти, ощутил жадное дрожание всей своей предшествующей жизни, решившей, видимо, реваншистски воспользоваться ситуацией, чтобы досыта отыграться за все мало хорошее, чем она была снабжена на пути своего следования, начиная с пеленок, уцененность которых он чувствовал всем протестующим телом, и с недокормленности Боярчука материнской грудью: в нем рано обнаружили дармоеда и поскорей отбили охотку к натуральному молоку, дабы он не приучался с младых ногтей высасывать из родителей последние соки.

Боярчук налился хищною силой, грацией и кошковидною гибкостью, хотя вся эта прелесть и держалась в его захудалом теле на честном слове самого издыхания, ведь он истаял на бесплодной почве личной ухабистой жизни, норовящей вытрясти из человека последнее; жизнь, кажется, только этим и занимается, профессия у нее такая. Что-то властно, беспрекословно и вместе с тем необычайно нежно позвало его: иди сюда, иди, сладкий-хороший, золотом осыплю. Невроз пиццевых состояний то говорил, пользуясь бредом цыганского счастья? В мозги тотчас ударило мочой или нервным током, сразу не разберешь, но чем-то очень крепко сильным, от дури силы не поймешь даже природы того ударения. Не имея возможности ни унять себя, ни как-нибудь провести бытийственно заволновавшуюся личность поскорей мимо дышащего правонарушением места, чтобы спокойно пребывать незамутненным гражданином своей страны, Боярчук неожиданно для себя и особенно для случившихся с ним некоторых мыслей вломился в практически беззащитную «Пиццерию», опрометчиво подморгнувшую ему невыносимо влекущими, сгубившими бы любую душу огнями. Лучше бы она, несчастная, этого не делала... Сама нарвалась... Подстегиваемый жгущим беспорядочно чувством, он ломился, понятное дело, не разбирая дороги, а именно сразу в окно, приведенный в него кстати ожившим бессознательным чувством однажды проторенного пути, – чтобы не мучить себя и не мутить превратностями нехоженых дорог и иными досадными помехами, которые обычно любят встречаться и которые могли испоганить его натасканную, великолепно обученную на влезание цель – она неистовствовала уж вовсю, бушева-

ла, предвкушая жирное будущее, а потом и криком, с ноткой самодурства начала истериковать в нем от нетерпенья и томления духа, также перекинувшегося всецело на сторону дожидавшегося алчно в кишках аппетита, становившегося нетерпимым ко всему, кроме себя, то есть с признаками самой бешеной ксенофобии.

Не зря ему говорили: все равно все возвращается на круги своя. Не врут люди. Нет, не врут. Убедился на собственной шкуре, которую за убеждение теперь надо особенно нежно беречь.

Скорой на расправу рукой распотрошил окно, лишив его девственности красоты, плашмя впал в уединенное помещение, тотчас же выронившись из лошадиной депрессии, которая скатилась с него как с гуся вода, и прыгающими от вожделения глазами, ставшими враз маслеными глазенками, нашаривал лакомое искомое – а оно испуганно жалось в дальний затрапезный уголок, трепеща расправы и умоляя Боярчука оставить преступление при себе, не выпускать его наружу, так как оно даже не совершённым казалось ужасным, в три раза больше убийства убийственным.

Теплые вечерние руки поваров встречали его отовсюду, неимоверно заждавшиеся. Просто россыпь здесь была простертых к нему теплых вечерних рук поваров! Ради них одних можно было сюда попадать – все чувства сделаются сытыми.

Мысль Боярчукова (если можно ее так назвать) намного опережала его неразворотливые, словно вчера еще истраченные или со свалки взятые действия. Ясность мозгов была необычайная: в нем пробил полдень идиотизма. Далеко наперед, часа на два обгоняя события, пронзало будущее его зажористое желание, которое вырвалось из вялотекущей реальности, не стерпев соседства с медленными, нудными минутами пиццевой бессобытийности, и мародерствовало самостоятельно на футуристических просторах, не дожидаясь из прошлого никакого человека собственной персоной. По-любому расправа приближалась, пора было отдавать старый должок, дисбат ведь – это не с пряников пыль сдувать. Он схватил огромный – длиною в несколько смертей – нож и для великолепного начала прирезал с пяток самых нехороших пицц. Глядят еще неприветливо! Наглые какие, насмешливые! С отлично сопровождавшим экзекуцию аппетитом стал жадно уминать пиццевую телесность за обе до обидного мало вместительные щеки, все зажигательнее увлекаясь, по временам впадая прямо-таки в кушательную агрессию, вне жалости и разума рвя пиццу за пиццей от нетерпения лгущими руками и делая могущественные закладки в еле успевавший попадаться под угощение рот, уже как-то обреченно открытый навстречу бесперебойно прибывающей еде и поуркивающий как бы для гармонии свободного насыщения, а в действительности это были звуки самой натуральной беспомощности. Боярчук относился к пище внешне беспощадно, зная в пиццах врага своего, а сам наслаждался, думая задлить расправу насыщения до рассвета и по утрецу отвалиться обратно торной дорогой в окно, раствориться в мраке неизвестности, пока народ дрыхнет без задних ног. Ан вышло без мрака неизвестности и задних ног. Со светом вышло и с множеством самых что ни на есть передних ног, переднее просто некуда.

Ему вовсе не нужно было повторно оставлять здесь витиеватый свой головной убор (а его он уже приготовил оставить забытым), чтобы досрочно быть пойманным. Просчитался он крупно еще прежде, чем что-то начал считать, и был скручен в то время, когда числил себя небывало широко свободным. По истошному призыву сигнализации, каковую он за пыланьем событий как-то все отказывался услыхать, его и накрыли тепленьким, даже в пик разгоряченности – при тщетной попытке уломать кусман особо крупных размеров на сожительство во рту по взаимному уговору. Кусманище так неважнецки утеснил жевательное помещение, так нагло оказывал сопротивление, что ни тебе раззявить рот, ни начать его приводить хоть на кроху в исходное положение, всегда безотказный аппарат еды заклинило намертво. Без неотложной медицинской помощи так и так было не обойтись, схватили его очень кстати, без врачей туговато б пришлось, рассвет влетел бы ему в беззащитно ощеренный рот, но разве для рассвета, чтобы благополучно расцвесть, подходящее то зубастое место? Пищеварение сплошь забито втянутыми организмом пицами, дальше не утрамбовывалось, медицинское вмешательство грозило все более стать немину-

емым, ибо налицо был запор верхних пищеварительных путей, а это ужас как опасно, поскольку глубоко чревато.

Поэтому и арест не осилил уразуметь, как дико наглотавшийся удав. Не мог взять в толк (взять было некуда, все разумное пространство забито наглотанными живьем пиццами) ни таинственно взблеснувших наручников, ни иных форм резкого сужения вокруг своего механически раздобревшего от еды тела, ни крайних признаков мельтешения перед глазами. Вот и пялил бессмысленные от зарвавшегося аппетита гляделища на его хватающих и скручивающих, точно на ожившие вредоносно пиццы быстрого реагирования, коим вздумалось отчего-то на него кидаться, вместо того чтобы спокойно ждать своей очереди и быть в подходящую минуту методично съеденными, как поступают с порядочными. По инерции едового аппетита Боярчук пару раз и куснул было расклинившимся на мгновение аппаратом эти взбесившиеся, не знавшие очереди пиццы, мысля хоть так поставить их на должное место и укротить в избыточном рвении, но с ними шутки оказались плохи – пиццы ответили спецприемами рукопашного боя и скоропостижного онемения всякой личности вплоть до малодыханной лежки средь мутного, всяким отребьем полного пола, изукрашенного единственным лишь серебристым плевком, который скромно терялся, чтоб не любить публичность.

Личность Боярчука немедленно отлетела от тела, чтобы с бренностью вместе не вкушать дальнейшего; решила питаться, видать, отдельно, чертова вегетарианка.

Между тем Боярчукова планида – сука старая, бестрепетная! – безучастно наблюдала за происходящим. И чем дальше происходило, тем безучастней она становилась, обратно пропорциональная развитию событий; даже удивительно бывает это равнодушие отдельных планид к опекаемым им людям. Ведь планиды по прямой специфике своего предназначения призваны оберегать людей, обязаны цепляться за них мертвой хваткой и выцарапывать их отовсюду, откуда этих бедолаг никто не выцарапает, так как планида – последняя инстанция обережения, так сказать, бог подручного действия. Но нет, не такая это была планида, далеко ей было до образцовых, высокочтимых планид. Эта только нехорошо лыбилась, как слабоумная, и вихляла вздорными губками, исподтишка наблюдая за тем, чтО творят с ее человеком, будто ни капельки не родная, будто лишь так себе она Боярчуку, сбоку припека, вместо того чтобы прикипеть к этому зоочеловеку по гроб жизни. Планида, давно наблюдавшая из безопасного отстранения за звероватыми действиями своего подопечного, не удержалась и соизволила скривить непозволительно отвратную гримасу – дескать, фи, какой неоткормленный! какой вульгарно животный! – и решила незамедлительно отказаться от хлипкого союза с ним, бывшего наверняка фиктивным да к тому же подделанным самим Боярчуком для улучшенного прожигания жизни, а планиде хоть плачь, хоть надрывно моли да пользуйся объедками, которые доставались от Боярчукова прожигания. Планида уже давненько чувствовала себя неуклюжей сиротой в его жизни и часто подумывала о расставании с этим безмятежным в наглости человеком, но то не хватало последней решимости, то по-женски страшилась дальнейшего одиночества, то невмоготу жалко было непутевого – собьется ведь с пути окончательно, превратится в неисправимый социальный отброс, станет всенародно пропащим. Но он слишком долго испытывал ее терпение, и оно не могло не иссякнуть, не обратиться в свою противоположность. Теперь вот случай предоставился как нельзя более удобный для мягкого разрыва отношений, к тому же она чувствовала на своей стороне правоохранительные органы, докручивающие у Боярчука остатки рук, и планида, снабженная небывалым воодушевлением, усиленно расторгала с сим зоочеловеком, введенном сейчас в пиковое животное состояние, всяческие разумные отношения, с оттенком мстительности усмехаясь, подсказывая ребятам из органов слабые места этого человека и пятясь из возившейся и заполошно орущей «Пиццерии» подальше вон, чтоб не отвечать вместе с яростно одиночествующим в чужих руках Боярчуком за наделанный им разврат еды, а потихоньку существовать отдельно от треволнений мира в купленном по сходной цене мещанском домике с геранями и цветастыми занавесочками – точно так, как встарь обитали многие скромные и порядочные планиды, коротающие век в тихих радостях. И, скажем сразу, это ей удалось: она сбежала от неотвратимости наказания и нераз-

личимо слилась с общей судьбой страны, где отдельные лица планид сильно размыты и узнаются в не общем выражении до чрезвычайности плохо и хуже некуда, так что частенько приходится сомневаться, планида ли это или лицо, разыскиваемое на стендах милицией. По одной только кривой усмешке можно было планиду узнать, от преступного элемента отсеять, никак иначе не распознаешь. В отличие от уголовников, которые на фото добротны, даже сиятельны и выглядят в сотни раз лучше себя, будто снимаются для тюрьмы как на собственной свадьбе, что для скользких гримас, понятное дело, совсем неуместна. Планида же снимается как на поминках, причем чаще всего на поминках у родимого своего человека. Не отсюда ль дрянная усмешка?

Не успел он отойти от впечатлений, сумбурно, но ярко полученных им в «Пиццерии», заведение с решетчатыми окнами тут как тут, резко приблизилось к Боярчуку, на неприлично близкое расстояние менее пяти вытянутых рук, поглотило его и мгновенно навязалось стать вторым, пусть и приемным домом, несмотря на то что Боярчук не очень-то горел иметь в нем свой повседневный дом и вполне мог бы довольствоваться, если б ему не приписали иного покоя, тем скромным жилищем, в каком обычно отдыхал от коневодства и прочих недоразумений жизни, а также от подлых ударов планиды, всегда нападающей сзади. Там бредил он грезами скромными, величиною не более желудка, и распространяющимися не далее этого незаслуженно принижаемого органа, который, выбившись на первые позиции в человеке, чересчур, однако, запозиционировал себя и сыграл неблаговидную, малопривлекательную роль в его жизни, утратившей стройность с тех пор, как она вынуждена была связаться с этим темным созданием человечества, подстрекающим на летящие мимо тебя собственные поступки, – мы говорим о пиццах, только о них одних, движителях регресса.

С тех пор Боярчук наотрез прекратил баловать себя пиццами, никогда в жизни больше этим делом не шалил и отказал себе приближаться к ним на расстояние, меньшее пяти вытянутых рук (один добрый прыжок), чувствуя в этом злодейском изделии жестокое явление и дурноту неизвестности, а также ниспосланную человечеству кару за многие его грехи. Пробовал приковываться устрашающе звероватыми цепями к батарее отопления на месяцок, чтобы прервать сидением на железе пиццезависимость. Но не помогало. Пуще прежнего хотелось на пиццы набрасываться и требушить сколько влезет. Эта зараза покрепче герыча хватала и всю жизнь превращала в одну узкую мысль о ее добыче. Глубже обмена веществ он, видать, на эту штуку подсел – возможно, на уровне национального сала или галушек, архетип которых из подсознанья проклятьем его бередил. Пришлось Боярчуку зашиться на все ингредиенты, дающие итоговой подлостью злопыхательское это пищевое изделие, ставшее насмешкой над гордо звучащим еще в его ушах человеком. Зашитый на тесто, томат, на мясо, и млеко, и яйки, на зелень сплошную, на пряность любую, на соль, майонез Боярчук стал непроницаем для пицц и звучал гордо не в одних своих ушах, а гораздо шире. Оставалось зашиться на воду, чтоб преодолеть последнюю тягу, дающую броско знать о себе, но как перейти на безводное существование? Он ждал, когда наука подойдет к этому вплотную, чтобы сразу же перескочить на ее упоительные результаты.

Всем телом сквозь всю свою жизнь ощущал он исходящую от пицц отрицательную энергетику и не уставал проклинать Италию за то, что она оказалась родиной его неистощимой фобии, отпугнувшей даже некоторых положенных ему ангелов, со страху разлетевшихся кто куда из заплечной боярчуковской округи и ставших на путь разврата. Такой подлянки, подстроенной ему Италией, он не мог простить и в отместку втыкал ей рейтинг после самой плохой страны мира Сьерра-Леоне, вопреки мнению экспертов, – тут Боярчук шел вразрез с мировым сообществом. Пицца поссорила его с Италией, он был с ней в навеки угробленных отношениях, граничащих уже с начинавшею греть войною.

Союз желудка и пицц оказался роковым, о чем Боярчук Мыкола может неустанно свидетельствовать как первопроходец в этой беде и открыватель нового горя человечества, о котором пора бы глобально побеспокоиться, пока не будет всем поздно. Ныне трепещет в этом направлении один Мыколай, но его трепета мало для предотвращения общей беды, накапливаемой тайнозлодейским действием пицц. Всякое пробуждение, всякий пробный дальнейший шаг, любой голый,

сильно смахивающий на ничто поступок – каждую мелкую жизнь Боярчук начинает теперь с панических озираний по непредвиденным сторонам: не приближаются ли, за собою ли не влачат жалкий пред ними конец света? Пыщцы покажут еще небывалость и какой небывалости нужно на самом-то деле бывать.

Напрасные похороны, напрасный покойник

(промашка смерти)

Радужный сочинитель Остужин настолько увлекся радужностью своих сочинений, что не заметил сам, как попал на собственные похороны, живописно их беглым пером описав. Всех присутствующих на церемонии прощания с собой, в момент, условно говоря, последнего поклона, он рассмотрел из гроба мертвым, но оттого не менее беспощадным, буквально раздевающим насмерть глазком. Вели себя, естественно, свински и недостаточно скорбно, кто праздно трепался о навеки теперь посторонних ценах, кто равнодушно скучал и думал о птичках за окном, порхая там вместе с ними праздными взлетами, поэт Волокитин ненавистно копался в собственном носу, завидуя похоронам по высшему разряду и лучшему месту на кладбище, которого Остужин и на мизинец не заслужил, а заслужил давно он, народом убитый поэт Волокитин. В общем, кто во что горазд, словно на дешевой рыночной распродаже толклись, а не выровненные были пред лицом важной смерти по одной как глубокой, так и возвышенной скорби. Погано, крайне незаинтересованно вели себя по отношению к драгоценному мертвецу, каковым он себя почитал всю жизнь, ныне на время покинутую. Ни одного порядочного человека, как он, само собою, и предполагал, и не сомневался еще в живой жизни. Но вот проверил напоследок, окончательным глазком, и все сомненья развеялись без следа: окружали его сплошь вскрывшие теперь свои личины подлецы, продавшиеся везде, где это сделать было можно слету иль мимоходом, где лишь чуть наклевывалась, даже не вступив в торгово-оргаистический апофеоз, самая хрупчайшая возможность продажи. Также и, конечно, все были лакеями. Ну и евреям много поперепродавалось, не без этого, кто ж утерпит? Словом, ни одной мало-мальски приличной личностишки, вертевшейся в густом скопище и вареве остужинского окружения еще в бытность его живым, а не лежащим в экспериментальном гробу, когда проводились полевые исследованья человеков на вшивость.

Слабо верил Остужин в существование порядочных лиц вокруг себя, потому что представлялся самому себе лицом запредельно значимым, веским – вовсю эталонным. Такую персону не переавторитетишь, будь ты хоть классик собственной падшей или заблудшей персоной. Увы, и классики, попади они каким-нибудь шальным отскоком в его окружение, стали бы непременно все как на подбор подлецами, вряд ли бы удержались. Первоисточник тела, помертвевшего для испытания истин, – этот первоисточник незамутненный, сопровождаемый маленьким лишь нутряным душком, вывел бы их на чистую воду, как пить дать.

Авторитет он себе соорудил из двух с половиной книжек рассказов, которые с усилием звероподобным выкатил на-гора к пятидесяти очень шершавым и вздыбленным годам. Творчество свое он любил пропагандировать. Читал рассказы знакомым по методу чеховской дамы, с мощной выразительностью, ошеломительными вскриками в концептуальных местах и в экспрессивных струящихся лицах; между тем возрождал и жанр театра одного актера, ибо культуртрегер был он широкозахватный. Приговоренных к чтению потом выволакивали от него поздно ночью, чтобы видело меньше напрасно чувствительных глаз, не то пьяными, не то еле опомнившимися, а может, и без сознания от удара массированно нанесенного чтения, не совместимого с жизнью.

С вдохновенным новаторским подъемом, какого не испытывал лет десять кряду, Остужин лег в осмысленный предварительно со всех сторон гроб и стал надзирать все дотошные неурядицы, творимые на его беззащитных, не умеющих за себя постоять похоронах не урезоненными прово-

жанцами, которых некому было приструнить и поставить на место за неимением его самого, поскольку он сам себя благополучно откомандировал на то время в широко задействованного покойника: все дерганья человечества интересны, когда вынужден являться яростным знатоком хитро спрятанных и змеистых душ, коих был он лихим, правда недоучившимся, инженером. Остужин лежал себе да полеживал в умозрительном гробовом местечке. Что-то ему сразу сильно стало не по нутру. Что-то его сразу сильно насторожило. Со всех сторон ощутимо претило, в гробовые щели заглядывали сквозняки – явные и очень похабные вуайеристы, а за ними жадно добычествовал взглядом сам батюшка вуайеризм, падкий на сверкающие чем мать родила ляжки (вау! – исказился немедленно вуайеризм криком интимного счастья – разобрало старикана); выстроилась вместо процессии прощания целая очередь за голыми видами, порнографию здесь мне развели! Самородно драгоценный Остужин был ничем в то самое печальное время, когда все остальные были всем и ловко, хватко пользовались преимуществами живого положения, тогда как он, вынужденный пресмыкаться в полнейшей недвижности, лишен самого элементарного, даже заурядное шевеленье уж не имей к нему маломальского отношения и отзынь от него непродрогнутым, лишь в глазах припрятано вороватое движение наблюдения. Остужин нашел внежизненный способ спрятать его, он и не такое умел, на все надмирное был понемножку способен, так как и голь на выдумку хитра, а Остужин был много более голи.

Это неравноправие его мгновенно задело и послужило источником многих незнаемых им прежде обид. Он почувствовал себя без малого всеми сразу угнетенными народами, да притом согнанными с исконных своих территорий. Вот что с ним сотворил с первых же его посмертных шагов гроб, Остужин от него такого не ожидал, всегда думая о гробе в превосходной степени, что это обитель смирная, покладистая, покоище заветное. Ан вон как гроб, едва гробом почуял себя, взбрыкнул и зафордыбачил, не желая показать хотя бы на первых порах свое приличие и тихий норов! Повел себя совершенно как существо живого мира. А поведение живого мира Остужину до смерти надоело, просто некуда деваться от этого самого поведения, оно его достало. Это было первое нехорошее наблюдение из загробного мира. Потом последовали и другие малоприятности и нехорошести, целой потусторонней стаей, словно ее здесь только и ждали, хотя дело обстояло с точностью до наоборот: не ждали мы привета с того света, не ждали! Всеми силами противились, чтоб свет тот, в лице сочинителя Остужина, к нам не просачивался. Но он, внеразумным образом взламывая немыслимые пределы, все равно прорывался, имея наглость в отпетых взорах нашего мертвеца, посылаемых испепеляющими засветно зеницами.

Лежал Остужин мучительно неподвижно, обвыкая в неожиданных грустях нового положения, притерпеваясь к свежим обидам, взявшимся откуда их и не ждали, обминаясь исподтишка в жестких, дыбом стоящих на нем белых одеждах; но, с другой стороны, как же вынужден был он вертеться в сем негостеприимном гробце, видя такое безобразие похорон своих самоличных! Но и его верченья в последнем пристанище никто из присутствующих не замечал, никто и в ус не дул, гадство, плодя тем невниманьем еще большее похоронное безобразие и все большее похоронное настроение. Он и это их безразличие запечатлеть ввек последние дорогие черты, и эту их незрячесть его покойного шевеления припомнит им в свое время и в нужном месте, он не забудет, какие они были бесчувственные в тот час, когда уж немножко завопили трубы прощания и ему пора было вышагивать на новую дорогу, полную неведенья, призраков и проклятий по поводу тех, кто так прохладно, можно сказать, остужно (но это будет провокационной перекличкой с богоданной фамилией, не запятнанной ничем дурным и ее порочащим!) спровадил его на эту дорогу, приравненную бы по тормозному пути к дороге обратно из смерти, если бы он не возвращался оттуда кардинально другим, – смерть мощно оснастила Остужина твердым и неподкупным знанием, так что он прибывал из покойников с открытыми на все глазами, причем с глазами, и открытыми-то по-новому: недоступное или спрятанное прежде знание жизни нашаривалось теперь в любых самых захолустных и пропыленных уголках квартиры, даже далеко ходить было не надо, особенно в люди. Благодаря своевременному его воскрешению много чего любопытного поприоткрылось в некоторых на поверхностный взгляд зачумленных местах быта и в лицах, приближенных к телу

его пропитанной литературой насквозь особы, не позволявшей ни быту, ни Богу, ни черту снижать планку идеала, который был таковым именно в виде него самого; все остальное было не идеал, а сразу дрянь, без промежутков и градаций хорошести, потому что лишь в нем идеалы водились чистопородные, а для них он был специально чистой проточной водой, какой не мог быть никто из людей – недотягивали, недоструивали, пребывая на пути в небеса откровенными лужами, которые не жалко и свиньям отдать, решительным и беспощадным на грязь, сверх охоточки своей поваляться.

Так он и знал, что эти ничтожные куда ни плюнь провожатаи поведут себя недостойно высоких его похорон, уж и поскорбеть чуток им лень, в чувствах пошире раскинуться ради святого такого страдания. Но лишний раз все ж таки проверил, не худо окончательно убедиться, включив в инспекцию посмертное знание, – никому, ни единому человечишке доверять нельзя, впрочем, Остужин и не сомневался, а мертвецкое дело затеял просто из чистоты эксперимента и из щемящей любви к искусству подсматривания в щелочку. Нет, он никак все не может успокоиться! – но как же эти провожанцы жутко прохладно отнеслись к нему своим прощанием, будто его смерть для них уж и не событие, не величина феноменологического ряда, не информационный повод, в конце-то концов, и это им припомнится, когда восстанет он из усопших, нагрянет из посудинки небытия врасплох, и подойдет пыточно живной и вальяжной ходкой к столу, разминая затекшие в длительной лежке смерти члены, и набузыкает для опустошения жажды во рту цельнехонький стакан водки, и в который раз за полвека опять пуще прежнего оживится ее пронизывающе витальным содержимым, и вкатит, как ударную дозу, образцово-показательную речугу на полчаса (а то надгробного слова промямлить толком никто не умеет!) – в ней всё всем сразу станет беспощадно ясно и отразится его собственное недосягаемое место на этой опущенной кем ни попадя Земле; оно – место – будет во многих смыслах основополагающим, а в некоторых – градообразующим. Все будут разоблачены вплоть до бедных и ни в чем не повинных зулусов и, конечно же, вплоть до ада собственных никчемных, никудышно бездушных душонок. Этот подлец-мир всегда нуждается в нескольких добрых, увесистых затрещинах, иначе он упьется самодовольством вкупе с водкой и зажиреет на чужих кровях, как чванный, заливисто поющий песенку жизни олигарх, проевший стране плешь, как чудовищный таракан, увеличенный личным карманом!

Но пока еще наш скиталец в иные миры чрезвычайно смирно лежал, вынужденный быть неутомимо покойным, на своем недрогновенном месте, любовно отведенном ему его психически вскидчивым, но до ужаса тонко предприимчивым воображением. Прямо скажем: он отнюдь не жутко лежал, где лежать ему было им самим положено, то бишь в гробу, да причем не поваплённом, да причем дураковато похожем на грубый ящик от какой-то дикой и взбалмошной мебели, да причем среди сплошь бесслезного простора скуповатого на проводы населения: ну ни одна ведь сволочь не взрыднула хотя б для приличия, пусть и брызнувшей фальшиво слезой, в коей больше пустячной воды, чем добротной слезы! Волокитин, забившись в самый гибельный угол квартиры, по-прежнему ненавистно совершал археологические изысканья в неважнецком приватном носу четвертого века, и не позднее, до новой эры, завидуя все нестерпимей пышно расцветающему торжеству, которое он неизвестно откуда здесь взял и невесть с каких бодунов буйным цветом нафантазировал. Перцев так и вел разговор по прямому своему назначению – о каких-то горячих, вспыльчивых на всем своем протяжении перцах, недовольных решительно всем, бурливших любые рога обломать, а взамен те, что любы, надставить. Перегородкин вечно спал с открытыми наобум глазами; про рот нечего и говорить: маленькая отверстая пропасть, в которую тянуло угодить всякое земное чуть зазевавшееся попадание. Альянсов из непреходящей любви к животным нежно отлавливал мух и с еще большей нежностью выпускал их обратно, предварительно расправив им мятые крылышки, как заботливый родитель, отправляющий дитя в школу и наводящий во внешности его последние штрихи любви и порядка. Животаева Алевтина, поэтесса, вся состоящая из пожилых жил и атрофированных строф, млела в собственном соку, точно заготавливая свою личность впрок, для зимних лакомств. Терзко в прошлых грезах витал отставной патриарх Мамищев, маразматически взмахивая по временам отрезанными ему временем

крылышками; ныне отирался Мамищев все больше в старых, но загадочных еще звуками прошлого века пердунах, там находил уголок он уюта и отдоховенья. Шепотов, прожилками носа лилово блеща, алчно налитым зреньем косился огибающим углы, проницающим стены взором на кухонный стол, где могла перепасть ненароком бессрочная, но адекватно глядящая ему на ответ водка, которая шепотовским чувством грустила, по-шепотовски ожидала, готовая броситься пылко навстречу слиянию или союзу, будучи не самодостаточной и покинуто одинокой, точно не водка она, уважающая себя, а жалкая разведенка. Ненароков монолитно был одним Ненароковым – и попробуй его сдвинуть на что-то иное! – он и на водку по-честному и в открытую косил ненароком, как на обреченную ему спутницу жизни, которая никуда не денется, сама же первая явится, будет еще умолять и перед ним ползать, лишь бы с нетерпеньем отдаться. Облезлов был очень не похож на свою фамилию и старался изо всех сил это доказать, хотя все равно был человеком с въевшейся в него фамилией, то есть облезлым бессмысленно и беспощадно, так что доказывать ему приходилось постоянно обратное от уже невозможно обратного и он часто путался, что же ему следует доказать, поэтому доказывал обычно не то, что доказывал, а что попадет под раздухарившийся невзначай аргумент; любил, например, утверждать, будто ходит он с детства весь полосатый, когда был целиком в мелкую клеточку вплоть до носков и строения отдельных интимно-причинных мест: они у него имели квадратно-гнездовой способ существования с хрущевских еще времен. В Перевозчикове ничего Перевозчикова ни на обол не было, даже если б заставить его под дулом пистолета замещать высокочтимую должность Харона; сразу видно по этому человеку: не туда отвезет, не за тем. Вот мелькает вечный слесарь, а теперь и деятель близлежащей культуры Паша Крючиков, бездарный бессмысленно и беспощадно; сиянье бездарности исходило от него волнительным густым потоком, по мощи не уступая иным сияниям, коли бы они в нем сумасбродствовали обитать. Критик Залетаев был просто критиком Залетаевым, один к одному, ни больше и ни меньше, тютелька в тютельку, потому что из-за удушливой лапы мейнстрима (гениальным выдвиженцем которого был) громко вскрикнуть не мог; по той же самой причине костлявой лапы, до души достававшей и дальше, не мог он позволить себе ничего лишнего из крупно им понимаемой правды сермяжного литпроцесса и поэтому с особой жестокостью и в извращенной форме пекся о плавном течении премиальных сюжетов, топая газетной ногою на жюри и на ближайшее к нему пустое пространство, которое тоже иногда его боялось, мнения залетаевского трепетало, из заединства скорее с жюри, а не чтобы выслужиться перед страхом. Штейнберг угрюмо, неслыханно злокозненно молчал и глядел в одну свою еврейскую точку; ну что с него взять? – Штейнберг он и есть Штейнберг, где на него сядешь, там и слезешь, а он все будет глядеть в одну свою еврейскую точку, засмотренную, между нами говоря, до дыр; там уж и точки-то никакой нету, одно самомненье порожнего сквозь пространства. Подлый Володин так и продолжал нагло быть подлецом бодрым, молодцеватым; якобы задумчиво и отрешенно, цепляясь зреньем за ясеневую, по слухам влюбленную в него листву (врут, ясное дело, сволочи), пялился задаром в окно, продлевая эпохальную свою подлость в наши скромные дали. Чего-то юрлил про себя этот бескровный, мурзящийся вечно Юрлов (какой он все-таки мутный!), в чем-то очень непонятном похожий на Володина, под видом ясеней помешанного на подлости и, в свою очередь, ничуть на себя не похожего, а только похожего на что-то непонятно похожее, причем ложно, нагло и подло, если не сказать – подложно. В этом Юрлов и Володин неразличимо похожи, практически один весомо дурственный человек, с каким не пойдешь в разведку: уйдет обязательно не в ту сторону и без следа, а ты попадай в лапы уместному всегда и везде немцу. Были Позднышев и Подкидышев, но о них, как всегда, ничего не сказать: не брало их ни единое слово; они были уже выше слов, поэтически находясь на пути к самому дальнему, восьмому или девятому, небу – остальные небеса они проскочили, совершенно их не заметив, ничего небесного в них не узнав, лишь мелькнуло по сторонам что-то темненькое: не комариков ли стая угрюмая полетела кровушку пить?

Но многие на похороны даже ногИ не сунули, отказались почтить провожанием, зажимисто приберегали последние прощания для себя, стервецы.

Очень сильно Остужина подмывало немедленно, так сказать, не откладывая в долгий ящик, встать духоборчески из сего дикого на любой непредвзятый взгляд, хламоподобного гробца – не-

вежественного сооружения не столько, видимо, заупокойных, сколько запойных дел мастера. Гады! гады! не могли уж достойным помещеньем напоследок снабдить! – отмечал он неустанно придирчивым капризом, как бы заодно им и крича в знак протеста, потаенно озирая окрест себя это отовсюду кривое и сучковатое горбылье, навязавшееся ему в качестве последнего личного скарба; нечего сказать, экономно провожали его в остатнюю дорожку, не разбежались шикарно потратиться, например, на бархат и медные ручки, как неучтенного заморыша хоронят, стыдобища смотреть на себя со стороны, краше в гроб кладут! Да, резко бы, напружив убежавшие тленья мышцы, встать, произвести внетраурный переполох и грянуть врасплох заставшим словом по смякшим враз головам тех, кто, пользуясь беззащитной его отлучкой и самонадеянно рано расслабясь, имеет совесть вести себя неподобающе бесчувственным образом на церемониале прощанья. И покуда не остыл от первого порыва благородного гнева, пока сердца для чести живы, кого-то тут же с помощью хорошей грубости поставить на место, а кого-то, кто был особенно нахально равнодушен в час вечного расставанья, попросту выгнать крепко взашей, турнуть как следует с собственных похорон (это вам не дешевое развлечение!), не церемонясь с интеллигентскими очочками, лепя на спины бегущих праздничные цветные скандалы, – чтоб не портили поминальную картину постным и вечно всем недовольным выражением давно якобы не кормленных лиц и не умаляли, астенически прикидываясь меланхоличными и худосочными в чувствах, не искажали своей вредоносною грустью великой тоски по нему, и без того-то выдержанной далеко не в лучших традициях, в каких принято отсылать человека на небеса, а именно – тотально поваплива на все ближайшие, долго еще потом испуганные и трясущиеся места и массово рвя на себе теперь напрасные на всех головах волосы.

Где безутешные и трубно взвывающие рыдания? Где обмороки и водные отпаивания не находящей своих ног жены, из солидарности с ним перешедшей в маленькую смерть? Где судорожные, порывом изнеможенья рожденные припадания к незабвенному мертвецу в желании слиться с ним навсегда в заветном экстазе, пропасть для себя в нем и уйти с ним вместе туда, куда обыкновенно живым ходить в одиночку строго-настрого воспрещается? Где речистые клятвы бессмертной любви, обреченной мыкаться теперь без него, чувств объекта? Чьи уста вероломно замкнули слова о невосполнимой утрате? Куда подевали запев всех времен и народов «без тебя свет не мил, ночка темная грянула в душу»? Ничегошеньки этого нет и в помине, будто собаку простую взялись хоронить! Натуральное безобразие! Куда смотрят убогие и бесчудесные чувства этих для своей только шкуры нежных людей? Да по фигу, куда им смотреть, лишь бы чего-нибудь различименькое видно было, для разнообразья скучливым эмоциям! Эх, какие добрые, великолепные по изначальному замыслу срываются, пропадают мне похороны, как изгадили, проходимцы, как изгваздали грязнотой своих чувств чистую, возвышенную печаль, единственную и неповторимую в своем роде, в жизни случающуюся лишь однажды! Раз уж заявились за мой счет на похороны, так давайте трагично тоскуйте по мне, сволочи! Я не из тех, с кем мир прощается абы как, лишь бы с рук поскорей сбагрить! Мы не из таких простодыр, с кем расстаются спустя рукава, только напуская вид благолепный, будто с пылким прискорбьем прощаются, а сами мыслями быстрей на поминки водку лакать да ветчину трескать, аж за ушами трещит! Нет, глубоко заблуждаетесь, не за того меня приняли, не на того напали, я создан для великих прощаний и долговечно продленных, неостановимо льющихся слез! Память обо мне будет и так, сама собою, собственным самостоянием и устроением, собственным своим натуральным величием, которое сумел ей придать исключительно я – Я, одной подметки которого не стоите все вы, собравшиеся здесь по моему поводу на ваши фальшивые воздыхания и последующие нефальшивые возлияния, устроенные на мои кровные за счет отправки меня на тот свет! Чтобы водочка непоминовения встала вам в горле памятным колом, глотки вы ненасытные и луженые! Нет, и это их не берет, даже ухом они не ведут – только мелькают задорно стопарики, ни один мимо рта не промахивается... Сейчас сволочи, гляди, запоют... Чего они там грянули? Ага: В траве сидел кузнечик, совсем как огуречик... представьте себе, представьте себе, веселенький он был! Да зелененький, дураки, зелененький! – хотелось крикнуть ему вне терпения. Только этого и не хватало в покойном его положении: уточнять

бессмысленный лексикон... Ну в какие, скажите, это лезет ворота? Нет, даже в самые широкие – заупокойные такое не пролезает. Здесь подобная бредь не катит. Страдания по кузнечику у них, видите ли, открылись! Сейчас я вам покажу горе членистоногое!

Так Остужину мыслилось пофразировать и растиражироваться из неповапленных мест сугубо мебельной наглядности, и от неладных, нестройно текущих, совершавшихся не по его усмотрению и без его влияния похорон, кощунственно производимых над ним пиратским сообществом союза писателей, пещерными его жителями (позиционируют суки себя как порядочные, а на деле слепоглухонемые), было ему неприютно в мертвецком схроне, в покойницкой узости собственного бытия, настроение стремилось к нулю, ущемлялось уж отрицаловкой, душа превратилась откровенно в паршивость. Все зажигательнее, все нескромнее, ломая похоронное приличие, мечталось вскочить ловким десантским прыжком и ярко, дозаправляясь на лету пылкою страстью, обличить всех в их приспособленческих, только и выгадывающих колбасу жизнях... вот и гроб, негодяи, умудрились преподнести узковатый, жмет тебе и давит отовсюду, о вечном покое и не заикайся мечтать, загубленные мечты, напрасный хлам исковерканных идеалов. Даже не обмерили толком, хотя б для приличия, а сунули скорей-скорей немереным, прикинутым на грубый глазок в это чудовищное гробовое корыто из-под каких-то мебельных пошлостей, из лучших корыт свиней на убой кормят. А ведь он ничего себе мужик, не в хилых размерах, да что говорить – видный был еще мужичина, с брюховатой возвышенностью (брюхо сумел вопреки всему он отъесть), по рельефу удивительно совпадающую с Приволжским всхолмлением: плоть от плоти он этой земли. Могли б и поделикатнее с ним обойтись, из уважения к одним просто физическим параметрам, тяготеющим к гигантизму, чтобы Остужина было везде много, недостатка в нем никто б не испытывал. Ну, так я и знал, жене глубоко наплевать, каково-то будет моему телу на том, оказывается, вовсе и не дивно устроенном свете, зря его только на все лады хвалят, туда тянутся, стараются в него всеми правдами и неправдами прежде времени заглянуть, прихватить оттуда свет в конце тоннеля. Жене и при жизни-то, сомненья теперь прочь, было глубоко наплевать на его творчески производящее тело и на все, что оно в себе писательски неповторимо носило, бережно заключая. А добротно, с каменоломной работою над душой заключив, не преминет уж никогда одарить то блещущим небывало словом, то умной, но своеобразно доходчивой до толп населения фразой, а то и бабахнуть по здоровенному лбу народа толстенным, еще новорожденно пищавшим романом, чтобы немножко дошло до ума, проняло хоть на каплю. Остужин любил пасти местное население и вообще народы, самые отдаленные и глухие, в этом видел громогласное он призвание, теперь начисто затмленное и как бы вычеркнутое из жизни хаотичной чехардой поступков присутствующих на избранных похоронах, которые задумывались как завещание человечеству и как послание откровения. Детки Остужина меж тем грубо, не страшась звуков откровения, распиливали на кухне откат от наследства и заодно пылали свободой. Пылание собою являло тучное изобилие слов по матушке и по члену, во всевозможных его агрегатных и иных состояниях ли, стояниях ли, поэтому с кухни валило много едкого дыму, от которого не было нигде места глазам, даже, как в нашем случае, и ничьим.

Все испортили, гады, осквернили мой прах, из последнего прощания устроили распоследнюю свистопляску! Сущий позор на это смотреть, одно разоренье души! Остужин, гремя пошибче, чтоб досадить потусторонним громом, захлопнул в сердцах крышку сучковатого, норовившего все утеснить его и принизить гроба. Что мучить напрасно истасканное за жизнь зрение? Воззревать дешевые телодвижения этих кривляк было выше всяких его сил. Подлецы! Все кругом подлецы! А ласково притворялись всё какими порядочными, нежно добренькими! Сгинь ты прочь, гиль дурная! Жулики! Сплошь жулики вокруг меня ножкой сучили, а я-то броским сердцем пригрел, а я-то столько души на подаяние им развеял! Не оценили, свинота... Эх, вернуться бы в прежнюю жизнь, сбросив заодно этак годков двадцать пять, и показать им, чего они в самом деле стоят, задать положенного трепака, заслуженного ими жару. Ну найду, непременно изыщу я способ возвращенья назад. Ложь понесет у меня беспримерное наказание! Безнравственность лежачего положения и социальная пассивность мертвеца становились для него все тягостнее, все более

угнетали невозможностью гибко приложить моральные нормы к жизни. Нестерпимо хотелось нравственных поступков и их сияющей чистоты, сопровождаемых активной жизненной позицией и всем, с нею тесно увязанным. Чё-то его колбасило, однако...

– Сволочи-сволочи-сволочи! – не утерпел бормотнуть он из гроба. И взвился: – Вы у меня еще увидите!

От непредсказуемости покойника все шарахнулись, на всякий случай уже сейчас прикрывая опальные в будущем органы зрения.

Так освоил он глубоко удобную и престижную ныне профессию мертвеца – все обличать и подлавливать всех на подлости. Ни одного подлеца не задержится в спрятанном состоянии! Маски сорваны, людей нет. Се – большое и великое даже призвание, которое художественным продуктом потянуло бы на нобелевку, если бы сдуру ее не потягивало на другое.

Промашка у смерти вышла, промашка: она забрала человека намного раньше, чем он перестал землю топтать. Он еще тут был, но его уже тут не было. Фиктивно еще теплящийся человек безвозвратно заболел собственной смертью, и та болезнь, не гнушаясь ничем, захватила его без какого-либо живого остатка. Остужин сделался мертв даже полнее неподдельного мертвеца, потому что упомянутые так не поступают, они смиренно отдают концы, ложатся куда им укажут и поскорей убираются куда положено, чтоб лишний раз не мозолить чужие глаза, а он явно ходил всюду, надо ли или не надо, в дело и не в дело, неприкрыто демонстрируя до неприличия мертвую смерть, и получал много справедливых замечаний за несообразное с живыми поведение, за несовместимые с жизнью поступки. Насмерть обижались на него, отказывали от дома, устраивали выволочку, если случалось ему оказаться в обществе поплоше, с нравами грубыми и шальными, он устраивал кому-то рукопашные выволочки, поскольку даже физически любил в других выволакивать что-то наружу, чтобы, прищелкивая языком, с удовольствием отвращения рассмотреть. Говорили о нем всякое, но большей частью пустое, приятели отпадали от него как шелуха, ибо терпеть его изворотливую подловатость было праздником только для него одного. Подозревали, что он несколько страдает съезжанием в неизвестность крыши, а некоторые смело пробрасывали свою догадку и дальше: он давнишний призрак, гиперактивно прикидывающийся человеком, товарищ химеркин, который мнимо полноценно треплется среди людей, притворяясь отдельными человеческими проявленьями. Но зря они так, о мертвых ведь плохо не говорят. Лучше бы они говорили обыкновенное ничего – и это бы как нельзя более точно, характеристично соответствовало тому, чем он был ныне. Полнее его вряд ли бы можно выразить, нежели через посредство емкостной и величественной пустоты. Такие вот с ним разразились мучительно внеземные дела.

Поскольку все естественным порядком продались кто куда, наш загробник-интересант, презирая скурвленное и пропавшее человечество, в единственном числе продолжил несгибаемый цивилизационный путь, прямиком пря по столбовой его дороге (столбы недоворованные еще торчали, на них одних была святая надёжа), неподкупный на всем протяжении своего следования, утомленно и почти разочарованно неся заплаканную вдрызг миссию человечества на стертых до костей и костных мозолей закорках; миссия человечества сама идти уже не могла, выдохлась она вчистую, изможденная противоборством людям с поступками огромных баранов. Ни на чуть не свиливал бывший Остужин ни в сторону мощно подзывающих и обольстительно сладко пахнущих распродаж, ни в сторону понятно кого, не будем называть их по имени, потому что и без имени все с ними ясно. И не дрогнула его твердая стезя, и даже не привздрогнул он сам, не менее твердый, чем недрогновенная стезя, у которой учился быть кремнистым и вечно идущим. Так шел он и шел прямее, чем прямо, и несгибаемей несгибаемого по безлюдно разметавшемуся в даль цивилизационному пути, в то время как другие слабаки человечества давным-давно разбрызгались по сторонам, став обочинной кто грязью, кто князью. Глушь одиночества и бездорожья в конце концов не выдержала и стала открываться перед ним, как безумная, заголяясь все более, до природных трусов и вообще, туши свет. Вот как невообразимо далеко и потемочно он забрел, примерно на столетие вперед оторвавшись от вяло плетущегося человечества, то беспробудно дремлющего на ходу, а то ударяющегося без всякого перехода в буйство невообразимое,

хоть святых выноси и вагонами отвози нескончаемую стеклотару. Временами его подташнивало от каких-то внутренних безобразий. Но это от голодухи и галлюцинаций внутренних органов, а не от выпитого накануне. Выпитое накануне плавнейшим образом перетекало в выпитое сразу после накануне, образуя мягкий консенсус, и всегда было ярко актуально и как нельзя кстати, словно наступившая и тонко действующая гармония, чуть слышно поющая тихую музыку сфер, но все чаще на манер похабных частушек: они свое брать умели. Местами попадались свежие и так себе (страдали пропавшими буквами), но непременно, как за ними водиться привыкло, воинствующе умные эпитафии на могилах прошедших здесь до него и утонувших в зеленом змие, чуть они только самонадеянно ступали на обочину с верного и решительного большака. Это существо полузагробного мира (одна нога здесь, другая обычней всего – там) – змий пресловутый дело свое знал превосходно и очень реально, так что с любой насущностью мог до драки поспорить, что он насущней и зримей ее. Сто очков обычно вперед давал, не страшась, гад, ушибленный собственным ячеством. До противности в себе был уверен. Даже неловко с ним было стыдливому человеку за змеиное его хвастовство, поэтому многие молча с ним соглашались, про себя во всю душу щетинясь, но подумывая – не добавить ль еще.

Так минувший столетье назад Остужин понял, на ходу выпутываясь из облепивших его на нет тенет (просто пробы на нем было негде ставить!), освобождаясь от мягкого плена и тлена иллюзий, что забрел на самое что ни на есть кладбище, высокотехнологичное по методам захоронений и способам закрепления на земле твердой и нержавеющей памяти улучшенного, а то и повышенного образца. Куда ни кинь взор ненаглядный, везде густо, богато лежали бандиты, не сделавшие вовремя оргвыводов из оргпреступности и нашедшие сырой вывод в бесподобно узкие два метра довольно-таки проблемной, как оказалось, земли, где они, в безумно диком порыве превозмочь ад, садистски скрюченными бандитскими лапищами рвали в злобном тщании да тащении корневую систему деревьев, чтобы досадить поверху живущим сушняком сгубленных ими крон и куп, а также острым дефицитом кислорода, недополученного от безвременно затихших функций листвы. Он попал на бандитский участок смерти, и поведший себя бандитски средь других смирных участков гражданских исчезновений, грубо восхваляющийся лучшей, чем у всех остальных, более доброкачественной смертью. Поневоле заражая бандитской романтикой и дурной волей приключений, эпитафии гласили кто во что горазда (выдавая истошность ума), но с уклоном в щемящий пронзительно подвиг. С уголовной повадкой высокочувствительной речи каменно вопили, на глазах истерикуя, в основном одну и ту же затасканную вдрызг еще на земле белиберду, а может, если брать выше, и хренотень (здесь входим мы в область не кладбищенских нюансов и дефиниций, оставайтесь с нами):

Се, типа, матерый человечище!

Он еще, типа, придет и вам кой-чего ой как покажет!

И так далее. И тому прочее тьфу ты Господи. Якобы и де – в том, естественно, смысле, что со смыслом-де, типа, авось еще реально свидимся, в натуре. Свиданка назначена. Конкретно! Явка на стрелку строго обязательна. Сойдутся могилы дальнего конца с такими же могучими кучками ближнего конца, смертию смерть поправ, без базара...

Ум за разум иной раз преспокойно зайдет, а обратно, бедняга, выйти уж затрудняется (а может, стесняется – стыдливо боится узнать себя возвратившимся неузнаваемым), не спешит вприпрыжку со свиданьицем, потупится, как непрошибаемый идиот, вроде грустью элегий овеян, и понуро стоит там, за темным углом разума, пришипясь, корявое шепелявя, спотычливым слогом скромно шурша, словно это шелк ему или панбархат. А и всего-то достаточно для того на досуге полистать в каких-нибудь криминальных урочищах с десяток-другой могильных надгробий из огромной, емкой книги смиренного кладбища, не вмещающейся ни в чьи руки и в ничье самое просторное, раскидистое размышление. Спору нет, книга кладбища светла и премудра, но не до такой же, Господи, степени, чтобы нежданно-негаданно восчувствовать себя круглым дураком и совершенным ничтожеством да и уйти с не повинного ни в чем мемориала почти что уничтожившимся вчистую, вместо того чтобы, в качестве благой вести, из краев тех нести свеженькое благо-

родство высоких помыслов и дерзаний, а затем в меру сил своих пропагандировать, не пропуская ни единой уклончивой мордуленции, наотмашь пиарить несомое среди темных и заплесневелых слоев населения под видом трепетного образца, а может, исподволь укореняющейся национальной идеи или глубоко прочувствованного устремленья всем скопом вперед, от которого в очередной дивный раз в первобытном испуге отшатнутся многие дико западные страны, окончательно одичавшие на пути прогресса, уверенно осилившие вопреки всему одичать.

Остужин плевать хотел на пышные, в пух и прах разодетые, выспренне торчащие отовсюду и явно находящиеся не в ладах с законом могилы этих выродков человечества, несмотря на броскую зазывность и высокотехнологическую, наукоемкую оснащенность их внешнего вида, якобы безупречного с виду. Се укрывища бандформирований его не прельщали, а отвращали, – и пошел он мягкою, мглистой походкой внутрь страны смерти, в тихую провинцию кладбища, где, вкусив любезного умиротворения, лежала некрикливая рядовая смерть, очень умело и бережливо, как бы с любовью из ниоткуда оттененная умно стоящими там деревами светлой скорби, ясного разума, твердой памяти.

Так шел он, упруго пружиня живущей теперь на особицу палой листвой, по траурной, заткан-ной крестами местности, топал себе да топал тернистою прямизной, нимало не отклоняясь в душе на зигзаг, но внешне немного рыща по сторонам, – не сигать же напролом через ограды и рукотворные холмы ради неукоснительного соблюдения, так сказать, духа буквы непорочно прямой линии, – пока наконец не пришел... к чему бы вы думали? о нет, ни за что не догадаетесь, ваши мозги не размыты ли массовой литературкою?..... ..... да в гробу я видел это занятие – ходить несгибаемою стезей! – внезапно, сдаваясь мыслью и слабея распустительно всем остальным, как из сора откуда-то и сором же подумал он; вот к чему он пришел, оказывается. (Как сказал, так и увидел, – забегая вперед, скажем мы.) Словно бы из смрадных недр самой чумной, самой дерзкой свалки доносились его вязкие и валкие мусорки́ мысли. А может, с замазученного, замурзанного, замазуренного дна страшно глубоко в себе утонувшего водохранилища. Впопыхах даже некогда разобраться, откуда что доносилось иль наплывало, да и мысль ли это была вообще, а не грай ли какой-нибудь собачий, по случайности нанесенный издалека вторгнувшимся именно собачьим лаем, отчетливо приблудным по отношению к напичканной загробным покоем и явно антипсовой окрестности.

Как сказал, так, стало быть, и увидел, – уже не забегая вперед, а бежа в реальном времени со строкой ноздря в ноздрю, скажем мы. Только он успел об этом подумать, как тут же, по всеподлейшему закону смежных ассоциаций, и увидел, не откладывая в долгий ящик (а на самом деле именно туда положившись), улицезрел безотлагательно то, о чем столь опрометчиво и потеряв осторожность подумал. А увидел безвременный теперь во всех отношеньях Остужин, прямо скажем (так как прямее сказать некуда), именно гроб горбылястый, как бы брюзгливо брылястый, но, тем не менее, терпеливо дождавшийся тела и отлучку холодному телу прощавший... благосклонный какой! В своей точности непререкаемый гроб, в коем – нате вот вам! – лежал-полеживал в тепле да покое он сам своей личною, до отвращения свойской персоною, хорошо различимый и очень даже узнаваемый, ни с кем не спутаешь, по ошибке не того не схоронишь, навряд ли. Сам свой лежал и уже готовенький, уже чисто жмурик, нашедший себе, можно сказать, приличненькое местечко, – только сквозь предусмотрительно оставленный узкий прищур жмуроидно поглядывал аккуратнейшим образом в щелку украденного из мира сего зрения, чтоб ненароком не выдать себя, исподтишка выпасывал видения мира, тучные стада видений мертвым взглядиком, скромно припрячиваемым от сторонних уловок и досягновений, от чьей-нибудь проницательной и наверняка уж хватательной мысли, в ехидстве своем подумавшей бы, что он ведь, однако же, не совсем мертв, проходимец... н-да, скорее жив, чем мертв. А в натуральности дела обстояли ровно наоборот: наш пациент был скорее пронзительно и вызывающе мертв, чем сколь-нибудь тихо и замерше жив, – спешим уведомить мы, дабы не запутать разборчивого, въедливого читателя в сторонах жизни и смерти окончательно и бесповоротно, когда он, терзаемый не самыми лучшими сомненьями, попробует мало-мальски сориентироваться да и вообще понять, где он, прокля-

тье всем авторам мира, находится, привязав себя накрепко к местности, к ее ярким индивидуально-смысловым особенностям; а то все бессмысленные кресты сплошь да кресты, это для саморазвития никуда не годится, тем паче – для дальнейшей продвинутости.

Итак, к собственному же гробу, взлелеянному и, можно сказать, материализованному практичной мечтой, он пришел, не более, но и не менее, к отменно вымечтанному гробу, ура и ура, то есть, конечно, увы и увы (простите за поспешность падких на крики эмоций; вечно им лишь изъявиться бы, а там хоть трава не расти, аморальные они донельзя штучки), а не к чему-то еще улучшенно доброкачественному, например к блистательным догадкам, к глубоко проницающим выводам, к чему бы и следовало приходить в самом разумном варианте развитья событий. Но он нас не послушался, этот повернутый на гробе Остужин, сколько мы его ни умоляли из-под затишка текста, из выразительного молчания каждого слова, сколько знаков указующих, намеков прозрачных ни посылали, и, вопреки благоразумию и некоторым естественнонаучным законам, пришел-таки к собственному гробу, несносный упрямец (но, надо отдать ему должное, явился он вовремя; минута промедления – и крышка захлопнулась бы, внутрь не скакануть, путь следования перекрыт намертво, и стоять ему тогда в пустом ожидании да напрасных хлопотах целую вечность, вымаливая подходящей оказии для транспортировки в небытие, а она может ведь и не случиться...чем это не ад?). Кто б знал, что подобные затяжные и несгибаемые прогулки, оказывается, ни к чему путному, как правило, не приводят. Он поздно это смекнул, но сворачивать с накаленного страстью пути было уж некуда, вернее, как раз только и нужно было куда-то сворачивать, не то дальнейшая тупо преследуемая им прямизна грозила, осерчав на него и все ощутимее стервенясь, свернуть ему зарвавшуюся, отбившуюся от нормально кривых дорог дурь-головушку, которая все более делалась неприкаянной и ничьей, что кого-то, наверное, может насторожить, а кого-то, напротив, утешить; тут двояко... на читательскую ораву сплошь угождений не напасешься. Добро бы хоть клад, чтоб на широкую ногу разжиться, здесь был, а то – посконная, просторечивая, сучок на сучке домовина (горбыль горбылем погоняет), оскорбительно легкомысленная своей заунывной банальностью, нестерпимо обидная от преподносимой неглубины сношенного еще прежде жизни смысла. Гроб наш насущный даждь нам, и все пироги вам с котятами, хоть плачь, хоть воздух матом клейми от убийственно сиротского смысла, не доводящегося никакой и приблизительной родней ни одному влиятельному понятию мира, покидаемого Остужиным с маленьким сожалением вследствие общей разочарованности в человечестве, которое любит из глубины души одни широкие распродажи, причем с большой сезонной скидкою, губа не дура. Но открывающийся ему новый мир, невзирая на допотопный и охотно его язвящий, не похорошему резвящий гроб, он встречал с восторгом неописуемым, который не вмещался ни в тело, ни в досужую домовину, ни во что иное, и Остужин подумывал уже о расширении полагающейся ему жилплощади. Кто тут крайний на увеличение? – для пробы тихо, но бодро спросил он; никто и не почухался чего-ничего ответить. Начинать тот свет с невежливости Остужину не хотелось, и он проглотил свою чуткую грубость мимо себя. Колкая грубость долго еще где-то ерзала и как бабища лютая стенала, уперто ища любого предмета своей пыхтящей от тела страсти, прикидываясь пылкою и неразлучной любовью. Да, глаз да глаз тут нужен, чтоб не остаться ни с чем плюс в дураках распоследних! Обманутым вкладчиком быть Остужину сильно претило, поскольку и так их безлико много. Это приравнивалось бы к полной гибели всерьез или к публичной казни. Но Остужин что-то не вожделел подобного беспредела. Воли и без того было в добром избытке вроде б навалом.

Делать было нечего – дорожка, прилипчиво и настырно взявшись быть дорожкой, обманчиво путеводно вела теперь только в это унылое логово из горбылей, прело, затхло амбрирующее даже издалече тем светом; потягивало заодно уж каким-то амбарным, мышастым запахом, что было очевидно противозаконным актом связи и грубым нарушением миропорядка, ведь никакого сообщения меж тем и этим светом быть не должно, ни одна мышь не проскочит. Остужин осторожно, чтоб не выследили и не уличили в нехорошем, прошмыгнул очередной раз в гробовую посудину, рассекавшую гордо волны небытия. Лазить туда он, видать, повадился. Там ему было

спокойнее, как-то надежнее. Итак, поскольку все его дела самопроизвольно пресеклись и делать было просто кромешно нечего, потусторонний отныне Остужин вынужден был неким влечением страсти лежать в гробу с предупредительно откинутой крышкой и медленно, но верно, по зрелом посмертном размышлении, зреть по сторонам в узкую, хитростью выгаданную у небытия щелочку из удачно сбывшейся личной смерти, наконец-то всесторонне довольной собою и тем, что жизнь покинута, черт ее побрал бы совсем, не удержался он таки от потустороннего, чуть было не возвышенного комментария. Н-да... – втянувшись в комментарий, мыслил он поневоле дальше, вопреки очевидной смертности положения. – Н-да, говорили ему люди: все равно возвращается все на круги своя... Не врут люди. Нет, не врут. Зря они врать не будут. (см. выше, чуть небеснее и в другом рассказе)

Интуиция вкупе с задней мыслью и инсайтом его и здесь не подвели – сказали свое веское закулисное слово. Смерть подтвердила самые худшие его предположения, всю мощную их прижизненную основательность: все скурвились и продались, расцвели пышным цветом не тварности, отнюдь и отнюдь, а самой пошлой товарности. Честности даже в грязь лишний раз упасть негде, бедняжечке. Грезы и идеалы, точно упреждая нашествие, от которого секир будет башка, покинули мир сломя голову, стуча на бегу хилыми мосолками и суча рахитичными, на всем протяженьи своем позорно вскривленными ножками. Таковы были печальные посмертные выводы, они утешеньем не грели, что не способствовало тому, чтобы покойник комфортно существовал. Не было ли это случайно уже прямым адом, в непосредственном расположении которого он теперь находился?

По-видимому, от большой вероятности ада на тех мыслях наш бессрочно монструозный сочинитель, естественно дернувшись и храпнув (точно черпанул напоследок судорожную горстку убавляющегося стремительно мира), стал очень заметно искажаться жизнью и впрямь помирать, поначалу робкими, но все набиравшими прыть скачочками бежа еще дальше по цивилизационному пути, упиравшемуся недалече в самое натуральное, не перепутываемое ни с чем небытие, – чтобы остаться в стороне от продажности и не достаться никому (он не даст нагреть на себе руки!) для ушлых перепродаж со всеми залежалыми в его душе, увитой вдоль и поперек благоуханными сокровениями, да незалежными, как Украина, сокровищами мысли, сердца, иных его как на подбор творческих органов, с залежами и россыпями прочего, но от прочести, якобы ущербной уже по определению, не менее, однако, ценного, судьбоносного; мелькали там и довольно жухловатые из-за несвежести бодрствований плоды творческих бессонниц, а также многие иные недозрелые фрукты, не успевшие в свое время набрать силы в благоприятном климате ума, и, напротив, фрукты перезрелые, хлебнувшие лишку ума и оттого задурившие... впрочем, нас что-то сильно занесло, мы и сами уж не знаем, где очутились, в собственном ли повествовании или в местах не столь отдаленных, а может, и вообще начали анабиотически обитать в какой-то бессловесной мути, жути ли, ума не приложу... бишь, на чем мы остановились? ах да, фрукты, конечно, фрукты, море фруктов, а где они, там и знойных женщин рядом ищи, пошарь-пошарь – в ста одном проценте случаев (дополнительный процент – в качестве поощрительного приза) женский пол обнаружишь, нежно прищучить не промахнешься, белый песок прибоя был раскален от страстей до неузнаваемости и казался песком лунным, неизвестно как попавшим в эту местность райского происхождения и поведения, с неба он, что ли, попадал?.. итак, фрукты, яблоки, значит, были, груши-дули вне сомненья наличествовали, виноград, большей частию неземной, в прочем фрукты, впрочем, фрукты, о которых больше ни слова, полный молчок, как будто мы с фруктами в жизни никогда не встречались, даже в упор не знаем, что это такое, раскалывать будут на предмет фруктов, а мы – ферштеен нихт да ферштеен нихт, допросу кранты, пыточных дел мастера – в нежные очередные обмороки, а то в отпуске давно не были... М-да, что-то весь я исфруктился, всю страницу сплошь одним словом обляпал, лучше бы уж простым мычанием – хотя бы трубность некоторая прорастала взамен погубленной нами гармонии... Самое место здесь сказать: ну и фрукт этот автор! На том с тем словом и с автором заодно мы великолепно покончим еще до рассвета.

Далее уместнее всего деликатно помолчать, дабы оставить раздольное священное место тишине – и тишине отнюдь не близ моря; набрав в грудь тяжелого и громоздкого траурного воздуха, на выдохе со всей ответственностью скорбного момента скажем: минуточку внимания! мы присутствуем, леди и джентльмены, при торжественной отправке в последний путь дорогого покойника, просим обнажить ваши разные головы: изобразите из себя листопад и попутно – его вековую печаль. ... Но здесь уже устье рассказа о другой стране и других людях, а нам это сейчас ни к чему, мы еще ни одной ногой в ту страну, где тишь да благодать, не ступали, это идет вразрез с нашими дальнейшими планами, полными оптимистической трагедии, брызжущей спелыми соками и небывало румяной (не дева ль чахотка?), щекоткой пронзанья бодрящей обвислые наши писачьи бока. Которые бы не помешало убавить хорошеньким новым лишеньем, да где ж его взять? – как назло, отовсюду светло: сыр катается в масле, пазуха Христа – ждет.

Тут лучше молчания ничего не скажешь.

За минуту молчания наше до невозможности огромное спасибо, прямо до самых небес – спасибо все да спасибо, не семь верст там чащобным лесом, а только сплошное простерто спасибочко. Вы и не представляете, какую услугу оказали, так беззаветно нам помолчав!

Однако – новое свинство, новая напасть! – на святые во всех случаях похороны опять взялись некоторые не приходить (см. выше, умеренно небесно), а если и пришли, то не так, как тихо тлеющими желаньями Остужина развязно мечталось. Даже носа некоторые не показали, а не то чтобы еще что посущественнее, какую-нибудь более толковую или деятельную часть организма – голову там мозговитую, проплаканные насквозь, изглоданные печалью глаза и чуткие к шорохам скорби, вострые уши. Нет, ничего совершенно не показали, будто они сами со света белого шарахнулись и, на краю его поскользнувшись, в тартарары слетели, только их и видели. Выходит, напрасные похороны, напрасный, выходит, покойник... Ох, как этого бы не хотелось! – ведь выйдет тогда и напрасный рассказ, несостоявшийся из-за промашки смерти, что грозит, в свою очередь, гибелью автора, а это, как ни крути, со всех сторон прискорбно, так как впрямую затронет и нас: в чулане исчезновенье свое не пересидишь, катастрофа оно – мировая, чулан для нее – тьфу, даже и не заметит мой уголок смиренного избегания, устраненья. Так что есть надежда и запросто уцелеть, и надежда большая – похоже, она поболее будет меня самого. Но откуда ее перекрывающий многократно меня избыток, почему я не весь надежда, а только в редкую крапинку?

Почти все не пришли. Еще реже толпа, чем в прошлый раз, еще бестолковее. Что-то, гады, учуяли и зачастили не приходить. (Мельком обратил он насущное внимание.) Скорее всего, многие побоялись, что средней, но очень крепкой и долгой руки сочинитель Остужин и после смерти будет такой же злой и недалекий, прилипчиво подловатый, как и при жизни: кончина вряд ли делает человека намного лучше, если отбросить надгробные ложнорумяные речи, хотя какие-то прикрасы, очевидные прибавления явно есть, ощущаются, этого не следует отрицать (версия нашего следствия). Вот взяли глупое обыкновение не приходить – и не приходят, хоть ты тут лежа тресни, хоть для аттракциона зазывного подскакивай и кувыркнись или волчком вращайся (точка зрения нашего мертвеца, которому наше следствие побоку)! Ведут себя, прямо скажем, вызывающе, их неявленческое упрямство носит откровенно патологический характер, отсутствие их ложится на меня, и без того ужатого хлопотами жмурья да прищура, тяжким позорящим камнем, они ничему не учатся на реально ушибающих ошибках, сколько их ни исправляй своей благодатной коррекционной смертью, сколько раз ни прикладывайся самоотверженно умирать в интересах просветления общества! Этих горбатых не исправит ничья, никакая могила, будь она хоть тыщу раз исправительной колонией или иным сверхсолидным убежденческим учреждением, где начальником – прапорщик Небытие Н. и Н. бессрочного года рождения, поперек себя на бесконечность шире, толще звания своего на небеса или вечность. Ради них не стоит и маяться смертью, шмыгать на день по сотне раз в гроб и обратно, они не достойны даже моего прошлогоднего дышка воздуха, истаявшего в безвестьи и Бог знает где. На той мысли он в очередной раз вспрыгнул, выпорхнул резво из бока́ исколовшего неструганым горбыльем гроба, превозмогая уже самую настоящую, самую откровенную смерть, которой успел чутко проникнуться и с выгодой вос-

пользоваться и с которой отправился было в обнимку в неблизкий таинственный путь: в конце тоннеля, где густо свет произрастал, уж замолаживало и становилось вёдрено; только в дальнейшем бы не испортилась ясная эта, продолговатая в светах, очень полезная для здоровья погодка.

Он стал просто из одного голого принципа жить вопреки всему, просто назло всем сделался опять быть живым в то время, когда все вздумали прохлаждаясь пожить без него и самонадеянно мыслили его в схематичных умах призрачным существом не дотянувшегося бы до нас далёка. Очень легко отделаться хотели, доверчивые вы наши! Вот он и показал кузькину мать – глубинную суть ее и в чем она состоит подробно, дотошно, ниц и навзничь, профиль-анфас также не был забыт, никто и ничто не забыто. Вневременной и бессмертный Остужин и на сей раз пересилил себя встать из заупокойного гнобища, все решительнее похожего на транспортную оснастку перевозимой в дома полусреднего класса мебели (все заметнее становилось: взяли, не церемонясь с его драгоценной дальнейшей памятью, первый попавшийся у складов облупленный придурошный ящик!), и немедля причалил к столу, и набузыкал (по звуку – будто сама себя с жадностью дрожкой, причавкивая от наслажденья, глохтала) ужасно прекрасный стаканище припасенной на поминки отменно, ну просто запредельно дрянной, невозможно уж боле сучкастой водки (из горбылей ее, что ли, суки делают? – мелькнуло), купленной по пропащей цене специально для удешевления и принижения его похорон, и тут же сладострастно вкатил в себя махом ударную дозу ехидно мелькнувшей в стакане водяры (уже напилась сука сама по себе и из соблазнов своих блядовито подмигивает!), и тут же вкатил всем присутствующим, точно вселенский противостолбнячный укол, клокочущую и громокипящую дозу буйной речищи, моментально вышедшей из психических берегов и все затопившей словесными вихрями и мельтешеньем... И так далее. И тому прочее. О чем предпочтительней умолчать, от народного горя подальше и чтобы в потерях не обрести наше и без того потерянное население.

Увольте нас, но умертвить своевременно или даже безвременно данного героя мы не в состоянии, это выше наших сил, он отчего-то крепче и живее всякой смерти, поэтому настоятельно просим читателя попросту прекратить чтение, оборвать воспалительный сей процесс, воспомоществуя нам, дабы актом прерывания обозначить хоть некоторое явление более-менее смерти, которая в этом несчастливо состоявшемся рассказе, похоже, так никогда и не наступит. Нечего сказать, удрал со мной шутку Остужин – не умирает, и все тут, подлец! Скорее сам концы благополучно отдашь, чем твой родимый герой копыта отбросит. Нам таких героев не надо, к чертовой матери пускай катятся такие герои, да со взявшимися еще невесть откуда, попАдавшими градом на него и на нас копытами! Но найду, найду способ как-нибудь уволить его, тихим образом обнулить! Не смертью, так как-то иначе под обвальное сокращение подведу, пользуясь процветающим сейчас во всех уголках сердец мировым кризисом... Уволим – а в отчетности по статье беспричинной смертности проведем. Налоговые органы нас поймут, они сами так людей любят прятать. Их хлебом чаще всего не корми, взяткой страстною не мани – только дай чего-нибудь много раз и бесследно попрятать...

Продолжу далее без читателя, для одних безропотных и благодушных мертвецов, с которыми я всегда неплохо ладил и, даже если бы не мог и не хотел надеяться, но для выживанья надеяться вынужден, – не испорчу с ними духа добрососедских отношений благодаря этому взбалмошному и явно антипокойницкому рассказу, а на деле – жутко и жгуче типичному мертворассказу. ... Впрочем, и продолжать-то уже абсолютно нечего, словно все, что еще трепетно мыслил сказать, тоже вдруг переметнулось то ли с вселенского испугу, то ли из чувства превратности, не то по какой-то другой трепещущей – лица на ней нет! – причине на тот самый свет и стало неожиданно для меня самого пренатурально иным светом, старинного причем образца, благородного: неизъяснимо прелестно сияло, червонным золотом нежно мерцая вдали, глубинно переливчатой смущая и соблазняя тайною; воссветилось вокруг ни с того ни с сего, и я обуян столь блаженной и великой улыбкой, какой не отважится похвастать и самое отъявленное слабоумие, которое ближе всех соседствует с небытием, будучи в приграничных тех областях как бы волю вымечтавшим казаком и охранным дозором, разъездным по всем направлениям безумно сверхбыстрого реагирования.

Отмечу лишь для сгорающих или особо страждущих от любопытства и еще не совсем до смерти уморенных моим впечатляющим и очень резким, суровым для жизни рассказом, который не только не может оставить никого равнодушным, но и с маломальскими признаками жизни оставит навряд ли, – вот что я отмечу, держа перед вами (Господи, но перед кем? перед кем я? – ведь мы давно обретаемся не на здешнем свете; окликну потихоньку, предупредительности и деликатности полон: это вы, товарищи мертвецы, перед кем держу и проч.? с кем вы, мастера смерти и смертельной культуры?) явно же последнюю речь, речь, можно сказать, финишной черты и приватизированного моментально мной Рубикона: некто Остужин, да не покажется никому это странным и не будет в обидное вам изумление, до сих пор очень даже жив и прекрасно здрав, он еще чего-то живет многобуйно и многоубойно в дальнейшее – насупленный на не такую всегда современность и как бы все мстительно, точно и не существует, а норовит пустить под откос составы противника, всюду и сплошь потенциального.

И превратился он ненароком в подобие Вечного Жида (престраннейшая, заметим, будучи изумлений полны, и в некотором роде подозрительная метаморфоза: чего шарахался, тем спокойно и стал, за что боролся, на то и напоролся; я про жида, однако). Не упускает ни случая завалящего, чтоб целый мир на подлости подловить. Он его тут же и поймает на нехорошем занятии, еле только мир успеет подумать: а не гульнуть ли ему сегодня разок налево? Едва-едва лишь нахлынет, где-то втуне окрепнет первый мировой шажок в сторону, этот препакостный мир в сей же миг будет накрыт и разоблачен в своей подлости, горяченькой и в первых мгновеньях еще прелестной, залюбуешься просто – от благих, видать, она шла намерений: от них без красивых лиц не выходят. Подержит-подержит Остужин подлость в дрожащих от ловли проворной руках да и придавит гадину: каждую пакость на свете так и так не пересмотришь, на другую дрянь времени не останется полюбоваться.

Так уж своеобычно он устроен в творческой смерти своей (ее за строптивость ее ласково смертушкой не назовешь) – смерти, длиною в его шершавую и вздыбленную жизнь, – скажем это напоследок, да и дело наконец-то с концом, будем надеяться-таки... Впрочем, как ни ожидали бы вы, это, увы, еще не совсем конец, а конец наверняка выглядит вот каким, ибо дальше кончаться уж некуда: сочинитель наш между делом исподличался вкрай, так и не удосужившись заметить собственной яркой и пышной, как павлиний хвост, подлости, страдальчески думая на нее, что она – терновый венец, который на коже личности нести за народ ужасно трудно, а потому иной раз и сделаешь что-нибудь не так, но ведь все окружающие люди только и заняты в большинстве случаев тем, чтобы делать все не так, а он не так выпускает на свет чрезвычайно редко, да причем исключительно на их же пользу, чего они, так называемые люди земные, ценить не умеют, живя по принципам неблагодарных свиней. Любой лично подлый поступок был теперь для него мил и блистателен, доблестен, залюбовывался он своими выходками до обмороков и беспределов. Потому что этот поступок совершил он сам, своей бесценною самородностью: симфония подлости прозвучала в его собственном безукоризненно прекрасном исполнении, которое фальши не знает, – Остужин обладал абсолютным слухом на малейшее нехорошее шевеленье людское, ползки и зада лизанье он различал не с первого даже такта, а с первого тайно спрятанного намеренья...

В гроб он загонит меня, стервец! Помяните мое слово – загонит.

Что ж, придется, расхлебывая сей незатыкаемо бьющий из всех дыр бытия рассказ, самому мне в гроб вне охотки возлечь, примерить на себя издыхающее, но не дохнущее ни за что повествование. Иначе ничего тут так и не кончится! Вот этим-то как раз, похоже, дело и может кончиться. Любите ли вы дурную бесконечность? Любили ль вы когда-нибудь? Вот-вот, так я и знал, что тем все и завершится: дурной бесконечностью... Именно такая дурость всему предел беспредельно поставит, больше поставить на место зарвавшиеся и завравшиеся слова нечему. Ложиться! Скорей в домовинку ложиться, во избежанье дальнейшего! Вот как эти слова можно прекратить и оборвать побыстрей, за хроническим неименьем финала. Сейчас-сейчас, ложусь-ложусь, только перышки почищу, только крылышки расправлю, только райский, среброангельский разовью в себе голосок... Делать нечего, если не умирает наш прыткий до безобразья герой, сами залезем

в гроб и умрем за него в одночасье. Ради святого дела живота своего мне не жалко, готов я на крайность. Как говорится, если гора не идет к Магомету... то, значит, я в гробу полежу, с меня не убудет, так как где только я не валялся.

От себя скажу, прежде чем неспешно, словно в прохладную реку входя, проследовать по транзиту в иные места, где, конечно, нас ждут и по нам очень часто вздыхают, привыкая безмерно скучать и выглядывая в неземное окошко – не идут ли? как раз не идут! отчего тянут вечно резину?! Вот что я вам скажу в полшаге от входа гробового да и чуть потом, может быть, скажу тише воды, травой прорастая:

– Буду исключительно до небывалости рад, если все присутствующие здесь от души хорошенько напьются и не будут обращать на мертвеца, коим я сегодня вынужден являться, никакого внимания. – Затем, немного подумав – для паузы перехода из мира нашего в мир смежный – о чем-то несущественном, так средь мыслей уж и не найденном никогда, добавлю по всей возможности кратко и усмиренно: – Ну, не буду никому мешать и вставать поперек горла. Жду вас не скоро в небесные гости. Со свиданьицем когда-нибудь, через вечность, дорогие гостёчки, потенциальные вы мои партнеры по лунам и звездам. Прошу отведать пирогов с неземною черникой... А вот, пожалуйте, с небесною голубикой, прихватите для чад, домочадцев с собою под кров. Здесь выбор на любой утонченный вкус, на любое отсутствие вкуса... Так выпьемте же скорей, – скажу как можно живей от себя, – за процветанье здоровья покойника!

И – представьте себе! (но какова наглость: ни один мускул не дрогнул!) – лег в повседневный свой гроб средней руки. Так мне было спокойнее. Как-то надежнее. Не разбежались шикарно потратиться на бархат и медные ручки, как неучтенного заморыша хоронят, – мелькнуло в мыслях невольно (см. выше, что есть духу небесно, крещендо, небесно крещендо). Это каждый так подумает, кто прежде времени в гроб увалился, каждый так не подумать не сможет. Стоит еще добавить, что лазить туда с тех пор я повадился: больно много соблазна там находил да и прыткое, бодрое оказалось это занятие. Мышцы мои сделались сильны и упруги без придурошного тренажера, были литые, как маленькие Шварценеггеры, зато предвыборного образца. Не трепеща теперь я мог пройти мимо любого набыченного качка, не рискуя получить даровую затрещину в качестве напрасно топчущего землю ботаника, которого с потрохами выдавали во мне и очки предательским блеском оптического своего косоглазия, и ровно разлитая по лицу худосочная зелень жизни моей, о которой устаю жалеть и которую не устаю благодарить...

На этом рукопись – благодарение много видящим и потерявшим терпение небесам! – прекращает свое существование, видать, зараженная соблазном рыскать в гроб, там благодатно лежать и оттуда прилежно посматривать. ... Вскоре и рукопись ко мне туда перебралась на постоянное местожительство. Мы лежали в тесном, да не обидном вместилище и всё грели друг другу стареющие, заметно обвислые бока, и она была мне жена, так что лучшей жизни и не придумаешь, просто выдумать было нельзя; ясно дело: умрем в один день... А засим с бодрящим, почти горячительным чувством – откланиваюсь. Скорее все-таки ваш, но ведь не ничейный же, в конце-то концов, Валерий Володин (ненужное в двух последних словесных случаях зачеркнуть). Позвольте уж на сей момент не вставать для преломленья поклона, что-то лишний раз тяжеловато стало скакать туда-сюда, особенно с обратностями много сложностей и непоняток: попадаю вместо того света то в тупик миротворный, то в чулан светоносный, либо в рассеянье воздухов благорастворенных, далее – везде. Обещаю, что больше этого не будет: вставать всякий раз всегда буду, так как стало насущной привычкой, хорошо еще – не дурной. Да, совсем забыл! – приглашаю вас в близлежащую пятницу на уик-энд в долгожданные гости. Любовь план покажет. Если не она, то – кто же? – позвольте спросить для существованья вопроса.

Алексей ЕВСТРАТОВ

***

У бывшего барака медицинского рабфака,
где на первом классы, на втором шкафы-матрасы,
стоит коротконожка
в сапожках.
В курточке и юбке –
немножко...
И – выражением сущности поэзии –
в руках бутылка пива
и презики.
И анатомический атлас.

***

Да, далеки те времена, когда водку в каждом киоске продавали...
Помню, был ещё спирт, но спирт ты помнишь едва ли.
Водка была в пластиковых стаканчиках укупоренных,
в жестяных – «чёрная смерть» – банках...
Палева было много, конечно, но всё же... Теперь-то вообще как в танке.
Глухо – за многие годы оглох, и трясёт: каждый день – кочка.
Даже палёная водка лучше этих твоих коктейлей, это уж точно.
Видишь ли, всё это: дикие люди, мутное время, добрые люди –
несли в себе тайну... зародыш того, что могло быть.
Теперь уже точно – не будет.
Теперь уже всё обрело простоту регулярного
– с трезвым охранником – парка.
Руку мне дай.
Нам не холодно, нет.
И совсем уже точно – не жарко.

***

Нежное мясо твоё девичье
глаза птичьи
жизнь моя, непривычны твои обычаи
дни ничьи
ночи пусто-пусто
грусти пух – груз ты?
пальцы мял белил солнце
посередине зрачка
люблю зпт тчк

Алексей ЕВСТРАТОВ родился в 1974 году в Перми. Учился на филфаке Пермского университета. Работал грузчиком, санитаром в психиатрической клинике, сторожем, в настоящее время – консультант по рекламе и PR. Публиковался в журналах «Знамя», «Урал», «День и ночь», альманахе «Литературная Пермь», коллективных сборниках.

ух! чуть не сказал главное слово
дух перевёл струя волос олово
тонет тронувшая тебя рука
чует тонущая холодна река
ближе тебя у меня никого нет
единственная моя смерть.

***

день окончив свои ловитвы
сходит как бы на край планеты.
– что вы хотели? – он говорит, – вы
видели, в небе какие ракеты?

и мы выглядываем из рытвин:
уже не живы, ещё не раздеты...

***

ночью пить воду из стакана,
и стакан неожиданно выпадывает из рук,
смешиваясь брызгами искр с отсветами за окном...
ляжешь ли ты зародышем в грунтовый холст,
станешь ли пеплом, сеяным в бездну вод –
ждёт тебя, задыхающегося, перенос:
чуешь, знак переноса грудину жжёт?

впрочем, зови, если хочешь, любви в ночи:
ты и женился затем, чтобы пить, если что, дала.
что ты, двуногое пресмыкающееся, молчишь?
лишённое перьев. не стоящее воды.
переменчивее стекла.

***

Узкая щёточка ковыля
словно бордюра седая бровь.
Пёс колченогий проковылял,
глядь – уже пал возле кучи дров.

Жарко. Мерещится вдалеке
отсутствие всякого далека.
Голые дети в пыльной реке.
Небо закраиною садка.

Бомж городской на покой бредёт,
и изумруда полна сума.
Падает с ясеня вертолёт.
В небо откидывается тюрьма.

***

Переводя себя из точки в другую
перетаскивая из такта в так
далеко, что нащупываешь чужую
жизни нить наматываешь на кулак
имя не складывается и не могло сложиться
чалится в небе на привязи как змея
с неба валится сырость труха страница
чертова колесница пропал илья
или ты не догнал: так легко заплутаться в строчках
это цапля нет ночь нет вотще и вообще обман
гендель мендель роди мне музыка дочку
душу отдам в рассрочку назову себя гандельсман.

Алексей ПОРВИН

***

Ветвью, к облаку подводно́й,
закачан нетрудный газ
в полость ёмкую – всё, лети:
веревочный слышишь свист?

Сад мельчающий перейдёт
в едва ущемлённый свет,
в точку маленькой зеленцы
на фоне других садов.

Плоть на узенькой на доске
взлетает – и резко вниз;
духом вздрагивает листва –
открой же теперь глаза:

свет обиженно золотит
и кроны нагретый шар,
и желание улететь
повыше – туда, где свет.

***

Так слетает *крыжечка*
с глиняного голоса,
ударяясь о

пол, навек исхоженный,
возраст непроцеженный
(что важней всего).

Чистый возраст маленький,
стёртый нужной горечью,
угловат весьма.

К этой глине тёмненькой
привяжись, тесёмочка,
ты теперь – тесьма.

Алексей ПОРВИН родился в 1982 году в Ленинграде. Стихи публиковались в журналах «Воздух», «Волга», «Нева», в сетевых литературных журналах «TextOnly», «РЕЦ»; в переводах на английский – в журналах «St. Petersburg Review», «Fogged Clarity», «SUSS» и др. Автор книги стихов «Темнота бела» (М.: Арго-Риск, 2009). Постоянный автор сайта «Новая Камера Хранения». Живет в Санкт-Петербурге.

Будь, кувшин, подвешенным
ближе к солнцу, видному
здесь едва-едва:

пусть теплеет, греется,
и не знает *крыжечки*,
но – слова, слова.

***

На всякий страх есть сосны у реки,
полёт шмеля, исполненный лучами –
всё прочее возьми и отсеки
от сказанного нами.
Пусть голос лишь себя, себя возьмёт
из множества молчаний о пропетом –
над бездной, в нужной музыке без нот
себя сыграет светом.
Держась за звук, протянутый до нас,
не устрашись, о музыка в июле,
ни скрипа сосен, ни обрыва фраз
в шмелином чистом гуле.
Побудут нами берег и река,
пока полёт продлится ниоткуда,
пока полоска тёмная легка
летящему отсюда.

***

Если сердце – низовье речи,
вытекающей в мрак человечий,
пусть я стану не мель, но брод –
пусть поверивший перейдёт.

Он стоял на словах о Боге –
отчего-то промокли ноги:
отсыревшая голова
не сдержала любви слова.

Как смыкаются речью губы!
Поцелуй есть молчание, зубы
заломивший, как холод дна:
много волн, а река – одна.

Далеко и нельзя – до моря,
утопающего в разговоре;
нужен берег, и берег – вот:
замолчавший спасенье рот.

***

Кириллица, как воск, течет
к изножью пламени, а там
что сквозь шипение увидишь?
Мое лицо иль этот свет?

Бери же жгучей каплей все –
и снова не отдерни рук;
доской скрипящей под ступнями
поболе пламени – побудь.

Перил горящих под рукой
изношен, вьется фитилек,
тоска ли льнет к озябшим пальцам?
Оно ли лестницей идет?

Оно легко идет наверх
и с ношей пламени, и так,
то скатится опять к началу
гори, гори, моя, то – нет.

***

Заёрзали льдинки на языке,
нежнейший рождая морс,
и детскому рту сказали они:
скорее захолони.

А рот не согласен, и рот – раскрыт,
и слово словам твердит:
я знаю, к чему приводит отжим
воды – так скорей, бежим;

уж набраны в марлю былых небес
те ягоды, из каких
нам выпить себя, разбавленных на
две трети – уходом сна;

склонившейся горечью рождены,
и вяжут, не дав уйти,
и тот стебелёк исхлещет, как плеть,
коль не захотим теплеть.

***

В хитиновом брюшке *серьёза*
– о, как он лапками сучит! –
размокшая метаморфоза,
изнаночный древесный щит.

Ты дерево, ты беззащитно,
и в окружении колец
который год тебе не видно,
как благоденствует подлец.

А он живёт в тебе, и дует
на пыль источенных лучей,
но пыль влажна, и всё – впустую,
и всё – лишь листик на плече.

Упавший листик обезвожен,
но словно дерево судьбы,
теперь он заново возможен
(пока летел, едва ли был).

Сергей ДИГОЛ

Мои пыльные ноши

Рассказ

– Документы!

Ну, еще бы! На что еще можно рассчитывать, нарвавшись на вынырнувшего из подворотни – совсем как уличный воришка, а не служитель закона – полицейского. Особенно после всеобщего, в масштабах двух кварталов, подозрения, которое передавали, словно эстафетную палочку, три совершенно не связанные друг с другом группы людей: четверо алкашей за столиком на веранде пивнушки, из которых одна – женщина, двое курильщиков на балконе третьего этажа, забывших, пока я был в поле их зрения, о необходимости поддержания ритмичного характера затяжек, и даже пассажиры проехавшей мимо маршрутки, послушно, как хор марионеток, вытянувшие шеи, чтобы впечатать в меня свои взгляды. В меня, кишиневского офис-менеджера по имени Сергей, время от времени отклоняющегося от воображаемой прямой линии, которую можно провести, задумай кто-нибудь разделить тротуар, подобно проезжей части, на полосы встречного движения. Попробовал бы кто не отклоняться, когда в плечо, словно пыточными клещами, впивается всеми, должно быть, сорока килограммами скрученный в рулон и криво сложенный вдвое огромный ковер из большой комнаты.

Попробовал бы полицейский, будь он хоть распоследним лейтенантишкой, не остановить человека, несущего ковер прямо по улице. Этот остановил. Хотя выше лейтенанта, судя по погонам, действительно не поднялся.

– В химчистку, – говорю я в ответ на требование показать документы и киваю на ковер, что в моем положении – плечи перекошены, правая рука затекла от поддерживающего объятия – выглядит как тычок ухом в колючую изнанку ненавистного груза.

– Документы, – повторяет лейтенант. Потише, но более отрывисто, отчего требование окончательно переоформляется в приказ.

– Дома, – честно признаюсь я, но развести руками, естественно не могу. – А в чем, собственно...

– Это тоже оттуда? – тычет пальцем в ковер полицейский.

– Сами-то как думаете? – перекашиваю брови я, предъявляя блюстителю порядка недовольное лицо – безупречное алиби непривыкшего к переноске подобных грузов тихого обывателя.

– Откуда я знаю? – обнаруживает отсутствие какой-либо версии полицейский, правда, лишь для того, чтобы все-таки предъявить в решающий момент, совсем как джокера из рукава, собственную, ради которой он меня и притормозил, – может, украли.

– Идемте вместе, – предлагаю я компромисс.

И то правда, химчистка-то за углом, и разочарование от собственной ошибки лейтенанту будет чем скрасить. Хоть бы мыслью о том, что времени на констатацию ошибки потрачено всего ничего.

Шмыгнув носом, лейтенант решает не сдаваться.

– Это, кстати, вариант, – веско говорит он. – Сдать и через неделю забрать.

Сергей ДИГОЛ родился в 1976 году в городе Каушаны, Молдавия. Окончил исторический факультет Молдавского государственного университета, аспирантуру Института истории Академии наук Молдавии. Имеет ряд исторических публикаций в научных изданиях Молдавии, России и Румынии. Живет в Кишиневе. С 2005 года – в рекламе, является креативным директором ведущего брендингового агентства Молдавии. Автор двух романов, повести и около десятка рассказов. В литературном журнале публикуется впервые.

– Через две, – автоматически поправляю я и внезапно чувствую в себе тяжеленный свинцовый прут вместо позвоночника, – вернее, через двенадцать дней. Мне так сказали по телефону.

– Не важно, – отрубает он. – Тем более. Значит, две недели, пока ковер в розыске, попробуй догадайся, что вор прячет его в химчистке.

– Какой вор? – недоумеваю я, слыша шум в ушах.

– Прячет в химчистке, – невозмутимо продолжает лейтенант, – а через две недели, когда у нас на участке уже конкретный головняк, когда последнему дураку ясно, что это – очередной висяк, ты, значит, – ткнув пальцем в ковер, переходит он на личности, – спокойненько так забираешь ковер. Между прочим, уже чистый. Можно продать как новый, так ведь, бродяга?

У меня невольно расползается рот в кривой улыбке. Он совсем идиот или притворяется, думаю я, пробежавшись глазами от родинки на носу лейтенанта, через бритвенный порез под нижней губой, до бледно-розового пятнышка на белом, как и вся остальная рубашка, плече, у самого погона.

– Чего пялишься? – резко кивает он головой вперед, словно хочет врезать мне собственным носом. – Документы, я сказал!

Внезапный треск рации, словно пропущенный через динамик храп, заставляет меня вздрогнуть, так, что я охаю от боли в свинцовом позвоночнике, через который будто пропустили электрический разряд. Да он с бодуна, понимаю я, заметив воспаленную красноту глазных белков лейтенанта. Полицейский бросает на меня полный ненависти взгляд: из-за густейших сеточек сосудов на белках зрелище, надо признаться, устрашающее. Его можно понять: из хозяина положения он в одно мгновение превращается в подневольного – рядового исполнителя приказов даже не видимого, но весьма властно рокочущего из рации голоса старшего по званию.

Самое время вытереть пот со лба: полицейский сваливает так же внезапно, как и возникает, успевая насолить мне лишь какой-то словесной гадостью, которую он выдавливает вполголоса и сквозь зубы – из-за включенной рации, конечно, – и смысл которой из-за усиливающегося шума в ушах и треска в спине я так и не улавливаю. Да я и не стараюсь, устало смирившись с гораздо более близкой мне проблемой: пот я могу вытереть лишь свободной рукой, в крайнем случае, потершись головой о ковер – горячий, колючий и, между прочим, насыщенный квадриллионами пылинок, ради избавления от которых мне и выпал столь незавидный жребий – кренiться под тяжестью скрученного в гигантский неуклюжий рулон шедевра ткацкого искусства. Будь моя шея обмотана широким вафельным полотенцем, неразборчиво-жадно впитывающем любую жидкость, я вряд ли почувствовал бы значительное облегчение: на моем теле, кажется, не осталось сухого уголка. Пот везде, можно сказать, что я сейчас – это пот с плотью и кровью внутри.

Я даже не уверен, на что первым делом обращает внимание тетка, сидящая за широким, больше похожим на прилавок, столом в небольшой комнате в химчистке с двумя, помимо входной, смотрящими друг на друга дверьми: на ковер, на меня или на пот. В смысле, на довольно крупные капли, срывающиеся с моего подбородка, рук и ног и падающие прямо на серый плиточный пол.

Чуть не уронив ковер, я застреваю в узком дверном проеме, чувствуя противно липнущие к телу футболку и болоньевые шорты. Нескольких мгновений мне хватает, чтобы, страшно сотрясая ковром легкую пластиковую дверь со стеклопакетом (тетка-приемщица издала предупредительный звук, похожий на звук рвоты), вырвать ковер из дверного плена, а заодно вырваться самому, успев заметить приклеенный прямо на стекло входной двери листок, исписанный кривыми печатными буквами.

ДЕВУШКА СНИМЕТ КВАРТИРУ.

Пот заливает глаза, я просто пла́чу по́том, что не мешает мне сделать единственно возможное заключение из трех небрежно нацарапанных слов. Вряд ли объявление на двери появилось без согласия тетки в бледно-синем, словно выцветшем, халате за столом-прилавком. Женщины неопределенного возраста, от сорока до шестидесяти пяти, принадлежащей к редкой, как рептилия, категории сотрудниц государственных учреждений, одного взгляда на которую достаточно, чтобы предугадать, чем все закончится: хамством и выброшенными за мерзкое качество деньгами.

При этом, если не считать причиненного беспокойства, из которого тетка извлекает моральную выгоду – ощущение собственной власти над молодой коллегой, – можно сказать, что объявление никак ее, тетку, не касается.

И пока приемщица, вдавливая ладони в прилавок, с аномальной для земной гравитации тяжестью отрывает свой зад от стула и морщит лоб, давая понять, что за расшатанную ковром дверь мне в любом случае придется ответить, в боковом, ведущем в, похоже, еще более тесную комнатушку, проеме я замечаю ее. Теткину молодую коллегу, в отношении которой я готов держать два пари одновременно. Первое – что квартира требуется именно ей и второе – что моим мысленным определением, «молодой коллегой», ее никто никогда не называет. Виорикой там, или Леной, а то и просто «эй-ты-там-как-тебя» – это уже теплее. В редких случаях, только чтобы представить посторонним, ее поднимают до уровня «нашей швеи Виорики». Ну, или Лены, какая разница.

Пока поднявшаяся с насиженного места тетка, поджимая губы, молча тычет в прилавок и я, также бессловесно кивнув, облегченно сбрасываю на него ковер, в соседней комнатушке швея Лена-Виорика-эй-ты-как-тебя, с короткими, наполовину скрывающими шею темными волосами, в черных брюках и белой блузке, возится со швейной машинкой, явно пытаясь вернуть упрямому механизму стрекот пробивающей ткань иглы – привычный звуковой фон, который мне за минуту присутствия в приемной химчистке слышать пока не удалось.

Шумно выдохнув, я, наконец, прибегаю к помощи второй руки, чтобы вытереть лоб и одновременно думаю о том, что о девушке-швее я осведомлен гораздо лучше, чем она обо мне. Доказательства? Лучше начать бы с того, чего она обо мне не знает. Даже очевидная дедуктивная ниточка – ковер – за которую обязательно зацепился бы восторженный поклонник Конан Дойла, обрывается без усилий: безупречная методика мистера Холмса рушится от одного небрежного удара путаных рассуждений едва протрезвевшего кишиневского лейтенанта. Кто скажет, не украл ли я в самом деле этот растреклятый ковер?

Про юную же швею можно с уверенностью сказать гораздо больше. Например, что она – приезжая уроженка одного из сорока молдавских районов, какого конкретно – вряд ли важно для опровержения следующего очевидного вывода. А вывод в том, что она, эта пока еще безымянная швея – в крайне затруднительном положении: без жилья при низкооплачиваемой работе. Не удивлюсь, если она ночует здесь, в химчистке, прямо на столе-прилавке, по-хозяйски занятым сейчас принесенным мною ковром.

– Вы сами-то его мерили?

Повертевшись у ковра, тетка-приемщица раскрывает карты. Измерять пока еще свернутый в рулон ковер для нее – смерти подобная изнанка ее профессии, поэтому она (типичная для простецких хамов история) легко и безболезненно переживает переход от надменности до заискивания.

– Может все-таки мерили? – улыбаясь золотом, щурится она мне в глаза, для наглядности демонстрируя поднятую в руке рулетку.

Кивнув одними веками, не потому, что соглашаюсь поучаствовать в своего рода ролевой игре и принять на себя, пусть и временно, роль надменного барина, а потому, что просто устал, я достаю из кармана маленький листочек.

– Пять двадцать на четыре шестьдесят пять, – диктую я, а тетка, достав из стола калькулятор, быстро щелкает по клавишам.

– Двести тридцать леев, – подытоживает она и теперь, когда помощи от меня больше не требуется, категорично тычет рукой в дверь напротив комнатушки швеи. – Туда ковер занесите.

Я подхватываю ковер под мышку одновременно с чудесным воскресением застрекотавшей машинки: швея без определенного места жительства, наконец, справляется со строптивой механической иглой, которая вновь безжалостно пробивает угодливо подставляемую ей на расправу ткань.

Прекрасное получилось бы кино, прикидываю я, прислонив ковер к стене в комнатушке напротив и оборачиваюсь, чтобы убедиться в правоте собственного предположения. Так и есть:

ритмичное стрекотание иглы, плавные движения продвигающих материю ладоней с короткими пальцами и полусогнутая фигура швеи – совсем не мало для нового слова в порноискусстве. Мужская ладонь, скользящая по женской ягодице. Женская ладонь, сползающая со швейной машинки и на мгновение замирающая – с восторженно растопыренными пальцами. Камера, поочередно выхватывающая совокупляющиеся гениталии и гвоздящую ткань иглу. Все более увеличивающийся и без того крупный план. Быстрый оргазм зрителю обеспечен.

Нетрудно догадаться, почему мое воображение выступает на первый план, да еще с таким откровенным соло. Все дело, разумеется, в объявлении на двери. Нельзя сказать, чтобы я о нем забыл хотя бы на секунду с момента прочтения, но теперь между этим клочком бумаги и моим воображаемым порно-шедевром возникает что-то вроде связи, казалось бы, совершенно не связанных друг с другом вещей. Лампочки и собаки, к примеру. Что, кстати, доказывает, что академик Павлов был малый совсем не промах. «Лампочка» – партия швейной иглы вызывает слюноотделение «собачки» – мою чересчур откровенную фантазию, под которой – совсем как в эксперименте знаменитого физиолога – имеется вполне реальная база. Совсем как косточка для собачки.

В моем случае это объявления. Не кривыми буквами на обрывках бумаги: объявления на одном из кишиневских сайтов в разделе «Сдаю недвижимость».

ХОЗЯИН СДАСТ КОМНАТУ ДВУМ ДЕВУШКАМ.

Иногда я ловлю недоуменно-улыбчивый взгляд жены. Я просто делаю свое дело, не пытаясь ничего объяснить, а она, моя бедная Лиза, теряется в догадках, откуда у ее супруга, рядового офис-менеджера с окладом в сто пятьдесят долларов, по вторникам и четвергам, после обычных мучительных будней, берется такая прыть. Мы скрипим кроватью до пяти часов кряду, до шести раз подряд и останавливаемся лишь по ее инициативе: излишняя активность на пятом месяце беременности противопоказана. Хотя, разве пять часов – это норма?

Потом жена ложится на бок, уже изрядно округлившимся животом ко мне, и до того как с головой окунуться в сон, я вижу ее взгляд, как бы продолжающий падающий из окна лунный свет. Представляет ли она стриптиз, который мне на работе устраивает воображаемая коллега-поклонница, чрезвычайно загруженный менеджер, начальница отдела с непроизносимым названием, для которой в силу особенностей рабочего графика вторник и четверг – что-то вроде разгрузочных дней для обжор, когда у нее находится время вспомнить, что она женщина и продемонстрировать мне это во всей красе? Если так, то супруге стоит мысленно поблагодарить свою же выдумку за наши незабываемые ночи. А еще – молча погрустить об упущенном времени: оказалось, что из нашего брака нужно было вычеркнуть первые пять лет, чтобы я, наконец, превратился в безотказную сексуальную машину.

Презрение или сочувствие? А может, беззаботное безразличие с таким привлекательным фасадом – ее заразительным смехом? Что, черт возьми, выкинет Лиза, если узнает причину моей цепной – возбуждение, не прерываемое эякуляцией – эрекции? Фыркнет, засюсюкает или неудержимо рассмеется?

КВАРТИРУ ПОСУТОЧНО И ПОЧАСОВО.

И так каждый вторник и четверг – дни, когда обновляется посвященная недвижимости рубрика. Даже открывая сайт, я чувствую напряжение ниже пояса, что уж говорить о чувствах, которые едва не выплескиваются из меня – ну да, прямо в трусы – когда весь список, да еще с возможностью прокрутки, светится на моем рабочем мониторе. Все эти «посуточно» и тем более «почасово», намеки, которые даже двусмысленными не назовешь, подогревают мне мозг как хороший алкоголь – незаметно и до полного опьянения, и к окончанию рабочего дня я уже чем-то напоминаю тигра в зоопарке. Чем? Да хотя бы яростью обделенного сексуальной разгрузкой хищника.

В отличие от полосатого неудачника, свой куш я все же срываю. Тем же вечером, изрядно потерзав собственную тигрицу, супругу Елизавету, которая если еще и удивляется, то не моему внезапно и без остатка подчинившему остальные части личности либидо, а его чудному, но непререкаемому вторнично-четверговому графику.

Лежа на боку и глядя в отбрасывающие лунный свет Лизины глаза, я улыбаюсь – про себя, конечно, – мысли о том, что воображая мои служебные романы или, по крайней мере, служебный флирт, жена не так уж далека от истины.

ХОЗЯИН СДАСТ КОМНАТУ ДВУМ ДЕВУШКАМ.

На это объявление я натыкаюсь третий месяц подряд, но впервые ловлю себя на том, что не могу оторвать взгляда от задницы удаляющейся по просторному холлу нашего офиса Элеоноры Андреевны, пятидесяти с чем-то летней бухгалтерши, открыв тем самым для себя еще более действенный, чем объявления о почасовой аренде, стимулятор.

Как они только клюют на это, недоумеваю я, представляя двух студенток-провинциалок в поиске съемной жилплощади. Куда уж яснее – «ХОЗЯИН». Не «ХОЗЯЙКА» – старая, жадная, ворчливая, но все же женщина, доверие которой возможно завоевать лишь на основе денежных отношений. С «хозяином» финансовая экономия выглядит куда более реалистично, но истинные филантропы давным-давно вымерли, а значит, студенткам не избежать иных форм оплаты, а значит, доходит до меня, девушки сами хотят таких отношений, они – как перехватчики радиоволн, выцеживающие из океана информации лишь одно интересующее их сообщение, расшифровка которого означает предопределенность их дальнейших действий.

ХОЗЯИН СДАСТ КОМНАТУ ДВУМ ДЕВУШКАМ.

Две девушки – двойная экономия для них самих. И двойное удовольствие для «хозяина».

Все же интересно, что сказала бы Лиза, узнав об источнике моего интимного вдохновения.

А главное – что бы она подумала, узнав, что одно из объявлений в разделе недвижимости размещено ее мужем.

***

Прогулка от химчистки до рышкановского озера – прекрасная возможность прочистить легкие. А еще – выяснить, не развеется ли, как туман над прудом, которым в лучшем случае и является за неимением настоящих озер темно-зеленый водоем на Рышкановке, эта фантастическая перспектива – сто долларов (даже не евро!) за двухкомнатную квартиру в десяти минутах ходьбы от работы. В доме на берегу рышкановского пруда.

– Так здорово! – восторгается она.

Во взгляде швеи я пытаюсь уловить знание, на худой конец подозрение. Но нет – ничего, кроме захлебывающегося восторга, абсолютной веры в свое счастье: обычная вещь для тех, кто счастья никогда не испытывал. Безумный взгляд пятнадцатилетней фанатки Битлз из шестьдесят пятого года.

– Совсем рядом! – восклицает швея. – А вторая квартира, ну в которой вы живете, она тоже рядом? – делает логичный вывод она, вспомнив про ковер.

К вопросу я готов, поэтому не беру даже секундной паузы на раздумье, не говоря уже о таких глупостях, как ступор и стыдливая краснота на лице.

– Неееет, – нарочито беззаботно растягиваю я и чуть небрежно улыбаюсь. – Это далековато. На Ботанике.

Больше ничего не объясняю, дожидаясь ее недоуменного «а как же?».

– А как же? – недоумевает она и замолкает. Наверное, представила меня протискивающегося с ковром в маршрутном такси, тычущего огромным свертком в пассажиров, у которых в тесном салоне микроавтобуса нет ни единого шанса избежать столкновения с моим тяжелым попутчиком. Что дает им право, которым они незамедлительно пользуются: возмутиться во весь голос, причем в адрес подобравшего меня водителя. Который, чтобы хоть как-то компенсировать неудобство пассажирам, берет с меня три лея за ковер как за дополнительного пассажира. Как ни странно, после этого недовольные смолкают.

Словно изгоняя из воображения эту картину, швея трясет головой. Зачем, в самом деле, мне переться с ковром из другого конца города, когда сеть муниципальных химчисток опутала весь город и кому, как не ей, знать, что аж две из них расположены на Ботанике?

– Ковер – бабушкин, – поясняю я. – Вот она действительно рядом живет.

Швея понимающе кивает, и мне кажется, что в ее взгляде мелькает тень сочувствия к моей выдуманной бабушке. Представила, должно быть, старушку с палкой, слезно вздыхающей под фотографией давно покойного мужа. Впрочем, так же быстро девушка возвращается в состояние эйфории – затягивающее состояние, в особенности для тех, кому редко выпадает повод впасть в него.

– Сто долларов? – все еще не верит она.

– Долларов, – подтверждаю я.

Задерживаю свой взгляд на ее лице чуть больше, чем нужно для ответа и, наконец, замечаю ожидаемую реакцию – чуть заметный испуг в глазах. Она поджимает губы, глядя перед собой. Даже ее, приезжую из глубинки, если такое определение применимо к крохотной Молдавии, начинает смущать комичная цена, свидетельствующая о двух, одинаково неподходящих ей, вариантах: квартира либо «убитая», либо ее владелец ненормальный. Она – ну наконец-то! – одаривает меня взглядом, не оставляющим других трактовок. Взглядом, которым принято смотреть на ненормальных. Кстати, маньяки ведь тоже относятся к последним.

– Так здорово! – повторяет она, и я вижу, как ее лицо накрывает тень бледности.

Дошло.

Ею овладевает отчаяние, ей, глупенькой молодой швее, сейчас представляется гильотина, которая, стоит лишь переступить порог квартиры, еще минуту назад казавшейся ей чем-то вроде выигрыша без участия в лотерее, со смертельным свистом обрушится прямо с потолка. Или она видит себя прилипшей к полу, вымазанному моментальным клеем, или, что совсем уж банально, представляет, как я заталкиваю ее в квартиру и до того, как она попытается издать крик, захлопываю дверь и намертво сковываю руки на ее тонкой шее. В этот момент ей уже все равно, что делать – содрогаться от мерзопакостной атмосферы квартиры или приятно удивляться свежему ремонту. Дело даже не в том, что у исходящей в предсмертном крике швеи не остается времени, – сама ситуация как бы исключает интерьер из сферы внимания, когда твою шею сдавливают чьи-то безжалостные руки.

– Вот здесь, – говорю я, указав на двухэтажный мрачный дом.

Заметив оживление во дворе дома, швея наивно вздыхает. Ее не смущают стреляющие взгляды смолкающих при виде нас местных сплетниц, она согласна сойти за проститутку, только бы не чувствовать смертельно опасного одиночества. Один на один со мной, с неизвестностью, со страхом.

Будь у моей спутницы чуть более развитое логическое мышление, она бы сообразила, что полный двор соседок не гарантирует ей неприкосновенности. Скорее наоборот: у ее истошного крика куда больше шансов быть услышанным теми, кто не спешит отдать себя ленивому сентябрьскому солнцу и полным открытий беседам с соседями. А таких, судя по бурлению во дворе, совсем немного.

Впрочем, предсмертные крики швеи так и могут остаться фантазией, как и мои предположения о ее опасениях. Возможно, так я скрываю некоторое волнение, от которого не в состоянии избавиться сам. Как бы то ни было, полдела сделано. Мы входим в квартиру.

***

– Почему не говоришь жене? – допытывался отец. К моему счастью – по телефону.

– Хочу сделать сюрприз, – отвечал я, стараясь не думать о том, как отнесется Лиза к тому, что сюрприз скрывали от нее почти год.

Надо же, целый год прошел!

Прошлой осенью, таким же солнечным сентябрьским днем умерла папина сестра, тетя Люда, которую мне так и не довелось увидеть живой. Между прочим, в молодости она была весьма хорошенькой – открытый взгляд, чуть вздернутый нос, полная нижняя губа. Впервые в жизни

я видел слезы отца – он плакал, показывая мне потрепанный фотоальбом, где старшая сестра, восемнадцатилетняя Людочка, строит рожки ему, десятилетнему братику Васе, угрюмому мальчику в школьном пиджаке и с сиротской челкой. Слезы отца не могли, однако, отменить его вины, которую, по правде говоря, я и не собирался на него возлагать. За наше с тетей запоздалое и, признаться, слишком уж одностороннее знакомство упрекать отца я не стал.

А все – счастливое стечение обстоятельств или, в подтверждение старой истины о том, что всякое добро для кого-то – зло, пожизненное проклятие несчастной тетушки, у которой кроме отца, с которым они разругались лет тридцать назад, как оказалось, до самой ее смерти.

– Даже не представляю, как она сейчас выглядит, – смахивал упрямые слезы отец, и в моем не менее упрямом воображении поселился восковый ссохшийся профиль мертвой старухи, особо зловещий из-за слабого света карманного фонаря. Могла ли тетя сейчас выглядеть иначе – после ее похорон минуло два месяца, – я не представлял, и, вероятно, моя версия была не самой страшной, особенно в сравнении с реальностью.

Разумеется, отец имел в виду совсем другое. Роняя соленые капли на старые фотографии, он, видимо, представил встречу, мысль о которой меня самого бросила в холодный пот. Несостоявшаяся встреча с сестрой спустя тридцать лет, встреча, которая могла бы закончиться непоправимо: отец и тетя Люда просто не узнали бы друг друга.

– Даже не представляю, – шмыгая, повторил отец, и я мысленно согласился с тем, что представить себе, как менялась тетя за последние тридцать лет, шансов немного: в ее опустевшей квартире не было ни одной фотографии.

Думаю, папа согласился бы даже на мой воображаемый вариант – вид бездыханного тела сестры, пусть и без возможности взглянуть, хотя бы в последний раз, в ее большие красивые глаза.

– Какого же цвета у нее глаза? – задумался отец и, не вспомнив, снова заплакал.

О похоронах нам никто не сообщил. Как, впрочем, и о смерти тети Люды. Ничего удивительного – смерть одинокого человека причиняет куда меньше горя окружающим. А тетя Люда, как выяснилось, умерла в одиночестве.

Зато собственных соседей тетушка напоследок побеспокоила, да еще как! Вряд ли они ожидали от одинокой шестидесятитрехлетней женщины такого сюрприза – невыносимого запаха трупного тления, заполнившего собой подъезд, двор и даже часть липовой аллеи у пруда.

Когда спустя два месяца нас с отцом впустили в тетину квартиру, отсутствием даже намека на трупный запах я был удивлен не менее, чем расположением дома: оказалось, что с папиной сестрой нас отделяли двадцать минут неспешной ходьбы, во всяком случае, так продолжалось почти шесть лет с тех пор, как я переехал жить в квартиру жены.

Тетина смерть означала ее окончательное примирение с отцом: папа был бы крайне несправедлив, не освободив сердце от бремени обиды по отношению к женщине, от которой, за неимением у тетушки другой родни, ему досталась небольшая, но все же двухкомнатная кишиневская квартира.

Сам отец давно перевез маму, а заодно переехал сам в Сумскую область Украины, в поселок Емадыкино, название которого меня всегда смешило, поэтому на расспросы о месте жительства родителей я всегда ограничиваюсь названием области. Восемь лет назад папа единолично унаследовал там от бабушки дом, двенадцать соток земли и восемь деревьев черешни – красноречивое свидетельство того, что в многолетней ссоре с сестрой правда была не на стороне последней. А может, у покойной бабушки, как у любой хотя бы дважды рожавшей матери, был ребенок-любимчик, и потому вину за размолвку чад она, ни с кем не посоветовавшись, всецело возложила на дочь.

У отца подобного выбора не было, поэтому за порог квартиры тети Люды мы впервые ступили вдвоем: он – как наследник формальный, я – как фактический.

– Неудобно будет, – объяснял отец свое решение переписать едва унаследованную жилплощадь на меня. Разумеется, он имел в виду невозможность быстро распоряжаться квартирой на

расстоянии, а идею о возвращении в Кишинев они с мамой категорически отмели, словно речь шла о переезде бывшего селянина из города назад в родную деревню.

– Хотите – продавайте, но лучше, наверное, сдавать, – осторожно, но настойчиво посоветовал отец.

Меня же волновало другое – как бы он не проболтался Лизе.

– Хочу сюрприз сделать, – уверял я его в необходимости попридержать информацию.

Отец с сомнением пожимал плечами, но Лизе так ничего не сказал. Ни полгода, ни год спустя, когда на его телефонные расспросы, более похожие на возмущение, я в очередной раз молол чушь о сюрпризе.

Не могу, впрочем, обвинить себя в полном бездействии. Скромное «Сдаю двухкомнатную квартиру», такое целомудренное в сравнении с прижимающими мое объявлениями, причем символически – сверху и снизу, жемчужинами сайта, так возбуждавшими меня намеками на безоговорочный интим (словно у половины города сорвало крышу на сексуальной почве) поначалу еще согревало меня надеждой. Месяца три, пока не стал стремительно иссякать поток потенциальных квартирантов, после чего оканчивавшаяся номером моего мобильного телефона строчка все больше походила на некий ритуальный долг, который я почему-то должен был исполнять перед всемирной компьютерной паутиной каждый вторник и четверг, без какой-либо гарантии результата, о сути которого я и сам уже начал подзабывать. Результат же каждый раз был один: безумные ночи с завороженной моей активностью женой и все более вялые потенциальные квартиранты, на которых даже двести пятьдесят долларов в месяц – смешная для двухкомнатной квартиры сумма – не производили такого впечатления, как сам вид квартиры: всегда, даже при включенном свете, полутемная, с крохотными комнатами и печального вида краном в ванной, совмещенной с туалетом, серая, как весь двухэтажный дом на берегу запущенного пруда. Всем подавай евроремонт – кодовое слово и нереалистичный для меня проект. Так же, впрочем, как и ремонт косметический, которым и отделывается любой здравомыслящий хозяин квартиры, накидывая цену как за пресловутый евроремонт.

Оставалась продажа квартиры, один из двух озвученных отцом вариантов и одновременно – не выход, по его же мнению. Я же почти не сомневался – Лиза будет настаивать на продаже, причем немедленной, несмотря на очевидные преимущества отсрочки такого решения хотя бы на пару лет, пока еще подрастут и без того высокие цены на недвижимость, а ежемесячные поступления от квартирантов лишь подтвердят папину правоту.

В некотором смысле я очень хорошо узнал супругу за шесть лет нашего брака. Во всяком случае, от идеи сдавать квартиру она, я уверен, легко бы меня отговорила.

– Я устала от нищеты, – говорила она менее чем через полгода после нашей свадьбы. Будто этим прозябанием она с рождения была обязана мне.

Дочь одинокой учительницы, отец которой никогда не был мужем ее матери. Серое детство без голубоглазых, как у подружек, кукол, юность – без ярких нарядов, молодость – без богатеньких кавалеров.

– Как мы будем жить? – спрашивала она.

Поначалу я еще отвечал, что-то о том, что все наладится, но она решительно перебивала, и постепенно ее вопросы стали встречать единственно возможный ответ.

Тишину.

Как ни странно, молчание срабатывало лучше слов.

– Молчишь? – горько улыбалась жена и отворачивалась, чтобы не видеть мои так и не разомкнувшиеся губы.

Вздумай я ответить «да, молчу», не представляю, до чего бы мы с ней дошли. К счастью, я ни разу так не сказал. Я выдерживал пятнадцать минут – время от смертельной обиды жены до смирения, в котором, подозреваю, еще теплилась надежда, что мое молчание скрывает усиленную работу мозга по выходу из этого проклятия – нашей вечной бедности. С годами моя манера отвечать, а вернее, не отвечать на самые трудные Лизины вопросы стала не только привычкой, но

даже своего рода психологической разгрузкой для жены. Она свыклась со мной молчащим как с чем-то необходимым, а значит, я одержал верх.

Устроил бы ее молчаливый ответ, узнай она о квартире? Я не рассчитываю на ее одобрение, как не думаю, что сдача квартиры внаем способна вызвать у нее восторг, когда вот она, совсем рядом – мечта о внезапном богатстве. Квартира на продажу в двадцати минутах ходьбы.

Пока же за квартиру приходится расплачиваться. Разумеется, отцу – ведь это он настоял на, как оказалось, мертвом варианте сдачи внаем. Впрочем, расплачиваемся и мы: пятьдесят долларов, которые они с мамой отправляют на мое имя раз в три-четыре месяца, целиком уходят на оплату коммунальных услуг простаивающей квартиры.

Свет в бывшей тетушкиной квартире я включаю только для особо придирчивых посетителей, которым вечерами, видите ли, не рассмотреть комнаты в сумерках. Воду не расходую, газ тоже, но за электричество и телефон плачу – просто для того, чтобы не отключили. Так же, как и за выставляемый ЖЭКом счет, какую-то ерунду за уборку, ремонт и обслуживание дома – незаметные, даже при самом благодушном рассмотрении, виды домкомовской деятельности.

С каждым новым звонком в голосе отца все громче звенело раздражение.

– Почему не говоришь жене? – почти срывался на крик он и, как мне представлялось по эту сторону провода, краснел.

Ему было за что винить себя, и он это знал.

В конце концов, эти несчастные пятьдесят долларов в квартал могут быть потрачены на подарки внукам.

Которых у отца аж двое.

***

И зачем я только вышел из химчистки? Все ведь было понятно и так, и пока я, словно рисуя собственными следами гигантскую петлю, обходил дом, в подвале которого у меня приняли на чистку ковер, мой план не обогатился ни одной дельной мыслишкой. Да что там – вообще ни одной, кроме сожаления о потерянном времени.

А еще – опасением, что за десять минут этой необязательной прогулки ищущая квартиру девушка может решить свою проблему и без меня.

С другой стороны, это мое стремительное возвращение выглядело не с ходу объяснимым, поэтому было бы неплохо иметь про запас какой-нибудь предлог. Можно было приврать про ключ от тетиной квартиры – в конце концов, я не обязан носить его с собой – но тогда ситуация грозилась предстать в двойне подозрительном ракурсе. Ключ, как по заказу появившийся за какие-то десять минут, практически лишал меня шансов на конспирацию собственного места жительства, а я инстинктивно чувствовал, что рано называть вещи своими именами, а ковер – моей собственностью.

Так что договорились: никакого ключа я дома не оставлял, тем более, что это правда: ключ от тетиной квартиры всегда со мной, позвякивает, на равных правах с такими же звонкими соседями по связке, не вызывая и толики подозрений жены и не выделяясь среди еще полдесятка потемневших от старости ключей, которые ее муж не выбрасывает разве что из одних ему понятных суеверных соображений.

В подвал химчистки я спускаюсь с мыслью о том, что неплохо бы нахмурить брови, поэтому губы мои поджаты, а глаза, вероятно, задумчивы. Брови я все-таки хмурю, словно демонстрируя свое недовольство листку, безуспешно пытающемуся прикрыть собой – крошкой на дверном стекле – тетку-приемщицу за столом-прилавком.

ДЕВУШКА СНИМЕТ КВАРТИРУ.

На листок я щурюсь семь секунд, специально отсчитывая мгновения, достаточные, на мой взгляд, для того, чтобы женщина в синем халате не сомневалась в том, что по какой-то причине информация меня заинтересовала. А еще – убедить ее в том, что в первый раз объявление я не

заметил. Открываю дверь и слышу равномерный стрекот швейной машинки, в сторону которой стараюсь не смотреть

– А мы уже отдали в чистку, – говорит приемщица, поднимаясь.

Напрасно я так конспирировался – у тетки срабатывает своя программа, в сравнении с которой даже новость о конце света не приоритет. Алгоритм ее программы прост: ни за что не возвращать двести тридцать леев, уже уплаченных мной за пока не выполненную работу.

– Меня радует ваша оперативность, – не удержавшись от взгляда вправо, замечаю я свой ковер, не сдвинувшийся и на миллиметр от стены, к которой я его прислонил.

– Я же вам говорила, будет готов через двенадцать дней, – насупившись, но не покраснев, говорит тетка.

– Да я собственно... – небрежно взмахиваю рукой я, давая понять, что не за тем вернулся. – Подушки в чистку берете?

Хмурость на некрасивом лице приемщицы смягчается, как курага в кипятке.

– Ну а как же? – с веселым возмущением отвечает она.

– У меня штук пятнадцать, наверное, – вру я.

– Да хоть сто, – так же неискренне радуется тетка.

Кивнув, я разворачиваюсь и, открыв дверь, небрежно киваю на листок.

– Кстати, вам еще интересно?

– Квартира? – раздается за спиной голос тетки.

Машинка продолжает невозмутимо стрекотать.

Выдержав секундную паузу, словно чтобы набрать побольше воздуха в легкие, приемщица перекрывает шум машинки:

– Корнелия! – слышу я и, признаться, вздрагиваю.

Машинка же стихает беспрекословно.

***

Ммм, Корнелия...

Свое томительное воспоминание я разбиваю сам. Щелкнув замком собственной квартиры, тоже двухкомнатной, но с тещей, двумя сыновьями и женой, беременной третьим ребенком.

Футболка и шорты давно – и предательски – высохли, и теперь с деланной невинностью то и дело прилипают к покрывающему все мое тело непрочному клею, в который, высохнув, превратился заливавший меня пот.

– Ты где пропадал? – выпятив живот как дополнительный аргумент обвинения, выходит в прихожую Лиза. В ее голосе нет и толики беспокойства, ничего, кроме дымящегося фитиля гнева, что, впрочем, не является для меня неожиданностью: вообразив меня жертвой несчастного случая, она бы раскалила звонками мой мобильный телефон, который весь этот час, пока я с Корнелией улаживал вопрос ее заселения, послушно молчал, словно опасался навредить намечавшейся сделке. Вопрос Лизы – совсем из другой оперы: она окончательно добивает свое испорченное моим долгим отсутствием настроение, чтобы одним махом улучшить его, возродить, как птицу Феникс из пепла.

А заодно и вынести мне не подлежащий апелляции приговор.

В процессе надо мной участвует вся семья. Стоит мне открыть рот, – внезапный визит в химчистку сотрудников санэпидемстанции избирается из трех более-менее правдоподобных версий в качестве основного объяснения, – как на помощь маме спешит наш старшенький, пятилетний Максим. Он уже вернулся из садика (разумеется, теща привела) и теперь виснет на моей шее, слишком остро напомнив позвоночнику о двух обрушившихся на него за последние двое суток напастях: сегодняшнем ковре и вчерашнем мешке с картошкой, спуская который в подвал, я едва не переломил хребет ударом о чертовски узкий квадратный проем, ведущий в наше продуктовое подземелье.

– Папа! – вопит сынишка, и я невольно морщусь. Два пацана в квартире и одна девчонка – если не соврал узист – в животе супруги не приучили меня к тому, что отец – это я. Подчас мне даже хочется обернуться, чтобы увидеть за спиной собственного отца. Ведь это он, черт возьми, папа, я-то тут при чем?

С трудом оторвав от себя Максима, который все же не отстает и тянет меня – теперь уже за руку – в детскую комнату. В сотый, должно быть, раз посмотреть на огромную модель самолета, подарок Лизиного шефа. Самолет огромный, семьдесят пять сантиметров в длину, достоверная модель пассажирского Airbus-320. Мне такой не по карману – я не о настоящем самолете веду речь. Поэтому моя благодарность шефу супруги имеет оборотную сторону, особенно после того, как он пообещал Максиму, небрежно, словно вытирая ладонь, гладя ребенка по голове, что аэропорт ему купит папа. Я то есть.

Аэропорт я увидел в торговом центре, застыв напротив фирменного отдела немецких игрушек. Я стоял метрах в пяти, оглядывался по сторонам, делая вид, что кого-то жду и бросал взгляд на огромную коробку с изображением здания аэропорта, взлетной полосы, трапа, всевозможных радаров и даже игрушечных носильщиков с тележками. Представив, как Лизин начальник второпях, особо не задумываясь, тычет перед засуетившейся продавщицей пальцем в первую попавшуюся на глаза игрушку, модель самолета, я отыскал посреди всего этого великолепия на коробке с аэропортом внутри то, ради чего, собственно, изображал из себя нетерпеливого ожидающего. Ценник в самом углу коробки. Аэропорт, хотя и не должен следовать за самолетами, оставаясь их надежной пристанью на земле, взял, тем не менее, недостижимую для меня высоту – на двенадцать леев больше моего месячного оклада.

Неудивительно, что теперь меня каждый раз кидает если не в пот, то в дрожь, когда я слышу слово «аэропорт», обычно в телевизоре (в нашей семье давно никто не летает), и если рядом оказывается Максим, то катастрофы не избежать. Ребенок молча застывает, будто попав под воздействие заклинания, чуть подергивает нижней губой и, наконец, разряжается наводнением из слез, одновременно обратив заплаканное лицо к первому оказавшемуся по близости взрослому. Если взрослым оказываюсь не я, эхо детской истерики все равно достигает моих ушей, расплющивает меня, как набравший вес и скорость снежный ком. Сегодня, несмотря на мою очевидную вину – необъяснимо долгое отсутствие, – история повторяется.

– Ты же обещал ребенку аэропорт! – цедит сквозь зубы Лиза.

Держу пари, теща нажаловалась. Прожужжала беременной дочери все уши и свалила из квартиры, подальше от двух основных раздражителей: моего молчания и моего слишком красноречивого взгляда. Иногда я ловлю себя на том, что готов все рассказать жене про тетину квартиру, но лишь при одном условии – сослать туда на вечное поселение тещу. Меня явно поражает избирательная амнезия, я будто забываю о том, на чьей жилплощади мы, собственно, обитаем, и не придется ли скорее нашему маленькому табору переселяться на берег рышковского пруда, оставив, наконец, в покое мою нервную тещу.

Еще я готов поручиться, что теща соврала – никаких концертов Максим не устраивал. Сегодня, по крайней мере. Я вижу это по его глазам, они вздрагивают, как от выстрела на последнем с презрением выдавленном из себя слове жены – проклятом кодовом слове, на которое Максим не стал бы реагировать так болезненно, услышь он его с час назад.

Сейчас же наша маленькая живая бомба готова детонировать исключительно по вине супруги, что, разумеется, не убережет меня от кары. Губа Максима подрагивает, в глазах застывают готовые политься не в три, а во все тридцать три ручья слезы, и в моей голове, как у какого-нибудь чокнутого предсказателя, мелькают картинки из ближайшего будущего: округлившийся в истошном крике рот Максима и вступающий спустя несколько мгновений с собственной партией трехлетний Олежек, который пока еще занят в большой комнате конструированием своей первой железной дороги, доставшейся, пусть и не в полном комплекте, от утратившего к старой игрушке интерес брата.

– Максим! – повышаю я голос, пытаясь предотвратить захват детской половины семьи империей слез. Сделай я то же самое на улице, за мгновение до того, как супруга заметит выехавший

навстречу беззаботно разъезжающему на велосипеде Максиму автомобиль, в мою копилку благонадежного отцовства со звоном упал бы редкий золотой жетон. Сейчас же моя репутация рассыпается, как карточный домик, который, как и отношения с сыном, нужно выстраивать заново. И все из-за моментальной реакции жены.

– Не смей на него орать! – орет на меня она. Ее глаза, кажется, готовы вылететь из орбит, только бы залепить мне рот.

А еще мне кажется, что мы словно два разных человека – я и тот счастливчик, который каждый вторник и четверг превращает эту брюхастую фурию в округлую мягкую кошечку.

Долго третировать меня Лизе не удается. Из-за Олежки, хныканье которого из комнаты свидетельствует о том, что ребенок подрос достаточно для того, чтобы не во всем подражать старшему брату. Напоследок наградив меня взглядом, каким одаривает свежеиспеченная сирота фашиста, только что на ее глазах расстрелявшего всю семью, Лиза уходит в комнату, словами успокаивать младшенького, а мыслями – его будущую сестренку, которая всегда, стоит жене хоть немного понервничать, начинает выбивать дробь по внутренней поверхности ее живота.

– Я тебе куплю аэропорт, – присев на корточки, умоляю я Максима не поддерживать брата, – вот зарплату получу и куплю.

Отворачиваясь, ребенок кивает, но я все же замечаю, как из левого глаза, не удержавшись, пускается в путешествие по его нежной щечке одинокая струйка. Максиму не впервой выслушивать пустые обещания. В прошлый раз я говорил: вот съездим на море и купим. На море мы не съездили, денег на четверых не хватило. Дочку в животе, так и быть, не считаем, хотя и следовало бы: дорогие медикаменты для жены, а еще икра и мед, которые она никогда особо не любила, но без которых не может обходиться сейчас, вычеркивают значительную часть наших с ней заработков.

Да-да, наших. Жена, хотя и на седьмом месяце, все еще работает, переводит на английский и обратно и в принципе могла бы заниматься этим, не выходя из дома. Увы, ее директор, тот самый, что подарил треклятый самолет с выдвигающейся дверцей, багажным отделением и съемной крышей, открывающей вид на пассажирский салон, кабину пилотов и даже туалет, директор, заявляющийся к нам три раза в год почетным гостем на дни рождения к жене и детям (с рождением дочери ему предстоит перейти на четырехразовый график), не отступает от своего основного правила, нарушение которого грозит немедленным увольнением даже беременным сотрудницам, увольнять которых запрещено по закону. Работать, гласит это правило, нужно исключительно в офисе, по меньшей мере восемь часов в сутки, иначе зачем, черт возьми, он этот самый офис снимает, да еще в Доме печати, дорогущем для аренды здании в самом центре города?

Постоянное напряжение в животе супруги еще и из-за этого – страдающего отсутствием гибкости, несмотря на ее положение, графика работы. Восемь часов в день – чистая формальность, ведь Лиза обычно задерживается на час-полтора, когда все уже уходят и делает то, ради чего дожидается ухода коллег – собственные «левые» заказы.

За детьми в детский сад Лиза теперь редко успевает, и я, сидя на своем офисном стуле, как на сковородке, обычно под вечер ловлю себя на том, что думаю о теще с не меньшей нежностью, чем о собственной матери. В конце концов, это мне пришлось бы ежедневно совершать невозможное, срываясь с работы, чтобы успеть за нашими мальчишками до тех пор, пока собственными слезами они не доведут до слез нянечку, вынужденно продлевающую свой рабочий день ради развлечения двух забытых родителями братиков, так похожих в эти мгновения на беззащитных сирот.

Выручает теща, презирающая меня по меньшей мере по двум причинам: из-за так и не прервавшейся бедности дочери и молчания, которым я неизменно отвечаю на ее подковырки. А еще из-за того, что Лиза, несмотря на искреннюю ненависть, все еще хочет быть со мной.

Я же большую часть времени – с девяти до семи – просиживаю в офисе, по тридцать раз соединяя шефа с такими же шефами, у которых имеются такие же, как я, офис-менеджеры, или просто секретари. Приношу кофе по утрам и чай после трех, и моя незаменимость гарантирована хотя бы расположением офисной кухни – в полуподвале трехэтажного особняка, на последнем этаже которого, словно Господь Бог, в своем кабинете над нами нависает директор, минуты кото-

рого стоят слишком дорого для того, чтобы тратить их на беготню за горячими напитками через шесть лестничных пролетов, пусть и всего лишь дважды в день. Вот и получается, что ровно в десять тридцать утра (раньше шеф не появляется), с вежливой паузой в одну-две минуты, вслед за ним в его кабинете появляюсь я, с дымящейся кофейным ароматом чашкой и сахарницей на серебряном подносе.

Лучше бы я приносил что-нибудь посущественнее чая, и не на подносе, а жене под нос. Вернее, под пузо, требующее постоянной еды. Может, поэтому я, возвращаясь с работы, и не заговариваю об ужине.

Вот и сегодня, успокоив Олежку, жена ничего такого не предлагает. Выходит из комнаты и, напрочь утратив ко мне интерес, словно уверенная, что после ее гневных тирад я непременно должен был раствориться в атмосфере, шлепает в сторону кухни, но не доходит, свернув по пути в туалет.

– Ну иди, успокой Олежку, – шепчу я Максиму и ласковым шлепком по спине отправляю его в большую комнату с запоздалым и, чего скрывать, совершенно безнадежным для пятилетнего плаксы поручением.

Сам же на носочках иду по следу жены, застыв у холодильника. Так и есть – за исключением вялых долек лимона и треугольного пакета молока с отрезанным верхом, по полкам холодильника можно катать если не шар, то уж точно теннисный мяч. Мы зависли в мертвой финансовой зоне, вне досягаемости которой – моя следующая зарплата и обещанные, но пока не выплаченные супруге «левые» деньги за уже выполненные переводы.

Я мысленно проклинаю ковер, на чистку которого мы выбрасываем по большому счету последние деньги, двести тридцать леев, ничтожную сумму, которой при разумном распределении можно было найти двоякое применение: купить сто пятьдесят граммов так необходимой беременной красной икры или растянуть на два дня покупок в супермаркете, с обязательным включением скучных, но все же необходимых хлеба, сыра и докторской колбасы.

Вспомнив о ковре, я понимаю, что неплохо бы принять душ – сейчас же, немедленно, нетерпеливо срывая с себя вонючие футболку и шорты. Не могу сказать, что особо озабочен раздражительностью супруги, проявляющейся каждый раз, когда ее обостренное беременностью обоняние отравляется не вполне приятными, но все же не убийственными для обычного человека запахами. К которым принадлежит и запах моего пота. Признаться, я вовсе об этом не задумываюсь, резко вспотев от мысли о том, что нужно срочно смывать улики.

Ведь домой я возвращаюсь не с пустыми руками. С сюрпризом – между прочим, двойным, о котором, однако, жене положено знать далеко не всю правду.

Нет-нет, никакой денежной феерии. Никакого золотого дождя, Феррари и виллы на острове. За сто долларов в месяц Феррари не купить. За пятьдесят – тем более.

– Каждую среду, – сказал я Корнелии. – Если не получится в среду, тогда в пятницу. Я позвоню заранее.

Ей, конечно, было бы удобно в субботу или в воскресенье, в дни, когда я не мог не быть с семьей. В понедельник же я задерживался на работе до восьми, чему виной были накопившиеся за выходные факсы и письма. Вторник с четвергом законно и надежно бронировались супругой, встречавшей меня в эти дни молчанием и даже улыбкой – вероятно из опасения гневом навредить эрекции.

ХОЗЯИН СДАСТ КОМНАТУ ДВУМ ДЕВУШКАМ.

По большому счету, все изменилось – проверять объявления на сайте больше не было смысла, как не было смысла их размещать. Я и не собирался, хотя, если быть с собой откровенным, мое собственное объявление давно перестало быть смыслом, поводом, по которому я посещал сайт. Я даже не могу с уверенностью сказать, видел ли его на этой неделе, так же, как не думаю, что обращал на него внимание две, три недели, месяц назад. Я впитывал в себя сладострастные намерения развратных арендодателей, и эти намерения щедро вознаграждали меня повторными соитиями с беременной женой.

– В среду, – послушно кивнула швея.

Может, я был самонадеян, но мне показалось, что в ее глазах сверкнула искорка. А может, она просто радовалась выгодной сделке. Двенадцать долларов пятьдесят центов за один сеанс – совсем неплохо для нищей швеи без собственного жилья, тем более, как показал пробник, больше трех минут ей вряд ли понадобиться.

Спустив шорты с трусами, я брезгливо присел на край запыленного тетиного стола. Корнелия же без всякой брезгливости – в конце концов, ей здесь жить, – сбросив с себя белую блузку и лифчик, плюхнулась коленками на пол, уборкой которого последний раз занимались, вероятно, сама тетя Люда. Одарив меня классическим взглядом мировой порноиндустрии – снизу вверх, глаза в глаза – она двумя пальцами отлепила от мошонки мой сморщившийся член и плюхнула его головкой на кончик своего языка.

***

– Хорошо, пусть будет пятьдесят, – говорю я, застегивая ремень. – Только с оплатой не задерживай.

– А ты не опаздывай, – улыбается Корнелия, вытирая рот и щеки извлеченной из сумочки бумажной салфеткой.

– Постараюсь. Четыре раза в месяц всего же!

– А кто вас, мужиков, поймет? – проводит она салфеткой по правой груди: мое семя оказалось и там, и хорошо, что она додумалась раздеться до пояса.

Когда мы оказываемся в квартире, Корнелия облегченно вздыхает.

– Жить можно, – удовлетворенно кивает она.

Полагаю, она отдавала мне должное за шикарный – исключительно из-за цены – вариант, но деревенская прижимистость все же сработала в ней, как часовой механизм во взрывчатке:

– А может, восемьдесят долларов? – без стеснения спрашивает она.

Сценарий у меня уже заготовлен, и я понимаю, что не зря кружил вокруг здания химчистки: вероятно, незаметно для меня развитие будущих событий прокручивалось на подсознательном уровне.

– Исключено, – категоричен я. – Как вариант – восемьдесят и раз в две недели обслуживание хозяина. По десятке долларов списываем за раз.

– Стирать? – словно ослышавшись, переспрашивает Корнелия. – Или готовить?

– Это город, – веско говорю я, давая понять, что отрицаю оба предположения. – Тут все так делают.

Она молча смотрит мне в глаза.

– Ты можешь отказаться, – развожу я руками и поджимаю губы. – Можно в конце концов договориться только в рот. И тебе быстро и мне презики покупать не надо.

Она открывает рот, тот самый, о котором я собираюсь с ней договариваться, но я не даю ей сказать.

– Ну и, так уж и быть, пятьдесят в месяц. Это если минет раз в неделю.

Я добиваюсь желанного эффекта в тот самый момент, когда сердце начинает ныть – еще бы, ведь с минуту, после моего фразы об «обслуживания хозяина» сердце все норовит выпрыгнуть из грудной клетки ко всем чертям, совсем как человек из горящего небоскреба. Корнелия чуть слышно вздыхает и робко покашливает – достаточно для того, чтобы дать знать: она понимает, что другого выхода у нее нет.

– Духи покупаешь? – делаю отвлекающий маневр я.

– На день рождения Орифлейм купила, – оживает она.

– Забудь это дерьмо. Мне кажется, тебе Соня Рикель подойдет. Вот освоишься в столице, поймешь, что покупать. И если мы будем считать, что с тобой договорились, – я делаю паузу, но возражений не следует, – то возможно, скоро сможешь себе позволить. А может, и не придется покупать: духи женщинам обычно дарят.

Опустив глаза, она молчит, словно польщенная комплиментом.

– Но перед покупкой духов дают пробник, – протягиваю я Корнелии зажатый в пальцах воображаемый флакон. – Я же показал тебе квартиру, прежде чем ты решила, что она тебе подходит. Между прочим, если у тебя все получиться, пробник пойдет за первый раз, и тогда в этом месяце останется еще три раза.

Снова необязательно кашлянув и почти бесшумно вздохнув, Корнелия расстегивает верхнюю пуговицу на блузке.

***

Когда из бачка с шумом обрушающейся на голову крыши спускается вода, я застываю на кухне, в позе смертельно замученного жизненными неурядицами человека, верного, однако своему долгу до конца: зад – на краешке табуретки, плечи согнуты почти под прямым углом друг другу, спина походит на третью часть круга.

Из туалета жена выходит прямо навстречу мне, но будто не замечает меня. Берет из вазочки яблоко, которое считает чистым. В чем-то она права, ведь это она самолично его мыла. Правда, это случилось еще на прошлой неделе, так что яблоко успело сморщиться и покрыться, полагаю, равномерным слоем пыли да незаметными, но не менее опасными частичками средства для мытья посуды; раковина с подвесной полочкой для губки и флакона с моющим средством – от вазочки на расстоянии полусогнутой руки.

Лиза кусает яблоко и останавливает на мне взгляд ничего не выражающих, словно вырезанных из цветной бумаги глаз. Это означает – смотри, чем приходится питаться твоей беременной жене. Беда не приходит одна: она знает, что я знаю, с чем связано отсутствие тещи. Разумеется, она снова выручает нас, как это она сама формулирует, на собственную пенсию закупая продукты.

Из-за моей спины выныривает Максим и садится на руки матери, словно занимая противоположный окоп. Нет, он не голоден – детям пока ни в чем не отказывают, во всяком случае, в плане еды. Но, как и все дети, Максим все понимает и уверенно играет на противоречиях между родителями. По последним сводкам боевых действий, я – плохой папа, и поэтому он с хорошей мамой. Я словно оказываюсь оцепленным в темном переулке хладнокровной шпаной, а вокруг меня – жена, дети и теща, которая вот-вот вернется из магазина. Уставшая, раздраженная и без денег.

Что ж, я поступаю в полном соответствии с классической стратегией. Бью в самое слабое звено.

– У меня хорошие новости, – говорю я, и жена чуть не давится. Я подлетаю к ней и шлепаю по спине, так, что Максим начинает плакать – получилось что-то вроде подзатыльника ему.

– Максим! – ору я, но кашляющая супруга не в силах помешать мне.

Даже придя в себя, она не вскакивает навстречу снова разрыдавшемуся в комнате Олежке и даже сбрасывает Максима с колен.

– Пойди поиграй с братиком, – легонько хлопает она его по попке и, не дождавшись, пока сын уйдет, обращает лицо ко мне. – Что ты сказал?

– Ты же слышала, – говорю я, но все-таки повторяю, – все будет хорошо. Будут дополнительные заработки.

Она смотрит на меня, как собачка на дрессировщика. Преданная, послушная, влюбленная.

– Как? – спрашивает она, но в ее голосе нет отчаяния, только восхищение от непонимания того, как я этого добился.

– Немного, – говорю я правду, но выглядит это так, будто я скромничаю. – Пятьдесят баксов в месяц.

– Повысили зарплату?

– А, неважно, – придав голосу усталость, взмахиваю я рукой, давая понять, что зарабатываю еще где-то, что, по идее, должно вызвать жалость к трудящемуся, как паровоз, мужу.

– Это же совсем мало, – соображает жена, – если дополнительная работа.

– Какая разница? – спокойно говорю я. – Главное – деньги. Скоро еще будут, – добавляю я, вспомнив, что за коммунальные услуги теперь придется платить Корнелии, а значит, можно рассчитывать на пятьдесят родительских долларов, пусть и раз в квартал.

Присев на корточки, я без сопротивления кладу Лизину руку на свою ладонь. Я глажу ее кисть с тыльной стороны, щекочу ладошку и, проскочив по запястью, с удовольствием скольжу до плеча и обратно. Потом хватаю ее за шею и притягиваю к себе. Целую в пахнущие яблоком губы, рефлекторно втягивая живот, оттого, что в него уперлась моя будущая дочь, пока еще спрятанная под совершеннейшими коммуникациями, напичканными самим Создателем в слои человеческого живота.

– Все будет хорошо, – повторяю я, глядя в глаза жены, расположенные так близко, что мне приходится поочередно заглядывать то в один, то в другой.

Внезапное счастье, которое циники, считающие любовь лишь химической реакцией, сочтут следствием гормонального взрыва, овладевает мной. Ни один пылкий оратор, ни самый красноречивый логик не смогут убедить меня в том, что мои дела не так-то уж хороши и что розовый цвет, застилающий мои глаза – всего лишь привлекательное и потому особо опасное одеяние нескончаемой черной полосы. Даже нарочито громкий, задуманный как одно из звеньев атаки против меня топот поднимающейся по лестнице тещи вызывает у меня лишь снисходительную улыбку и, признаюсь, даже что-то вроде сострадания к напрасно утруждающей себя дополнительными усилиями шестидесятипятилетней женщине, навьюченной оттягивающими ей руки сумками с продуктами. Все вокруг – и Максим с Олежкой, к которым мы с женой отправляемся, одновременно поднявшись и не расцепляя ладоней, и пробившаяся, как травинка из снега, улыбка жены, и теща, смешно топающая за стенкой, и стоящая передо мной на коленях Корнелия, словно гипнотизирующая меня пытливым взглядом, все это – настолько очевидные доказательства счастья, что мне даже кажется лишним только что приведенное перечисление его составных частей. Я чувствую счастье совсем как солнечный свет, лучам которого охотно подставляешь себя, не задумываясь о компонентах солнечного спектра.

В мгновение, когда раздается звонок в дверь – короткий, раздраженный, как настроение тещи, – я не чувствую обычного для таких случаев угнетенной, болезненной пульсации в висках, вспомнив, что через двенадцать дней смогу удивить их обоих – жену и тещу – дополнительным бонусом, маленькой радостью маленьких людей.

Безупречной чистотой ковра. Корнелия обещала проследить.

Хлоя ГОРЕНКО

***

С креольского кладбища
кошка по имени Шадоу
пробирается полюбопытствовать
домашнему укладу со стороны
по пояс, по шею в квартире,
девятая жизнь является тонущей
в бетонной типовой многоэтажке
на третьем этаже
в теплом красном бульоне квадрата
я смотрю на стену
за спиной лес и пригород
моя душа досчитала до девяти
она имеет право на избавим от страданий
простынку лес и пригород
всем им уже повезло по-своему
Шадоу трогает лапой снег недолетающий до асфальта
как бантик на веревочке муху
каплю из крана
пугается
убирается восвояси куда-то домой
к Джорджу и девочкам.

Русский как иностранный

Правильно спрашивать: как это называется?
а я спрашиваю:
Что это?
ты говоришь: мячик,
сдерживая улыбку,
представляешь меня на рынке,
у рыбного прилавка,
кушать хочется, приду домой,
пожарю, сварю, леща, там, судака, плотвичку,
косоглазая дурында, тычу пальцем, сквозь слезы
уже почти что: мячик, мячик, у виска покрутят,
вот смеху,
ты же знаешь, что это – Рыба,
но
я же не спрашиваю, как это называется,

Хлоя ГОРЕНКО родилась в 1980 году в Норильске, в настоящее время живет в Санкт-Петербурге. Училась в 1999–2004 г. в Смольном институте свободных искусств и наук СПБГУ (специализация – визуальные искусства), в СПбГХПА им. А.Л. Штиглица (кафедра станковой и книжной графики); в Lacoste Ecole des Arts (Франция). Публиковалась на сайте «Полутона», в интернет-журнале «Новая реальность», в журнале «Зинзивер».

я спрашиваю: что это?
вот смотри:
я достаю из твоего аквариума скользкое тельце,
золотистый хвостик, бросаю на пол,
и он пружинит, это же Мячик,
ты сам был в этом почти уверен,
не задыхается, отскакивает лбом к ладони,
такой веселый...

***

В Челси лисы, что коты, – едят из помоек
Дебютанту на псовой охоте
подаются: редис со сметаной,
присыпанной сверху петрушкой,
называемой в Англии парсли,
в произвольном порядке другие,
по сезону бестолковые блюда.

Пакистанский садовник,
уверены близнецы в белых шортах,
ест дома не кус-кус,
а детей, похищаемых ночью.
в черных пальцах зияют розы,
содрогаясь косматыми ртами...

в этот раз эти с папой, не с няней,
папа рыжий и в белых шортах,
поодаль от крикетной площадки.
Близнецы отвлекаются от людоеда,
Смотрят на мячик,
И на бабочку над газоном.

Близнецами заполнен остров.
Два эмбриона туго скручиваются в утробе,
Пятна на крыльях капустницы
Вполне себе гомозиготны,
Воздух делится симметрично на право и лево,
Подтверждая торжество островной науки...

Лоб вымазывается лисьей кровью густо
Тем хвостом, что от зверька остается
Так выходит дебютант обедать.
Кофе в Англии безобразен.

Илья МАНИЛОВ

***

один не переживай
руки вернулись только сегодня
в горах должны быть только горы
на красивом асфальте только
только только белые губы
обстоятельства
когда крутишь ручку фм
лондон красные мундиры
белые глаза
красные мундиры в белых глазах
глых уотс ап тиа
обстоятельства
действия препятствия
свободы
ободрять родных
самый страшный кошмар
разделить окна
конечно готовые найдутся
разом скажут
сами разберутся

***

и собака греет колено
играет летний хит лаванды
и ты едешь осень
и танцуешь осень

я кричу тебе на ухо что ищу
прохождения год рождения девяностый
ты греешь мое колено
и у вас одинаковые лица
а осень говоришь
осень она не спросит
любитель собак прижигал воздух сигаретой
как
нервно
один мой знакомый кстати
из-за подобных случаев с байками
бросил курить

Илья МАНИЛОВ родился в 1990 году. Участник XVI Фестиваля свободного стиха и Восьмого фестиваля новых поэтов (Санкт-Петербург, 2009). Публиковался в журнале «Урал», на сайте «Полутона». Лонг-лист премии «ЛитератуРРентген» (2009), лонг-лист независимой литературной премии «Дебют» (2009, номинация «Поэзия»). Живет в г. Сарапуле (Удмуртия).

тут еще есть
дом который
боится меня
увидеть
в этой осени
с собакой и с тобой

***

ох уж эти розочки
на кожаном салоне твоего бентли
делают из моего тела
божью коровку

ох эти мозги на сетке лобового стекла
и белой рубашке
ваниш магия белого
к соседям улетела твоя нога
положу на порог
как раз молочник кефир принес
или повешу на рождественский венок

сегодня необычайно большие
град и дичь
был у врача и взял выписку
со словами
это тебе красавчик чтобы ты не отчаивался

Андрей АБРОСИМОВ

***

это не спам и не розыгрыш суперприза
это просто праздник не лекция не зачёт
открывашка мира беспроигрышная виза
чтоб не пусто было в доме куда влечёт

это части тела небесного расписного
это вы-мы-ты стёклышки на заре
это я тебе о тебе и опять и снова
другая радуга обёрнутая в назарет

***

поеду в донецк луноликим богам подстать
буду твоим солнечным пряником а ты моей рифмоплёткой
нянчиться станешь со мной нежно будешь хлестать
в глухонемой ночи вдруг обернёшься кроткой
хорошо что все умирают можно об этом жить
встретиться на мосту держаться за руки крепко
если я запалюсь верю ты сможешь меня прикрыть
будешь меня вытаскивать из передряг как коллектив пожарников репку
буду глядеть на сны я улыбаюсь ты
плачешь и обнимаешь подушку правой
хорошо что в донецке кровати есть и мосты
хочешь не хочешь спи веришь прыгни и плавай

***

горькие специи примешивал к чистому чувству
на цыпочках реже на корточках высматривал всё тебя одну
встречал как рассвет сегодня на небе пусто
всё ушло на фронт а попросту на войну

грохнулась на башку стена от пятиэтажки
стою задумчив в окне четвёртого этажа
распалась гармония на прошлое и какашки
извините мой тон дурацкий милостивая госпожа

Андрей АБРОСИМОВ родился в 1986 году. Учился на филологическом факультете Казанского государственного университета. Публиковался в газетах «Казанский университет», «МИФ», в журналах «Октябрь», «Квадратное колесо», «Идель», в альманахе «Чёрный вторник». Живет в Казани.

у нас в провинции все взвинчены и расхлябаны
везде колдобины алкоголики и рекламный shit
засорены хернёй бессердечные наши клапаны
и еженощно на улице истошно кто-то кричит

мол украли молодость увели от сути
развели на бабки выбили зуб зуб зуб
так у нас прикалываются коры мочат стебутся шутят
а поутру кто-то звонит в милицию алё милиция тут по моему труп

не поверишь мне иногда кажется что я устал сильнее чем Бик-Булатов
всё время иду куда-то а во сне несутся электрические поезда
стою на мосту и никак не дозовусь как никогда нужного старшего брата
а ты глядишь свысока и каверзно звездой звезда

Алла ПОСПЕЛОВА

***

Я крови не боюсь
Мне нравится и вкус ее и запах
Случайно палец уколов
люблю смотреть на солнце сквозь рубиновые капли
врачи твердят что это анемия
им придает такой прозрачный цвет
Но теплые гранатовые бусы
Шипастые коралловые серьги
Корунды и горячие рубины
И платья цвета крови мне идут.

Одесский стих

Л.Е.

И море, пахнущее плазмой,
И жёсткой пемзою песок,
И дурочка после оргазма,
К плечу клонящая висок...
Все так естественно бесстыдно
И первородно, и смешно:
И ночи липкое повидло,
И утра терпкое вино –
С таким прибоем и приливом
Втекают в перегретый мозг,
Что можно вечно быть счастливым...
Когда б не дробный стук колёс.

***

Чуть сутулый, немой и к земле пригвожденный насильно,
где гораздо теплей, потому обходясь без пальто,
ты метафоры носишь, которые я износила,
препарировав смыслы, чтоб их не заметил никто.
Мой лирический гой, у тебя не волошинским миром
между пальцев соленый песок убегает к реке
средь полынных степей, где в эфире ванильным зефиром
облака отражаются в капле на детской щеке.

Алла ПОСПЕЛОВА родилась в 1971 году в Свердловске. Закончила два вуза. Руководитель и владелец тренинговой компании «Фабрика роста». Публиковалась в журнале «Урал», региональных и столичных антологиях. Автор книги стихов «Крест». Соорганизатор и номинатор российского товарищества поэтов «Сибирский тракт». Живет в Екатеринбурге.

Кристоф Д. БРУММЕ

На голубом слоне: 8353 километров на велосипеде от Берлина до Волги и обратно

(отрывки из книги)

Кристоф Д. Брумме родился в 1962 году в городке Вернигероде, расположенном на территории бывшей ГДР, где жил и работал до воссоединения Германии. В последние годы живет в Берлине, является свободным писателем. Автор романов («Ничего, кроме этого», «Тысяча дней», «Одержимые ложью»), рассказов, многочисленных эссе, в том числе посвященных исследованию творчества Уильяма Фолкнера, Франца Кафки, Федора Достоевского, проблемам молодежи («Авантюрист», «Больше курить» и др.).

Писатель называет Саратов своим любимым городом. Сюда он приезжал восемь раз, причем последние три года – на велосипеде, по дорогам Польши, Украины, России. В последней книге «На голубом слоне: 8353 километров на велосипеде от Берлина до Волги и обратно», вышедшей в Германии в 2009 году, Кристоф Д. Брумме объясняет, почему стремится возвращаться сюда вновь и вновь. Книгу он посвятил сотрудникам Немецкого читального зала Областной универсальной научной библиотеки Саратова; «Голубой слон...» стал объектом работы для конкурсантов в традиционном ежегодном конкурсе переводчиков. Фрагменты книги Кристофа Д. Брумме в переводах победителей конкурса предлагаются вниманию читателей.

***

Вторник, 22 мая 2007 года, Берлин

Наконец-то все готово. Путешествие по маршруту Берлин – Волга можно начинать. Я опасался, что багажа на велосипеде будет больше. На заднем багажнике уместились две сумки с бельем, книгами, инструментами, запасными частями для велосипеда, а также палатка, спальный мешок и подстилка. Одежда упакована в прозрачные пакеты, там же лежит теплое нижнее белье для холодных ночей и шерстяная шапочка.

В сумке водителя – вещи первой необходимости: загранпаспорт, географическая карта, блокнот для записи. Сбоку воткнут готовый к схватке нож. Компас я не взял. К чему? Белых пятен на географической карте России не осталось.

На шею я повешу диктофон. Он меньше, чем коробка от сигарет, и должен записывать 18 часов. Этого точно хватит до конца поездки. В сумку на поясе положил салфетки, чтобы во время поездки вытягивать их рукой и вытирать пот.

Нож пару дней назад я купил в специализированном магазине. Некоторые дорогие ножи стали распродавать. У всех у них были тупые лезвия. Продавец думал, что тупые лезвия имеют только образцы с витрины. Я просил продавца показать мне острый. Он выложил на прилавок около 20-ти ножей. Разорвал упаковку, но не нашел ни одного острого. Он предположил, что нож после покупки всегда надо точить у точильщика. «Никогда никого не смущало, что ножи были тупыми», – сказал он. Я улыбнулся.

Одна газетная заметка долгое время не выходит у меня из головы. Там написали, что в деревне под Москвой сгорели священник со своей женой и двумя детьми по вине сельских жителей. Священник защищался от верующих с ружьем, потому что все они, за исключением 3 человек, были пьяные. Под действием белой горячки почудилось им, что священник хранит несметные богатства за алтарем. Ночью нападавшие подожгли дом священника, при этом заколотив все две-

ри и окна гвоздями. Эта деревня – родина Бакунина, основоположника теории коллективного анархизма.

«Путешествие в темное сердце Европы», – так я окрестил эту поездку. На самом деле географический центр Европы лежит в южно-западной Украине. А не где-то в Германии, как полагают некоторые немцы.

Это мое первое длительное путешествие на велосипеде. Цель поставлена четко – Саратов. Находиться в Украине я могу два, или три месяца, а в России, к сожалению, только один. Здесь трудно было получить долгосрочную визу. Конечно, подобному путешествию нужен девиз. Может быть этот: «Как можно радоваться миру, разве что бежать к нему навстречу» (Франц Кафка).

Среда, 23 мая 2007 года, Берлин – Ляйсниц, 89 км

Последний взгляд на милый беспорядок в моей рабочей комнате. Согласно русской традиции, чтобы душа не осталась, я присел «на дорожку», затем вынес на лестницу велосипед.

В 10 часов прощался с друзьями в окрестностях телецентра. Не курил! Я хочу наконец-то бросить курить.

Звонок из Саратова от моих бывших студенток. Они пожелали мне счастливого пути. Близнецы Наташа и Юля очень ответственные. Они считают то, что я делаю, сумасшествием и безрассудством. Они полагают, что эта поездка может оказаться очень опасной. Они бояться, что меня съедят волки. Они не понимают, что меня как раз-то и манят мнимые опасности.

Еду сквозь аллею мимо лесных грифов на сказочном фонтане. Прекрасным прохладным вечером в феврале 1986 года у меня было здесь свидание. Впрочем, я до сих пор могу вспомнить некоторые сказанные в этот вечер слова.

Сегодня прекрасный солнечный день. Велосипед едет сначала как-то шатко. Я не стал покупать новый велосипед, чтобы уменьшить риск кражи. Преимущества его известны только мне. Это отличный велосипед, я ему доверяю. Колеса, педали и стойка из надежного металла. Покрышки такие же, как на транспорте полицейских. В случае, если меня забросают бутылками, я могу смело ехать по осколкам стекла. Так говорил мне продавец велосипеда.

К Шпрее вдоль южного направления, мимо Трептов-парка. После двух часов пути первая остановка, чтобы выпить кофе. Я уже на окраине города, но еще слышу его отзвуки. Спина напряжена. Я не тренировался перед поездкой. Мне представилось это бесполезным занятием.

«Могу удариться лбом о землю, но мое путешествие точно началось». Появились новые ощущения, по сравнению со вчерашними: время принадлежит мне, но я чувствую себя беззащитным.

Это будет, наверное, выглядеть комично, когда я в дорогом французском костюме, в котором работал в бюро, буду проезжать на велосипеде через украинские и русские деревни. Мне нравятся контрастные яркие цвета, невзрачные расцветки меня только усыпляют.

На моем mp3– плеере около 20 песен группы Rammstein и The-Doors-Songs, кроме этого есть несколько русских романсов и немного украинской поп-музыки. Очень правильная подборка, как мне кажется.

Выбор книг в поездку был не из легких, тем более что вес их имел значение. Я выбрал Достоевского, прозу Клейста, «Происхождение морали» Ницше, рассказы С. Беккета, а также словарь основных понятий античной философии. Чтобы читать в поездке стихи Брехта и Гельдерлина, афоризмы Кафки, я взял с собой откопированные листы.

Перелистывая философский словарь, я увлекся чтением слова «индивидуум» – это латинский перевод греческого прилагательного «неотделимый». Это слово Аристотель толковал как конкретную особь.

Времена, в которые жил Аристотель, должно быть, были очень счастливыми. Когда Кафке задали вопрос, что общего он имеет с еврейством, Кафка ответил: «У меня никогда не было ничего общего с самим собой».

Когда Берлин остался позади – боль в спине прошла. Свободное дыхание. Нет больше сроков (хотя я и раньше, впрочем, их едва имел). Я больше не слышу слов: Интернет, управление време-

нем, организация мероприятий, справедливое распределение, надежная позиция, удержание зарплаты и т.д. Хочется уйти на некоторое время от цивилизации. За рабочим столом жизнь опаснее, чем на велосипеде.

С некоторых пор я предпочитаю общаться с людьми, которые выращивают полезные растения. Они лучшие рассказчики и любят непрошенных гостей, так как редко кто проезжает мимо них, редко спрашивает их мнение. Те же, кто выращивает декоративные цветы, имеют счета в банках, они связаны договорными обязательствами. В их саду можно что-то нечаянно сломать или испачкать, поэтому они неприветливы и неразговорчивы с посторонними людьми.

Что, в сущности, я хочу добиться этой поездкой, что ищу, ожидаю, на что надеюсь, чего опасаюсь, почему именно в Саратов? Потому что именно этот город манит меня, или потому что нет альтернативы. Когда я в первый раз приехал туда в 2002 году, у меня было чувство, что картины его жизни – это иллюстрации ко всем романам, которые я читал о России. Но почему же не в другой большой город на великой Волге?

Например, в Волгоград? Волгоград для меня – город, которого не существует, или, скорее, ужаснейший город. Муж и брат моей бабушки здесь погибли. Как говорят – «пали под Сталинградом». Как могу я спать на могильных костях родных? Зачем мне говорить с призраками умерших предков, ведь рассказы живущих родственников не похожи на «мыльную оперу».

Казань – очень напряженный город, столица Татарстана. Здесь учился Ленин. Проспект, на мой вкус там слишком короткий и слишком шумный. Не сравнить с тем сказочно прекрасным, который находится в Саратове.

Самара очень однообразный, без красивых местечек, действительно, чванливый и непривлекательный город. Арендная плата высокая, квартиры тесные. Бункер Сталина сегодня стал музеем.

Ульяновск – родина Ленина. Жаркая мостовая. Убийство там было нормой. Остерегайся поездок в частных такси. Ветер здесь такой сильный, что, если остановишься на равнине, чтобы полюбоваться на очаровательную Волгу и не держишься, то может унести. Правда, на улицах, позади Медицинского университета есть приятные места. Подходящий город для сюжета криминального романа.

Саратов – это обычный российский город, и поэтому он так прекрасен.

Я хорошо понимаю русских, которые говорят: «Мы живем на свободной земле, мы можем везде разводить огонь и жарить шашлыки. Природа принадлежит нам». Это их твердое убеждение.

В Берлине хитрый гражданин покупает озеро, делает вокруг него ограду, и люди, живущие по соседству, должны платить за то, чтобы в нем искупаться.

Остановился выпить кофе. Трудно представить, как много у меня теперь свободного времени.

«Не надо слишком быстро ехать», – предостерегал меня К. «После четырех-пяти дней начнет сводить мышцы», – говорил он.

Я, конечно, послушался такого авторитета. У К. большой опыт путешествия на велосипеде. Он с 59-ти лет ездил на Северный мыс, в Польшу, на Балтику, в Финляндию, Швецию. Он спал принципиально в палатке. Никогда не останавливался в отелях или пансионатах. А подстилку использует только, если идет дождь.

К. рассказывал, как однажды на него напал самец косули. Ни кабаны, ни медведи, ни волки. Козел приблизился к нему, издавая кашляющие звуки, тупо боднул. К. закричал на него и схватил палку, козел убежал.

Я охотно пользуюсь удобствами, мой матрас надувается почти самостоятельно, я должен только немного помочь. В дождливые дни я с удовольствием готов спать в отеле.

Storkow, Glienicke, Beeskow (название населенных пунктов в Германии). После обеда возле Leissnitz в смешанном лесу я нашел место для палатки неподалеку от пастбища коров. Моя палатка – удачная покупка. Она весит всего 2 кг и свободно вмещает двоих. Она легко устанавливается в несколько приемов.

Боковые стенки и потолок имеют антимоскитные сетки. Я, лежа и сидя всегда могу видеть все, что происходит снаружи. Правда, только вблизи. Очень большое преимущество имеет такая конструкция. Я уже сложил хвалебную песню тому изобретателю, которому пришла в голову такая замечательная идея, вставить в стенки палатки в качестве окошек москитные сетки. Я уже хотел эту песнь затянуть, но вдруг прочитал – сделано в Китае. Мозг сразу выдал – подлог. Только кричащий оранжевый цвет палатки не соответствовал моим целям, но доступная в 160 евро цена стала решающим аргументом в пользу покупки. До этого я несколько недель размышлял, брать с собой палатку или будет достаточно навеса и москитной сетки.

Четверг, 24 мая 2007 года, Ляйсниц (Германия) – Бобровичи (Польша), 100 км (199 км)

Солнце светит, к автомобилям я привык. Я забыл, как приветлива земля в Niederlausitz. Видя одинокие деревья, хочется их обнять, но не все. Иногда они выглядят, как скверные существа, потому что растут вдоль дороги, и бензиновое зловоние в воздухе воспринимают как оскорбление, поэтому становятся корявыми.

Friedland, Lieberoso, Pinnow. В деревнях почти не видно людей, хотя все дома имеют жилой вид. Здесь и там лают собаки.

Я еще сполна не ощутил, что ничего другого не должен делать, как только крутить педали и управлять рулем. Моя спина чувствует себя прекрасно.

Теперь мне стало ясно, какую судьбу 30 лет назад я себе уготовил, когда на школьном празднике рассказывал стихотворение об авантюристе:

Тысячу бочек могу удержать,
Книгу читая, сальто кручу.
Скоро уже на луну улечу.

Надо срочно избавляться от мании величия.

В Губене, оказалось, есть живущие в автомобилях, 30-40 палаток на колесах, мастерские, время от времени попадаются рынки, снова дома на колесах. Нет ни единого ресторана, нет закусочных. Сначала в центр города на торговую площадь, найти мясо. Я смогу на террасе сесть и съесть на прощание истинно немецкие блюда: жареную колбасу, жареную картошку и кислую капусту.

Перевод Наталии Сарычевой

***

...Судя по выбоинам в асфальте, я в Украине. Боль внизу спины напоминают о проделанном вчера пути. Двести километров за один день, с тяжелым багажом, удивлен, на что способен мой организм. Не выкурил ни одной сигареты! Совсем не думаю о курении.

На полях трудятся крестьяне пенсионного возраста, впрочем, дети, наверное, им помогают. Некоторые машут, большинство молча смотрит мне вслед. Тут же захотелось нарисовать их лица.

Снова смеюсь, когда еду на велосипеде под дождем. Так, начиная с этой секунды, я должен бояться. Как часто перед этим путешествием мне приходилось слышать о том, что в российских и украинских лесах живут БАНДИТЫ и РАЗБОЙНИКИ? Эти разбойники сеют и сажают, собирают хворост в лесу. Они носят чулки на резинках и слуховые аппараты образца 70-х годов прошлого века.

Возможно, я сбился с пути. Ни одного указателя на Львов. Я не хочу никого спрашивать, ведь не слишком важно, куда меня занесет.

Наконец-то закусочная на обочине. Даже уже небольшой костерок горит, есть шашлык и горячий чай. Маленький бизнес принадлежит двум сестрам. Они не слишком любезны. У меня серьезные подозрения, что с мясом меня обвесили, но спорить не хочу. Женщины чем-то напоминают цыганок, «груди неаккуратно уложены в корсете» (Франц Кафка), это описание сюда подходит. Одна из них курит, переворачивая мясо.

Украинские гривні (гривны) на сумму пять евро остались у меня от последнего путешествия. Один чудак приглашал меня сопровождать его в поездке по Украине в индийской Махиндре. Махиндра – это джип, который американцы ввели в эксплуатацию во время корейской войны. Чудак – давний «покоритель Востока» – в 90-е годы проехал в Кюбель-Трабанте, стало быть, дребезжащей консервной банке, Прибалтику, Украину и Албанию.

С мафией в лице дежурной по этажу я сталкиваюсь в львовской гостинице. После того, как я поблагодарил ее за ключ от комнаты, она спрашивает: «А где же наши шоколадки?» Ее коллега кивает так, как будто это мой долг. Кроме того, она намекает, что завтра выходная, значит, я должен быть так добр, подумать о ней сегодня. Покупаю шоколад и пралине, традициям страны надо следовать хотя бы в день приезда.

Поздно вечером дежурная по этажу еще раз спрашивает про подарок для себя. Я вручил его не той сотруднице, то ли она не передала его, то ли поделила так, что этой дежурной не досталось.

В гостинице появились два насквозь промокших польских велосипедиста. При пересчете оказалось, что стоянка велосипедов стоит 10 евро за ночь, в то время как для меня эта услуга была бесплатной. Я по-английски даю совет не платить. Они успешно следуют ему.

Два дня отдыха. Ноги мне благодарны. У гостиницы еще осталось советское очарование. Думаю, она сохранит его надолго: потертые каменные лестницы; унылые лифты, облицованные коричневым ламинатом; диваны хрущевской эпохи в комнате отдыха; негерметичные и перекошенные деревянные окна; метровые занавески на окнах ресторана.

Перевод Евгении Кровяковой

***

У каждой деревни свой характер

Ближе к вечеру мне становится ясно, что каждая деревня имеет свой характер.

Уже первая женщина, которую я вижу перед собой на песчаной дороге, пьяная. Она, быть может, моя ровесница, а может даже старше лет на десять, последствия алкоголизма затрудняют точную оценку. Я спрашиваю про сельский магазин. Она таращится на меня и довольно быстро понимает, что я иностранец.

О! Она крепко держит одной рукой велосипед и спрашивает, не хочу ли я принять душ.

Маленькая ведьма, это действительно было моим единственным желанием. Я ставлю свой велосипед у нее во дворе. Под яблоней сидит ее сестра (такая же пьяная).

Он должен заплатить за душ! – кричит она вместо приветствия. Десять гривен! (1,30 евро).

Сначала я должен отработать. Женщина просит отнести кусок стали к соседу, который закупает железо и платит за него, вероятно, три гривны, полбутылки водки.

Я не разбираюсь в машинах, это, наверное, часть от грузовика. Она около двух метров в длину и весит чуть больше двадцати килограммов. Я несу ее через сад, через улицу. Пьяная сестра кричит снова: он должен заплатить за душ!

Я доставляю железо закупщику, с которым женщина торгуется. Я незаметно удаляюсь. Душ находится в саду, из душевой сетки капает лучшая украинская дождевая вода. Едва я раздеваюсь и намыливаюсь, женщина распахивает занавеску в душе.

Она говорит, что ее бросил муж, а также сын, денег на врача не хватает, урожай скудный.

Я ругаюсь с ней. Им нельзя столько пить!

Только три гривны, просит она, уставившись на мою прекраснейшую часть.

Я отработал, этого достаточно!

Я задергиваю занавеску, она снова ее открывает. Я остаюсь настойчивым до конца, ничего не плачу. Наконец я нахожу магазин. Продавщица читает «Аргументы и факты», серьезную газету, вряд ли типичную для деревни.

Я рассказываю ей о моем приключении.

У нас многие пьют, говорит она.

Входит дедушка, покупает бутылку пива, продавщица ругается с ним, когда он пытается схватить ее за руку. На мной взгляд, подобные слова кажутся неуместными для этой ситуации, ведь мужчина был не так уж груб.

Вы видели этого старика? – спрашивает женщина, когда мы вновь оказываемся одни. Он каждый час покупает бутылку пива, только одну бутылку и каждый раз пытается меня схватить.

Двое новых покупателей – ветеринар и офицер в гражданском. Ветеринар сразу объявляет меня своим другом, я необходим ему в качестве опоры, и от него пахнет перегаром. Он советует то ли мне, то ли продавщице: мы должны пожениться.

Продавщица отвечает спокойно и официально: Я замужем, у меня хороший муж, вам это известно.

Офицер удивляется, что я угадываю не только его профессию, но и звание. Но этот вывод сделать нетрудно, ведь он рассказывал о времени своей службы в ГДР.

Напоследок с улицы заходит бабушка, она тоже выглядит как любительница выпить и других приятных моментов жизни. Приглашает меня вечером на дискотеку и советует разбить палатку в парке. Мне кажется, что она говорит всерьез. Она в сапогах для полевых работ, покупает пиво для вечернего досуга.

Продавщица восклицает: Vot teper vi videte nasch narod! Вот теперь вы видите наш народ!

Мне не хватает аргументов и фактов, чтобы ей возразить.

Перевод Инны Пашковой

***

...Алена и Борис живут в южной части города в трехкомнатной квартире, неподалеку от Технического Университета.

Темно-коричневая краска на полу, коричневая стенка, бесцветные обои в прихожей – у них «очень советская квартира», говорит Борис, когда мы заходим. Они приобрели комнаты частично обставленными и долгосрочному обустройству особого значения не придают.

Борис также лишь изредка употребляет спиртное, иногда пиво. Оба строгие вегетарианцы и занимаются йогой.

Мне не нужно объяснять вам, какие места на моем теле в первую очередь требуют бережного к себе отношения. Мы можем вместе посмеяться над многочисленными наивными вопросами, которые велосипедистам задают в пути. А у Вас есть карта местности? Да нет, мы ездим по выкройкам.

Алена и Борис готовят свою зимнюю поездку. Стартуют в Мурманске в декабре, цель – Зальцбург. Алена проедет этот путь на велосипеде, Борис будет сопровождать ее на автомобиле с палаткой и снаряжением. Возможно также, что они стартуют во Владивостоке, то есть еще на четыре тысячи километров восточнее. Они ищут спонсоров, и пока финансирование под вопросом.

Борис вырос на Алтае, его отец живет и по-прежнему работает там. Он писатель. Борис показывает последний роман своего отца. За кухонным столом мы обсуждаем возможность организовать там коммуну.

Выходные я провожу с друзьями на даче. Меня балуют шашлыком, водкой и хорошими беседами. Мы купаемся в Волге, много смеемся и говорим друг другу комплименты. Я немножко чувствую себя героем, еще бы, после того, как меня столько раз им называли. Самое удивительное в том, что я счастлив и нисколько не стыжусь признаться в этом.

Приветственная прогулка по Саратову, от вокзала к Волге. Перед вокзалом стоит памятник ЖЕЛЕЗНОМУ ФЕЛИКСУ – Дзержинскому (1877–1926), создателю тайной полиции ЧК. «Ну, он был революционером», отвечают опрошенные мной студенты. Источники, пожелавшие остаться неназванными, сообщают, что «за все время памятник разворачивали дважды, в либеральные времена лицом от города».

Типичный житель Запада, политика на первом месте, замечаю я самокритично. Поезда отправляются среди прочего в Астрахань, Алма-Ату, Волгоград, Улан-Удэ, Баку, Уфу, Кисловодск–Новокузнецк, Варну, Берлин, Ташкент, Киев, Симферополь. Поездка в Берлин длится два дня. Даже на маленьких автобусах можно ездить на большие расстояния, вплоть до Сибири. Однако для спины это не было бы полезно.

Будь я кинопродюсером, непременно взялся бы за фильм, действие которого происходит на вокзале в России или в Украине. Или, лучше, сразу на нескольких одновременно. Ни одно отправление поезда не обходится без женского плача. Одну студентку в поезд провожают двадцать друзей: поцелуи в щечку, шампанское, плюшевые медведи. Фотографию, последнюю, ну вот еще одну, и не важно, что поезд уже тронулся. На перроне ожидающие терпеливо и молча продвигаются миллиметр за миллиметром вперед. У цветочного киоска хочется подышать воздухом, а из бара неподалеку пахнет кофе и жареным маслом.

На вокзале работал Роман, один из самых странных офицеров, известных мне. Сейчас он майор милиции, преподает в Институте МВД, ему тридцать один год. Я познакомился с ним, когда он страдал от несчастной любви, но это уже другая история. Кроме того, он изучал и изучает немецкий язык в языковой школе, затем в Педагогическом институте. Свободные часы он охотнее проводит в Радищевском музее, чем на футбольном поле.

О нем и о его работе я хотел снять документальный фильм. Все уже было распланировано, разрешения получены, вот только денег не было.

Перевод Таймаса Тимержанова

***

Определенно: хобби номер один в русских городах – это фланирование. Пешая прогулка не требует затрат, и в случае, если праздновать нечего, то устраивают праздник для самих себя. Надевают хорошую одежду, встречаются с друзьями, бродят туда-сюда по проспекту, идут на Волгу. Движение здесь – самоцель. В Советском Союзе, по рекомендации, превратившейся в правило, строили исключительно маленькие квартиры с низкими потолками, чтобы проводить досуг в легче контролируемом кругу людей. Это сказывается и сегодня (так полагает медиевист Лихачев).

Народная культура фланирования зачастую создает на проспекте Кирова атмосферу радости первооткрывателя, особенно по вечерам и праздникам, так как именно здесь особенно велик шанс встретиться с кем-нибудь из друзей или знакомых. Проспект начинается у «Детского мира» и заканчивается у консерватории; пешком, пожалуй, пятнадцать минут. Здесь нет громадного торгового центра, который доминировал бы над происходящим – обувные и косметические магазины, «МакДональдс», кафе-мороженое, мексиканские и русские ресторанчики, «Айриш Паб», замечательный рыбный магазин, «Дом книги», кинотеатр, пивоварня и гостиница «Волга» способствуют созданию разнообразного и демократичного смешения. Пивоварня реализует продукцию в собственном ресторане. Пересекающие улицы ведут к оперному театру или к Педагогическому институту с отдельным факультетом для немцев Поволжья. Стремление изучить прошлое собственной семьи является основной причиной обучения студентов из поволжских немцев.

Здесь я могу часами сидеть, читать, писать, изучать русский язык и прогуливающихся мимо людей. Это некое вознаграждение для ноющих мышц, к тому же Немецкий читальный зал находится прямо за углом, и я в любой момент могу обеспечить себя новыми газетами и книгами. Порой я меняю кафе, порой прогуливаюсь вниз к Волге, а порой благодарю Ленина, потому что его определение материи, вероятно, все же не соответствует действительности.

На вопрос, что мне нравится в России, я могу ответить одним словом – все. Я не берусь судить об отношениях в чужой стране с моральной точки зрения, пока не произойдет открытая и жестокая несправедливость. Восхищение всем в целом по своей природе профессионально. Это не образы и слова, созданные мной и врезающиеся в мою память, я выступаю лишь в качестве хранилища фактов и впечатлений. И сюда относятся как раз новая богатая верхушка и новые церкви, древнерусская вежливость и сердечность, черный юмор и сарказм, самовлюбленная мужественность и радость от саморазрушения, любовь к мелочам и опереточное очарование многочисленных спонтанных праздников.

Без сомнения, настроение города с его почти миллионным населением сейчас явно менее напряжено, оно дружелюбней и расслабленней, чем годами ранее. Чувствуется, и опросы это подтверждают, что оптимизма в русских людях стало больше. Транспорта на дорогах заметно прибавилось, а суши теперь – новая мода.

Один преданный читатель приносит мне подарки в библиотеку: велосипедный значок милиции советских времен или газету «Правда», вышедшую на следующий день после смерти Сталина. Над своими подарками он, должно быть, сам подсмеивается.

Александр Сергеевич не просто тезка Пушкина, он сам по себе значимая фигура в литературе – по крайней мере, для меня.

– Когда кто-то преодолевает тысячи километров в своем путешествии, встречать его нужно с подарком, – говорит он, когда мы сидим в кафе на проспекте Кирова.

Он встречает меня каждый год стенгазетой и исповедует, скажем так, культ моей личности.

– Раньше я был диссидентом, а теперь консерватор, – говорит он и смеется.

– Диссидент? – спрашиваю я.

Он тайно слушал «Немецкую волну».

– Тогда все было адаптированным, – говорит он, – книги, сказки, жизнь.

Он достает копии и газетные статьи из своей сумки, показывает две немецких версии сказки «Золушка». У Братьев Гримм написано «дитя было набожным», а в издании ГДР – «дитя было славным». Он снова смеется:

– Все адаптировано.

Должно быть, дома у него невероятный архив. В следующий момент он показывает и дарит мне статью Кафки из «Frankfurter Allgemeine» за июль 2006 и, кроме того, из «Moskauer Deutsche Zeitung» русскую статью, посвященную Вернигероде – городу, где я родился. Затем он декламирует мне немецкие уличные песенки, к которым имеет особое пристрастие.

Свое детство он провел в совхозе «N 46», сельскохозяйственном производственном объединении с примерно двумястами жителями. В доме культуры показывали «Замужество Марии Браун» Фассбиндера и фильмы с Луи де Фюнесом. В Саратов он приехал учиться, изучал историю. Сейчас работает ночным сторожем в школе, и поэтому у него есть время на чтение. Оклад скудный, две тысячи рублей, около шестидесяти евро, даже пенсии выше.

Он показывает мне, где какие магазины находились раньше, вспоминает о ценах. Когда я хвалю его многочисленные таланты, он говорит:

– Кто я теперь? Аутсайдер. У меня нет ни денег, ни зубов.

Я отвечаю:

– Вы память этого города, Вам нужно выплачивать почетную пенсию!

Он снова смеется.

Когда я оплачивал счет в кафе, ему прямо-таки стало нехорошо – девятьсот рублей, двадцать пять евро за пару чашек кофе и три стакана воды.

– Господин Брумме, вы Рокфеллер, – произнес он.

Надеюсь, это не станет темой следующей стенгазеты.

Перевод Валерии Хегай

***

Наконец я на границе с Украиной. У русского офицера – спортивная фигура, загорелое лицо. Проверяя мой паспорт, он задает несколько вопросов:

– Ну, – говорит он с презрением, – не захотелось пешком топать? Наверное, лучше на велосипеде, туристом? А Ваш дед был в Сталинграде?

О боже, в этот момент я покраснел, как пионер, но потом честно, с глубокой убедительностью поклялся: «Да, к вам лучше приезжать на велосипеде, чем в солдатском обмундировании».

Насколько я помню, с таким пренебрежением меня еще никто не расспрашивал. В тот момент мне показалось, что сам дьявол помахал мне ручкой.

Меня как немца по национальности о войне почти никогда не спрашивали. Деликатно разрешали покаяться в душе внутри себя.

Второй офицер, стоящий немного поодаль, неожиданно спрашивает: «А ваши коллеги в Германии не думают, что Вы...»

– Что я сумасшедший, безумный?

– Да, безумный, – говорит он.

Мне не хотелось говорить ему, что мои товарищи пишут о России, иначе бы он изменил свое мнение о нас.

– А Вы еще не встречались с нашей бравой милицией? – продолжает он.

– Нет,– говорю я, – вероятно, мне скоро повезет («как все загадочно!» – думаю я).

Потом украинские пограничники долго проверяли мои документы, в то время как я заполнял таможенную декларацию. Наткнувшись на мою статью, один из офицеров завершает разговор: «Кристоф, Вы счастливый человек».

Что? Так просто о счастье со мной никто еще не говорил.

Ах, эти опасные «восточно-европейские» границы!

И все-таки не было среди этих людей равнодушных. На польской таможне мне вызвали такси. В Украине для меня сплели победный венок. Тем самым все эти милые люди превзошли всех моих товарищей, владеющих пером. Они оказались на высоте по сравнению с моими коллегами.

Через 10 километров, в почти пустынном, безлюдном месте меня встретил олимпийский мишка. Полусфера автобусной остановки и трехметровая мозаика любимца олимпиады. Его сытая морда похожа на морды обычных медведей, живущих в зоопарке. Кого же он мне напоминает? Может, самого художника – задумчивого, нелепого, с застывшим мизинцем поверх левой брови?..

Перевод Анастасии Шпис

***

Я же чувствовал, что что-то должно произойти! Восторженный прием на германской границе!

Воскресение, утро, восемь часов, переезд через границу в Губене. Светит солнце. Я – единственный въезжающий, на дороге – ни машины. На границе в полной готовности стоят польский и немецкий офицеры в униформах.

Поляк молчит, немец даже не говорит: «Доброе утро». Вместо этого: «Вам нужно не сюда!»

Мне стало смешно, ведь я даже не мог себе представить, что этот человек так хорошо меня знает. Значит, и он хочет увековечить себя.

Я подозревал, что мне не сюда, отвечаю я. Но я все же хотел бы проехать здесь.

Вам нужно не сюда, Вы не можете въехать здесь!

Знаете, на востоке я много раз переезжал через границу, но ничего подобного мне никто там не говорил, отвечаю я.

Вы должны въехать по пешеходной дорожке, говорит он.

Он показывает на пешеходную дорожку. Она всего лишь в нескольких метрах от нас и отгорожена цепью. Но прежде, чем мне можно по ней проехать, мне нужно будет вернуться на велосипеде назад примерно метров на двести. Потом за частным домом свернуть налево и после этого завернуть на дорожку для пешеходов и велосипедистов.

Моя голова раскалывается. Вместо цветов – поучения.

Вы должны вернуться назад и после этого свернуть за домами!– повторяет он. Здесь проезд только для машин, не я придумал эти правила, уверяет он.

Может быть, я перейду улицу здесь, чтобы не возвращаться на полкилометра назад? спрашиваю я.

Это правило выдумал действительно не я, говорит он. Но Вы пройдите, мы сделаем исключение! Вы можете поднять цепь, или перенести свой велосипед через нее, если у Вас получится!

Логически рассуждающий человек. Но для выступления в цирке его талантов явно не хватает.

Немцы всегда были оседлыми, это заметно и сейчас. Если в твоих венах есть хоть капля казачьей крови, ты никогда не станешь крючкотвором. Я наконец-то понял: мои предки жили в степи.

На заправке я встречаю мужчину, который поставил свою машину в автомойку. Едва ли слыша, что я приехал из России, он с воодушевлением говорит. Он был координатором в центре занятости, курировал поволжских немцев, оттуда его познания.

У этих людей сердечность в менталитете!– восклицает он со слезами на глазах. – Но, скажу я Вам, те, у кого хотя бы раз кровь смешивалась с русской, пьют!

Третий немец, с которым я беседую, тоже в униформе. Я уже девяносто минут жду на станции Берлин – Адлерсхоф автобус, транспортирующий велосипеды, его многократно объявляют, но он до сих пор еще не пришел. Это дежурный автобус. Я хотел бы сберечь силы до Берлина. Мужчина, которому все равно делать нечего, пытается меня утешить.

Я тоже человек, зависимый от предписаний, объясняет он. Я не могу даже помочь женщинам с колясками!

Это звучит довольно гордо.

Его палец у лба означает: здесь только чокнутые! Даже я делаю идиотскую работу!

Если я повезу коляску, и ребенок выпадает из нее, никакое страхование не возместит ущерба, я могу даже попасть в тюрьму! Это относится и к Вашему велосипеду! Если Ваш велосипед опрокинется, собьет ребенка и ребенок получит травму, водитель автобуса будет вынужден платить, а после отправится в тюрьму! Поэтому Вы должны ехать только дежурным автобусом, так как водитель будет застрахован, даже если Ваш велосипед свалится на детскую коляску.

Верно, говорю я, может случиться что угодно и нужно на все обращать внимание. Как долго Вы уже работаете на вокзале?

Восемь лет.

И Вам еще никогда не приходилось перевозить детскую коляску?

Еще нет. Я это не могу. Но я могу дать Вам номер телефона, по которому Вы можете пожаловаться. Это политики виноваты, кричит он.

Я люблю свою родину.

Перевод Инны Пашковой

Андрей ПЕРМЯКОВ

Десятая часть года

Почти документальная повесть

Ирине Карениной. Без тебя эта поездка была бы совсем другой. Спасибо.

В пятницу, 21 августа, я пришел на работу с довольно большим черным рюкзаком. Сотрудники обрадовались: начинался последний рабочий день перед отпуском, и мешок наверняка проходил по делу насчет угощения. Зеленые кеды, джинсы вполне фермерского вида и тельняшка, временами выглядывавшая из-под свитера, намекали на отвальную в форме пикника. Нарушения трудовой дисциплины, однако, не случилось. В обеденный перерыв были съедены два скромных тортика и выпита бутылка вина. А по окончании трудового дня я не вернулся домой, а наоборот, уехал в страну. Двери родного съемного жилища вновь открылись только поздним вечером 26 сентября, спустя 36 с половиною дней, или десятую часть астрономического года.

Наверное, следовало написать нечто вроде: «поехал увидеть неизвестную глубинную Россию» или о желании «обрести себя», но это не так. Мне просто захотелось покататься автостопом, электричками, другим правильным транспортом, и пофотографироваться в красивых городах с Черным Знаменем Анархии. Знамя это было чудесным образом обретено в прошедшем мае. Некоторые говорят, будто я его не обрел, а украл, но эти люди ничего не смыслят в технике обретения. Окрас у знамени, конечно, голубой, с оттенками. Правда, классно звучит: «Черное Знамя Анархии имеет лазоревый цвет»? Еще на нем нарисованы белый круг и пацифик. На знамени очень любят расписываться цветными маркерами добрые друзья, прекрасные писатели и поэты.

Так получилось: за сравнительно долгую и вполне счастливую жизнь я познакомился с несколькими тысячами людей, а, отправившись в путешествие, гостил в основном у литераторов. Возможно, писатели не лучше других представителей нашего биологического вида, но отчего-то именно они были готовы меня приютить. В книге оставлены их настоящие имена, кроме тех случаев, конечно, когда они просили этого не делать.

Да: друзья иногда называют меня Гриззлинс. Ну, так получилось. Вы не удивляйтесь, пожалуйста.

Иваново

До Иваново подкинули коллеги по работе: им надо было дальше, в область.

Дорога в памяти не отразилась: ехали поздним вечером и ночью, болтали:

– Вы, Андрей Юрьевич, в Иваново в гости едете?

– Ну, да. В Иваново и потом дальше.

– Куда дальше?

– В Кострому, в Вологду, в Котлас, в Пермь, в Саратов. Везде.

– А билеты уже купили?

– Не, меня так довезут.

– Как «так»?

– Ну, вот вы ж везете. И еще электрички есть. На них можно зайцем кататься.

– А ночевать где будете?

– На вокзалах в основном. Иногда у друзей.

Ребята, работающие в соседнем цехе на скромных должностях, недавно вернулись из Египта, и представления их о манере начальства отдыхать сделались поколебленными. Теперь пой-

дут слухи, будто руководитель у коллег жадный и на квартиру копит, даже к родителям ездит зайцем.

Иваново неожиданно понравилось. Просто в Интернете про него написаны всякие гадости. Зря. Вокзал большой, зимой, наверное, холодный, но ведь сейчас-то не зима! В принципе, на входе в «Зал ожидания пассажиров» (честное слово, он так и называется, очевидно, поезда тут ждать не принято) висит объявление с требованием семи рублей за вход, но сдавать их некому. Кресла металлические, без ручек, стоят рядами. Очень хорошо выспался.

В 5 утра открыли буфет. Солянка там стоит 32 рубля, но есть ее я забоялся: вряд ли в такую рань блюдо подают свежим, а майонез там плавал со вчера. Я все-таки 15 лет работал микробиологом, и немножечко в питательных бульонах для бактерий стал понимать. Поэтому выпил кофе за 9 рублей и пошел гулять.

В городе есть три реки. Две называются обыкновенно: Уводь и не помню как, а третья необыкновенно – Талка. А я очень люблю называть Наташ Наталками. Наталка-Талка. Река, правда, оказалась так себе. Наташи лучше.

Еще в Иваново фотографировал смешную объездную дорогу, узкоколейку. Говорят, самую длинную городскую узкоколейку в России. В городе Кунгуре Пермского края раньше такая же была, но там ребята любили цепляться к составам, отчего часто лишались ног и половин туловищ. Потом дорогу разобрали. Не из-за детей, конечно, а потому как сначала нафиг остановился лесомебельный комбинат, а потом и машиностроительный завод «Турбобур». А в Иваново видимо ничего не остановилось, поэтому узкоколейка работает. Вообще фотографировать железную дорогу бессмысленно: она длинная и в кадр не влазит.

Парк 1905 года тоже хороший, но обыкновенный. Еще видел улицу Красных Зорь, будто в Москве, и улицу Ермака. С какого перепугу Ермака занесло в Иваново, не знаю.

Вообще, Иваново – такой хороший образец честного города без особых достопримечательностей. И спокойный, кстати. Вот во Владимире стоит дойти до улицы Московской – и до утра дискотека. Честное слово, до шести утра, причем не одна дискотека, но много. А в семь уже открываются ранние кабаки. Поэтому народ там немного агрессивен. Устают же. В Иваново на вокзальной площади тоже стоит ночной бар и называется «Мохито». Я туда не пошел.

А в киоске перед станцией продают шампанское вино и портвейн. Остались, значит, в 2009 году еще нормальные города с облегченным режимом потребления.

Иваново – Нерехта

Утром Гриззлинс и Пермяков одновременно увидели девушку нереальной красоты, отчего между ними произошел внутренний диалог:

Гриззлинс: А может, нафиг ее, эту поездку? Останемся тут?

Пермяков: Андрюш, это не секс-тур, но антропологическая экспедиция!

Засим и отбыли, ровно по расписанию в 7.40. Кстати: тут нет электричек! Только пригородные поезда. (Капитан Очевидность поясняет: в Иваново нет электрифицированных путей. Оттого и электрички исключены). Впрочем, билеты на входе не проверяют. В дороге прошла тетка-ревизор, спросившая проездных документов. Показал издалека квитанцию об уплате за сотовую связь, на том и поладили. Тетка невнимательна от усталости: с Иваново до Ермолина едет эпическая толпа дачников. Зато потом почти пусто. И контролеры боле не ходят. Перед подъездом к этому самому Ермолину в заросшем поле стоит развалившееся кирпичное здание с выложенной белым силикатом датой: 1909. Кроме этого, ничего интересного в дороге не приметил.

Нерехта – любовь моя!

Нерехта прекрасна. Вообще, об этом писал еще Розанов, а пересказывать Розанова своими словами очень смешно. Вот Аня Голубкова точно помнит, где у В.В. написано про храмы Нерехты, каких кроме Москвы нигде и нет, а я не помню. И ладно.

Строители Нерехтинского вокзала, помня ковбойский анекдот, поставили его не ближе к городу, а ближе к рельсам. Потом рельсы приманили город. Оттого подле железной дороги стоят хрущевки, Дом Культуры, гостиница «Октябрь» и разное непотребство.

Дальше начинается улица Металлистов, много забегаловок и кафе. Выпил 150 граммов водки «Пчелка» (слышали такую?), съел два бутерброда с форелью и запил все стаканом лимонаду за 59 рублей (общая сумма, естественно)! Вот так-то. Впрочем, на рынке еда дорогая, туда не ходите.

Нерехта долго была богатым купеческим городом, снабжавшим Москву солью. В конце XVI века тут работало целых 25 варниц. Плюс ярмарка, плюс перевалочный пункт с севера в центр. В городе, помимо Суздальских и прочих Владимирских, была, например, улица Вятская. Имя вполне символизирует масштабы торговли: до Вятки тысяча верст. Увы, в 1609 г. пришли поляки и все изломали. После этого соль в центр стали возить с Урала и Поволжья. Нерехта более-менее держалась торговлей, но в 1785 г. случился пожар, видимо связанный с имущественными вопросами. Сейчас так тоже бывает. Впрочем, два монастыря не сгорели, город как-то отстроился, мануфактуры сделались. Потом проложили железную дорогу, стало совсем хорошо. А потом опять плохо – в Воскресенской церкви до сих пор макаронная фабрика. Реки тоже испортились: теперь очень трудно поверить, но и речка Нерехта, и совсем непотребная Солоница были судоходны.

Берцы свои я забыл дома, поэтому в Нерехте купил новые, с запасным комплектом белых шнурков. Стоили берцы в два раза дешевле, чем в Москве.

В Никольской церкви расположен уникальный иконостас, исполненный алхимическими символами. Такая вырожденная, сравнительно ясная алхимия – не Дмитровский собор города Владимира, туманный даже посвященным мастерам. Собственно, этот иконостас в Нерехте я и хотел посмотреть. Ну, чо. Посмотрел. Описан он довольно хорошо даже в Сети, не говоря о специальной литературе. В Благовещенском соборе Кремля символика сходная и ехать никуда не надо. Нет. Это уже не истинная алхимия. Так-то и в Дмитровском не истинная, но тоже непонятная. Не видать нам философских камней, похоже.

Церковь пока не действует, поэтому любой желающий может залезть на колокольню, дабы полюбоваться окрестностями. Окрестности так себе. Вблизи Нерехта лучше.

В городском парке стоит памятник местному уроженцу Крякутному, летавшему на воздушном шаре в 1731 г. задолго до Монгольфьеров. На самом деле никуда он не летал, но всем пофиг.

Электричка на Кострому уходила в два с чем-то, а город был осмотрен чуть более чем полностью уже к полудню. Поговорил со смотрительницей Никольской церкви. Рассказывает: зарплаты «в основном минималка», 5 тысяч рублей считаются нормальными деньгами, а 7 – большими. Уехал на вокзал, там нормальное такое кафе с грилем и шашлыками. Висит объява: «Требуется станционный рабочий. Зарплата 3100 рублей». Я теперь буду переживать за железные дороги.

В кафе пришел мужик, пьяный и радостный – сын родился. Работает мужик начальничком на мясокомбинате, получает не 5 и не 7. Спрашивал, сколько я зарабатываю. Соврал вниз в три раза, получилось почти поровну, но все равно больше. Мужик меня зауважал, спросил, почему отдыхаю не в Турции. Отвечаю: жена деньги забрала (ну, так-то правда). Свез меня на трассу – оказалось, рядом с Никольской церковью, только через переезд пройти.

Стал стопить, еще час до поезда был. Место оказалось средненьким: не было большегрузов, только прошел оранжевый КАМАЗ, но он не спешил и хотел ехать в Кострому два часа. Другие водилы махали рукой вправо – жеста я не понял, поскольку дорога в Кострому направо и идет! – или называли какие-то смешные населенные пункты в 5-7 км, но практически все реагировали на поднятую руку хотя бы жестом. Приятно. В итоге подобрал дядька на серой девятке. Довез быстро, но очень много болтал и спрашивал.

Кострома

Еще в Иваново заметил пару вьетнамцев, мальчика и девочку. Очень красивых таких, аккуратненьких. Девочка на мальчика дулась. Мальчик улыбался и девочку не ругал. Я потом уехал

в Нерехту, а в Костроме, точнее в Ипатьевской слободе, мы встретились снова. Узнали друг друга и, познакомившись, стали выпивать. Мальчика звали Нгуен, а девочку (внимание!) Бить. Это не глагол, это такое имя. Она, когда называлась, сказала: «Вы, наверное, смеяться будете». Не ошиблась. Вот эта Бить Нгуена всякообразно угнетала. И чем больше мы с ним выпивали, тем сильнее угнетала. Ситуация для меня более чем знакомая – многие девушки друзей почему-то не любят наших с ними нажоров.

Впрочем, приняв побольше, Нгуен обрел способность к сопротивлению и стал посылать свою девушку чуть дальше, чем нафиг. По-вьетнамски, конечно. Бить обиделась (это каламбур, да?). Мы решили извиниться и полезли в речку Волгу. Кстати, пляж в Костроме замечательный, будто из кино «Долче Вита». Погодка была правда так себе: +14 градусов, пасмурно. Но тут еще подошел теплоход с туристами из Москвы... «полный стадион народу, время начинать матч», короче.

Зашли в Волгу, развернули Черное Знамя Анархии, стали орать: «Бить – очень красивое имя!» «Бить – очень красивая девушка!» Туристы удивлялись, принимая нас за аттракцион. Потом я спросил у Нгуена, какое русское девочкино имя ему нравится. Предсказуемо таковым оказалась Наташа. Поорали за Наташу. Еще потом я спросил, красиво ли имя Лена? За Лену мы тоже поорали. Планировал сплавать на другой берег, но передумал: ноутбук, деньги, вещи всякие. Зачем людей во искушение вводить?

Бить как-то подобрела, даже позвала в гости, вдруг окажусь случайно во Вьетнаме. Написала на бумажке непонятными письменами разные буквы, сверху название города (латиницей) и просила показать там бумажку любому, меня проводят. Наверное, иероглифами написано следующее: «Ребята, пожалуйста, сломайте челюсть этой большой белой обезьяне, напоившей нашего Нгуена и загнавшей его в холодную реку». Ну, так или иначе, дельта Меконга в планы поездки не входила.

Кострома – Ярославль

В электричке Кострома – Ярославль испытал приступ классовой ненависти. Сначала все шло хорошо и правильно: на одной из скамеек сидел адский сатанист: парнишка в черной куртке, черных джинсах и черных берцах. На куртке сзади была нарисована пентаграмма, а в ней еще одна. И еще две маленьких. Под куртку пацан надел толстовку. Тоже черную, тоже с пентаграммой. На джинсах пентаграмм не было, но на передних лапах ребенок носил напульсники с четырьмя пентаграммами на каждом. Как вы уже поняли, парнишка был прыщав, толстогуб и блондинист. А также, конечно, сутул и дрищ. И читал книжку с голой тетенькой на глянцевой обложке. Тетеньку ел сотона.

Я сел напротив мальчика, начав его глядеть: ну правда, он скоро уже не будет таким, а запомнить надо бы. Спиной ко мне расположились две девушки. Видимо, ничего особенного. Ну, были б красивые, заметил бы. Но и не страшные, а то б тоже заметил. Даже не скажу, какого цвета волосы. Но волосы точно были, лысых девушек опять-таки бы запомнил.

Так вот: эти девушки стали гнать какую-то омерзительную пургу. Насколько можно было понять из этой пурги, одна из них с Костромы, вторая с Ярославля, работают обе в Москве. Поехали друг к другу в гости. Отлично. Но разговор... воспроизвести его почти невозможно: нечто про офисы, где их мучительски чмырят, не повышают зарплату, все кругом дураки... И тут же, гордо, про наговнение ближнему своему по мелочи.

Ладно. Это еще было нестрашно, но к девачкам подсели два мальчика с пивом. Мальчики оказались молодыми юристами (действительно, лет по 25-27, их было лучше видно, чем девачек – когда парни через вагон шли, я уже сидел на скамейке). Тут началось.

– Вот прикинь: я себе тату набивала. Вот тут, смотри (не знаю где, обернуться побрезговал). Дико! Дико ващще больно как. Он мне два раза набивал: сначала основу, потом набело. Блин! Дико просто больно! Я просто захотела набить. Он по каталогу выбирал. Там фигня всякая, а мне красивую хотелось. Там машинка такая, типа, да. И все равно так дико больно!

– Гы-гы... (сочувственное такое гы-гы).

Вот примерно в таких диалогах прошла поездка. Вру. Пару раз пацаны отвлекались потолковать о красивых машинах. Спорили о Бентли, называя друг друга мудаком и черепом. Тогда сочувственное гы-гы говорили девушки. У них получалось хьы-хьы. И мальчики и девочки смеялись закадровым смехом из сериалов, их так научили.

Только поймите правильно: я против социального снобизма. Мне очень интересно общаться, например, с сотрудниками в родном цехе. Ну правда, интересно. Но эти... Их поколению, в отличие, например, от нашего, лет с десяти был открыт доступ ко всей информации. Абсолютно ко всей. А они про Бентли. Ну, где же ты, праведный гнев иудея?

Судя по тому, сколь быстро мальчики и девачки понравились друг другу, партнеров для более долгих отношений ребятки станут выбирать так же. Впрочем, кажется, нескоро:

– Не, я так не могу, как (имя какой-то подружки). Я чиста для себя хочу пожить.

Ну, опять-таки, поймите правильно: мне неинтересны планы по повышению рождаемости, и я очень спокойно воспринимаю массу аргументов против немедленного обзаведения детьми. Только вот довод «для себя пожить» бесит. Хотя бы в силу тупизны: детей-то ты для кого заводишь? Для Путина? Да нахер ему твои дети сдались, солнышко. Разве мальчики, лет через 18 на мясо. Так спасай, чо.

Кроме того, из личного опыта могу засвидетельствовать: рождение детеныша приводит минимум к двукратному увеличению зарплаты и довольно быстрому улучшению жилищных условий. Просто папаша, как правило, начинает быстрее шевелить лапками.

Как-то так вот.

Ярославль

Вообще, из Костромы есть прямая дорога на Вологду, а через Ярославль получается крюк. Но уж очень хотелось заехать к Андрею Егорову и Вале Черной. Я и заехал. Андрей долго жил на Камчатке, а потом получил премию «Дебют» за свои стихи. Где жила Валя, не знаю, но премию ей пока не дали. Теперь ребята поженились, и все у них хорошо.

Ожидая Андрея, исправлял с помощью спиртного напитка водки душевное здоровье, попорченное в электричке. Рядом с вокзалом Ярославль-Главный есть милое заведение «Северный ветер». Люди, обремененные частыми командировками с Урала в Москву, знают несколько волшебных станций, где меняют электровозы и поезд стоит долго, минут двадцать или полчаса. На таких станциях можно выбежать из вагона, дабы немедленно выпить. Конечно, при небольшой сноровке можно пить в вагоне, но спорт есть спорт.

«Северный ветер» расположен прямо на привокзальной площади, а вот, к примеру, в городе Кирове, торопясь до пельменной, надо пересечь весьма оживленную и широкую улицу. Тем не менее, случаи отставаний от поезда через кафушки мне неизвестны: у людей, стремящихся принять, включается дополнительный хронометр.

Ярославль вне своей туристической части похож на многие города сразу. Вот мы идем, гуляем по трамвайным рельсам, а вокруг – Екатеринбург, точнее его часть, расположенная за гостиницей «Большой Урал». А чуть дальше – копия пермской Стаханки. Есть совершенно московские районы. Вот в этом состоит своеобразие Ярославля.

С утра разворачивали Черное Знамя Анархии. Валя нарисовала на нем Лицо Русской Поэзии. Получилось клево.

Еще сфотографировал прекрасную социальную рекламу с текстом: «Ярославский зоопарк – мэрия и муниципалитет города Ярославля». И стрелочка в виде шапки Мономаха от слова мэрия к медведю. Конечно, креативней было б поместить на щит козла, но видимо забоялись.

Вообще, по городу погуляли мало: я торопился в Вологду, а Валя с Андреем в Москву. Насовсем. У них опять получилось.

Ярославль – Данилов

Потратился. Купил билет от Ярославля до пункта «396 км» (16 рублей). Не зря – ревизоры пришли как раз перед остановкой. Зато потом до Данилова ехал бесплатно, спокойно и рядом с очень милой собачкой-лисичкой.

Данилов занятен. Маленький такой городок, гораздо меньше, чем писатель Дмитрий Данилов. Википедия сообщает, будто в 1873 году тут было «14 трактиров и 36 кабаков», однако теперь нет даже пристанционного буфета. Впрочем, совсем рядом с вокзалом, на улице Вятской существует вполне пристойное «Семейное кафе». Солянка (настоящая, с почками!) и голубцы обошлись в 87 рублей. Еще за 80 купил большую банку Адреналин-Раша. В Москве напиток столько стоит в киосках, да и то на окраинах. В чем гешефт кафе неясно, ну и ладно.

Окошки жителей Данилова украшены наличниками. Впрочем, резьба, как правило, прорезная и растительно-орнаментальная. Исключений мало. Весьма забавны памятник колесной паре и лавка одновременно, если верить вывескам, торгующая книгами и комбикормом. Еще в Данилове заметил очень много скорпионов: у мальчика, бежавшего на электричку, чудище было нарисовано на куртке, у официантки в кафе вытатуировано между кофточкой и джинсами, а на двух тонированных девятках нанесено аэрографическим методом. Может, День города тут проходит под знаком Скорпиона или не знаю.

Данилов – Вологда

Уехал из Данилова в Вологду забесплатно. Контролерш в электричке было целых три: больше, чем пассажиров в вагоне.

Одна, беленькая, подошла ко мне:

– Ваш билет?

– Э-э.... ну, у меня его нету.

– Что будем делать?

– Не знаю. Хотите, я Вас сфотографирую?

Напугала меня ревизорами и больше не приставала.

Ревизоры тоже не пришли.

Зато в вагоне летало сразу шесть бабочек-лимонниц.

Вологда. Как потерять телефон

Неподалеку от Вологды есть станция Бакланка. Я над названием посмеялся – и зря. Оно оказалось пророческим. По приезде в город начал немедленно звонить Паше Тимофееву – это такой поэт, музыкант и вообще хороший парень. Звонил часа три. Телефон сначала не отвечал, а потом вовсе оказался вне зоны доступа. Но я уже влюбился в Вологду, решив зависнуть тут на парутройку дней.

Вокзал по первому впечатлению к ночевкам располагал мало: сидения либо с ручками, либо не в ряд. И залы небольшие – все на виду. Гулял, догулял до окраины, где много строек. Лучик добра, посылаемый в сторону Паши, стал совсем тонким, отчего я решил попроситься ночевать в вагончик к сторожам. Но перед этим совершил контрольный звонок.

С телефона, обозначенного как Пашин, ответил чудовищно пьяный и матерный голос. А, кроме того, голос обладал предивным пермским акцентом. Короче, я по собственному раздолбайству записал телефон другого Паши, одноклассника и алкоголика. Этот Паша не первый год бухал в городе Кунгуре Пермского Края, а я его будил за многие версты.

С правильным Пашей мы нашлись совсем ночью, сели на берег реки Вологды и стали являть собой известных ежика с медвежонком. Только еще пили водку, напевая мантру помощи странникам:

Шива-Шива-Шива шамбо,
Шива-Шива-Шива шамбо,
Шива-Шива-Шива шамбо,
Шива-Шива-Шива шамбо-о-о-о,
Махадева шамбо, Маха-адева шамбо
Махадева шамбо, Махадева шамбо-о-о.

И играли на флейте.

Вологда. Рубцов

На следующий день, отпросившись с работы, Паша гулял меня по Вологде. Город невероятный. Девушки феноменальной красоты, причем в основном брюнетки. Столько целующихся парочек не видел даже в Ростове-на-Дону.

Сходили пешком в Прилуцкий монастырь. Там видели могилу Батюшкова, но Знамя разворачивать не стали – монахи и так на нас ругались. Впрочем, позже ЧЗА таки подняли, у другого памятника Батюшкову, в центре. Там поэт выгуливает коня размером со слоника. Паша долго, тщательно вскарабкивался на коня, пару раз чуть не упал, но получилось успешно. Возясь со знаменем, собрали вокруг себя небольшую толпу туристов. Милиция не вмешивалась, хотя улыбалась неоднозначно.

К памятнику Рубцову Павел меня долго не хотел вести. В Вологде Рубцову отвели ту же роль, какую в Рязани Есенину – им детей пугают и молодых поэтов воспитывают. Молодые поэты отвечают взаимной нелюбовью. А я вот Рубцова очень люблю, и как автора, и особенно в плане «делать жизнь с кого». В самом деле: фраза «я пропил тома своих стихов» хороша. Видел дом, где поэта загрызли. Желтая панельная пятиэтажка. Ужасно.

Ходил на репетицию салона «Новый Диоген», познакомился с людьми по прозвищам Морриссон и Че Гевара. Первый на удивление мало пил. Салон показался достойным, хотя и без звезд. Ребята берут со зрителей по 150-300 рублей, и народ ходит! У организатора проекта, Антона Черного, на рабочем столе лежали распечатанные с сайта «Полутона» книги Данила Файзова и Константина Кравцова. Вообще, мелодекламация вещь довольна опасная: очень уж сильно уравнивает этот жанр неплохих и никаких поэтов. Совсем хороших, конечно, чужой музыкой не испортишь, но вот остальные могут пострадать.

Пообедали в кафе «Пивнушка». Вопреки названию – прилично и недорого. Сложилось впечатление, возможно, обманчивое, будто мужские прически в Вологде короче, чем в целом по стране. При этом довольно много неформалов в черных-черных прикидах разных фасонов. Ну, и гопоты там тоже хватает, но вроде бы все мирно. Странно, однако, Вологда стала первым городом, где моя зеленая тельняшка вдруг стала привлекать внимание и вызывать дурацкие подколки.

Еще в Вологде есть Октябрьский мост, упирающийся в стену. Представляете, Т-образный перекресток после моста! Пробки там весьма неиллюзорны, хотя машин немного и водители вежливы. В общем, прочтение города задом наперед себя немножко-таки оправдывает: Ад голов.

Насчет суровых вологодских ментов, очевидно, сказка. Во всяком случае, я невозбранно ходил по городу, закусывая бальзам морковкой, и ничего мне за это не было.

В городе есть команда Динамо. Население за нее болеет весьма серьезно, а в день нашей прогулки еще и случилось дерби с костромским Спартаком, но на громко исполненную переделку динамовской песни (в свою очередь ремиксированной из «Ах, Одесса»):

«Ах, Динамо – мой любимый клуб
Так отсоси Динамо три тысячи залуп», –

фанаты отреагировали вяло. Наверное, благодаря совпадению цветов Черного Знамени с динамовскими.

Вологда. Практика

Попытаюсь дать несколько непрошенных, но, может быть, полезных советов посещающим Вологду самостоятельно.

Начну с возможных отрицательных впечатлений (априори: город хороший, всяк придерживающийся иного мнения пользы из моих советов не извлечет).

1) Район вокзала. По местной номенклатуре – «бан». Очень тяжелая околокриминальная атмосфера, к счастью, пропадающая уже шагов через триста, по выходу с площади Бабушкина.

Сначала приписал возникшее чувство собственной феноменальной трусости, но, пообщавшись с местными, убедился: да, этот участок города считается цитаделью гопников и всего такого прочего. Справедливости ради: спрашивал я ребят с достаточно дальних районов – с Заречного, с ЦПХ (этимология названия первого понятна интуитивно, второй расшифровывается именно так, как вы подумали – там общежития с милыми девушками).

2) Очень мало указателей куда-либо. Даже обычных городских – «Вокзал», «Центр», с циферками расстояний, не говоря уже о направлениях выезда. Объехав значительную часть Вологодской области, пришел к выводу о распространенности практики. На всем пути до Устюга встретил три информационных стенда. Так-то маловато для дистанции в 450 км.

3) Засилье отечественной попсни во вполне приличных кафе и на набережной.

4) На любителя. Много бездомных кошек. В расчете на душу населения, явно больше, чем даже в Одессе. Выглядят неголодными, но может стать жалко. Мне жалко не было: свободные зверушки это хорошо. Кстати, в Устюге их еще больше. Опять-таки в пересчете на душу человеческого населения, конечно.

5) Совсем на любителя. Они называют шанежки лепешками! В замечательной столовке Железнодорожного техникума так и написано: «Лепешки с черникой». Вкусно, но противно. Это шанежки! Шанежки!!! Еще они обзывают шанежки «рогульками». Я почти привык к московскому гадостному слову «Ватрушки», но это ШАНЕЖКИ!!! Вот в Тотьме шанежки называют шанежками.

6) Жутковатый вид от памятника Рубцову на противоположный берег Вологды. Там стоит брошенный и растаскиваемый на атомы завод «Северный Коммунар». Можно понять, когда закрывают оборонные предприятия – война кончилась, завод не нужен, но на этом предприятии делали хорошие, годные деревообрабатывающие станки. И отправляли их на экспорт, заменив, правда, местные подшипники немецкими. Теперь завод, производивший станки, погиб, а второй, выпускающий квадратные подшипники, жив. Рынок, чо.

Наверное, самое идиотическое из всего сделанного Гайдаром и его командой это внедрение в народ идеологии низкой оплаты труда в качестве главного преимущества российской экономики. Воспринимая людей в качестве быдла, готового пахать за три копейки, нечего обижаться на деградацию. А китайцы все равно сделают дешевле: у них климат теплей и их больше.

Был шанс в самом начале девяностых грамотно использовать квалифицированнейшую рабочую силу, сделав идеологией выпуск дорогой, качественной продукции. А теперь этой рабочей силы почти нет, а оставшаяся трудится последние годы. Это я как руководитель производственного подразделения говорю.

Только получается уже не про Вологду.

Вологда. Практика-2

С моей точки зрения, никакого смысла проходить Вологду быстрым транзитом нет. Ну, правда: очень красивый город. По прибытии на вокзал рекомендую перекусить в столовой Железнодорожного техникума – это мимо Автовокзала, напротив памятника зенитке. Буквально 5 минут пешком от станции. Обед встанет рублей в 70.

По пути можно зайти на автовокзал, убедиться в неиллюзорной дороговизне билетов до Тотьмы и Великого Устюга (320 и 700 рублей соответственно), после чего выбрать правильный вариант автостопа до этих городов.

Далее вы все одно отправитесь в центр – других дорог особо и нет. В случае появления алкогольных потребностей, в столовку техникума можно не заходить, а посетить ту самую «Пивнушку» напротив стадиона. Кормят там прилично, пешком идти от вокзала минут 20. Естественно, рекомендуется спрашивать дорогу не до пивнушки, но до стадиона. А вот уже у стадиона всякий объяснит, где пивнушка. Стадион хорош: Динамо-Вологде скоро станет стыдно, и команда выйдет в Высшую лигу.

До Софийского собора и прочего Кремля, думаю, дойдете сами, увидев по пути много интересного. И про эти достопримечательности, безусловно, заранее все прочтете в Сети. А вот дальше я рекомендовал бы пешую прогулку по Заречной стороне. Действительно: церковь Святого Николая прекрасна: Софийский собор все-таки несообразен нынешнему городу и напоминает о лучших временах. Хотя чего там лучшего было? Иван Грозный и все такое. Да: явившись в Софию более чем с одним местным провожатым, вы непременно станете свидетелем спора о том, куда царю прилетел кирпич, свалившийся со свода – на голову или на ногу. Согласно летописям, кирпичом была плитка и упала она рядом, но всем как обычно пофиг.

Реку можете переходить по Октябрьскому мосту – тому самому, упирающемуся в стену школы и создающему в городе автомобильные пробки – или по пешеходному Каменному. По Каменному веселей, но дальше.

В Заречной стороне можно поесть либо опять-таки в столовых, коих тут легион, либо в «Кофейне на Гоголя». Вопреки названию, меня там накормили замечательной солянкой и напоили двумястами граммами «Путинки». Все было свежим и вкусным.

Погуляв, выходите на улицу Чернышевского, делая там нравственный выбор: идти в Прилуцкий монастырь пешком либо ехать на транспорте. Первый вариант предпочтительнее, конечно, в компании. Расстояние я не мерил, но навскидку километров 5 будет. По пути увидите Вологодский централ, прославленный добрым, душевным, чутким конвоем, а также сидевшим тут на пересылке Бродским. Чуть дальше – брошенная железная дорога. Вот по ней и топайте к монастырю.

Монастырь красив. Особенно со стороны реки. Очень интересная и продуманная система валов, подставляющая врага под пули максимально полно и аккуратно. Впрочем, валы эти насыпали после изгнания поляков в 1612-м. То есть Прилуцкий монастырь они благополучно выпилили. А Кириллов не смогли, поэтому монахи по получении соответствующего боевого стимула скопировали систему обороны у своих менее ленивых соседей. Толстые стены монастырю приторочили по указу Екатерины II, свершив дело бессмысленной красоты. Внутри все достаточно строго: женщинам выдают длинные юбки, фотографировать нельзя, но можно; забираться на стены разрешается невозбранно и безвозмездно. А вот за куренье монаси вопленно кричат!

К попытке переночевать брат-привратник отнесся совершенно без всякого энтузиазма, однако думаю, тоже вопрос решаемый – приди поздно, под дождем, усталый – и тебя впишут. Впрочем, это не руководство к действию, но домыслы.

Стартовать на Тотьму и Устюг можно сразу у монастыря, за железнодорожным переездом. А можно не жадничать или не лениться, пройдя по трассе километра три в сторону аэропорта. Если чего – городские автобусы №91А и 84. Непосредственно за отворотом на него голосовать. Берут почти мгновенно. Так говорят мудрые люди, и это проверено на собственном опыте.

Вологда – Тотьма – Великий Устюг

Получился очень удачный короткий стоп. Четыреста пятьдесят километров по трассе и десять пешком (от дороги до Тотьмы и обратно, плюс погулять по городку) преодолел за восемь часов.

Стартовал с отворота на аэропорт. Еще в городе познакомился с местным челом Серегой. Он мне объяснил разницу между бичом и бомжом: бомжи это те, кто на улице спят, а бичи, типа Сереги, живут коммуной в квартирах, деля все поровну. Кроме того, у них есть телевизор. Впрочем, ночь перед нашим знакомством Сережа провел на улице – к ним в хату заехал бывший афганец, напился и многих поразогнал. Сегодня афганца должны были воспитывать.

Еще Серега обогатил мой словарный запас дивной фразой:

– Конечно, у вас в Москве мульды богатые, можно жить!

Кто такие «мульды» сказать не могу, но контекст подразумевал возможность найти в мусорных баках столицы очень много полезных, вкусных вещей.

Стопить начал в 7 утра, потока не было никакого. Остановилась вторая же машина – маленький немецкий грузовичок. Водителя тоже звали Сергеем. Он ехал в Архангельск и звал меня с собой «за компанию». Почти согласился, но все сгубила проклятая робость. Начальные километров 20 от Вологды к северу трасса М-8 имеет вид среднего проселка. Потом все гораздо лучше, и где-то после отворота на Сокол можно ехать с максимально разрешенной скоростью.

Высадил Сергей меня в Чекшино. Там расходятся дороги на Архангельск (прямо) и Тотьму-Устюг (направо). Три четверти транспорта уходят на Архангельск. Поток, вроде бы подросший, таким образом, снизился до одной машины в 3-5 минут. Подобрали, однако, тоже довольно быстро – семья пенсионеров на девятке. Ехали близко, до Воробьево, 16 километров. За это время успели прочитать мне мораль о необходимости работать, а не бродяжить. Я с благодарностью мораль выслушал. Очевидно, пара была скрытыми кантианцами – помогали ближнему, преодолевая отвращение.

В Воробьево довольно много закусочных, правда очень плохих, никакого сравнения с Шадейкой, например, но водители все равно там останавливаются, и можно с ними договориться. Практически сразу уехал с лысым мужичком, гнавшим КАМАЗ в Котлас. До отворота на Тотьму долетели примерно за час. От трассы до собственно Тотьмы пришлось идти четыре километра, преодолев по пути небольшое село Варницы.

В двенадцать дня снова выбрался на трассу. Встал сразу после отворота из Тотьмы на Устюг. Позиция оказалась неоднозначной: автомобили, следовавшие из Вологды, почти не останавливались: там трасса на протяжении пары километров уходит под гору и затем вверх, водитель набирает приличный разгон и тормозить возле вас ему совершенно не хочется. Хорошо стопятся местные, но они в основном едут на дачи, это в 15-ти километрах. От первых двух предложений доехать туда я отказался, и зря. В общей сложности прождал тут машину почти двадцать минут – антирекорд дня.

Тормознул УАЗик с дедом, одетым в тельняшку, но с синими полосками:

– Привет, пограничник, куда добираешься?

Так я узнал про тайну своей зеленой тельняшки, носимой только погранцами. Значит, разгуливая в ней на прошедший День ВДВ, имел шанс получить особый, совершенно замечательный нерукотворный приз. Век живи, блин. Вообще, все эти символы крайне идиотичны: например, берцы с ярко белыми шнурками нужны не для обозначения принадлежности к скинхедам, а для вечернего стопа! Ну, правда, они бросаются в глаза водителям.

Дед высадил меня на остановке Дачи. Остановка отличная, бетонная с широкой скамейкой. Такие же стоят до самого Устюга, в случае необходимости в них вполне можно ночевать. А вот деревень вдоль трассы мало, точнее совсем нет. И реки не видно, Только заболоченный лес.

Подождав минут десять, уехал на десятке с молодым парнем, водителем вологодской Скорой Помощи. Опять почувствовал себя замшельцем: когда катался по стране более активно, Сухонского тракта вообще не было. А пацан вот считает его старой дорогой. Он меня провез больше ста километров, высадив за поворотом на Нюксеницу, возле кафе для дальнобойщиков. Там стопить почти нереально – обочина занята большегрузами и дальше крутой поворот. Я и не стопил: договорился с дагестанцами, продавшими арбузы и ехавшими в район Устюга за фанерой. Нормальные ребята, вот им никакого дела ни до тельняшки, ни до белых шнурков не было. Зато они

слушали диски, начинавшиеся с невероятной мягкости голоса: «Радиостанция Прибой и телекомпания ТНТ-Махачкала представляют знаменитого дагестанского артиста....». Ничего особо страшного в музыке не было – обычная постсоветская попса с восточным акцентом, однако дивно привязчивая. Я потом весь день напевал:

«Вечер наступил в Баку
Сидеть дома не могу»
и
«Приезжай, приезжай, приезжай ты в гости к нам
Приезжай, приезжай в наш любимый Дагестан».

Не иначе это знак – давно хочу поехать вокруг Каспия, не знаю только, как получить туркменскую и иранскую визы, имея на руках давно просроченный загранпаспорт.

Дагестанцы высадили меня за 13 км до Устюга, следующую машину тормознул просто мгновенно и, в общем-то, этап поездки закончился. Хорошо, но мало.

Тотьма

Довольно давно прототип толстовской «Смерти Ивана Ильича», брат Нобелевского лауреата Ильи Мечникова, тоже Мечников и, естественно, Иван Ильич, написал книгу «Цивилизация и великие исторические реки». Там сказано, например, о влиянии рек на характер населяющего их берега народа. Вообще, книжка умная и интересная, но в ней нет почти ничего о конце речного пути.

Это я вот к чему: между Кирилловым и Вологдой проходит водораздел Волги с Северной Двиной. Например, Шексна течет в Волгу, а Сухона – это левая половинка Двины. По верному замечанию одного персонажа, Волга впадает в Каспийское море. А Каспийское море никуда не впадает. Северная же Двина бежит в Ледовитый океан, откуда можно попасть в другие моря и всяко прикалываться.

Так вот: маленький, спрятанный в глубине материка, городок Тотьма в XVII-XIX веках организовал больше морских экспедиций, чем Москва, Ярославль и все волжские мегаполисы вместе взятые. И устроил колонию в Калифорнии – тот самый Форт-Росс. За несдачу нашими форта американцам Англия предлагала царю Мальту и вечный выход в Средиземное море. А царь испугался. Заметим: испугался не столько войны с пиндосами, сколько наличия свободных русских поселений в Новом Свете. А не забоялся бы – Голливуд был бы нашим. Или его б вообще не было. И атомной бомбы. И мировых войн. И терроризма было б меньше.

И еще о влиянии рек. Менталитеты обитателей Перми и Ярославля, отстоящих друг от друга на 1200 км, очень похожи. А в Вологде и других городах бассейна Двины все совсем не так. Другой народ, с вполне выраженным оканьем, например. Но все равно в Тотьме чувствуется несоответствие нынешних жителей и старых зданий. Люди там неплохие, однако явно не мореходы. Совсем не мореходы. А церкви слишком похожи на корабли.

Беглый осмотр города занимает часа три.

По городу течет речка Песья Деньга. Удивительно: как сумела небольшая Тотьма так загадить реку. Но факт: да, загадить сумела.

Сухона

Это очень красивая река. Непонятная. В Тотьме она широкая, чуть не в полкилометра. А потом пропадает. На картах дорога Тотьма – Великий Устюг идет вдоль Сухоны, но на самом деле ее видно еще два раза: после Нюксеницы и перед Устюгом. В Нюксенице Сухона совершенна: даже в очень жаркий день видно, насколько она северная и темная. Берега обрывистые, похожие на чусовские, только усталые немного. Там, гораздо ниже по течению, река вдруг становится глубо-

кой и узкой. А в Устюге она довольно бесстильная: красивая, конечно, но обыкновенная. Видимо? уже готовится слить себя с Югом и стать Северной Двиной.

Очень правильно: после слияния с равной по величине сестрой, река должна менять имя. Например, от Казани к Каспию, безусловно, течет Волга. Но выше, до впадения Камы, реке надо дать иное название. Тогда никто спорить не будет, кто в кого впадает.

Вот назвали б реку в верховьях не Волгой, а каким-нибудь другим распространенным и запоминающимся словом. Например, Задницей. Тогда б получился Саратов на Волге, а, скажем, Кострома – на Заднице. И городу пиар, и всем весело. С другой стороны, Черное Знамя Анархии, поднятое над Волгой, круче, нежели Черное Знамя Анархии, поднятое над Задницей.

В общем, обещаю продумать этот вопрос, когда приду к власти.

Устюг – Котлас – Коряжма – Устюг

В четверг целый день катался с водителем Женей на автомобиле Freightliner. Такие машины очень любят показывать в американских роуд-муви. В кабину надо долго карабкаться по лестнице, а забравшись вполне можно играть в футбол или, по крайней мере, в настольный теннис. Правда, огромная кабина. Еще очень интересно обгонять КАМАЗы-лесовозы: они едут далеко внизу, напоминая котят. В Европу эти грузовики не пускают: ну, правильно – чего ж хорошего, когда радиатор в Люксембурге, а задние оси еще в Словакии.

До весны Женя работал «на дядю». Дядя платил хорошо, но мало – от 70 до 90 тысяч рублей. Женя расстроился, взял кредит и купил себе машину. Я застопил его в восемь утра, когда он, успев уже увезти продукты из Котласа на вотчину Юрия Михайловича Дедамороза, собирался вставать под загрузку в Коряжме, на целлюлозно-бумажном комбинате. Договорились там встретиться – мне все равно вечером надо было обратно в Устюг, а Женя через него проезжал.

Услышал компетентное мнение о встреченных мной накануне дагестанских водителях. Дальнобойщики называют их «Арбузтранс» и не любят. Южане свой нежный груз везут со скоростью 30-50 километров в час, не разгоняясь даже на прямых. Понемногу за ними выстраиваются километровые колонны: попробуй обгони фуру на фуре.

– А еще они жадные, прикинь: берут машину на двоих и два мотора. Пока у себя в Дагестане ночь стоят, мотор меняют. Каждый на своем моторе ездит!

Вот так две стереотипных особенности кавказцев – безрассудная смелость и щедрость – в глазах коллег обращаются в свои противоположности. Впрочем, Женя вообще к нерусским относится как к нерусским:

– У нас из Коряжмы их всех выгнали еще в девяностые. Три китайца только на рынке осталось. Ну, еще пара водителей, грузины, тоже лес возят. Так мы их за черных и не считаем. Сейчас все черные в Котласе.

Отношение к Котласу понятно: два примерно одинаковых города с близким уровнем жизни и численностью населения всегда будут друг друга ревновать. В общем, Женя высадил меня в Котласе, я цивильно (за деньги, в смысле) съездил в Сольвычегодск, застопился в Коряжму и вечером вернулся в Устюг.

Женя, кстати, рассказал о возможности стопа на Киров через Тотьму. Надо стоять не у того отворота, где я ловил машину на Устюг, а у ближнего к Вологде, напротив АБЗ (асфальто-бетонный завод). Там идет хороший поток на Нижний Новгород. Можно было уехать, Женя соглашался ждать, пока я вещи соберу, но 200 км обратно по той же дороге – неинтересно ж.

Устюг, Котлас

Честно говоря, пока усилия Юрия Михайловича по продвижению темы с вотчиной Деда Мороза, Великого Устюга не портят. Вотчина расположена на горушке, километрах в шести от само-

го города. Зато в Устюге выложили плиткой несколько улиц, построили отменную школу и правильные дома.

Население же сохранило всю прелесть обитателей беднеющего места с великим прошлым. Вечером на Советском проспекте болтались толпы пьяных ребятишек с банками Ягуара. В принципе, ничего страшного, подумаешь, диалоги типа:

– .ули ты пива-то не хочешь?

– Пошел на .уй!

– Сама иди, .бань .раная!

Ну, девачки лет по 14, поддав, качаются на лошадках в городском парке и ржут, вероятно, лошадок этих озвучивая, ну наблевано к 11-ти вечера возле церкви.

Нет, действительно ничего катастрофического, просто на фоне тихого по природе своей города смотрится диковато.

И еще – абсолютный контраст с Котласом. В Котласе мне вообще ничего, кроме людей, не понравилось. Северную Двину жалко очень. Огромный наносной остров возле автомобильного моста, песчаные косы до середины русла, объявление на речном вокзале о переносе рейса до Сольвычегодска на окраину города «ввиду обмеления фарватера». Реку долго губили, вырубая и сплавляя лес. Лес кончился раньше, чем река, река стала не нужна. Русло никто более не чистит, песок не вывозят. Грустно.

А люди в Котласе правда классные. Город основали между февральской и октябрьской революциями 1917 года; позже, при Сталине, там было то ли шесть, то ли восемь пересыльных лагерей, отчего, честно говоря, я думал увидеть нечто вроде Краснокамска Пермского края с наркошами и прочими деклассантами. Нет.

Отличный, спокойный, уверенный в себе народ. Абсолютно неагрессивный, но готовый к самообороне. Себя люди уважают.

Тротуар перед вокзалом подметала беленькая, стройная, похожая на снегурочку девачка, явно студентка железнодорожного техникума, устроившаяся на подработку (засомневался: бывают ли снегурочки с метлами? Наверное, бывают – из кого-то же получаются бабки-ежки). Подходит эта девачка с метлой к крупной даме:

– Мадам (именно так)! Вы видели: я тут только что подмела тротуар. Зачем вы мусорите?

– Я это... голубей кормлю...

– Мадам! Голуби не едят шелуху от семечек. Вы ведь, наверное, тоже чистите банан, когда его кушаете?

В Котласе есть площадь Трех вокзалов: железнодорожный, речной и автовокзал расположены на одном пятачке вокруг паровоза. Паровоз, кстати, меня напугал. Я к нему подхожу, а он тарахтит и пыхтит. Ну, не должен тарахтеть и пыхтеть паровоз, стоя на постаменте без рельс. А он тарахтит и пыхтит. Оказалось, с другой стороны от него мужик косил траву бензиновой косилкой. Мужика не было видно, но косилку было слышно.

Еще Котлас – это самый маленький из виденных мной городов, где есть секс-шоп. Наверное, для входа в такой магазин в городке с населением в сорок тысяч нужна особая смелость: через день ваши семейные пристрастия будет обсуждать половина населения. Я вот в этих заведениях ни разу не был. Даже в Москве. Вдруг знакомого встречу. И в Котласе не пошел.

Магазина «Финн Флэйр» в Котласе, кажется, нет, но в одежду этой марки одета едва ли не треть города. Одобряю. В Устюге наоборот, магазин есть, а на населении почти сплошь китайское.

Еще в Котласе не говорят на «о». В Устюге, 65 км к западу, говорят. И в Сольвычегодске, 40 км к востоку, говорят, а в Котласе не говорят.

Дело, конечно, не в особенностях разговора. Просто в Котласе много разных предприятий, большой транспортный узел, газокомпрессорные станции, и нет великого прошлого. Оттого народ сам себе адекватен. Когда станет надо, этот город предоставит нам батальон. И Коряжма тоже батальон. Это будут элитные части. В них никто не погибнет.

Устюг

В Устюге встретил абсолютно прекрасную пару, скорее всего местные или ближние туристы, из области. Мужчина в спокойном, сером, старонемодном, хотя и новом костюме с желтой рубашкой. Очень похож на положительного героя советского фильма: не на самого положительного, а на скучно-положительного. У положительного героя в советском фильме должен был присутствовать надлом, а скучно-положительный всегда был свободен. И цель положительного героя была в том, чтобы преодолеть надлом и стать скучно-положительным.

На вид перед пятьюдесятью, седоватый, лысоватый, причем одновременно с плешью и залысинами. Смешной, в ботинках из честного бордового кожзама. И женщина с ним была. В довольно страховидной, вязаной и фиолетовой кофте. Лет сорока пяти. Совсем не стремящаяся походить на девачку в отличие от многих своих ровесниц. Пара эта шла по улице Советской, взявшись за руки. Дяденька иногда наклонялся к спутнице и целовал ее в щеку. Я их сфотографировал, но снимки, оказавшись дурацкими, были удалены. Не было на фотографиях никакой радости, а были только усталые люди. Это, наверное, я фотографировать не умею. В жизни пара выглядела потрясающе.

Сольвычегодск

Самая северная точка поездки. Вообще, начало маршрута получилось соленым. В Нерехте добывали соль, в Вологде добывали соль, в Устюге добывали соль, а Сольвычегодск вообще был столицей соляной империи Строгановых. Они основали его в 1492 г., когда другие люди открыли Америку.

Летняя резиденция Строгановых располагалась в поселке Ильинском Пермского края. Ильинский и Сольвычегодск очень похожи, но Сольвычегодск сильнее разрушен, а в Ильинском теперь нет парома. И центральная усадьба Строгановых в Ильинском сохранилась лучше. При этом окошки в сольвычегодском доме явно выщелкнуты недавно. Камушками.

Храмы, доведенные до состояния скотобаз, возвращены церкви. Дело обычное. Некоторое время назад Сольвычегодск пытался подняться на имени Козьмы Пруткова. Фестиваль проводили. Потом организатор умер.

Познакомился с двоюродным братом Юры Шатунова. Ну, он мне так сказал. А я всегда верю людям, если это не наносит прямого материального ущерба. Юрин брат привез в Сольвычегодск американских туристов. Пугать, наверное.

Случись стать кинематографистом, я снимал бы в Сольвычегодске кино про депрессию и национальную катастрофу. Но на самом деле я б такого кино не снимал и в Сольвычегодск бы не поехал.

Устюг – Котлас – Пинюг. Нелегкая судьба журналюги. Ужастик

В Устюге вписывался по довольно сложной схеме. У меня в этом городе друг служил, офицером. Естественно, привез оттуда жену-красавицу. Я Костю с Анжелой попросил меня устроить. Получилось весьма удачно: тетка Анжелы присматривала за квартирой богатой местной девушки, хозяйки оптовой базы. Сама хозяйка уехала на какие-то острова. Квартира отличная, законные четыре звезды, в первую ночь выспался прекрасно.

Во вторую планировал еще более отменный отдых, но Костя допустил маленькую ошибку. Договариваясь о вписке, назвал меня журналистом:

– Ты понимаешь: про поэта я сказать постеснялся, а про начальника она б не поверила.

В общем, тетушка, две ее подружки и активный дедок пришли вечером четверга жаловаться на жизнь столичному газетчику. Заметим: дело происходило не в деревне Гадюкино, а в Великом

Устюге, куда часто приезжают медийные персоны. Надежда на помощь «властей» неистребима. Телевизору никто не верит, но журналистам ябедят.

Слушал я эту компанию до полвторого, поспал чуть-чуть и в шесть утра выполз на трассу. До Котласа доехал быстро, в машине спал, чего делать не рекомендуется категорически: водитель может вдохновиться примером, и тогда у вас случатся приключения мозга

Электричек из Котласа в Киров нет, опять-таки по причине неэлектрификации железной дороги. В отличие от центра России, билеты здесь проверяют на входе, поэтому пришлось отдать 30 рублей. Можно было купить и за 10, но проводница бы не поверила. Кто ж до окраины города поедет тепловозом? До Пинюга билет стоит 170, стало быть, обошлось недорого.

Вагоны были обычными, плацкартными, только билеты без мест. Со мной в купе разместились пятеро мужиков и стали говорить про грибы и рыбалку. Я сначала слушал, потом решил достать ноутбук. Только потянулся к рюкзаку, белый котенок, сидевший рядом, прыгнул мне на шею и стал мурлыкать. Мурлыкает и трется. А за окном станция Луза. По перрону ходила стройная, но усталая женщина в коричневом плаще и продавала кошельки. Красивые, самодельные кошельки, тоже коричневые и кожаные. Никто эти кошельки не покупал, женщина, шатаясь, отправилась к мостику через заросли донника, но вдруг наклонилась и подняла с земли крохотного черного-черного котенка с желтыми, сырными глазами. Вообще, у котят такого размера глаза закрыты, а у этого они были огромными, яркими. И смотрели прямо на меня. Оказалось: не могу шевелиться и почти не дышу. Женщина стала улыбаться совсем нехорошо, беззубо как-то, а белый котенок, сидевший на моей шее, прекратил мурлыкать и начал затягивать воротник свитера. Мужики сидели вокруг, переговариваясь о своем. Нет, я уже понял: это сон, кошмар такой специальный, но легче не стало. Вы никогда не пробовали во сне молиться? Трудно очень. Дыхание прекратилось полностью, это даже во сне чувствовалось, но проснуться не мог. Дурацкое состояние собственного бессилия: такое, наверное, бывает в падающем самолете. Только еще и дышать не получается. А котенок ворот все сильней тянет.

Когда очухался, купе было совсем пустым, а поезд на самом деле стоял в Лузе. Вид за окошком вполне совпадал с явленным во сне. Вообще, ничего особенно удивительного нет: я ж православный и верю в бесов, притворяющихся кошками. А бесы любят нападать на усталых. Вот у Анастасии Астафьевой есть рассказ о куда более страшном происшествии с ее лирической героиней и котом-смертью, а у меня так, мелочи.

Пинюг – Киров

Вообще, волна пригородных поездов от Котласа до Кирова довольно удобна, ждать пересадку в Пинюге приходится меньше часа. Скорость тепловозов, однако, неестественная совсем. Это, наверное, про них Майк Науменко переделал песню Боба Дилана о медленном поезде. Контролеры, впрочем, добры. Обычно такие составы называют «поезда с тетками», но до Кирова ехал поезд с дядьками: почти все проводники были мужеска полу. С ними договариваться проще. Так даром и довезли. Поспал чуть-чуть сидя.

А никакого кризиса среднего возраста на самом деле нет. Его придумали маркетологи и инопланетяне. Средний возраст есть, а кризиса нет. Кризис это ведь когда плохо, а мне, например, очень хорошо.

Еще некоторые определяют кризис как несовпадение. Несовпадение, вероятно, есть. Сын Федя как-то сказал:

– Папа, ты бы хоть журналы какие-нибудь почитал, как должны вести себя начальники.

У нас в семье одному пятнадцать, а другой Холден Колфилд. Нормально.

Раньше, при коммунистах, журнал о том, как надо вести себя начальникам, был. Назывался он ЭКО и издавался в городе Новосибирске. Этот журнал много лет читал и выписывал мой папа. А теперь никаких журналов нет, только глянец.

Но несовпадение это все равно не кризис. Кризис у меня тоже был, лет в 25-27. По внешнему календарю в 1997-99-е гг., а по внутреннему – между защитой кандидатской и рождением Нины. Работа особых усилий не требовала, друзья один за другим превратились в машины, алкоголь еще не радовал, двухкомнатная квартира уже была, а на трехкомнатную накопить не получалось... Короче, два года пролежал на диване, глядя в телевизор. Вот это был кризис. А теперь не-а.

Неправильное время

Вологодская, Архангельская и Кировская области живут по московскому времени. При этом от Кирова до, например, Верещагино, 250 километров, а до Москвы почти тысячу. Но с Москвой время одинаковое, а с Верещагино разница на два часа.

С непривычки очень странно, когда в девять часов полная темень – не зима ж, конец августа только. А с другой стороны, все правильно: в Москве время декретное, стало быть, на час сдвинутое. А в летнее время – сдвинутое на два часа. Получается, в Кирове летом оно как раз правильное.

Киров

В Кирове мне, во-вторых, нравится рельеф, а во-первых – Маша Ботева. Вот преимущества дармового пути: можно проехать 500 км просто соскучившись по человеку. Нет, за деньги тоже так можно ехать, но наверняка придумаешь какое-то дело. Хотя бы выпить. Маша, заметим, не пьет.

Моя Люба правда выражается менее романтично:

– Бешеной собаке семь верст не крюк.

Приехав ночью, рельефа кировского в этот раз не увидел. А с Машей да, встретились.

Сфотографировавшись с Черным Знаменем, сели на берегу пруда. Темно. Маша говорит:

– Смотри – утка плывет.

– Не, это ондатра.

– Крыса??? Она ведь щас прыгнет.

– Не прыгнет, она в воде живет, ест маленьких рыб и лягушек.

– А как она их ловит? Лапами что ли?

Многие знают: я за глаза, абсолютно бескорыстно, называю Машу гением. Вот давным-давно прочитал в детской энциклопедии о питании ондатр, и думать об этом забыл. А тут аналитика такая. Лапами...

Пошли в «Данар». Это совершенномудрая кировская сеть фаст-фуда, круглосуточная и вкусная. Маша взяла бурито.

– Ножик надо?

– У меня есть.

Вот предложили б мне угадать предмет из Машиной сумки и дали б сто попыток, я бы обломался. Нож имел очень уважительный размер и боевые характеристики.

– Ну, я тут за грибами ходила, забыла выложить.

Ага. В Кирове крайне агрессивные грибы; добрых слов не понимают. А девочки ходят за ними с сумочками.

Некогда лучших в России кировских водителей больше нет. Их заменили хамами, не всегда тормозящими даже на зебрах. При общероссийском смягчении дорожных нравов контраст разителен. Еще рядом с вокзалом выстроили непристойных размеров зиккурат. На зиккурате, правильно подсвеченном по ночам, имеется надпись: «Кировское отделение пенсионного фонда». В откровенно небогатой области цинизм потрясающий.

История с закатыванием в асфальт действующего дорожного переезда к визиту Дмитрия Медведева оказалась правдивой. Губернатор Белых потом оправдывался:

– Это требование охраны. Иначе Президент бы к нам не приехал.

Странно. Вот будет поэт Леша Евстратов, одноклассник этого самого Белых, кстати, много пить и скажет:

– Андрюх, замуруй дома унитаз, вдруг оттуда змея выползет. А то я к тебе в гости не пойду.

Я б тогда предложил Алексею встретиться в распивочной «Чпок». Там унитазов нет.

Киров – Балезино – Верещагино – Пермь

Никому не нужная жадность. Следовало не выделываться, а ехать на поезде. Ничего нового на стократ пройденной дороге не увидел, только умотал себя проездом в двух электричках со злыми контролерами и ультракоротким по расстоянию, но долгим по времени стопом Балезино-Верещагино.

В итоге приехал в Пермь, проспав 4 часа за полтора суток. Ну, имею в виду весь переезд из Великого Устюга.

Пермь

Честно говоря, легкий культурный шок. Пермь всегда была достаточно модным городом. Нет, и теперь можно встретить мальчиков с правильными прическами или хорошо следящих за собой дам, но столько олимпиек и спортивных брюк с тремя полосками, наверное, не видели даже зрители Чемпионата мира по легкой атлетике.

Заподозрил себя в столичном снобизме. Нет. Евстратов то же самое говорит. И брат мой тоже. Они во всем винят гастарбайтеров и понаехавших из области. Вряд ли правы. Это явно реакция на кризис. Пермский край из региона с весьма высоким уровнем жизни перешел, скажем так, в более низкую лигу. Заметим: город все еще богаче и Кирова, и Вологды, и тем более Иваново. Однако снижение потребительских стандартов вкупе с кержацким менталитетом приводит к предсказуемым результатам:

– По всему видать, настали последние времена.

Так к себе и относятся. Каждый третий диалог в автобусе заканчивается скандалом. Зря. Ничего страшного пока не разразилось.

Пермь – Кунгур

Хотел полемизировать с автором журнала «Новый Мир» Сергеем Шмидтом. Он довольно часто пишет о нелюбви к халяве и жадности. Я всегда считал эти грешки противоположными. Например, приехав в город на халяву, можно напоить больше народа и победить жадность.

Увы. Собравшись в Кунгур, резко осознал желание доехать даром. Испугался.

Однажды, почти 20 лет назад, седьмая общага пермского мединститута пропилась. Единовременно кончились выпивка, закуска и деньги. Времена были горбачевские, талонные, водку брали у таксистов за сумму, равную стипендии, закуску где придется, а деньги у родителей. И вот, стоя на пермском автовокзале с нехваткой 10 копеек до суммы, потребной на билет в Кунгур, я подумал себе:

– Андрюш, водка, колбаса и билет Пермь – Кунгур не могут стоить дорого. Когда тебе не хватает на это средств, неправ ты.

В дальнейшем таких ситуаций избегал. А тут зажадничал. Исправился, приобрел проездной документ, поехал цивильно.

Добравшись, немедленно попал на день рождения сестры. Устав за двухдневный путь, быстро заснул, укрепившись в репутации родственника скучного и не умеющего пить.

Кунгур. Дача

В шесть утра папа разбудил похмеляться. Его представления об опохмеле весьма отличаются от общепринятых:

– Сынок, я тебе очень рад.

Ставит на стол бутылку дивной пермской водки Градус, пол-литра.

– Папа, я тоже очень рад тебе.

Достаю медовуху гречишную, сорок объемных процентов спирта, тоже ноль-пять.

Выпили по первой. В смысле, по первой бутылке. Достали по второй, сидим, друг друга угощаем. Допивать пока не стали, решили баню топить. А у нас там на топчанчике, около стенки, сложены яблоки: ну, они иногда зелеными с веток падают, так складываем дозревать. Захожу в предбанник, папа лежит лицом во фрукты.

– Ты это чего?

– Я.... так... яблоки думаю...

– Как... в смысле...?

– Носом... Хорошие в этом году яблоки.

Захотели трезветь. Мне ж еще вечером с Алексей Геннадьичем Евстратовым надо было встретиться. Натопили, напарились. Я в Пермь уехал. Вечером с Лешей хорошо посидели.

Жалко, маме показалось, будто я нетрезв. Расстроилась немножко.

Закамск

Однажды, полвека назад, Пермь захотела стать миллионным городом. Было трудно, пришлось слопать несколько ближних и не очень ближних поселков. Одним из самых далеких оказался Закамск. Не поселок даже, но почти город-спутник. Сейчас до него можно добраться из центра Перми примерно за час, а в пятидесятых, когда, собственно, Закамск был городом подмят, на это уходил целый день.

Многие пермяки и почти все гости города до сих пор называют Закамском все расположенное за Камой, кроме Гайвы. Нет, это не так. За Камой, например, есть Курья, Верхняя Курья, Пролетарский, Железнодорожный, Водники и много других районов. А Закамск – он особенный, там самая красивая Кама.

Впервые я поселился в Закамске аж в 1993 г. Двадцать лет, первая собственная квартира, любовь. Что еще надо человеку для счастья? От радости перестал писать стихи и не писал их очень долго.

Закамск имел тогда славу криминального района. Поверьте: в славные девяностые на Урале слава криминального района просто так не доставалась. В отличие от других локаций, Закамском рулили спортсмены. Точнее боксеры. Даже ходил местный прикол:

Чел спрашивает жителя Закамска:

– Где тут у вас зал бокса?

– (широко поводя рукой): ВЕЗДЕ!!!!

В остальной Перми анекдотец рассказывали, заменяя слова «зал бокса» словами «общественный туалет». От спортивного ли анамнеза, от чего ли другого, но некоторые приличия «на раёне» сохранялись. Когда я спросил аборигена Славу, почему мы с Любой гуляем тут днями и ночами, а нас никто не трогает, он ответил:

– Кто ж на тебя с девчонкой будет нападать? Это херово очень. На Водниках вот нифига понятий нету, не ходите туда.

Да. Неаккуратно отпраздновав свое двадцатидвухлетие, я действительно получил сотрясение мозга. Было очень похоже на еще не снятый фильм Квентина Тарантино: один кадр – Гризzлинс закрывает дверь квартиры, другой – он же в квартиру возвращается, но уже битый. Так и не знаю, что происходило в эти шесть часов. Наверное, что-то интересное. Обретение жизненного опыта

сопровождалось утратой ста тысяч рублей. Нет, богатым я не был: события происходили до реформы, и сумма равнялась примерно 50 долларам. По тем временам почти зарплата.

Вскоре квартиру мы поменяли на двухкомнатную и Закамск покинули. Вернулся я туда уже начальником отдела одного правильного предприятия. На предприятии работало много хороших людей и замечательная девочка Маша. Я начал снова писать стихи. Ну, не могу их просто так, никому, писать. Не получается. Эти текстики составили первую мою публикацию. Журнал «Урал», № 9, 2007 год. Написал их, соответственно, тем же летом. Всего два года прошло, а кажется... Смешная подборка, но все равно приятно.

Вообще, сейчас Закамск очень похож на воплощение мечты некоего позднесоветского деятеля, ушибленного контрастом тогдашнего местного дефицита с западным изобилием: хрущевочки, немного «элитных» домов, малый бизнес в виде кафе и прочих заправок. Кстати, кафе отменные, лучшие хачапури к северу от Большого Кавказского хребта делают по адресу Маршала Рыбалко, 113. Заведение предсказуемо называется хачапурной. И самая вкусная лазанья к востоку от Аппенин тоже производится рядом, в пиццерии «Чезаре».

В Закамске есть заведение популярной пермской сети «Виват-буфет». Вам придется поверить мне на слово, но триста граммов водки в этих блаженных местах стоят 130 рублей. Угадали, сколько берут за непочатую полулитровую бутылку? Верно. Тоже 130. Потому как «без обслуживания». Могу ошибаться, но, похоже, бармены там не бедствуют. При наличии хотя б минимальной фантазии, конечно.

Кунгур. Тихвинская церковь

Уже 150 лет это самое высокое здание в городе. Представляете? В Париже появилась Эйфелева башня, в Чикаго – небоскреб «Утюг», в Москве – тоже какая-то фигня, а в Кунгуре Тихвинскую церковь никто не победил.

И все равно это никакая не церковь, а кинотеатр «Октябрь». Нет, я за реституцию и все такое, но в этом кинотеатре были фиолетовые билетики за 10 копеек, лучшее в мире мягкое мороженое – как-то мы с братом Лешей вдвоем съели килограмм этого замечательного продукта – и индийские фильмы. А на вечерние сеансы билет стоил 40 копеек и, в отличие от пафосной «Мечты», в «Октябрь» пускали детей до 16. В конце концов, на последнем ряду деревянных красных сидений я первый раз целовался. Мне накануне исполнилось 11 лет, Иринке было на год меньше, мы познакомились на городском пляже: я так и не понял, на чем держалась верхняя часть ее канареечного купальника. Потом мы виделись еще пару раз. Фильма, конечно, не помню.

Не. Это точно кинотеатр «Октябрь».

Кунгур

Здесь я прожил с 3 до 17 лет. Не главку надо делать, а большую повесть. Ну, может быть как-нибудь...

В общем, как говорили во время оно, немного цифр и букв. Данные по городу на 1989 г. и на 2009-й.

Численность населения: было 86 тысяч, стало 65 тысяч.

Завод «Турбобур»: работало 10 000 человек, осталось 2 500. Из них 2 000 должны вот-вот сократить.

Кирпичные заводы: работало 3 000 человек, теперь закрыты.

Кожевенно-обувной комбинат (помните сапоги-дутыши в конце восьмидесятых?): работало 5 500 человек, теперь закрыт.

Ремонтно-механический завод: работало 2 500 человек, теперь закрыт.

Мотороремонтный завод: работало 800 человек, теперь там автомастерская.

Нефтеразведка: работало 500 очень хорошо зарабатывавших людей, теперь закрыта.

Нефтегазодобывающее управление: работало около 1500 человек, теперь закрыто (тут вопросов нет, нефть иногда кончается).

Резервные офицерские части: выведены, гражданский персонал уволен.

Исправительно-трудовые колонии, 3 штуки, строгого режима, усиленного режима и дамская. Процветают. По освобождении контингент оседает в городе.

Заметим: когда подобные вещи случаются сразу, следует реакция типа «Путин в Пикалево». А когда постепенно... При медленном нагревании воды лягушка ничего не понимает и спокойно варится. В принципе есть нюансы. Например, немецкая фирма «Кнауф» открыла завод по производству стройматериалов. 400 человек обеспечены приличной работой.

Конечно, город не умрет: масштаб не тот и расположение на Транссибе помогает выжить. Народ торгует. Кстати, вокзал в городе, несмотря на интенсивное движение поездов, чист и прекрасен. И там соблюдаются многие традиции. На попытку спросить водки буфетчица отвесила солидную гроздь гнева:

– Какая Вам водка? Вы разве не понимаете, что такое железная дорога?

Вполне даже понимаю....

Вообще, из всех обозначений разницы между туристом и путешественником мне ближе всех такое: «Турист знает, когда и куда он вернется, а путешественник нет». Так вот, по отношению к Москве, Перми и т.д. я, наверное, путешественник. А для Кунгура – турист. Очень хочу вернуться хотя бы на кладбище. Оно классно расположено на Ледяной горе, над озером. В горе пещера. Правда, новая часть кладбища от озера далеко. Я по ней гулял. Встретил одноклассника и троих ребят помладше. Красивые фотографии, симпатичные памятники. Вернусь. Честно, вернусь.

Пермь – Кунгур

Лютость контролеров, работающих на электричках этого направления, отмечена даже сайтом Академии Вольных Путешествий. Подтверждаю: злые бабы. Я, кажется, знаю, отчего они такие.

Много лет назад в городе Кунгуре жила девушка Наталья Пронова (имя настоящее, фамилию чуть изменил). Закончила педагогическое училище, устроилась работать в детский дом, родила ребенка. И тут поняла: жизнь в своем пассивном залоге исполнена. Делать-то особо нечего. Собралась, выучилась заочно в педагогическом институте, начала делать карьеру. Все получилось. Не достигнув и тридцати лет, сделалась директором большого детского сада.

Как-то неожиданно выяснилось: для руководства коллективом нужны еще некие умения, кроме подсиживания, наушничания и готовности жрать ближнего. И родители жаловались: террористический режим, запрещающий, например, принимать детей после полвосьмого утра, им весьма не нравился. Руководство завода, содержавшего садик, тоже было недовольно: не взяли ребенка в группу, мама ведет его на работу. Трудовая дисциплина страдает, и все такое.

Пронова, подоказывав свою правоту, свалила работать на железную дорогу. Сначала кондуктором, потом контролером. Вот тут она развернулась. Не дай Бог было попасть ей без билета. Особенно при личном знакомстве. Штрафовала, высаживала, скандалила, распространяла по городу слухи. И бригаду такую же себе собрала. В общем, самореализовалась девушка. А трудовые традиции подобного свойства – они долгие. Поэтому до Кунгура советую ехать с билетом. Исключение – вечерняя электричка пятницы. На ней, отпраздновав окончание рабочей недели, из Перми возвращаются локальные гастарбайтеры. Вот в этот состав контролеры не суются.

Валай. День знаний

Второго сентября ездили с папой в Валай. У нас там дядька работает сторожем и поваром в дорожно-строительной бригаде. Валай это поселок в системе бывшего Ныроблага. Сам Ныроб тоже место дивное, в Перми рассказывают байку: приехал в областной центр начальник одной зоны со своим шестилетним ребенком. Пацан вышел на автовокзале, долго-долго смотрел по сторонам, ошалев, и произнес:

– Папа, смотри сколько народу! И у всех свободное хождение! Где конвой-то?

Вот. А до Валая от Ныроба еще 80 км, все в гору. Там, в Валае, картошка, в принципе, растет, но размером с трудом достигает боба. Зато грибы, ягоды. Но главное – лес. Его зэки валят, а реки вокруг маленькие, сплавлять плохо. Теперь там строят дорогу.

Сидим мы в вагончике, чай пьем. За окном раздается спокойный мат работяг. Неожиданно на его фоне вступает соло. Самовыражается женщина, немолодая и тонкоголосая.

Выглянули. Скромно одетая тетенька, сентябрьской прической похожая на сельскую учительницу, материт троих ребят. При очистке ее речи от инвектив, дистиллят получается примерно таковым:

– Дети, где Виталик?

Перед учительницей (дама действительно оказалась учительницей) стоят трое ребят, по центрально-российским понятиям смахивающих на третьеклассников. С учетом тамошней бескормицы, вероятно, класс шестой. Ребята пьяны в хламину. Двое более-менее стоят на ногах, поддерживая третьего. А вот четвертого, того самого Виталика, унести не смогли – оставили на берегу. Учительница недовольна.

Локациям, подобным Валаю, нужны не программы развития и нацпроекты, но помощь по типу оказываемой ООН беднейшим странам Африки. Кабы эта помощь помогала еще. Просто цивилизация пришла туда, где ее совсем не ждали.

А зэки в Валае делают картины. Довольно невысоких художественных достоинств, но тщательно воспроизводящие лик Святого Стефана Великопермского.

Поселок Ильинский Пермского Края

В автобусе Пермь – Ильинский очень понравилась надпись: «Вас обслуживает ЧП НЕГОДЯЕВ». Хорошая у мужика фамилия. Сразу варианты возникают: АО ПОЛУДУРКОВ, ЗАО ПОДЛЕЦОВ, АОЗТ ЖУЛИКОВ, БАНДЮГИ Ltd...

Я тут года три не был. Ничего, занятно. Ну, парни как ходили, так и остались: шлепанцы, спортивные штаны, олимпийки – благородный консерватизм. Мобильники, правда, в основном круче пермских. А девачки... Раньше все они носили белые маечки, коротенькие, размера на три меньше. Из-под маечки торчал пуп с пирсингом (обязательно) и три складки жира (опционально, вообще-то основная масса худенькие). Сверху над маечками располагались кружавчики от бюстгалтера. Брюки были «с сильно заниженной талией». Т.е. начинались сантиметров на 10 ниже места, где спина утрачивает имя. А теперь как попало одеваются, все по-разному. Но в обтяжечку.

Баров в поселке пять. При населении 6 тысяч человек. Четыре бара обычные пивнухи no name, а пятый переименовывали многократно, но все равно называют его «Бабьи слезы». Днем тут столовая, а с часу ночи до шести утра – пьяный угол. Вообще, владельцев заведений, работающих осенью на селе по такому режиму, я б лупил шлангом.

Меню в баре толстое, примерно как в «Стейк-хаузе». Против почти всех горячих блюд карандашиком написано «нет». Есть «Перепела из куриных окорочков»(!), «время приготовления от момента заказа 1 час(!!)». Знакомая девочка Катя, поглядев в меню, спросила кофе-лятте.

– Его нет.

– Тогда по-венски.

– Тоже нет.

– А какой есть?

– Никакого нет.

– А зачем написали, будто есть?

– Ну, так раньше было...

Катя с компанией заказали местный хит – *яблочную нарезку*. Некрупный фрукт режут на папиросные дольки, втыкая шпажку. Одну. Наверное, многоразовую. Тут вообще так: девачки при-

ходят, берут яблочко и ждут мальчиков. Те принесут им пива и орешков. Когда мальчиков не случится, девачки ограничиваются соком. Сами мальчики пьют водку. Ее на лето-осень запретили – за распитие положен штраф в 50 рублей. Штраф включают в счет. Включать приходится всем. Вино дорогое. «Либфраумильх» стоит 400 рублей за бутылку.

Обычно компания, пригласившая сегодня меня, сидит за столиком в центре. А тут народу много собралось, мы спрятались «в нишу». Зашел парень одной из Катиных подружек, Татьяны. Ее на привычном месте не увидел, присел за столик ждет. Тут какая-то лапочка подскочила, стали обниматься. Танька злится, но молчит. Потом эти голубки пошли «за кухню». Там, говорят, диванчик есть. Минут через пятнадцать вернулись, усталые, но довольные. Кобель Таньку увидел, и, буквально завязывая шнурки на спортивных штанах: «Зая, ты чо, обиделась?»

Вообще, разговаривают тут очень матно. И все друг на друга орут – и родители на детей, и наоборот. Иногда, зато встречаются очень милые диалоги, словно из советских книжек.

Вот картошка копается, банька топится, «Путинка» в морозилке потеет, соседка через забор с прохожим болтает:

– Ты, Володя, в этом году-то как огурцов набрал?

– Да не очень... Прошли времена. Тут вот три года подряд на Троицу по два огурчика кушал, а нынче и на Петров день не было...

Но тут же с другого огорода:

– Мать, ты чеснок обрабАтала??

– С х.. я-то?

– ...., а .... ты его не обрабАтала??

– ..., ..., ...

– Сама...., ..., ...

С тем и уехал.

Кунгур – Екатеринбург. День правого руля

На трассу вышел радостный-радостный. Можно было ехать просто на восток: в Дегтярск, в Тагил, в Екатеринбург, в Кыштым, в Челябинск, в Курган – везде здорово и ждут-не ждут, но примут.

Добрался отлично. Сразу застопил девятку до ординского отворота, это близко, всего 20 км, но там наш приятель, ингуш Борис держит кафе, где все время стоят дальнобойщики. Случился единственный и легкий облом: ни одной фуры в сторону Свердловска не стояло! В центр 18 штук, а за Урал никого. Ладно. Тормознул парнишку на праворульной Хонде. Он подвез меня до Суксунской Жопы. Понимаете, Урал – маленькая, но очень горная система. Стопить на подъемах, спусках и крутых поворотах трудно и невозможно. А район Суксуна это 25 км сплошных подъемов, спусков и крутых поворотов. Вышел чуть раньше, у заправки, и быстро словил тоже праворульный японский грузовичок. С тем и доехали.

Кто в тех краях еще не бывал, но собирается, рекомендую вообще не махать лапой, а договариваться на заправках либо возле кафе. Со стороны Екатеринбурга примерно в сорока километрах от него начинается сплошная цепь столовок. В плане кормежки лучшие из них «Валентина» и «Три медведя». Водилы это тоже знают, столуясь именно там. Среднее время обеда у них минут тридцать. Ну, так и уедете.

Уральские горы и вправду существуют: их западный склон был еще совсем зеленым, а со стороны Еката все уже красно-бурое. Вот.

Екатеринбург

На очередной вечер проекта товарищества «Сибирский Тракт» ехал с чуть смешанными чувствами. Нет, я по всем очень соскучился, но, помимо прочих, там участвовали две милых девушки.

Одна из них прошлой осенью сломала о мою попу каблук, а другая вывихнула о мое лицо запястье. Зная собственную природную мягкость, удивлен, как это получилось. Нет-нет, никакого БДСМ, чистый, обоснованный импульс. Помните первую серию «Пиратов Карибского моря»? Ну, где Джек прибыл на Тортугу и все леди его били? То-то же.

Но ничего, обошлось. Доставили прямо в когтистые лапки Инны «Птеродактиля» Домрачевой (это она запястьем пострадала). Гулял и общался с ее замечательным ребенком Егором. У него есть единственная в мире лошадка в намордник. Лошадка пластмассовая, но намордник настоящий.

Вечером ходили с Арсением Ли по бессонному городу. Про Екатеринбург в темное время суток мне все равно лучше Ирины Богатыревой не написать, даже пробовать не буду, лучше расскажу про его занятные монументы.

Два из них вполне известны: это памятники клавиатуре и человеку-невидимке. На берегу Исети из бетонных блоков сделана точная копия полноразмерной компьютерной клавы в масштабе примерно 40:1. Вопреки серьезным размерам, клавиши из нее выковыривают регулярно. Особой популярностью отчего-то пользуются буква «ё» и F5. А память человека-невидимки почтили поэт Евгений Касимов и художник Александр Шабуров. Сделав слепки один со своей левой ступни, а другой с правой, отлили скульптуру в меди. Невидимка получился разнолапым. Это хорошо.

Другие скульптуры Еката известны меньше. Вот совсем недавно установили памятник группе Битлз: четыре обведенных металлом силуэта на фоне стены красного кирпича. Маккартни обаятелен, леворук. Рядом с контурами музыкантов очень правильная надпись: «The love you take is equal the love you make».

А с другой стороны от памятника – стена плача по Майклу Джексону. Ему когда-то принадлежали права на песни Битлов. Забавно.

Юбилей

Перед выступлением подсчитал: в тот день, 6 сентября, исполнилось ровно 100 дней Чудесному Обретению Черного Знамени Анархии. Ровно все эти 100 дней меня не оставляло ощущение полета. Причем полета этажа этак с пятнадцатого. Покопавшись в ощущениях, понял: сейчас нахожусь около пятого-шестого. Стал думать, чем можно остановить этот полет?

Пуля – не катит.

Любовь – видимо не спасет.

Смена семьи – вообще забухаю.

Серьезный косяк вроде нанесения/получения тяжких телесных или увольнения с работы – не хотелось бы.

Дополнительная работа – и так дофига.

Короче, продолжил расслабляться и получать удовольствие. Будем надеяться на спрятанный внизу батут. Или случится чудо и начнется полет вверх. Со мной вообще происходит много чудес.

Екатеринбург. Вечер «Сибирского Тракта»

Читали стихи в расстрельном подвале библиотеки имени Герцена. Честное слово, помещение выглядит вполне подходящим для окончательных расчетов. И холодина... Заметим: вопреки лютому морозу, никто не грелся напитками. Мы вообще дисциплинированное товарищество поэтов.

Сейчас акция уже в прошлом, и по сути дела все, кто хотел, отозвались в местной прессе и этих ваших Интернетах. Отмечу лишь обстоятельства, так или иначе меня удивившие, в основном приятно:

– отличные стихи Владимира Зуева. Я как-то воспринимал его в ипостаси драматурга, прежде всего.

– екатеринбургский дебют Василия Веселова. Нет, к концу вечера автор стал таким Васей, какого мы знаем и любим, хронической пермской легендой, но на момент чтения был в меру трезв и выровнял атмосферу, начавшую было клониться к трагизму и серьезности.

– Наталья Санникова и Виталина Тхоржевская – просто приятен факт участия в акции нашего Товарищества. В первый и, дай Бог, не последний раз.

– зрители. Большей частью зрительницы. Довольно много студенточек. Столько представительниц лучшей части прекрасной половины человечества на литературных вечерах видел только в Саратове и Нижнем Новгороде. Правда, по окончании вечера все они застеснялись и разбежались

– блестящая организация. Четко, своевременно, динамично, без перерыва. Никто из зрителей не заснул и не сбежал. Ну, и афиши отменные. Спасибо Алле Поспеловой и Арсению Ли.

А провальных сюрпризов не было. Это хорошо.

Дегтярск. Город, где виден воздух

Мы с пермским поэтом Ваней Козловым и замечательным ювелиром Славой Черных приехали в это всякоспасаемое место уже поздно и сильно пьяные. Сразу же вновь сели за хорошо темперированный стол. А потом еще пришли биологи – бывшие однокурсники Аллы и Арса, а потом еще биологи и еще биологи. Конец вечера/начало утра оказались залиты нарзаном очень сильно. Впрочем, Слава, легший спать первым, встретил утро в состоянии бодрости непристойной, чем доставил прочим.

Хуже всех было Ирине. Она почти не пила, сохранив способность к восприятию действительности, ввиду чего дуэт художественного храпа Пермяков/Ли радовал ее особенно сильно.

Впрочем, я храпел, наверное, от культурного шока. Сын Аллы и Арсения, четырехлетний Николай, обладает феноменальным, природным чутьем на афоризмы и выдерживание пауз. Мы с ним танцевали под песни Егора Летова в плейере, время от времени подпрыгивая. Я отталкивался от земли, а Коля от моих плечей. После особенно чувствительного приземления ребенок спросил:

– Гризzлинс, ты умный?

– Да, Коля, конечно.

– Умней меня?

– Ну, наверное.

– А как ты это докажешь?

– А вот скажи мне что-нибудь такое, чего ты знаешь, а я – нет.

Коля выдержал одну из своих фирменных пятисекундных пауз:

– Спорим, Гризzлинс, ты не знаешь, что мир не вертится вокруг ТЕБЯ.

Чуть не уронил детеныша оземь. Относись финальное местоимение к первому лицу, и то б высказывание достигло грани гениальности. А так совсем уж.

Позавтракав, кто был в состоянии держать ложку, пошли смотреть Провал. Ага. Почти такой, какой описан у Ильфа и Петрова. Реально деньги брать надо. Вот представьте: обычная приуральская горушка, покрытая разного рода сорной растительностью. Идешь по ней вверх, идешь. Идешь, идешь, идешь (горушка пологая, некоторые девушки там даже на каблуках способны двигаться), идешь, идешь, идешь – бумц! и некуда больше идти. Нет земли. Наоборот: есть огромная дыра, метров двести в диаметре и сто в глубину. Это рухнула медная шахта. Именно медная, оттого стены провала окрашены в абсолютно делириумные цвета. Красный, белый, желтый, оранжевый и все оттенки.

Года три назад Алла с Арсением хотели провести на берегах Провала поэтический фестиваль. Автор должен был читать с одного края, где расположен специальный такой холм, похожий на

могилку вождя средней руки, а зрители сидеть на другом. Увы, администрация города запретила. Познакомившись за прошедшее время с трезвым, спокойным нравом большинства поэтов, а также с их взвешенным поведением и полным воздержанием от радикальных поступков, я оценил интуицию чиновников. Провал – пожалуй, наихудшее место для проведения суицида и приравненных к нему актов. Ну да, человек, ободравшись о длиннющий каменный склон, конечно, умрет, но не сразу. Будет время поразмыслить.

И весь Дегтярск похож на этот Провал. Слава, подобно мне, обладающий аристократически кунгурским происхождением, человек, вроде бы привычный к небогатым городам, приговаривал:

– Они тут живут? Как они тут живут? Тут вообще кто-то живет? Тут «Сталкера» снимать надо!

Так-то да. Вид брошенных шахт и контор с выбитыми стеклами стимулирует на трудовые подвиги. И воздух действительно видно: недалеко от города известковые карьеры, все вокруг в белой пыли.

Медную концессию в конце 19-начале 20 века здесь держал англичанин Никсон. Говорят, он потом стал американцем Никсоном и папой тамошнего президента, тоже Никсона. Не знаю, может врут. А еще говорят, медь концессия добывала неаккуратно, отчего Хозяйка ее спрятала. Не концессию, а медь. Вроде бы она есть, а взять нельзя. И шахта вот рухнула. Сейчас пробуют добывать золото. Бульдозеры ездят туда-обратно, собирают породу, грузят на большие машины.

На следующий день, проводив Ирину, я понял: дело даже не в общей тоске, а скорее в жутком расслоении местного общества. Идешь по улице, все бедненько, но не слишком чистенько. А тут какой-то чел на квадроцикле выскакивает. Или расскажут тебе о зарплате местного начальника коммунального хозяйства – в три раза больше твоей собственной, неминимальной, и, наверное, больше получки мэра какого-нибудь чистого городка в США – тоже делается забавно.

А город-то вроде бы новый.

Лингвистическое отступление

Почти любой из подвозивших водителей не позднее пятой минуты общения спрашивал:

– Ты с Урала что ли? По выговору слышно.

Я рассказывал о недавнем переезде в Подмосковье, и следующий вопрос тоже угадывался легко:

– На стройке работаешь? Чего платят?

Все тот же Слава из Кунгура иногда говорит, указуя:

– Есть у меня один знакомый кандидат медицинских наук, так и тот разговаривает, будто гопник с Химмаша.

Мнение о неистребимости пермского акцента верно не совсем. Многие знакомые журналисты, особенно телевизионные, сумели избавиться от него почти полностью. Во всяком случае, в трезвом виде он у них не заметен, хотя по пьяни начинают прорываться интонации Светки и Жанны из пермской команды КВН. Кстати, слово «чо» идентификатором уральского происхождения более не считается – так теперь говорят все. Скорее уж наших можно определить по выражению согласия «но», употребляемого вместо пресного «да». С чувством так, чуть задумчиво: «нуооо, кууунешно». И еще по «дак» вместо «так». Впрочем, «дак» говорят и жители Архангельской области, например.

И все равно не мы смешнее всех. Вот кировчане одновременно глотают половину окончаний, подобно жителям Урала, и окают навроде вологжан. Поэтому с вятскими по телефону говорить весело. Все лучше, чем смотреть «Камеди-клаб». Хотелось бы, конечно, при необходимости косить под жителя любого региона, ибо *«Кто держится за любую из своих масок – ошибается, но если он подражает Дзюйгану, то уподобляется лисе»*, но так, вероятно, не бывает.

Дегтярск-Оса. Гламурный автостоп

С вечера собирался двигаться дальше и все постирал. А погода случилась влажная, отчего это «все» не высохло. Вежливо так, стеснительно, прошу:

– Арс, дай носки какие-нибудь, пожалуйста?

Арсений Витальевич с достоинством удалившись, вернулся через некоторое время с хрустящим пакетиком бежевого цвета

–...? Это... это, типа, что?? Там зачем внутри бумажки и все такое?

– Это очень хорошие носки. Пьер Карден, модель Кайена. Ты бери, у меня все равно других нет.

Честно, во вторник-среду от Москвы до самых до не было более модного стопщика. Оттого и везло. Правда, везти стало не сразу. На трассу пришлось выбираться через Ревду, и оказался я там где-то к двум часам дня.

Вообще, людей, стопящих возле отворота на Первоуральск, до этого я видел неоднократно, неизменно считая их, мягко говоря, чудаками. Там довольно большая горка со стороны Екатеринбурга, неохота ж останавливаться с разгона. А теперь вот сам оказался тут. Стою, машу лапой. Действительно, не останавливаются. Идет автобус, Мерседес. Ему я не голосую. Он сам тормозит:

– Садись.

– У меня денег нет.

– Вижу.

Сел. Автобус оказался маршрута Екатеринбург – Красноуфимск. Водитель седенький такой, усатый:

– Приключений, значит, ищешь?

– Да нет, я к друзьям ездил, деньги вот пропил, теперь возвращаюсь.

– И куда сегодня?

Тут я задумался. Ибо в тот день двигался сугубо по направлению. В Кунгуре папа, в Осе Антон, в Чайковском тоже Антон, но другой, в Ижевске Марат, в Воткинске Саша, в Перми вообще все... В Красноуфимске тоже можно было вписаться: там живет одна из моих первых любовей, зовут ее, конечно же, Леночка. Мы с ней познакомились 25 лет назад в городе Тбилиси, микрорайон Глдани. Папа у нее грузин, мама татарка, сама, понятное дело, красавица. Наши мамы вместе учились когда-то.

Лена замуж вышла, в 17, кажется, лет. Потом случились гамсахурдии с шеварнадзами, муж сел в тюрьму, мама с папой развелись, Лена с мамой сделались негрузинками, вернулись в Красноуфимск. Здесь оказались «черными». Грустная такая история. Я набрал ее номер несколько раз, телефон не ответил.

Вообще, через Красноуфимск можно уехать на Ижевск, там ходит пригородный поезд. Только ни я, ни водитель расписания не знали, а снижать свободу маневра не хотелось. Оттого проехав километров сорок, попросил высадить меня у кафе «Увал». Там кормежка так себе, хуже, чем в «Валентине» и тем более в «Трех медведях», но все дешево и водителей достаточно много.

Хожу между грузовиками, ищу регион номер 18 – Удмуртию то есть. Сверху, из кабины, голос:

– Привет, в Кунгур поедешь?

Неужто отказываться буду? Володя, на Рено везший аэродромные плиты в город Чернушку, сворачивал на Сухой Речке, недалеко от Кунгура. Почему он решил, будто мне как раз туда надо, не знаю. Проехал с ним почти сто километров, болтая про рыбалку, а потом у машины колесо лопнуло. Прикольно так. Бабах! и повело в кювет. Шину размотало просто в хлам – это мы всего метров 100 на порванной проехали. Ничего, забавное зрелище.

Володя колесо решил менять не спеша, сказал его не ждать. Я, попрощавшись, пошел чуть вперед по трассе – лопнули мы на подъеме, там никто не затормозит. На верхушке горы стоял

здоровенный МАН и покупал у татарина картошку. Не сам автомобиль, конечно, а его водитель. Худенький такой. Я даже попроситься к нему не успел:

– Я тебя возьму. Помоги только картошку погрузить.

На номере у МАНа было написано 33, стало быть, Владимирская область. Везти 10 мешков картошки за 1000 километров это сила, конечно. Нет, груз у Константина тоже был – 20 тонн железа.

– Ну, понимаешь, у нас картошка по 14.50, а тут по 6.25. Если чего, так я потом специально за ней сгоняю, продам.

А еще водитель мне рассказал, откуда на всех трассах изобилие машин из маленькой Владимирской области. Оказывается, им 4 года назад начали давать кредиты, позволив всем желающим купить грузовики. А теперь начался кризис, выплачивать стало трудно.

– Нас с Владимира много, но мы все злые. Потому что в лизинге. Ты когда садиться будешь, на ступеньку не вставай, она обломится. У меня все железо сгнило уже. Я три года с машины не слажу. Всю Германию вот объехал, во Франции был. Сейчас кредит выплачу, новую надо будет брать. На эту водилу посажу, сколько еще проездит.

Я, проявив чудеса такта, едучи на МАНе, начал хвалить Фретлайнеры. Ну, правда очень сильное впечатление осталось еще с Котласа.

– Не, чо ты! Фреты это фигня! Они как КАМАЗы, по ровному месту нормально, а чуть в горку – встают.

Сами мы в это время шли в гору и красный Фретлайнер проскочил мимо нас скорей Усейна Болта. Костя замолчал. Я тоже.

А потом мы опять разговорились. Константин много лет назад окончил пермское военное училище ВКИУ, и в течение следующих часов мы обсудили:

– проблемы взаимоотношений курсантов ВКИУ и ВАТУ (оба училища ныне закрыты);

– «Металлика» уже не та;

– Мадонна уже не та;

– в Перми было две хороших группы – «Лаос» и «Танцы на траве». Потом они испортились и распались;

– «Пилот» – нормальная команда (кстати, Костя третий, вслед за Ириной Мичковой и Асей Рейбарх, с кем я мог говорить о собственном пристрастии к русской музыке современной генерации, не применяя слово «говнорок» и не стебясь);

– нынешний гламур и германский фашизм имеют общие корни;

– на рыбалке первые три дня надо бухать до комы, а вообще выезжать туда следует не меньше, чем на две недели;

– Владимир город веселый, но гоповский;

– Пермь город гоповский и невеселый (тут мы поспорили);

– снова о проблемах взаимоотношений курсантов ВКИУ и ВАТУ;

– где учить детей;

– пермские гаишники хуже татарских, а так-то татарские хуже всех;

– Мутин пудак;

– Педведев мидорас;

– последний альбом Летова плохой, но «Слава психонавтам» – хорошая песня, оттого Егора жалко.

– и т.д.

В общем, ехали мы пять часов, превзойдя чуть больше двухсот километров. При цивильной поездке такая скорость бесила б меня, а тут все происходило хорошо и правильно.

Я вышел в Кукуштане, возле отворота на юг. До Чайковского 250 км, до Ижевска – 300 с лишним, до Осы – 95. Пермь рядом, но мне туда вдруг оказалось не надо. Простите Оля, Наби, Нина Викторовна, Вячеслав и все, с кем не успел в этот раз свидеться. Времени полвосьмого вечера. Геройствовать не стал, поехал в Осу к Антону.

Едва подняв руку, застопил грузовик Вольво. Управлял им правильный дядька Николай. Сам он из Ростовской области, до 53 лет работал водителем автобуса, потом «зарплату стали платить меньше 5 тысяч, а мне еще младшего сына учить». Короче, с мая сего года мужик стал дальнобойщиком. Пока все нравится. Мне б тоже понравилось, чо.

В этот раз он вез из Соликамска в Темрюк дощечки. Из этих дощечек в Темрюке будут делать ящики и складывать в них виноград. Прикиньте: материал для ящиков тащат через всю страну, много тысяч километров. А почему так? А просто рабочая сила для этих досточек бесплатна чуть менее, чем совсем. Их делают зэки-расконвойники. Сами валят лес, сами работают на пилораме, и получают за это 1500-2000 рублей в месяц. Поэтому когда я слышу про убыточность российской системы исполнения наказаний, то удивляюсь жизни особенно сильно. Ну, ГУЛАГ всегда считался убыточным. Туда шли работать люди с особыми понятиями. И в бухгалтерии в ихние тоже.

Николай довез меня до поворота на Чернушку, это всего 12 км от Осы. Почти сразу остановилась красненькая девятка. Водитель спросил:

– Ты быстрой езды не боишься?

После дня медитативного катания хотелось как раз чего-то такого.

Минут через 15 я уже пил чай с пирожками в очень правильном доме Антона Бахарева. Хороший получился день, годный.

Оса – Воткинск

Поэт Антон Бахарев держит в Осе магазин, где торгует лягушками и цветами. Лягушки керамические, нужные для медленного полива цветов. Тесть Антона тоже держит несколько магазинов. Собственно, тесть меня на трассу и увез. Утро было довольно ранним, движение слабеньким, потому был рад даже КАМАЗу. Он провез меня немного, километров 15, зато высадил у деревни с названием Пермяково.

Там подобрали дорожные строители, дальше мужик на Урале-лесовозе, недалеко – в сумме километров 30.

Возле отворота на райцентр Елово стояла серая девятка. В девятке сидел толстый дядька в футболке. Тоже в серой.

– В Чайковский поедешь?

– Ну, да. Это по пути.

– 250 с тебя. Но надо ждать, пока у меня вся машина соберется. Или плати тыщу.

– Не, я как-нибудь так.

– Как так?

– Ну, просто так. Я из Москвы просто так доехал.

– И чо, везут?

– Везут более-менее.

– Блин. Мне б деньги платили, я б и то как ты не поехал. Это ж целый день на жаре, нафиг надо.

– А много у Вас рейсов в день?

– Когда один, когда ни одного, я ж меньше полной машины не вожу.

Ага. Клево. Это я, значит, целый день на жаре, а у тебя, дядька, сплошная жизнь в какао. Елово – место почти родное, там, километра через два в сторону Чайковского, очень дешевая, нестрашная столовка для водителей.

Напросился в зеленый DAF с краснодарскими номерами. Водитель, Андрей, оказался рыбаком, охотником и приколистом. Весело ехали. Характерный очень получился стоп: сначала 40 км на четырех машинах, потратив полдня, потом 200 с лишним на одной за три часа.

Андрей высадил меня возле Южного кладбища города Воткинск и поехал в Уфу.

Воткинск

Заводы могут называться по-разному. Например: Кунгурский кирпичный завод. Или Горьковский автомобильный завод. Или Мухопердыщенское свистопроизводственное объединение. В любом случае понятно, чего там делают. В Воткинске все по-другому. Над воротами главного предприятия города написано просто: Воткинский завод. Там выпускают «Тополя», «Булавы», «Сатаны» и другие средства межконтинентального баллистического общения.

Делают эти штуки там давно, на заводе все время дежурят американцы. А сотрудники предприятия часто ездят во Францию по обмену опытом. Это очень смешно, по-моему: собираются друг друга бомбить и друг у друга консультируются.

Еще пару лет назад Воткинск походил на заштатный поселок городского типа. Были, конечно, свои примечательности – пруд на реке с правильным названием Вотка, наличники с резными якорями: когда-то на Воткинском заводе делали пароходы, музей с роялем местного уроженца Петра Чайковского. Я этот рояль как-то облил коньяком. Вотка, якоря и рояль за два года не изменились, а вот машин, например, стало раза в три больше. И магазинов больше в пять раз. И кафе тоже. Воткинск – единственный из хронически наблюдаемых мной городов, где жизнь за недолгий срок совершила качественный скачок в добрую сторону.

Теперь в этом небольшом городе поставили огромный экран с телевизионной рекламой эротического шоу. Очень интересно, кто в этом шоу работает. Возможно, местные девушки. Тогда они должны быть очень храбрыми: населения в городе меньше ста тысяч и все про всех все знают. А когда не знают, так выдумывают. Но девушки в городе, правда, красивые.

Приехав в Воткинск, я сразу пошел в музей – в тот самый, с роялем. В этом музее работает поэт Саша Корамыслов. Только в этот день он не дежурил, и найти его никто не мог. Зато Саша повесил наши с ним фотографии и анонсы предстоящего вечера. Я никогда раньше не видел своего фото в музее, поэтому очень возгордился. Возгордившись, пошел в кафе с дивным названием «Фарс» пить водку. Ну, просто знал: Саша, почувствовав проходящее без него пьянство, придет сам. Так оно и случилось.

А вечером он караулил музей. Мы, взяв еще немножко водки, сели на берегу Вотки. Мыслили, танкетки сочиняли. Подошли три молодых человека и одна молодая человечиха:

– Мы вам не помешаем?

Конечно, они нам не мешали. Устроившись рядом, стали пить пиво, обильно разговаривая. По телефонам и просто так. С нами и друг с другом. Матом, но вежливо. Хорошо так пообщались. И на следующий день, когда я фотографировал резьбу на одном доме, женщина тоже очень вежливо спросила:

– Вы с какой целью мой дом фотографируете? У нас разве криминал случился?

Узнав об отсутствии состава преступления, рассказала про историю этого дома и все про жильцов. Оказалось, дому 120 лет. Честно говоря, он так и выглядел. Но женщина своим домом гордилась и чуть хвасталась.

Короче, народ в Воткинске живет нормальный. В самом обычном значении этого слова. Нет, молодежь там вполне молодежная, даже чуть более, чем следует: ходят девачки с пирсингом во всех местах, доступных обозрению, мальчики крашеные, готы на кладбище сидят, пьют красное вино. Молча. Когда мы шли к Саше домой, два здоровых и нетрезвых мужика около гаражей сначала боролись на руках, потом стали мутузить друг друга по организмам; вообще пьяных, несмотря на середину недели, немало и т.д. Но общее состояние спокойствия и нормальности доминирует.

Насколько нам известно из Краткого курса истории ВКП(б) (издание 1949 г.), один из первых эпизодов гражданской войны случился как раз в Удмуртии. Так называемое Воткинско-Ижевское восстание. Без всякого участия помещиков, интервентов и тому подобной публики, заводские рабочие, та самая целевая аудитория передовых идей, взяв в руки винтовки, пошли свергать советскую власть. Народу погибло очень много, захоронения обнаруживают до сих пор – в прошлом

году в окрестностях Ижевска нашли останки еще 7 000 убитых. Так вот: я уверен, эти люди защищали свою нормальность. Они не хотели строить нечто, не хотели управлять государством, не хотели даже «не работать и чтоб все было». Они именно защищали право быть нормальными. Кстати, это ощущение нормальности было у меня в Ижевске, в Уве, в Можге – в общем, по всей Удмуртии.

Памятник лысому в Воткинске стоит до сих пор. И сносить этот памятник не надо. Он водружен перед собором. Собор у церкви забрали, а потом опять вернули, даже немного достроив. Ленин на фоне собора выглядит маленьким-маленьким. И придурковатым. Это очень хорошо. Фамилия создателя памятника, кстати, Керенский.

Старина в Воткинске спокойная, ненавязчивая и подлинная. В других городах это редкость. Вот, например, первое воспоминание об Осе относится к 1581 г., ко временам Ивана Грозного. Основали же ее, вероятно, намного раньше. Может быть, еще даже булгары, веке в XI-м. А ничего от старого города не осталось. Церковь большая, но типовая для начала XX века – красный кирпич, унылые контуры. На фоне таких церквей большевикам легко было вести пропаганду об угнетенном духе. Дома в Осе в основном новые. Город был в свое время взят Пугачевым, сильно порушен, затем, оставаясь купеческим, обеднел – ярмарочный Кунгур притягивал золото сильней, да и Сибирский Тракт потерял свое значение. Потом в окрестностях Осы нашли нефть, однако, это уже совсем другая история.

Воткинск моложе Осы лет на 200, а уютных древностей там больше. Кладбище душевное. Правда, перенося останки первых жителей поселения, местная власть отличилась: на памятном кресте написали «Мир праху их». При быстром прочтении радует. Придумал танкетку:

страшный мир
прохуих

И еще одну безлепость нашел в городе. Магазин «Джентльмен» выкрашен в небесно-голубой цвет. По-моему, сие свидетельствует о неиспорченности нравов.

Наш с Сашей вечер прошел неплохо. Совсем не аплодировали, но сказали, якобы это местная традиция, и в целом хвалили, задавая умные вопросы, брали автографы. Хотя бард Евгений Лисицын попенял мне на плохую подачу текстов:

– Вот когда много лет назад я услышал Дементьева и Вознесенского, это меня сразу пронялo!

Я возражать не рискнул. По окончании вечера питались в кафе «Юмшан». Всем рекомендую. Конечно, со знанием удмуртской кухни у меня сплошной пробел, в сущности, кроме перепечей и спиртного напитка кумышки вообще о ней ничего не знаю, но было очень вкусно. Перепечи правильные – из ржаной муки, с разнообразной начинкой. Вообще, перепечи это такой древний предок пиццы и потомок шанежки.

Расположено кафе в районе упырей – в Воткинске рядом друг с другом локализованы улицы Робеспьера, Урицкого, Свердлова и других гуманистов-неудачников. Рядом с кафе, кстати, отменные корты для бадминтона с подсветкой и искусственным покрытием. И на этих кортах играют! Еще рядом – магазин «Камелот». Вот в миллионной Перми «Камелота» нет, а в маленьком Воткинске есть. Честно говоря, к товарам, продаваемым в «Камелоте», отношение у меня двойственное, а совсем честно говоря – поганое, ибо хуже гламура только гламур, заточенный под брутальность. Но модно ж...

На следующий день я собрался ехать в Ижевск, поэтому пили мы с Сашей мало. Зато я выучил удмуртский язык. Не весь, но для создания семьи с хорошей девушкой хватит:

Часкыт – вкусно
Туж часкыт – очень вкусно
Тау – спасибо
Баджим тау – большое спасибо
Пукще на сытян – садись на задницу
Гондыр – медведь

Тыло бурдо – птица
Ныл – девушка
Чебер ныл – красивая девушка
Мон танэ яротыщко – я тебя люблю
Яротон – любовь
Джечь буреч – здравствуйте
Тани – здесь

Воткинск – Ижевск. Таксистоп

Вообще, этой главки не должно было случиться: ну, правда – многое ли может произойти на дороге длиной 70 км? Однако вышло забавно.

Сначала Саша взялся показать мне первую в Удмуртии железную дорогу. Дороге этой 140 лет, и по ней до сих пор возят баллистические ракеты в блестящих, сигаровидных вагонах. Дорогу сфотографировал, вагоны ждал напрасно. Целых 5 минут потерял. До окраины города шли долго, километра четыре. Заметим: Саша живет в центре. Воткинск на самом деле компактен и легок. Белковые существа, лишенные колес, по рельсам и шпалам движутся медленно, поэтому топали мы почти час. Ни встречного, ни поперечного, ни попутного поезда не встретили. Говорят, будто за весь день их в среднем проходит два: один из Ижевска в Воткинск, второй наоборот.

В точке пересечения железной дороги и трассы место, с точки зрения автостопа, оказалось плохим, негодным: наличествовало некое придорожное кафе с автостоянкой, однако все грузовики, там отдыхавшие, оказались либо поломанными, либо никуда не спешащими, а загорать в Воткинске еще сутки не то, чтоб не хотелось, но ломало. Мост через железную дорогу – это место для стопа не самое подходящее: перед ним долгий спуск, а после – длиннющий, километра на два, тягун с поворотом. Кроме того, объездная дорога в этом месте слитна и нераздельна, по ней машины идут и на Чайковский, и на Ижевск. А в Чайковский мне уже не хотелось. Выбрались на вершину тягуна. А он уверенно так, серьезно, перешел уже в нормальную гору. Короткую, метров на 600, но крутенькую. Там даже МАНы еле ползли. Мы тоже не спешили. У меня рюкзак, у Саши думы тяжкие, оба с похмельца. После подъема начался спуск. Тоже крутой и с поворотами. В общем, день стартовал с правильного марш-броска по пересеченной местности. Километров 7-9 осилили.

Выбрались к тому самому кладбищу, где меня высадил Андрей двое суток назад. Ну, Земля – она ведь круглая. Попрощавшись с Сашей, начал стопить. Позиция там, в принципе, хорошая: крутой поворот, машины практически замирают. Недостатки локации, однако, суть продолжения ее достоинств: за любой медленно поворачивающей фурой скапливается множество легковушек и прочей мелочи. В итоге ни те, ни другие не тормозят. Зато первый же водитель, шедший в одиночку, меня подобрал. Равиль, татарин на МАНе. В принципе, можно сразу было уехать с ним в Казань, преодолев триста пятьдесят километров, но у меня были другие планы.

Равиль сообщил мне счет матча Россия – Уэльс, включил радио и почти всю дорогу молчал. Взял, стало быть, из чистого альтруизма. Молодец.

Объездная дорога вокруг Ижевска проходит вдалеке от города. Равиль спросил, где высаживать, пояснив: можно выйти у первого поворота, но там никакой поток, и даже уехав, попаду в промзону. Поэтому сделали с ним полукруг по периметру Ижевска, не приближаясь к городу. Длина полукруга едва ли не равнялась пройденному от Воткинска пути. У поста ГАИ расстались.

Поток был отменным. Первые три машины не остановились, а четвертой ехало такси. Я едва успел руку убрать. Такси, тем не менее, остановилось. Тут воспоследует сложная вербальная конструкция: водитель видел, что я видел, что он видел, как я убрал руку. То есть понял: платить ему не хотят. Но остановился. Разговоров об оплате и вправду не возникало. Возможно, причина в сидевшей рядом с ним замечательной барышне, но скорей всего просто оказался хороший парнишка.

Рассказал, откуда еду и вообще кто есть по этой жизни. Ответил, как мне Удмуртия. Ну, неужто я буду ругать местность, где на такси возят даром? Заметим: 15 км до города и потом еще 7 до центра. Привезли действительно в самую серединку города. Осталось лишь спуститься к пруду «самому большому в Удмуртии», по словам шофера, и начать любоваться.

Ижевск. Пруд

Сидя на берегу в ожидании звонка Марата, созерцая красивых девушек, был трезв и думал. Не углубляясь в совсем отдаленные эпохи, ограничившись периодом лет в 60, можно выделить последовательность особо концентрированного внимания мужчин к различным частям женской фигуры:

талия – грудь – ноги – попа.

Все эти локации прекрасны и важны, но я всегда фетшизировал плечи. Знаю ровно двух девушек с совершенными плечиками. В обеих, конечно, влюблен. Нет, я влюблен не только в них, и в них влюблен не только за плечи, но влюблен, да.

Будет мода на девчоночьи плечи?

Ижевск

Ижевск напомнил мне город Иваново. Только в Иваново нет Марата Багаутдинова, а в Ижевске есть. И Павлоид тоже есть. Его, Павлоида, два: Инге и Паша. Но это один Павлоид, известный драматург. Марат один, зато тоже два: заведующий отделением в психиатрической больнице и поэт.

Я его долго донимал, требуя показать место, где в Ижевске готовят перепечи. Марат стал объяснять:

– Ты знаешь, что такое настоящие перепечи? Это лепешки, куда складывают всякую гадость, какую нельзя продать: кровь, печень, субпродукты.

– Субпродукты? Это здорово! Я их очень люблю.

– Андрей, ты ж врач. Тебе не надо любить субпродукты: это в основном органы выделения.

– Веришь-нет, но я люблю субпродукты совсем не как врач.

– Не верю.

Потом он еще спросил, для чего нужна поездка и «все такое».

– Марат, только тебе, психиатру, по-честному: я должен знать народ, которым собираюсь управлять.

Марат, перейдя в режим наблюдения за пациентом, больше серьезных вопросов не задавал.

Потом мы встретились с Павлоидом, а-их-два, взяли коньяку, перепечей, сели на крылечко школы и стали знаменовать победу духа. Финала не помню, но судя по фотоснимкам и свидетельствам очевидцев, фотографировался с крокодилом, орал песни Егора Летова, типа-танцевал... В общем, ничего нового. Впрочем, в памяти остался ехидный комментарий Инге:

– А ты про свое путешествие будешь книжку писать? Не боишься, что как у Ирины Богатыревой получится? Ну, ты не бойся. Не получится.

Я знаю...

Утро было прекрасным. Уснули примерно в два, а к восьми Марату надо было на дежурство. То есть просыпаться следовало полседьмого. Он смог. Я тоже. Мы герои.

Ижевск – Ува. Экстрим

По причине слабости и незнания трассы, на родину предков решил ехать цивильно. Блинннннн. Маршрутка, заднебоковое сиденье, некуда поставить рюкзак, адово «Радио Шансон», тряска, девяносто верст по относительно приличной дороге ползли два часа. Заметим: упла-

тил за эту радость 140 рублей. Больше, нежели за предыдущие 3 000 километров в сумме. Не считая дороги Пермь – Кунгур, это святое. После райского почти комфорта в кабинах дальнобоев маршрутка ввергла в шок. Никогда больше.

Придя к власти, использование автомобилей Газель для перевозки людей объявлю жестоким, бесчеловечным обращением и буду преследовать наряду с пытками.

Ува. Сами мы (не)местные

Пермяков – это не псевдоним. Это мамина фамилия. А по паспорту я Увицкий. Дед, Иван Галактионович, рассказывал, будто фамилия пошла от удмуртского села Ува, куда сослали нашего предка после разгрома польского восстания в 1861 году. И фамилию сменили. Галактион Увицкий, мой прадед, стало быть, получил двух Георгиев в Русско-японскую войну, а более ничего героического у нас в семье не происходило.

Сомнительность легенды была очевидна давно: от названия Ува естественно произвести название Увинский, например, а не Увицкий. Да и сведений о ссылке поляков в те края найти не удавалось. И не удастся. Не было их там. И Увицких не было. Это мне подтвердила славная девушка, научный сотрудник местного музея, прозаик Мария Снежка. Даже мой паспорт сфотографировала – ну, чуть похожа фамилия на от Увы и вправду произошедшую.

Однако, с нашей семьей Ува таки связана. Причем образом непосредственным и близким. Тут родилась моя бабушка, Антонина Гурьяновна Воронова, по национальности удмуртка. А легенду дед придумал, дабы оправдать неправильную по глубинносоветским временам фамилию. Он, дед, работал начальником объединения леспромхозов на севере Пермской области, и дворянское происхождение карьере бы не способствовало. А раз из польских ссыльных – тогда ладно.

Увицкие – это на самом деле такие небогатые казанские дворяне, род старый, но заметный не особо. Хотя один известный родственник есть. Служил в городе Екатеринбурге протоиерей, Сергий Увицкий. В начале тридцатых его расстреляли коммунисты, а через шестьдесят лет церковь причислила к лику святых. Причем сначала в составе Собора новомучеников Российских, затем персонально. День его отмечается 13 марта по новому стилю. Хорошо, когда родственнику святого дали – можно почувствовать себя немного Бурбоном и безобразничать. А полный тезка святого, тоже Сергей Увицкий, известный каратист, чемпион много чего, живет в Лысьве, в Пермском крае.

Маша хотела познакомить меня с родственниками по бабушкиной линии, с Вороновыми, то есть. Она сейчас пишет книгу по истории и этнографии увинского района, оттого почти всех там знает. Я от знакомства воздержался: после Воткинска и Ижевска печень хотелось поберечь. Все равно когда-нибудь в Уву приеду, там и пообщаемся.

Историческая родина мне понравилась. Неясно только, отчего этот населенный пункт назван поселком: 20 тысяч населения, многоэтажки, большой Дом культуры, кинотеатр на 500 мест, деревообрабатывающее предприятие «Увадревхолдинг» – там ламинат, например, делают, большие молокозавод с мясокомбинатом, десять автобусных маршрутов. Музей, опять же. Кинотеатр, правда, не работает. Точнее, не работает в качестве кинотеатра: в здании торгуют, ведут разные кружки и кормят – на третьем этаже расположено вполне пристойное кафе. С общепитом в Уве вообще дела обстоят правильно – столовые, пиццерия, пельменные, шашлычные. Сто граммов свиного шашлыка стоят 65 рублей, а сто граммов водки – 30. Это очень хорошо.

Зарплаты в поселке не слишком высокие, однако в каждом третьем дворе строится либо уже построен новый дом. Это понятно: старое жилье стоит со времен основания поселка, мало-помалу ветшая. Все-таки поражает способность нашего народа к накоплению из довольно скудных средств. Требуется лишь отсутствие прямого, активного грабежа.

В деревне Чабишур, почти слившейся с Увой, стоит священное дерево удмуртов. Точнее, удмуртского рода Тукля. В окрестностях Увы вообще много названий со словом Тукля: Ува-Тукля, Узей-Тукля, Русская Тукля. А дальше к западу начинаются земли Можги. Священная сосна, ко-

нечно, доставляет: огромный ствол, переплетенные ветви раскинуты метров на тридцать, наверное. Нет: на сто футов, так внушительнее звучит. Говорят, будто у этой сосны удмурты приносили в жертву Инмару красных жеребят. А еще известно: кровавых жертв у них никогда не было. Они даже лодки делали только долбленые, из одного дерева, потому как природу берегли. В целях неукоснительного соблюдения взаимоисключающих параграфов, сразу захотелось разбогатеть, купить себе красную Феррари с жеребенком на капоте и разбить ее о священную сосну. Жертва будет дорогой, но бескровной.

Пока искали с Машей сосну, нашли березу. Видимо, тоже очень-очень старую. Береза лежала на земле, сучья у нее уже обрубили, и скоро дерево должно было пойти на дрова. Полый внутри ствол снаружи покрылся наростами, вроде крокодильих, пень тоже дырявый – похоже, будто дерево слилось из семи-восьми более тонких березок. Мощное зрелище.

И еще про одну замечательную березу хочу рассказать. В Уве во время войны располагалось два тыловых госпиталя для тяжелораненых. К сожалению, многие из них умирали. К двадцатилетию Победы в поселковом парке соорудили мемориал. Помимо прочего, окультурили бивший там крохотный ключик. Учинив вокруг родника халабуду из больших серых камней, сделали в них дырку с водостоком и назвали памятник «Слезы матери». Там, где вода стекала на землю, посадили березу. Ну, идея такова, будто слезы питают деревце. Березе этой, получается, чуть больше сорока, а выглядит она на сто-сто пятьдесят. Для дерева это комплимент. Выросши, однако, береза родник выпила. Так бывает – большому дереву нужно много воды. По-моему, очень трогательная история о замещении символического реальным. Каменная халабуда только стоит теперь сухая и несообразная.

Съездили в санаторий «Ува». Неплохой санаторий. Минералка вкусная. Качели там сделаны в виде крокодилов. В Ижевске ясно, откуда памятник крокодилу: так в совсем безмоторные времена называли заводских надсмотрщиков, носивших зеленую униформу, но в Уве-то они зачем? Глядишь, новый миф появится – о крокодиле, великом покровителе Удмуртии.

Ува. Маленькая бескровная война

Маша рассказала дивную историю, приключившуюся в поселке ровно два года назад. Повторю: Ува расположена достаточно далеко от главных дорог. Трасса Ижевск – Казань, например, проходит от нее в 70 километрах. Ничего страшного в этом нет, поселок самодостаточный, местную продукцию вывозят по железной дороге, по ней же доставляют разные товары. Однако подобная автономия с необходимостью приводит к рождению монстров самостоятельного мышления.

В один замечательный осенний день по Уве прошел слух, будто в Удмуртию из Москвы едет два вагона скинхедов, и скинхеды эти собираются убивать нерусских. Ува, да и вся Удмуртия, понятное дело, населена удмуртами. Формально они подпадают под определение нерусских. А еще там много татар. Тоже нерусских, стало быть. Русских, впрочем, больше всех, но отличить их от татар непривычному скинхедскому взгляду сложно, а от удмуртов никак невозможно. Оттого напряглись все. Честно говоря, ни татары, ни удмурты вроде бы объектами интереса фашей не считаются, однако феномен распространения слухов прекрасно описываем фразой Тертуллиана: «Это вполне достоверно, ибо ни с чем не сообразно». А еще, родившись, слух имеет тенденцию обрастать. Оброс и этот.

Через пару дней знающие люди рассказали: скинхеды уже убили в Ижевске то ли семь, то ли десять человек и теперь везут себя в Уву. Народ напрягся совсем сильно. Руководство обороной взяли на себя два местных бандита (ну, должности поселковых пьяниц, сумасшедших и бандитов вакантными не бывают), начальник технической службы одного деревообрабатывающего завода и предприниматель. На всех трех дорогах в поселок выставили сменные опергруппы, еще одну бригаду посадили на вокзал. Основная дружина, состоявшая из учеников двух местных ПТУ, факультета физического воспитания увинского педучилища и добровольцев, засела на стадионе.

Днем они травили анекдоты, ночью жгли костры, а водкою упарывались во всякое время. На учебу, конечно, никто не ходил: война.

Местные власти, сколько могли, активности добровольцев не замечали. Тем более, слух имел под собой некие основания: той осенью в Ижевске убили иностранного студента. Однако тотальный срыв учебного процесса и, фактически, незаконная манифестация на стадионе совсем без внимания остаться не могли. Силой разогнать народ было невозможно – ментам бы просто наваляли. Пришлось начальнику местного УВД с главой администрации выступать по радио, встречаться с боевыми дружинами лично и гарантировать безопасность. Отпраздновав победу, народ потихоньку разошелся.

История, слава Богу, закончилась ничем. Я вот думаю: отмороженных скинов, реально готовых на убийство, в стране не больше двух вагонов. Если они соберутся и поедут вот в такой регион, где их ждут – скиновский вопрос решится?

Ува. Это религия

В отличие от Увы-Тукли, сама Ува была основана недавно, в начале двадцатых. Конечно, все советские годы никаких храмов там не строили. После распада идеологии первыми сориентировались татары: возвели мечеть. Бедненькую, квадратную, белого кирпича с невысоким минаретом. Но мечеть. Православные решили не отставать. Сперва владелица молокозавода соорудила часовенку на его территории, а затем двое местных предпринимателей поставили милую каменную церквушку.

Однако у нас все должно делаться в установленном порядке. В епархии решили строить большой храм. Утвердили проект, нашли денег. Стали строить, деньги кончились. Батюшка сбегал в Единую Россию и в Администрацию. Денег нашел, но мало. Придумали инициативу – собрать деньги со всех работающих жителей Увы, по 100 рублей – ну, не обеднеют.

Исключений не делали даже для мусульман и атеистов – важное отличие от царских времен. Тогда просто ставили пометку «на храм жертвовать не желает».

Храм построили, у батюшки появился джип. После этого не значит вследствие этого, ведь правда?

Ува – Можга – Казань

Накануне расспросил брата Марии о путях до Казани. Путей этих несколько, но самый короткий начинается от окрашенной в лягушачий цвет заправки на окраине Увы, пролегая через Вавож и Можгу до федеральной трассы М-7. Выехать захотел рано: были некие сомнения в качестве местных дорог. Придя на автобусную остановку, подождал транспорта четверть часа и загрустил. В Уве действительно ходит десять автобусных маршрутов, но на каждом только по одной машине. Получается, следуют они один-два раза в час, и время движения, указанное на каждой остановке, соблюдается тщательно. Я в этом убедился накануне. Так вот: мой автобус не пришел. По причине субботнего дня накануне, водитель, наверное, чуть выпил, и его не пустили в рейс. Или я клевещу на человека, может, у него мама заболела, к примеру. В общем, не пришел автобус. И через час мог не прийти. Сижу, думаю, конфетку ем, плейер слушаю. Очень не хочется идти шесть километров до заправки в неизвестном направлении. Большой поселок эта Ува.

Напротив остановилась бодрая копейка. С водительского места в окошко высунулся человек в пиджаке:

– Скажите, пожалуйста, мы на Вавож правильно едем?

Вот так бывает. Прибыл дядька с двумя племянниками из деревни под Можгой в деревню под Увой. Погостили, а на обратном пути заблудились. И выехали ровно к тому месту, где грустил человек, желающий в эту Можгу уехать. Мне по мелочам везет. Это с детства так: в серьезных делах одни неудачи, а по малозначительным поводам счастье.

И вообще, если сидеть на берегу правильной реки, то лодку друга принесет к тебе быстрее, чем труп врага.

В Вавож я тоже хотел. Очень интересную фразу прочел в путеводителе о тамошней церкви: «Наш храм обладал самым большим куполом в Удмуртии, до тех пор, пока в Ижевске не построили цирк». Ага, бывают странные сближения, это точно. Но ребята через Вавож шли транзитом. Ладно, в следующий раз съезжу.

Дорога оказалась на удивление приличной и предсказуемо свободной. Добрались чуть больше, чем за час. Правда, слегка напрягали запахи кумышкового перегара и трех сельских организмов, но это уже придирки. Высадили у центра, совпадающего в Можге с главным рынком. Относительно пути на Казань ответили неопределенно:

– Туда.

И махнули рукой в подпространство. Возле афиши местного Дома культуры с дивным названием «ДК Дубитель» мальчик с девочкой исполняли песню Янки Дягилевой «По трамвайным рельсам». Мальчик пел и на бубне играл, а девочка пела и на гитаре играла. Милые такие ребята с пирсингом в бровях и светлыми глазками. У девочки, правда, на локтевых сгибах были нехорошие синяки, но может это ей глюкозу колют, с общеукрепляющими целями.

Дал детям десять рублей за исполнение правильных песен, а они мне объяснили дорогу до трассы. Это совсем близко, несколько остановок на автобусе второго маршрута. В Можге с транспортом порядок. Лучше, нежели в Уве.

Место для стопа оказалось довольно средненьким, сразу после спуска. Машины там движутся быстро и тормозить не хотят. Впрочем, рядом была столовка для водителей со стоянкой, но там все или ремонтировались или собирались ехать вечером. Остановился КАМАЗ, водитель взялся подкинуть, однако всего 10 километров. Вот такой мутноватый стоп в тот день и шел: 10 километров, еще 15, еще 10, еще 25. Там вдоль трассы много деревень, далеко никто ехать не хочет.

Добрался до райцентра с замечательным названием Алнаши. Жаль, ударение на второй слог. Впрочем, район называется Алнашским. Буква К в этом слове просто выпрямилась и сделалась буквою Н. И речка там Алнашка. Это хорошо, по-моему.

Алнаши – уже почти Татарстан. В столовой перепечей нету, зато появляются эчпочмаки. Уехал быстро, на ГАЗе-бычке с двумя весельчаками татарской нации. Один из них все смеялся над моей тельняшкой и армейским свитером. С тем и добрались до трассы возле Елабуги. Кстати, по въезде в Татарию, меняется цвет: Удмуртия вся зеленая, а восток Татарстана золотой. Только поля озимых цвета майской листвы. Брошенных земель там вообще не видел.

На участке от Набережных Челнов до Казани водители легковушек избалованы студентами. Многие ребята из Челнов учатся в столице республики, билет на автобус стоит около 400 рублей, а водители попуток берут 100-200, вот пацаны и экономят. Об этом мне рассказал Денис, первокурсник казанской медакадемии, добиравшийся до столицы именно таким методом. Денис накануне взял у родителей денег, но поехал не в Казань, а наоборот в Елабугу, где пил, курил и безобразничал. Потом, впрочем, решил исправиться, к вечеру воскресенья добравшись до общаги.

Сошлись на любви к Егору Летову. Денис говорил о нем с восторгом неофита. Янки Дягилевой он не слышал, этот пробел в образовании мы исправили. Еще Денис меня спросил:

– А вот в ваши времена была такая группа «Асса». Она куда потом делась?

Ох, молодежь-молодежь...

Денис пребывал в переходной стадии от татарчонка к татарину. Татары – это народ, один из многих, со своими достоинствами и недостатками, а татарчата – самые красивые дети в мире. И девочки, и мальчики. Девочки сохраняют прелестность дольше.

Поймали мы с ним сиреневенькую десятку. Водитель, Максим, наверное все время смотрит гонки «Формулы-1». Ехал молча, не медленнее, нежели 120 километров в час. За двухсоткилометровый путь ГАИшники остановили его трижды, каждый раз выписав по 1500 рублей премии. Вообще, бойцов ГИБДД на этой трассе больше, чем верстовых столбов:

– У меня дома таких квитанций штук тридцать лежит. Все равно через полгода их аннулируют. А с ментами договариваться – себя не уважать. Противно нахрен.

Вот примерно за такой фатализм я татар и уважаю.

Казань

Известный путешественник и прозаик Илья Буяновский предложил классификацию российских городов. Сложную довольно классификацию. Выделил две столицы, три города, похожих на столицы, и еще кучу категорий. Илья человек обстоятельный, ему видней. У меня тоже своя классификация есть, попроще.

Каждый населенный пункт имеет цифирный рейтинг от 3 до 10, означающий время в часах, необходимое для беглого, но относительно качественного его осмотра. Меньше 3 рейтинг не бывает, это установлено эмпирическим путем. В том случае, когда показатель превышает 10, город получает значение СБИН. Аббревиатура расшифровывается: «с бухней и ночевкой», стало быть, это поселение следует осматривать более одного дня. Все миллионники автоматически получают рейтинг не ниже 10 СБИН. Москва, наверное, 200 СБИН, и то маловато.

Вот оттого про Казань особенно много написать не смогу. Два дня, проведенные там, не дают права считать себя не только экспертом по месту, но и просто господином, шапочно с ним знакомым.

Да, яркий, чистый город с уютным и красивым метро, не обезображенным вековым присутствием человека. Невероятный Кремль, рельеф, украденный у Средиземноморья – дома террасами усиливают сходство. Точно из вод вставшая Кул Шариф, так непохожая на привычные по югу Пермского края татарские мечети и, напротив, похожая на арабские сооружения из новостных передач. Обилие православных церквей всех времен. Впрочем, арабы свои сооружения срисовали с Айя-Софии, а та была православным храмом... Не поймешь, кто у кого своровал идеи. Вечно падающая башня Сююмбеке, дивно неудобный выход к Волге и отменного качества дешевая еда во множестве кафушек.

Цельного впечатления, повторю, не сложилось. Просто не встретился очень со многими из тех, с кем хотел встретиться. Мобильный там народ обитает – столица, все в отлучке.

И единственный явный минус – в Казани очень мало брюнеток! Гораздо меньше, нежели в Вологде. А наличествующие еще и красят себя. Это плохо.

Зато гостил у прекрасного поэта Алены Каримовой. Квартира ее отныне объект моей наибелейшей зависти. Понял, что можно сделать при наличии правильного воображения и прямых рук из типового советского жилья. У меня в Перми жилище абсолютно такое же. В доведении жилплощади до действительно нормального состояния главная заслуга, конечно, принадлежит Аленину мужу, философу Владимиру. Ых. Навсегда Высшее гуманитарное образование – мой фетиш и Сион.

Будем считать, с Казанью поздоровался. Теперь надо б съездить надолго.

Казань – Самара. Невеселый самолет

Уезжать из Казани, конечно, грустно, зато в отношении автостопа легко и приятно. Надо только добраться до остановки РКБ, благо автобусов туда идет множество, и выйти на трассу. Сайт Академии вольных путешествий рекомендует начинать стопить прямо там, однако лучше пройти километр от города, к заправке – в этом месте скорость потока ниже.

Первым, практически сразу, меня подобрал мужичок на желтой копейке. Ехал он недалеко, до аэропорта. Там довольно быстро тормознул Рено Логан с очаровательной пухлой семейкой: совсем молодые папа с мамой и Ильяс девяти месяцев. Серьезный такой парнишка. Мы с ним здорово пообщались в невербальном режиме. Глава фамилии служил срочную в Перми и, вопреки своему проживанию в городе, сходящем с ума по футбольному клубу «Рубин», оказался болель-

щиком «Амкара». Я ему за Пермь много плакался. Проехали далеко, больше ста километров. Тут ребятам надо было прямо, в Чистополь, а мне направо.

Перед развилкой долго катили через камский мост. Кама все-таки прекрасна везде: и в начале своего пути, на территории Коми-округа, где ее курица перелетит, и в Перми, в Закамске, точнее, и вот тут, уже возле впадения в Волгу. Синяя-синяя, и барашки, точно на море. Раньше в этом месте ходил паром, даже целых три. Переправляясь на них, можно было касаться волн руками. Только очередь на паром стояла на полную рабочую смену.

Основной поток машин уходит после моста прямо. Направо сворачивает одна из десяти. И ни одного дальнобойщика. Впрочем, ждал недолго. Остановился москвичок, вида ныне почти вымершего, с татарской деревенской семьей. Худой дед в тюбетейке и обширная хмурая бабушка.

Сельская татарская би – человек совсем особой породы. Как-то мы с другом Васей поехали в его родную деревню за городком Куедой в Пермском Крае. Кажется, я покупал у него по маминой просьбе семенную картошку. Мы взяли с собой три бутылки водки, дело было давно, пили тогда немного и быстро от этого дела уставали. Тут у Васиной бабушки случился когнитивный диссонанс. Конечно, ни я, ни Вася тогда этих слов не знали, а бабушка так и скончалась через несколько лет, не узнав их, но у нее случился именно когнитивный диссонанс. Любимый внучок Васенька привез гостя, надо его встретить как следует, но гость пришел с водкой! А в следующий раз он Васю свининой накормит, да?

Бабушка приняла мудрое решение: выставила нам самовар кипятку, большой чайник заварки и корзину печенья. Засим удалилась. Год был, вроде бы, 1991-й, талоны, просто так ничего не купишь. Давились мы с Васей, но водку пили, закусывая печеньем и запивая горячим чаем. Чудные сделались.

Вот. Сел я в москвичок, а бабуля говорит:

– Мы только до минутки, дальше других лови.

До минутки, так до минутки. Лишь бы в правильную сторону. «Минуткой» оказалось придорожное кафе, расположенное километрах в двенадцати от моста. Поблагодарил, собрался выходить. Бабуля, грозно:

– А платить кто будет?

Ну, мы вообще-то не договаривались. Комплексуя, спрашиваю:

– Сколько с меня надо?

– Ну, десятку давай, не меньше.

Спорить, конечно, не стал.

Кстати, возникла пространственная аномалия: в Интернете указано расстояние от Казани до Самары в 360 км, проехал я в сумме примерно 110-120, а на щите возле «Минутки» опять 310. Не. Так не бывает.

Подошел к серебристым жигулям десятой модели.

– В сторону Самары подкинете?

– Только до Базарных Матаков. А сейчас чо не поехал? Автобус вот только ушел.

– Так это... у меня денег нет.

– Садись, чо.

Вез меня высокорослый голубоглазый и светловолосый татарин. Там целые села таких.

Со мной парнишка обращался покровительственно, а Татарстаном хвастался:

– Ты знаешь, чьи это земли?

Напрашивавшийся ответ «маркиза Карабаса» не катил, и я ответил отрицательно.

– У! Это земли Хайруллина. Ты его должен знать – он депутат.

– Откуда мне знать ваших депутатов?

– Он не наш, он из Госдумы. Знаешь пиво «Красный Восток»? Вот его завод был, потом продал.

Пиво, насколько помню, было так себе, а земли и вправду богатые: импортные комбайны, аккуратненько все. Вот в Пермском Крае брошенные поля идут километрами, а тут их нет.

В Матаках водитель решил высадить меня на остановке.

– Так ты ж дальше едешь, подвези до горы?

– Кто тебя на горе возьмет? Тут жди.

Мулла больше знает, чем простой татарин, конечно...

Не успел выйти на остановке, окликнул рыжий дядька:

– В Юхмачи поедешь?

– Это по дороге в Самару?

– Ну, да. Только ты слева садись, у меня дверь разбита. Документы после аварии собираю, в райцентр вот ездил.

Едем, болтаем, и потихоньку на меня накатывает противное чувство собственной поддельности. Первый раз оно возникло еще в начале пути, когда кондукторша электрички Кострома-Ярославль высаживала двух поддатых ПТУшников. У ребят на самом деле не было денег на проезд. Вот и здесь так же. Михаилу, водителю, для сбора этих дурацких справок придется ехать из своих Юхмачей в Матаки еще дважды или трижды, по 50 км в каждую сторону. А Ниве у него лет 15, а дочка ходит в школу в спортивном костюме, а я такой красивый и умный катаюсь автостопом.

Только не надо про образование, разные способности и прочее. У меня вполне был шанс не поступить в институт или работать после ВУЗа участковым врачом в населенном пункте Посер Пермского Края, или всю жизнь – младшим научным сотрудником. В сущности, достигнутый ныне скромный материальный достаток есть вещь случайная и недолговечная.

И про сирот казанских, помощь выпрашивающих, не надо: во-первых, Михаил ничего не выпрашивал, а во-вторых, по национальности он чуваш – на западе Татарстана их много. Вылезая из машины, спрятав очи долу, протянул сто рублей, соврамши:

– Вот... У меня больше нет почти.

– Спасибо.

Ста рублей неновой Ниве, пожирающей 12 литров бензина на 100 километров, не хватит даже на полдороги к Базарным Матакам.

Юхмачи – уже почти граница с Ульяновской областью, но еще Татарстан. Манты в местном кафе заполняют говядиной, смешанной с мелко нарезанным картофелем. Получается эчпочмак, на пару вареный.

Пообедав, быстро застопил черный джип БМВ. Водитель имел вид постклассический, незавершенный. Нет, цепь с крестом наличествовала, однако была скрыта вполне ординарной рубашкой, а татуировка на правой руке состояла всего из двух литер, вероятно, инициалов. Выслушав мой рассказ про откуда и куда, Сергей с достоинством заметил:

– Да. Бывал я там недавно. В Вологде, в Кирове, в Перми. По работе.

Характера работы, однако, уточнять не стал.

Дороги, по Татарстану весьма неплохие, ближе к границе начинают ужасать. Километров за 10 до въезда в Ульяновскую область вдоль трассы появляются грунтовки, позволяющие объехать наиболее страшные колдобины. Вот на территории Бесовского лесничества Ульяновской области мы и прокололись. Заднее левое колесо проглотило гвоздь. Запаска была, стали выгружать багажник. Серега вез от мамы мешок картошки и банку яблочного компота. И две банки варенья. И банку соленых грибов. И банку маринованных. И свеклу. И морковку. Все не хуже, чем у людей. Колесо поменяли, больше он не важничал.

А вокруг было много подсолнухов. Все-таки границы областей и прочих образований чем-то определены. Напомню: при въезде из Удмуртии в Татарстан все вокруг из зеленого делается золотым. А в Ульяновской области окружающее превращается в черные, без листьев уже, подсолнухи, похожие на маленьких пингвинов, дружно глядящих в одну сторону. Дальше, к Самаре, вокруг опять зелень; к Саратову выгоревшие, русые степи. Еще дальше, в Пензенской области потрясающий рельеф из мягких-премягких холмов в складочку, потом в Мордовии снова леса. Но это все далеко было.

Сергей довез меня до Самарского автовокзала, где и простились.

410 километров за шесть часов. Нормальненько так. Автобус по расписанию идет девять.

Самара. Столица ничего

Девушка Таня, согласившаяся меня пристроить на ночлег, пребывала в отъезде до десяти вечера. Пошел гулять по городу. В начале поездки визит в Самару не предполагался, оттого гулял по общеизвестным местам: площадь Куйбышева – самая большая в Европе, красивая трехъярусная набережная с бредовыми ценами на шашлыки и настоящим жигулевским пивом (по секрету: оно немногим лучше пива ненастоящего), стеклянный вокзал купоросного цвета.

А город меня отталкивал. Прохожие казались раздраженными, такого негатива не ощущал с момента выезда из Перми, уличное движение – хаотичным до безумия. Справедливости ради скажу: не видел городов, сильнее мучимых автомобильными пробками, нежели Самара и Саратов. Не радовали даже милые особнячки центра. Кстати, по словам Тани, эти домики внутри больше, чем снаружи, и вполне пригодны для житья.

Вернулся на набережную, взял пива, сел ближе к воде, начал выдумывать бредовую теорию, отчего мне не глянулась Самара. Придумал. В этот город, тогда еще звавшийся Куйбышевым, после нападения фашистов эвакуировали множество министерств. Столичные комплексы и размах остались, а командовать не пришлось. Даже Приволжским округом правит Обран Ош – Нижний, стало быть, Новгород. Подумав еще немного, теорию разоблачил: когда тебе не нравится объективно красивый город, а люди в нем кажутся недобрыми гуманоидами, ищи проблему в себе. Просто давно ничего не случалось. А я ж не девочка из будущего, приключений хочу. Все вокруг рассказывают, рассказывают, чего с кем произошло – и мимо. По опыту знаю: чувства такого рода приходят непосредственно перед весельем. Так оно и вышло.

Самара. Автоматы, карате и все такое

С Таней встретились в десять, около вокзала. Я был знаком с ней только по сетевому общению, даже фото ни разу не видел, но отчего-то сразу узнал. Она стояла возле табло с красными буквами, обозначающими рейсы электропоездов, и выглядела лет на 16. Она так и выглядит, когда не моргает. Когда моргает, больше 13-ти ей не дать. На самом деле девушка она вполне серьезная, грозная даже: занимается карате. И работает администратором в клубе боевых искусств:

– У меня вписаться нельзя: коммуналка, соседи злые. Поехали на работу? Я там иногда ночую.

– Поехали, конечно. У меня с собой белое вино есть.

К полуночи добрались до клуба, предсказуемо спрятанного в пристрое к новой многоэтажке. Ключом несерьезного размера с некоторым трудом открыли дверь. Видимо, жилье хотело предупредить нас о сгущающихся событиях.

Таня, быстро запрыгнув внутрь, отключила сигнализацию. Место, где люди занимаются спортом, предполагает наличие душевых. Вымылся, надел тельняшку, стал бриться. На раковине стояло жидкое мыло – за неимением пены такое вполне сойдет для бритья. Сошло б, конечно, будь там действительно мыло, но в прозрачную емкость уборщица налила хлорсодержащую гадость для чистки раковин. Равной силы ощущений, так или иначе связанных с предметами личной гигиены, не испытывал года два – с тех пор, когда с похмелья в темноте почистил зубы скрабом.

Выхожу, хихикая:

– Тань, представляешь...

И замираю. В лицо глядит ствол маленького автомата. Помните фильм Квентина Тарантино «Криминальное чтиво»? Ну, когда Траволта вышел из сортира, а Брюс Уиллис разглядывал оружие? К счастью, в клубе не оказалось тостера, не то б фрагменты моего черепа могли попортить хороший, дорогой кафель.

Таня, отключив сигнализацию, не сделала контрольного звонка на пульт охраны. Ребята прибыли в соответствии с инструкцией, надлежащим образом вооруженные. Бедная девочка пыталась рассказать героям про напавшего на нее алкоголика, про шестое чувство, заставившее ее именно сегодня проверить клуб и про «я всегда тут ночую». Причем как-то единовременно и малоубедительно. А тут я такой весь такой уютный – босой, в тельняшке и вытянутых трениках.

Видимо, негордый вид вторженца успокоил защитников частной собственности. Привела девочка мальчика – все в пределах возрастной и сезонной нормы. Зафиксировав паспортные данные, ребята уехали. Мы сели на крохотной кухне клуба, открыли вино, улыбаемся. Вдруг как в сказке скрипнула дверь. И скрипнув, немедленно отворилась. Дверь эта была приделана сбоку кухоньки, честно говоря, сперва принял ее за шкаф. Нет. Шкаф стоял в проеме двери, необильно двигая руками.

Опять все без обмана: по получении вызова сотрудниками агентства был немедленно извещен владелец собственности, он же главный тренер клуба, он же обладатель какого-то важного дана, Артур Дмитриевич. Знаете, как на Вас смотрит разбуженный в полпервого ночи серьезный каратист, страдающий насморком и переживающий за беременную жену? Он на Вас осуждающе смотрит. Артур передавил взгляд на Таню, однако убоявшись ожечь сетчатку ее глаз, начал зрить промеж нами.

– Кто это?

Объектом запроса, конечно, был я – с Таней они друг друга хорошо знают, однако, поскольку вопрос не был обращен непосредственно к девушке, право на ответ в равной степени принадлежало нам обоим. Пока соображал, чего соврать поубедительнее, молодой и гибкий ум Татьяны опередил меня:

– Это поэт. Ему ночевать негде.

– Поэт? Ну, тогда почитай что-нибудь.

История иногда дважды повторяется в виде фарса. Девять лет назад аналогичный диалог произошел между Василием Чепелевым и Арсением Ли с одной стороны и гопниками города Каменск-Укральский с другой. Чем все закончилось тогда, пусть расскажут Арс либо Вася, я лучше за себя отвечу.

– Знаете, здесь не очень подходящее время и место для чтения стихов вслух. Может, Вы тексты посмотрите?

Отпечатанные стишки ехали из самой Москвы – все-таки в Екатеринбурге был вечер, в Воткинске тоже и в Саратове предстоял.

Таня потихоньку начала плакать, Артур читать, а я прятать улыбку. Автоматы получасом ранее были нестрашными, но вот перспектива получить по сопатке от человека, давно и много занимающегося спортом, в какой-то момент казалось реальной. Однако неторопливость и тщательность изучения печатных материалов выдавала в директоре клуба главного бухгалтера некоей уважаемой структуры. Их, правда, сразу можно вычислить. Ошибся я не сильно, Артур оказался финансовым директором инвестиционного фонда. Мой ровесник, не пьет, занимается спортом, знает языки, тренирует волю – отчего б не прийти к успеху? Более того, он и в духовных практиках наверняка больше понимает. Короче, стало ясно – бить не будут

Дойдя до стишка про футбол, хозяин ситуации заулыбался, потом нахмурился, затем опять помягчал:

– Это хорошие стихи. Но почему написано «на стадионе Пуэбла»? Они ж играли на Ацтеке?

– Понимаете, это такая намеренная неточность, фасцинативная: вот Вы заметили и запомнили, и кто-нибудь еще заметит и запомнит.

Разговаривали, пили чай, утешали плачущую Таню. Артур перед ней извинялся. Я его понимаю, ибо не раз видел своих подчиненных в чуть менее дурацких ситуациях. Всегда ощущал неудобство, усугубляемое извинениями. В два часа разошлись. Мы нашли заныканное вино, и праздник возобновился. Немного здорового сна, звонок будильника. Полвосьмого уходила электричка на Сызрань, а ехать стопом после белой Мишкиной Нивы в селе Юхмачи с утра не хотелось. На том и расстались.

Самара – Сызрань

Взял билет до станции Новокуйбышевск на скоростную электричку. Это близко и дешево, а контролеры после нее уже не беспокоят. Так мне мудрые люди говорили.

Захотел уснуть, но вместо этого познакомился с джинсовой девочкой Лизой, ехавшей в Сызрань. Лиза не смогла уехать накануне и теперь боялась руководящего гнева:

– У нас директор новой формации. Он умный очень, всю документацию знает, с иностранцами без переводчика разговаривает. Только все время орет и матерится. Не все время, конечно, просто очень часто. Раньше таких не было.

Славные они, малышки эти. Не общались при коммунистах с директорами домостроительных комбинатов или председателями колхозов. Там от мата балки гнулись и коровы на бок падали. А еще нынешним девочкам кажется, будто стервозность они придумали. Или хотя бы их старшие сестры. До этого, значит, все женщины были ласковыми, милыми и большеглазыми. Ага. Смотрите продукцию «Мосфильма» восьмидесятых годов. Хоть бы и «Родню» михалковскую. Есть, знаете ли, чему поучиться, не дай Бог. И карьеру с раздвинутыми ногами поколение, выбравшее «Пепси», осваивает не первым. У Федора Абрамова, например, тетенька так добивается высокого поста мельничихи.

За окном электрички не прекращалась красота. Нет, сначала, до Новокуйбышевска и чуть дальше – сплошные промзоны, глазу не отдохнуть. Но после... Волга непонятно где начинается и где заканчивается: затон, еще затон, бесконечная ширина на поворотах. После станции «Правый берег» реку видно почти всегда.

Сызрань

В этот город приехал исключительно из-за названия, очень уж оно нелепое. В детстве бабушка вместо «рано» говорила «сызрань», с ударением на последнем слоге. А еще имя города похоже на рыбу. Чехонь, пелядь, Сызрань... Ожидал увидеть нечто патриархальное и очень небогатое. Зря ожидал.

Конечно, и дивная резьба на домиках со ставеньками, и сообразный человеку непугающий Кремль вполне соответствовали ожиданиям, однако город оказался куда интересней. Центральные улицы застроены дивными домами в стиле модерн с выложенной под крышами цифирью: «1907», «1911», «1913». Более поздние даты очень редки. Послереволюционных нет совсем. Знаменитый саратовский модерн все же очень попорчен: больше денег, больше начальственного рвения, меньше провинциальной неспешности, убивающей дурь. В Сызрани же денег хватало только на ремонт и содержание зданий. Это очень хорошо.

Отличный в целом провинциальный городок, растянувшийся, вопреки немногочисленному – двухсот тысяч нет – населению вдоль Волги едва не на полсотни километров. Хорошая промышленность: нефтяная, химическая и всякая. Впрочем, многие жители свой город не любят, титулуя его Засранью. Им, конечно, видней, например, конечная станция многих городских маршрутов носит говорящее имя Шанхай, однако с точки зрения приезжего райцентр хорош. Забавно, да? Базарные Матаки – райцентр и Сызрань тоже райцентр. А отличаются друг от друга они куда сильнее, нежели Москва и, к примеру, Киров.

Поесть-попить в городе можно сытно и недорого, однако с рыбой собственного улова все не очень. Мне ее попробовать, во всяком разе, не случилось. И еще в Сызрани есть очень смешной и аккуратный вокзал Сызрань-город. Там в день проходит десять пассажирских поездов и одна электричка до станции Сенная. На вокзале чисто-чисто, гораздо чище, чем на основном городском с названием Сызрань-1. И транспорт до Сызрань-города тоже не ходит.

Выбраться на трассу в сторону Саратова или Самары совсем не трудно. Надо на любой маршрутке доехать до остановки «Пластик», там повернуть направо и поболтать с водителями, обедающими в действительно пластиковой столовке.

Сызрань-Саратов. Ленивый автостоп

Честно говоря, настоящего стопа не было. Договорился с водителем МАНа, и поехали.

Сева оказался любопытным воронежским мужиком, слишком долго прокатавшемся на КАМАЗе. Езда быстрее 50 верст в час, очевидно, ему претила. О футболе я наговорился на год вперед. Здорово, конечно, когда человек, обитающий на другом конце страны, наизусть знает состав обожаемого в твоем родном городе Амкара, однако сам-то я к ножному мячу давненько сделался равнодушным. Жизнь смешнее спорта. Вот про себя Всеволод рассказывал вещи и вправду неординарные. Минувшей зимой ему пришлось скататься далеко на север, «за Ноябрьск». На посту ГАИ машину остановил милиционер из местного населения:

– Да зачем мне твои права? Права не давай. Паспорт показывай. Ты ж через сто километров совсем замерзнешь, как потом тебя опознавать. Спирт пил?

– Нет, конечно.

– Зря. Может, однако, б живой остался.

И точно: утомившись даже менее, чем через сотню верст машина, ехать перестала.

– Прикинь: соляра как камень! Я спирт туда лью, лью – нифига не помогает.

Традиционно спасли геологи.

– Я к машине, руки не слушаются, ключ не держат. Они говорят: «Хрена ли ты тут возишься, щас еще и вездеход заморозим». А я кабину закрыть хочу. Они ржут – кто тут к ней придет-то? В домике у них я к печке побежал. А там один такой здоровый, рыжий был, фигак меня в ухо. Печь очень раскаленная была, я б загорелся. Они там вообще слов «рюмка» и «водка» не признают. Только стакан и спирт. Я два выпил, потом сутки спал. Но так-то живой – и ладно.

Олицетворяя неспешность, добрались до отворота на Хвалынск. Сева пошел «хавать и мыться», обещав вернуться через час-полтора. Конечно, ждать его не стал. Уехал на огромном бирюзовом Вольво. Движение в сторону Саратова сделалось чуть более быстрым, но без радикализма. Новый водитель, Алексей, тоже работал «на хозяина» и особо не спешил, желая ночевать дома.

– У меня все равно деньги только на ипотеку уходят. Мы семь лет жили без своей квартиры, как из Кустаная приехали. Старший наш институт закончил, в аспирантуре учится. В Германию ездит все время. И младший заканчивает. Нормально так ребята зарабатывают, не пьют, не курят. А там кто остался, все спились, торчат.

Леха был далеко не первым из подвозивших меня водителей, уехавшим из Казахстана посевернее. Ни в одном случае ребята не жаловались на прямое преследование или угнетение, ну, разве в форме:

– Там везде казахи теперь, все начальство, все менты. Им ничо не надо, вообще ничо. Поселки зимой без тепла стоят.

В общем, мое впечатление, сложившееся парой лет раньше при поездке на Иссык-Куль, укрепилось: слухи об экономических успехах нашего южного соседа несколько преувеличены. Однако пиар-команда у них работает грамотно: на западных новостных сайтах в основном позитив.

Саратов. Традиции, однако

В переполненную маршрутку заглянула девушка и робко, но откровенно осведомилась:

– Можно меня стоя?

Водитель отказал. Видимо он был очень высокоморальным человеком, ибо девушек, прекрасней, чем в Саратове, нет нигде. Почти такие же красивые живут в Вологде, но Вологда невелика. А Устюг, где барышни тоже чудесны, еще меньше. Дабы не получить серьезной психической травмы от избытка красоты, решил выпить.

В Саратове я останавливался у редактора отдела поэзии журнала «Волга» Алексея Александрова. В миру Леша тоже работает руководителем и освобождается поздно. Я примерно помнил район его обитания, но дом бы самостоятельно не нашел. Решил добраться до набережной, дабы побо-

роть трезвость там. Однако не добрался. Прямо возле остановки, рядом со Свято-Троицким собором нашел дивную распивочную. Бутерброд с котлеткой, томатный сок и двести граммов «Путинки» нанесли убыток чуть более чем в полусотню рублей – немного для прихода радуги в мир.

Потом мы с Алексеем купили еще много вкусных и полезных вещей, а его замечательная жена Татьяна, в тот день вернувшаяся из Румынии, дополнила застолье тамошней Спиритуозой и домашним вином. Утром хозяева квартиры героически отправились на работу, я же, выспавшись, пошел гулять. Буквально на выходе из подъезда услышал выстрел. Негромкий вполне звук, но, безусловно, выстрел – его трудно перепутать. Вспомнил о существовании Саратовской Пушки.

Когда у городского начальства возникают столичные амбиции, оно может действовать разными путями:

– путь первый, невозможный: плюнув на эти амбиции, улучшать жизнь горожан;

– путь второй, традиционный: подражать Москве. Получается довольно комично;

– путь третий, креативный: подражать всем столичным городам сразу.

Именно третий путь избрал лет пятнадцать назад саратовский губернатор, воздыхатель по Биллу Клинтону, господин Аяцков. Обычай полуденного бабаханья был невозбранно стащен у стольного града на Неве. Честно говоря, не худший обычай, бывают более монструозные. Например, в Кунгуре трижды в день, в полседьмого, в двенадцать и в шесть вечера долго воет гудок машиностроительного завода. Сам завод, о чем уже было написано, неторопливо идет к диктуемому экономикой финалу, а вот обычай пару лет назад возродили. Заводской гудок, вопреки усилиям пропаганды, символизировал две вещи: принудительный, полурабский труд и нищету. Людям, не имевшим денег для покупки часов, приходилось жить по гудкам. Этот кунгурский звук очень хорошо слышен на нашей даче. Заметим: от нее до завода километров десять. А совсем недалеко от проходной, метрах в восьмистах, расположен родильный дом. От бесовского воя, издаваемого поутру, и небеременная-то родить может.

Нормальные обычаи – они ж не навязанные, а сохранившиеся. Нелепые, довольно трогательные. Вот в городе Луза Кировской области жители до сих пор встречают вечерний поезд из губернской столицы. Об этом мне Маша Ботева рассказала. Из книжек известно: раньше, лет сто назад, так было во всех городах, а теперь только в Лузе. Приходят ребята, тусуются, пиво пьют. Город небольшой, все равно на поезде приедет кто-то знакомый. И ваше общество сделается ему приятным.

Саратов. Милиция

Набережная в Саратове не такая трехъярусная, как в Самаре, зато честная. Шашлык из вполне свежего сомика стоит 65 рублей за сто граммов. Ну, как тут водки не употребить?

Я и употребил. Потом, погуляв по городу, еще употребил. Хотя вообще-то в тот день собирался не квасить, а делом заниматься. Требовалось зайти к главному редактору «Волги», Анне Сафроновой и, помимо свидетельств почтения, поговорить насчет дальнейших планов относительно моей рубрики с интервью. Я, выпив еще немного и купив бутылку московского коньяку, нашел требуемую двухэтажку возле гостиницы КЭЧ. Там случились еще гости и немного бутылок водки. Но вот глава семейства в это время работал. Николай Аржанов вообще-то очень хороший художник, но он же стал одним из немногих моих знакомых, пострадавших от кризиса. Свои картины – а долгие годы он жил сугубо продажей работ – Николай продавал в основном на Западе, через агента. С подступлением кризиса покупатель пожаднел, спрос прекратился, художнику пришлось вспомнить раннюю молодость. В смысле, податься в сторожа городского суда.

Поговорили мы о редакционной работе хорошо, плодотворно так. Нет, содержание разговора, конечно, было утрачено обессиленной памятью, но говорили мы вправду плодотворно и хорошо. Гости частью разошлись, частью возлегли спать, а я-таки отправился навестить Николая. Неудобно ж. Иду по улице, пошатываюсь, подвываю плейеру. Сзади раздается неуверенный, но слышимый голос:

– Гражданин, вы откуда?

Два милиционера вполне южнорусской наружности смотрели на меня с любопытством. Дал им почитать паспорт, честно ответил на вопрос пил ли сегодня. Пошли в отделение, скрытое в стеклянном домике подле театра. По правде говоря, было б неправильно проехать по стране и не столкнуться с представителями силовых структур (далее будем использовать аббревиатуру СС).

Девушка за компьютером в уголочке проверяла мой мобильный, мелкий мент попросил выложить на стол содержимое карманов, а более мощный ушел курить. Затем, вернувшись, попросил меня поднять руки:

– Вдруг у Вас чего запрещенное есть?

Мелкий суетился в разные стороны. Сотовый в розыске не числился, среди меня провели краткую профилактическую беседу о вреде алкоголя и отпустили. Без применения оргтехники и спецсредств. Я даже удивился. Дойдя до ближайшей скамейки, решил пересчитать деньги, после чего удивляться перестал. Не хватало ровно тысячи рублей.

Нет, поймите правильно: в двенадцатом часу ночи я громко пел песни группы «Гражданская оборона», то есть, с формальной точки зрения ругался матом в общественном месте. Внутри организма плескалось не менее полутора бутылок в тротиловом эквиваленте. Более того, на следующий день, готовясь к фуршету по поводу поэтических чтений, я украл в продуктовом магазине довольно много вкусной еды, а деяний, совершенных за всю немаленькую жизнь, вполне хватит лет на 10 в колонии общего режима. Но все-таки ощущение неизбывного идиотизма осталось. Скажем, в Перми меня б обули на более серьезную сумму, угрозив экспертизой, сообщением по месту работы, пятнадцатью сутками, наконец. Однако банальной кражи наверняка б не совершили.

Мораль воспоследует оптимистичная: власть и СС абсолютно уверены в нелегитимности своих действий, отчего даже в ситуациях, где они формально правы, ведут себя трусливей шпаны. Это радует.

Саратов. Сибирский Тракт

Все нормальные города похожи один на другой, но каждый сумасшедший город безумствует по-своему. Пермь и Саратов – города, безусловно, сумасшедшие. Понятное дело, речь идет о творческих людях этих мест. В Перми источник безумия очевиден и продается в стеклянных емкостях до полулитра и более. Интересующиеся подробностями могут прочитать правильную повесть Владимира Кочнева «Герой подворотен». Впрочем, существуют и альтернативные, безумные объяснения безумия. Нечто насчет хтонической природы города и чуди белоглазой, под землею сокрытой. Литературные источники по этой версии тоже вполне доступны.

Саратовское же сумасшествие кажется вполне аутентичным и всеохватывающим. Нет, конечно, встречаются и там эталонно здоровые в душевном плане люди – тот же Леша Александров или философ Сергей Трунев, но на фоне заряженного окружения дивными выглядят как раз они. Впрочем, опять-таки возможно рациональное и вполне научное обоснование неадеквата. Носимая в кармане справка о постановке на психиатрический учет позволяет употреблять вещества, не опасаясь жадных ребят из Госнаркокартеля.

Так или иначе, саратовское выступление «Сибирского Тракта» обещало быть нескучным. Во всяком разе, в Интернете нам прочили скандал. Понаехавшие по случаю чтений Арсений Ли, Алла Поспелова и Лена Горшкова держались крайне мужественно и трезво, а я все время делал что-нибудь внутрь для храбрости.

Опасались зря. Пришедшее скандалить творческое объединение «Моголь» выступило последним и впечатления особо не испортило. А вообще зрителей случилось довольно много. Лучшей публики, нежели в Саратове, нет нигде. Такая же есть – например, в Нижнем Новгороде и Калининграде, а лучше нет. Молодые, глазенькие студентки слушают и аплодируют. Приятно. Местным, конечно, сложней. Определение: «эксперт – это человек из другого города» в наших палестинах неистребимо. Всякий приезжий – гуру, а всякий туземец – адепт. И никак иначе. Но

выступили все здорово. На слух максимум аплодисментов получили Алла Поспелова и Сергей Трунев, немедленно в «Сибирский Тракт» принятый.

Я читал стихи для одного-единственного человека. Честно так читал, безнадежно, по дзэновской притче:

«У одного мастера дзэн практиковали медитацию двадцать монахов и монахиня по имени Эсюн. Несколько монахов втайне влюбились в нее. Один из них написал письмо, добиваясь свидания.

Эсюн не ответила. На следующий день, после лекции учителя Эсюн встала. Обращаясь к тому, кто ей писал, она сказала:

– Если ты и вправду меня так сильно любишь, подойди и обними меня при всех».

Вот так вот ищешь, ищешь свою Эсюн, а потом понимаешь: не все девушки хотят быть эсюнами. Ну и хорошо.

К середине вечера подтянулись кинематографисты с фестиваля документальных фильмов. Литераторы, любимые мои! Не льстите себе, думая, будто вы самые пьяные и жизнерадостные обитатели подлунного мира. Те, кто работает с визуальным, гужбанят не в пример больше. Это невозможно, но они и вправду больше пьют.

Бедный, бедный Саша Мисуров, приютивший компанию после чтений. Бедная, бедная дача Саша Мисурова. Нет, чего там происходило, конечно, не помню, но догадаться могу. И еще мне рассказывали, будто я лазал на крышу соседнего гаража и там бесчинствовал.

Саратов. Байрам, который всегда с тобой

Проснулся, вежливо попрощался с хозяином (очень нелегко вежливо прощаться с человеком, собиравшимся поспать еще часов шесть, но разбуженным добрым гостем) и потопал домой к Алексею, трезвея от дымчатого воздуха.

Алексей рекомендовал мне меньше пить.

Проснулась Лена и рекомендовала мне меньше пить.

А в Казани Алена тоже рекомендовала мне меньше пить.

А до того Виталий Пуханов настоятельно рекомендовал мне меньше пить.

А после Виталия, но до Алены, меньше пить мне рекомендовал Марат Багаутдинов.

Я уже испугался и почти согласился, но тут пришли Алла с Арсением, и Алла сказала мне пить больше. Она бизнес-тренер, все понимает. Я всегда слушаюсь бизнес-тренеров.

Пошли гулять по городу, выпивая. В тот день в городе происходил Кросс Наци(й). Пафосное мероприятие, организованное кем-то. Много школьников в белых футболках толпились возле эстафетных линий старта, жизнерадостно матерясь. Впрочем, девочки выглядели неплохо. Скажу честно: у меня массовые акции не вызывают ни малейшей неприязни, скорее любопытство, но всегда хочется устроить какую-нибудь провокацию. Увы, похмельный организм отказывался даже достать Черное Знамя, не говоря уж о более деконструктивных действиях. Лена неожиданно сказала:

– Ты, оказывается, такой хороший, когда трезвый и без драйва.

Не-а. Не поверю. Усвоенная в раннем подростковом возрасте истина о любви одноклассниц к пьяным идиотам пребудет незыблемой навек!

Встретили поэта Павла Шарова, любовались саратовским модерном, слушая жалобы местных на «город уже не тот, все изломали», фотографировали вдумчиво мастурбирующий памятник Константину Федину, опять ели рыбный шашлык на набережной, спасались от милиции, недовольной распитием коньяка на парапете, гуляли по мосту из Саратова в Энгельс (этот мост на момент постройки был самым протяженным в Европе, двукратно превзойдя длиною своего трансволжского коллегу из Октябрьска, под Сызранью), провожали Лену на поезд. Любимое время года, любимые люди, одна из десятка любимых погод, постепенно наступающее любимое время суток – что еще нужно человеку?

Уже в самые сумерки вспомнили о Курбан-байраме, разразившемся на Соколовой горе, рядом с музеем военной техники под открытым небом. Аяцков в свое время построил там множество «этнических деревень», символизирующих дружбу народов Саратовской области. Кстати, эта гора при татарах называлась Сарытау, дав имя будущему поселению. Байрам состоялся, конечно, в татарской деревне. Обозначенной нации, однако, было немного, преобладали выходцы с Кавказа, резко и пластично вращавшиеся под музыку из багажников обильно тюнингованных девяток.

Никто не стрелял в воздух и не кричал «Аллах Акбар»! После начала фейерверка я попытался-таки возгласить славу Единому, но был остановлен очень черными взорами. Кафе, во множестве разбежавшиеся по Соколовой горе, к празднику подготовились неаккуратно. Например, то, где уселись мы, потчевало гостей чудной этнической музыкой (вы не представляете, сколь инопланетно звучат песни группы «Ленинград» на татарском языке!), водкою и свиным шашлыком. Правоверные запивали водку халяльным соком «Добрый». Шашлык, кстати, был отличным.

Саратов-Саранск. Заблудившийся Фрет

Большинство нормальных путешественников по трассе (а почти все, выбирающие этот путь, нормальны по определению) используют для построения маршрутов Атлас автомобильных дорог, называемый «стопником». В последние годы вместо него или в дополнение применяют GPS-навигаторы. Мне очень хотелось обозначить собственную оригинальность, отчего ни стопником, ни навигатором обзаводиться не стал. Значительную часть пути откровенно везло – находился добрый человек для подсказки, а паче того, выручал сайт Академии Вольных Путешествий. Там довольно толково расписаны маршруты передвижения по России и окрестностям с указанием метод покидания города.

Однако всякая система рано или поздно начинает сбоить. Сайт, честно говоря, давно не обновлялся – еще в Казани заметил несоответствие представленных маршрутов городского транспорта реально действующим. Там все обошлось: Алена с Володей, обитавшие неподалеку от выезда на Самару, качественно разъяснили направление. В Саратове получилось хуже. Долго-долго искал Сенной рынок, откуда должен был следовать автобус на трассу. Дольше того спрашивал дорогу на Елшанку, где та трасса начинается. А еще дольше – ехал в сарае маршрута № 40 сквозь нескончаемые пробки.

От Елшанки до поста ДПС недалеко, с километр, однако дорога там раздваивается, а указателей нет. Положился на интуицию и ушел стопить влево – больно уж круто в гору уходила прямая дорога. Вскоре остановился фургон-хлебовозка.

Белый-белый парень Федя шел куда-то в сторону Воронежа и про Пензу ничего не знал:

– Садись, разберемся.

В течение следующих двух часов мы катались по селам Саратовского района, выгружая поддоны с похожими на куриц булками в целлофановых пакетах и ругаясь с товароведами. Возле последней точки Федя выяснил у коллеги: дорога на Пензу лежит немного не здесь и максимум, чем он мне сможет помочь, так это высадить на объездной:

– Там близко.

Ну, и на том спасибо. Зря, конечно, на посту не спросил, где Пенза, но чего теперь? Место для стопа оказалось никуда не годным. Длиннющий скоростной участок ровнее спринтерской дорожки. Тормозившие, на диво малочисленные, ехали только «до первого поворота», а Бог его знает, где он этот первый, вдруг там еще хуже. Наконец мужик непонятной нации – не русский, не татарин, не башкир и не с Кавказа точно – на разбитом-разбитом ГАЗе подвида «Бычок» довез до отворота с кольцевой на Пензу.

Пока спускался по развязке к приемлемой позиции, где дорога чуть заворачивала вправо, ровно на том месте коричневая шестерка высадила двоих ребят, мальчика и девочку. Подошел, поздоровался.

Аня и Стас, только что забравшие документы из Саратовской медакадемии, ехали в Пензу, необычайно довольные друг другом и установившейся погодою. Аня собиралась за Стаса замуж, а Стас собирался в армию. Выгнали детишек из храма науки еще по весне, но юридически условно-досрочное освобождение оформили только сейчас. Аня планировала через пару дней уехать на Урал «с одним знакомым мальчиком». А Стас после армии хотел жить вернуться в Саратов. Ребята ничем не занимались и заниматься пока не планировали: «поездим, посмотрим».

Марат, еще в Ижевске, спрашивал:

– Андрей, ты ведь катаешься оттого, что хочешь, чтоб тебе было двадцать лет, да?

Честно говоря, нет. В двадцать ты впитываешь этот мир и смешиваешься с ним. Настоящее удивление, а ездишь ведь ради удивления, приходит позднее. В двадцать все равно ждешь праздника. Вот ближе к сорока газеты и родственники уже стократно рассказали про ужасный мир злых людей, а ты движешься по городам, радуясь встречам. И водки можешь выпить не в пример больше. Если, конечно, захочешь. Но вот эта способность нынешней молодежи планировать будущее потрясает. Для нас завтрашний-то день был Америкой, а уж «после армии» вообще Юпитером. А может, это я такой. Ну, правда: и посейчас не могу представить себя через год.

Фотографировал ребят с Черным Знаменем, слушал дорожные приколы, рассказывал Ане, чего посмотреть в Перми. Трасса шла хорошо: до отворота на Пензу добрались с одной пересадкой. Стас здорово угадывал, какие машины тормозить. Вот и все: им направо, мне прямо. Ладно, не потеряемся, наверное. Хорошие они очень. Вообще, в Пензу съездить хотелось, но времени было уже многовато, а напрашиваться на ночлег к ребятам постеснялся, конечно.

За мостом, на маленьком подъеме, стоял лысоватый мужик лет пятидесяти с листом формата А4, упрятанным в прозрачный файл. На листе издалека были заметны цифры «52». В Нижний Новгород, движется, стало быть. Я тоже туда, но позже.

– Андрей.

– Андрей.

Едва познакомившись, тормознули десятку с подмосковными номерами. Водитель оказался почти моим соседом по нынешнему месту жительства. Хорошо подвез, почти семьдесят километров. Высадил недалеко от кафе для дальнобойщиков, рядом с указателем «Саранск – 47 км». В общем, плохо начавшийся день шел к умиротворяющему финалу, и я уже мечтал о скором возвращении в комфорт. А вот зря мечтал.

Без двадцати восемь будто лампочка погасла. Вроде бы стояли на пригорке, но стемнело разом, без предупреждения. Юг все-таки. Мне и в Подмосковье-то не хватает уральских сумерек – там они полдня утренние, а потом полдня вечерние. Особенно в марте и ноябре.

Машин шло немного, да и те не останавливались. Может, просто не замечали нас. Начали строить планы относительно выпить. Заодно Андрей рассказал о своей работе, вызвав острейший приступ зависти.

– Понимаешь, фура, допустим Фретлайнер, с дорогими сигаретами стоит 15 миллионов рублей. С сильно дорогими – 20. Надо охранять. Вот я из Нижнего еду, например, в Питер, там грузимся. Своих машин у нас нет, приходится нанимать. Из Питера вот сейчас приехал в Саратов, сдал под разгрузку – и все, больше мне до нее дела нет. Можно, конечно, на поезде назад, но я обычно стопом. Зачем деньги тратить? Билеты хозяин не просит.

Ох, не то дело я в жизни выбрал. Трасса, пистолет и куча денег. Что еще надо для счастья? Корона неудачника плотнее опустилась на макушку.

Видимо, слово Фретлайнер в устах попутчика имело магическую силу, ибо здоровенный грузовик этой самой марки, выруливавший с АЗС, затормозил возле нас. Машина шла в Рузаевку, это уже совсем рядом с Саранском. Андрей стал болтать с шофером о тайнах профессии, а я беспутно задремал на огромном топчане в задней части кабины. Очень уж мягко шла машинка.

Рузаевка встретила полной тьмой, разбавленной карамельными витринами. Последняя электричка в Саранск сбежала полчаса назад, но пригородные автобусы с билетиками едва не дешевле московских городских еще бегали. С тем и уехал.

Саранск

Сложив денег на телефон, начал звонить Правильному Человеку Матроскину. Его телефон мне дала незаменимая Ирина Каренина. Выяснил: нахожусь я совсем на другом краю города, но отчаиваться не след, надо только найти улицу Московскую и идти по ней вверх. Нашел быстро, пошел вверх. Дорога привела меня к каким-то непристойным гаражам и грудам кирпича. Подобравшись к зеленому особнячку, внимательней прочитал название. Улица оказалась Мордовской.

Московская, впрочем, находилась рядом. Двинулся по ней опять-таки вверх. Через некоторое время оказался среди тех же гаражей и кирпичных груд. Ну, улицы ж не зря куда-то направлены! Углубившись в дебри кооператива, включил фонарик. Кусты под резким ветром напоминали прыгающих собак. Из-за дальних заборов доносился неслабый лай. Визуальный эффект соединялся со звуковым и организм нахально потел вопреки нежаркой погоде. Писк сотового удивительно дополнил жизнеутверждающую картину. Дрожащие пальцы долго не хотели снимать блокировку клавиш. СМСка от горячо любимой поэтессы добавила оптимизму: «Мои амбиции не соответствуют реальному потенциалу. Все, что я делаю, третьесортно. Вешаться хлопотно и некрасиво. Скрипим дальше». Нет, правда, отлегло: подумаешь, заблудился в чужом городе. Вот у людей действительно проблемы.

Вообще, они, девушки, с желанием пообщаться ошибаются редко. Года два назад были мы на охоте. Мужики, перед самой темнотой стрельнув медведя, отправились со всех точек к машине, чтоб идти потом к добыче кучно и никого случайно не встретить. Я остался на лабазе – светить фонариком и вроде как тушку караулить. От кого только? Охотники, конечно, возвращаться не спешили, выпивая во славу и за упокой, а я думал, чего на своем лабазе делаю. Сначала решил, будто медведь на самом деле живой, вот он отлежится, обойдет дерево сзади, тихонько подымется и потрогает меня за ногу.

Потом, супротив воли, стал вспоминать разные вещи из удмуртской мифологии и пионерских страшилок про оживающих мертвяков. Дальше в голову полезли сюжеты самых хтоничных мифов. В общем, где-то через час колотило меня уже серьезно. А тут в кармане задергался мобильник. Он, конечно, в лесу не ловит, но лабаз был достаточно высоким и сигнал прошел. Славная Маша Ботева прислала очень нужное, своевременное сообщение:

ЛУНА УБЫВАЕТ... ТУМАНЫ...

В ту ночь я выпил, наверное, полтора литра водки, не опьянев. Впрочем, большей частью пролил – очень уж асинхронно руки колебались.

С Московской улицей все разрешилось довольно просто: термин «вверх» имел не физический, но символический смысл. Идти следовало по убыванию нумерации домов. Встретились с Матроскиным. Он действительно оказался правильным: в его писательской квартире стояла очень большая пишущая машинка Ятрань. И никаких вам компьютеров! В свободное от сочинительства время Владимир Робертович работает на заводе «Лисма», где выпускают электролампочки. Его литинститутское образование показалось деятелям местной прессы недопустимо качественным. Пьянства не делали, ибо рабочий день хозяина начинался с семи утра.

Володя вкратце рассказал о структуре города. Все районы, кроме Химмаша, были охарактеризованы вполне сносными. Забавно: в Екатеринбурге тоже есть Химмаш, и его тоже боятся и ругают. И в Рузаевке есть Химмаш, я это на следующий день выяснил. Там локация тоже не пользуется доброй славой. Тенденция, однако. Впрочем, ни одного знакомого с химических районов у меня нет, стало быть, информация пока односторонняя.

С утра пошел гулять по Саранску. Город мне еще накануне понравился, неожиданный такой. Та же Московская (бывшая Трехсвятская), повернув напротив городского парка, превращается из заштатной улочки в довольно респектабельную площадь, все еще именуемую Советской. И университет у них справедливо называется МГУ. За годы неправильной власти почти все старые храмы Саранска сломали. Беду пережил только прекрасный Собор Иоанна Богослова. Стоит на улице Демократической, дом 50, но название улицы гармонирует со зданием еще менее, нежели Карл-Либкнехт-штрассе, например.

И Собор святого полководца Федора Ушакова городу вполне адекватен. Он новый совсем – 2002 года постройки. Не знаю, как вам, но мне новопостроенные храмы вполне милы. Гораздо лучше создававшихся в начале XX века. Там один красавец на десять уродищ.

Голод приехавшему в Саранск явно не грозит. Вопреки пугающим вывескам «Пиццерия», в большинстве заведений можно обрести стандартный по нынешним временам набор блюд и, конечно, пельмени. Хотя всеюгорского культа хлебных ушей, пель няней, цветущего, скажем, в Удмуртии, тут не заметно.

Вот что действительно поразило, так это встреченная в небольшом магазине, рядом со вполне приличной продукцией Мордовспирта, реклама новых спиртосодержащих продуктов – настойки перца красного, крепостью 75% и более изысканного тоника дуба в 60 объемных процентов крепости. Образцы можно было купить неподалеку, в отделе промтоваров. Цена в 14 и 16 рублей явно совпадала с возможностями целевой аудитории. А ведь казалось, будто все это уже не модно.

Пайгарма

В третий раз за поездку пришлось нарушить принцип кольца и пройти часть дороги обратно. Совершенно случайно угадал с автобусом до Рузаевки. Нет, их-то из Саранска ходит множество, но вот дальше, до Пайгармы, всего четыре рейса в день, кажется. К одному из них я ровнехонько и успел.

В Пайгарме стоит монастырь с чудесным источником. Когда-то язычники поклонялись тут Ведь-Аве, а потом обезножевшему солдату из Рузаевки во сне трижды явилась Параскева Пятница, сказавшая обрести возле родника икону. Солдат так и сделал.

Издалека монастырь похож на некоторые храмы Вологды – такие же серебристые макушки церквей, не луковичные, а шлемовидные. Вблизи, честно говоря, главный храм не столь красив. Слабо верю во все эти «места силы» и прочие квазиязыческие фишки, но ощущение неодиночества в Пайгарме действительно есть. Присутствует там кто-то кроме сестер-монахинь и паломников.

Я там долго молился, а о ком, не скажу. Она сама знает.

Пайгарма – Нижний Новгород

На сайте Академии Вольных Путешествий написано, будто передвигаться мудрым способом по Мордовии нелегко. Якобы местные водители хронически игнорируют автостопщиков. Честно говоря, у меня сложилось совсем обратное впечатление. Жигули семерка с дедком и картошкой до отворота на Саранск, ГАЗ-буханка до поста ДПС в сторону Нижнего и десятка с быковатыми парнишками до Дальнего имели регистрацию как раз в тринадцатом регионе.

Да: не заезжая в Пайгарму, а сразу отправляясь в столицу округа, можно ехать на пригородном автобусе как раз до Дальнего. Мордовия ж сравнительно невелика, и тут уже проходит граница с Нижегородской областью. На горушке застопил трехдверную Ниву. Сидевший на пассажирском месте толстый дядька вышел, придерживая сиденье, пока я и рюкзачок протискивались назад. Подвезли меня довольно далеко, до райцентра Починки, расспрашивая, где бывал, чего видал, высадив около автостанции. Впрочем, попросили денег, но отказом не обиделись.

Тут выяснилась особенность движения на Нижний Новгород с юго-востока. Трасса идет напрямую через достаточно крупные населенные пункты: в тех же Починках живет почти 15 тысяч человек. Пешком через крупный поселок надо идти не меньше полутора часов, а время уже поджимало: прогулка по Саранску и осмотр монастыря в Пайгарме все-таки оказались делом нескорым. К счастью, поселковые автобусы с маршрутками ходят вполне по расписанию, довольно далеко. Из Починков в ПАЗике, наполненном учащимися местного лицея, доехал до станции Ужовка. О характере учебного заведения говорили названия предметов, изучавшихся ребятками – у одного на руке было записано расписание на следующий день:

1) классный час;
2) трактор;
3) комбайн;
4) физкультура.

Странно все-таки обстоят у нас дела с ономатетикой и номенклатурой: при РГГУ, к примеру, лицей и в Починках тоже. Лицеисты слушали с недешевых мобил рэп и *айронби*. Одновременно функционировали не менее пяти источников шума. После месяца почти непрерывной попсни в кабинах дальнобоев меня удивить агрессивностью звуковой среды было трудно, но златозубая, хоть и почти молодая дама с заднего сидения начала вопить.

Вообще, поездка изначально планировалась с наблюдательными целями, а тут я чего-то подорвался:

– Тетушка (поклонница справедливости была явно моложе меня), вы уже кричите громче, чем у ребят музыки играют.

Дальнейшая дорога до Ужовского вокзала была проведена нами в увлекательной, полнозвучной беседе с использованием великой лексики. Мобилы понемногу унялись.

Когда-то Ужовка была вполне приличной станцией на Транссибе, о чем свидетельствует облупленное, трогательное здание вокзала с цифрами 1915 под козырьком. Увы, sic transit. Ныне через станцию в неделю проходят три электрички до Рузаевки. Зато придорожная столовка явно пользуется недурной репутацией. Подошел к DAFy со здоровенным кузовом-рефрижератором и башкирскими номерами:

– Здравствуйте, в сторону Нижнего не подкинете?

– Подкину. Только в город заезжать не буду, наверное. Щас погоди, я поем только. Ты кто?

– Я... это... стопом вот езжу.

– Зовут как спрашиваю?

– Андрей.

– А я Рафиз.

Ну, обещал – еще не значит женился. Решил поджидать водителя активно. Через минуту остановилась Дэу Нэксия с дамой за рулем. Женщина, бесстрашно подбирающая толстого и одинокого путника – это респект. С уверенностью в себе тут явно все хорошо. Наверняка менеджер регионального звена. Действительно, женщина оказалась главой районной службы занятости. Ехала она в другой райцентр, в Лукоянов, где недавно сочеталась законным браком. По ее словам, Лукоянов, именуемый городом, на самом деле деревня деревней, а вот Починки совсем наоборот. Впрочем, из рассказов следовала картина довольно всеохватного упадка. Дорога между райцентрами вполне хороша, полсотни километров проскочили моментально. Валентина каждый день ездит на работу и обратно. Америка, практически.

Маршрутку до окраины ждал достаточно долго. Местный житель пояснил:

– У нас они поздно вечером редко ходят.

Времени было едва шесть. Действительно, водитель заканчивал последний за день рейс. Зато на конечной остановке он не стал разворачиваться, а поехал на заправку. Заодно и я одолел десять совсем не лишних километров до границы Шатковского района. Где-то на десятой минуте ожидания попутки мимо меня вальяжно, даже чуть враскачку проследовал рефрижератор Рафиза, дружелюбно махнувшего мне рукой.

Почти сразу за ним подошел межпоселковый автобус, полный престарелыми дачницами. Водитель, спросив честные десять рублей, утешил:

– Все равно тебе сегодня до Нижнего не добраться. Я где высажу, ты там стой. Мне до автовокзала, потом поеду заправляться – сколько подкину к Арзамасу.

А вот нет! Прямо из центра Шатков удачно застопился, испытав дежавю удвоенной силы: во-первых, снова Нива, а во-вторых, дама за рулем. Впрочем, на сей раз ехала она не в одиночку. Две женщины почти вымершего вида мелких предпринимательниц, относительно честно ведущих нехитрый бизнес. Ехали они в Арзамас, причем весьма быстро, попутно рассказывая истории о страшных катастрофах.

Выкарабкавшись из Нивы, даже руки поднять не успел. Остановился Рафиз.

– Сколько ты раз сегодня меня обогнал? Садись давай.

Вез он вкуснейшие узбекские дыни. В Уфе, откуда шла фура, сходится довольно много железнодорожных путей из Средней Азии.

– Так-то я б раньше уехал, они долго дыни растамаживали.

Сюрреалистическая картинка прохождения дынями таможни заняла меня надолго, ровно до большого синего щита:

В АД – 40 км.

Не сразу вспомнил о наличии райцентра Вад. Ели дыню, пытались разобрать по телефону, чего хотят узбекские хозяева груза. Рафиз жил в какой-то сугубо башкирской деревушке, и русский в качестве средства межнационального общения с южными друзьями, владевшими им почти никак, использовали через мое посредство. На каждом посту обильно подкармливали бойцов ГИБДД: перегруз, неладный санитарный паспорт на фуру, маршрутный лист не в Нижний, но в Питер – долго ли докопаться.

Потом с дистанционной помощью Дениса Липатова и окрестных водил искали Бурнаковский рынок, спрятанный на другом конце города. Рафиз очень вежливо общал на дальнобойской волне автомобили, шедшие в прямой видимости:

– Брат, тридцать третий регион на МАЗе, подскажи, пожалуйста, где тут рынок, как его... буляковский, вроде?

Нашлись, попрощались. С Денисом я встретился уже близко к ночи и серьезной выпивки в тот день не произошло. Максимум литр в две каски.

Нижний Новгород. Снаряжение

Приводя в относительно справедливый вид поизносившиеся тогу и арму, вспомнил притчу:

«Однажды Тэнно, уже прошедший ученичество и ставший учителем, пришел в гости к Нан Ину. Шел дождь, поэтому Тэнно надел деревянные башмаки и взял зонтик.

Поздоровавшись, Нан Ин заметил:

– Ты, я полагаю, оставил башмаки в прихожей? Хотелось бы знать, где теперь твой зонтик – справа или слева от башмаков?

Замешкавшись, Тэнно не смог ответить. Он осознал, что не воплощает дзэн в каждом мгновении. Он проучился у Нан Ина еще шесть лет, чтобы достичь каждого мгновения дзэн».

Катаясь, дзэн случается постигать быстрее. Не желая при выходе из машины охлопывать лихорадочно карманы, напоминая горящего танкиста, лучше запоминать, где лежит сотовый, где деньги и прочие радости вроде плейера. Карманов, понятное дело, должно быть много. В этом плане очень хороша одежка «Финн Флэйр». В других отношениях к ней тоже претензий нет: крепко, нестрашно и хм-хм... вполне дешево.

Сотовый приобрел на Горбушке, специально к поездке:

– Какие у вас будут требования к телефону?

– Ну, вообще всего два: выдерживать прямое попадание ментовского ботинка и работать без подзарядки две недели.

Первое условие, слава Богу, не проверил, но простейший «Филипс 191» действительно не страдает особой энергопрожорливостью. Вот чего не хватило, так это нашитых на куртку светоотражающих полос. Без них ночью нехорошо.

Обувь – тема отдельная. Зеленые кеды «Конверс» это здорово и вечно. Но мудрый Алексей Евстратов уж слишком убедительно советовал мне:

– Андрюх, ну какие нафиг кеды? Ты ж на север поедешь. А пока до Саратова доберешься, там тоже будут дожди. Купи себе берцы.

Купил, блин. Я Лешу всегда слушаюсь. Ни разу, повторю: Ни Ра Зу не попал даже под самый маленький дождик. Зато берцы составляли треть массы нагруженного рюкзака и занимали ровно

половину его объема. В общем, я по всем друзьям очень скучал, но Алексея Илларионовича вспоминал ежедневно. А когда перекладывал мешок, Леха, наверное, икал на весь Индустриальный район города Перми.

Рюкзак, кстати, был проще некуда. Сначала на нем болталась серебристая пряжечка с названием фирмы, но потом отвалилась. И хорошо. Зато больше ничего не отпало и не порвалось.

Фотоаппарат оказался плохим. Не буду называть модель, ибо она того не стоит. Вот до этого был вполне нормальный «Кодак». Мыльница, конечно. Честно говоря, фотограф из меня никакой. Мне стыдно фотографировать людей. Это ж покушение на частную жизнь получается. Оттого снимаю действительность украдкой и второпях. И никогда не обижаюсь на запреты. Личное имущество, индивидуальные судьбы – зачем для них еще и я?

Нижний Новгород. Ошибка резидентов

Придя с работы, Денис достал бутылку водки:

– Нас сегодня ждут Артем с Саней. Они ведь слабенько пьют. Нам с тобой надо разогнаться.

Разогнались, конечно. Это мы всегда...

Решение оказалось самонадеянным. Замечательные нижегородские культурологи Александр Курицын и Артем Филатоф пить научились. Они, наверное, вместе весят столько, сколько каждый из нас с Денисом, но водочный дискурс освоили неплохо. Начали пьянство в кафе «Кино», а продолжали повсеместно. Лично помню только момент временного перехода Знамени во вражеские руки гопниц, сопровождавших настоящих черных и крупных негров. Девачкам хотелось драки интеррасовых мальчиков. Желание их чуть-чуть не сбылось.

Вряд ли Денис успел поработать в «Фотошопе», поэтому кадрам на фотоаппарате можно доверять. Я совал голову в фонтан с разнообразной подсветкой, Саша обрел где-то большую пластиковую машинку и катался на ней, все вместе тоже чего-то доставляли. Кажется, от указателя на улицу Пермякова (да-да, а в Закамске наоборот, протекает Липатов-стрит) до Денисова дома не осталось ни одной прямо стоящей урны.

Вопреки крепкому сдвигу точки концентрации, обратил внимание на безобразный городской транспорт столицы округа. Среди правильно подсвеченных домов по широким улицам с удобными развязками бегает идиотическое количество ПАЗиков, заслуженно именуемых скотовозами. По-моему, это неправильные машины.

Утром Денис Липатов без опоздания ушел на работу. Я потрясен моральными устоями этого человека.

Нижний Новгород. Владимир Безденежных

Родись Исаак Бабель веком позже и не в Одессе, он не написал бы, конечно, за Беню Крика, но без героя б не остался. Его главным персонажем бы стал невысокий, однако заметный житель Нижнего Новгорода Вова Безденежных. Говорит Володя смачно, зато немало:

– Здравствуй. Я тут слышал, будто ты у себя в Москве влюбился в очень худую девушку? Андрюш, не делай этого: ты в нее кончишь, а она лопнет.

Да, про кончишь и лопнет писал Сергей Довлатов, но он писал, а Вова — говорит. Голосом, похожим на крымский закат в августе.

Мой похмельный организм желал терапии и зрелищ. Лечение Владимир осуществлял в виде дневного стационара. Первой точкой пути была избрана Капельница Верхнего Мира – заведение, спрятанное за креслом Максима Горького, разглядывающего Стрелку. Очень давно не встречал в барах водки по 80 рублей за 500 граммов. Нет-нет, количество нулей после цифры пять правильное – их два. И картошка жареная хороша. С мясом.

Победив бодуна, Владимир повел меня смотреть город. В Нижнем я был далеко не в первый раз, однако лишь теперь убедился, сколь отлична местность, исследуемая с помощью гражданского путеводителя, от той же локации, проходимой в сопровождении историка.

Владимир в самом деле историк. А еще директор киностудии, поэт и много кто. Однако, встретив его ночью на малоосвещенной улице с фонарями, зыбко отраженными в лужах, вы все равно убежите. Ибо Володя выглядит. Он красивый, но выглядит.

Виды на Оку и Волгу с Федоровской набережной это всякому доступно, а вот послушать рассказ о Федоре Литвиче, стоя непосредственно у места события, и вправду надо. Дело было давненько уже. Тогда у Нижнего Новгорода крепость была, но гарнизон набрать еще не успели. Воевода командовал десятком стрельцов да сотней ополченцев, карауливших литовских пленных. Неожиданно под стенами крепости появилось много ногайцев и татар. Им просто хотелось оказаться внутри, а их держали снаружи. Вообще, ногайцы воевать не хотели и числились у Москвы в союзниках, но их мурза, женившись на дочке татарского хана, решил помочь хозяйственному тестю.

Шатер мурза самонадеянно поставил почти у стен Кремля, ибо с огнестрельным оружием у оборонявшихся было небогато, а камушком все ж не каждый бы смог докинуть. Воевода с горя обратился к жолнеру огненному, тому самому Феде Литвичу, пообещав свободу и всякий почет. Федя выкатил пушечку и первым выстрелом поразил шатер мурзы. Мурзу он тоже поразил: то ли в лобешник, то ли в грудь, умножив мужика на нуль. Дальше пусть летопись скажет, ибо я так не умею, а Володя скромничает: *«и бысь меж ногаи и татары сеча велика и много пало у граде с обеих сторон» «и отступили, возмутившись аки птичьи стада»*. На месте мурзиного шатра возвели церковь Ильи Пророка с предсказуемо шатровым приделом.

Еще Владимир показал дивные мостики над оврагами, откуда до земли лететь не менее трех минут, я думаю. А потом повел к узбекам. Он вообще в городе всех знает, кого надо. Ели национальные нижегородские манты и лагманы, сидя в скрытном зальчике на два стола, ждали Дениса. Дождались. Знаете, чем потом занялись? Правильно. Вы угадали. Скажу честно, до Капельницы Нижнего Мира мы не добрались, и до Капельницы Мира Потустороннего тоже, но эти заведения были мне обещаны на другой раз. А то вдруг бы заболел от чрезмерного восхищения.

Нижний Новгород – Гороховец – Владимир

Начиная предпоследний день дороги, главное избегать чувства предпоследнего дня дороги. Мир-то остался прежним, интересным, чужим. Надо никуда не спешить и ничего не пропускать. Ведь могло ж путешествие закончиться, скажем, в Устюге. Или даже в Иваново: обокрали б, например, или гвоздь под ногой случился. Никогда не знаешь, чего будет завтра и оттого никакой день не может быть предпоследним. Он последний всегда.

Дорога от Нижнего на Москву предсказуемо начинается с Московского вокзала или с укрытого им Московского проспекта. Смотря на чем ехать. Вообще, даже на проспекте, почти в центре города, можно застопить фуру, двинув на ней прямо до столицы – такие случаи мудрым людям известны.

Район вокзала и шоссе, кстати, имеет вид среднемосковской недальней окраины. Нечто вроде Южного Тушина, может быть. Заметим: сам по себе Нижний Новгород крайне индивидуален, его ни с кем не спутаешь. Наверное, дело в правильном повороте города к реке. Вот в Ярославле тоже Волга, но там можно неделю гулять или работать, а большой воды не увидеть. В Нижнем так не получится. Я долго не мог понять местных переживаний, озвученных, например, отличным поэтом Игорем Чурдалевым: «Вот вы на Урале все-таки сами по себе, а Нижний Новгород – пригород Москвы». Это не так. Точнее, во всем городе не так, но вот около вокзала – так. Еще не нравятся мемориальные доски на сером здании. Ленин, видите ли, к ним два раза приезжал. Ха. Я вот девять раз тут был, а никто не увековечил.

Пригородные кассы выходят как раз на Московский проспект. Через пятнадцать минут отправлялась электричка на Гороховец, поэтому метод передвижения на сегодня был определен. Билет купил до ближайшей станции: совсем зайцем бы не получилось, там турникеты. Тоже при-

знак московитости, наверное. И во Владимире турникеты. Между Нижним и Владимиром их пока нет, выходить из поезда можно невозбранно, но вдруг и там все испортят?

Контролеры появились почти сразу, за дальнейший путь можно было не переживать. Они проходили еще много раз, после каждой более-менее крупной станции, и тогда едва не полвагона поднималось со своих мест, торопливо передвигаясь через тамбуры назад. Оттуда, дождавшись остановки, население бежало в первый вагон. *Аки птичьи стада*, точно. Давно такого не видел. Сам же я принял вид чрезвычайно важный и на спрос билета отвечал: дескать, уже показывал. Правду говорил.

Гороховец встретил тишиной и граффити на остановке: «Фанаты Амкара были здесь. ЦСКА, 2005 г». Какой-никакой, а привет с малой родины. Станция Гороховец от одноименного города расположена непристойно далеко, в деревушке Великово. Вопреки названию, велосипедов напрокат там не дают. Пешком придется пройти не менее пяти перетекающих одно в другое селений с резными наличниками и буйными псами. Общего расстояния не мерил, но на ощупь километров десять будет. Лучше часть дороги преодолеть на автобусе – там все хорошо, по расписанию. Впрочем, Красная Горка уже район собственно Гороховца, там проходит трасса М-7 на Владимир и Москву.

В путеводителях содержатся взаимоисключающие параграфы: город основан в 1239 году, а первое упоминание о нем относится к году 1158. Так бывает, точнее случается: монголы город нарушили сильно, поэтому отсчет годов был начат заново. В последний раз волостному городу случилось повоевать уже в шестнадцатом веке. Казанские татары, сильно пожегши посад, были напуганы гигантской фигурою небесного воина, возникшего над высокой горой. Враги разбежались, а гору назвали Пужаловой. Теперь на ней расположена отменная горнолыжная трасса, вопреки здравому смыслу работающая даже летом. Следов же царя Гороха в Гороховце найти не удалось.

Когда-то поселение было большим: в войну 17 тысяч горожан ушли на фронт. При нынешнем населении в 14 тысяч всего, обстоятельство это как бы намекает. Город потрясающе цельный: от расцвета, пережитого им в XVII-XVIII веках строений осталось едва ли не больше, нежели от советских лет, такого больше нигде не встретил, может быть только в Кунгуре пара улиц в центре похожа. В Гороховец, вопреки его малым размерам, надо ехать на целый день, да и того, пожалуй, не хватит, ну, может, только в середине июня.

Уехать случилось мгновенно: десятка с московскими номерами и грузинским мальчиком Мишей внутри. Миша очень удивлялся возможности бесплатного передвижения по нынешним временам. Пытался развести меня на заправку, но я к тому времени вправду остался почти без денег.

Подкинул меня Михаил километров сорок, высадив у Вязников. Дальше удалось комфортнейшее место рядом с водителем автобуса Нижний – Москва до ближайшей остановки, МАН до Владимирской объездной и ударная кода: таксист, возвращавшийся с особенно дивного заказа. С ним ехал километров тридцать. Денег последние три шофера не желали. Коротенький финишный участок автостопа вместил в себя легковушку, автобус, дальнобоя и такси. Правда, здорово?

Владимир

От Владимира до Казанского вокзала предстояла поездка плацкартом. У меня ж московской регистрации нет. У таджиков в нашем цехе есть, а у меня нет. На работу без регистрации по нашим законам россиянину устроиться можно, но любой неверный мент вправе несчастного сильно оштрафовать. А вот с железнодорожным билетом в кармане целых девяносто дней можно никого не бояться. Сидячий вагон, конечно, дешевле, лучше, и чувствуешь себя в нем автономнее, потому как не жмешься ни на чьей полке, но поездов с таковыми на ближайшие сутки не предвиделось.

Немного погулял по городу. Самым-самым среднетуристическим маршрутом: Венички Ерофеевский спуск, Рождественский монастырь, Дмитриевский собор – в сумерках завораживающая

лепнина на его стенах была не видна, а кто разгадает ее смысл, получит власть над Россией и миром, я это точно знаю, улица Гагарина, Княгининский монастырь, Никитская церковь, Золотые ворота. Все-таки в конце долгого пути хотелось чего-то уютного и знакомого: никогда ж не знаешь, чем встретит дом. Выпивал, конечно, но умеренно: без димедрола и фанатизму.

Ужинал в корчме. Увы, тихое место с добрыми варениками захватили караоки. Так было написано при входе: Здесь караоки. Сами оккупанты сидели на втором этаже и, судя по звукам, мучали посетителей под музыку. Пытаемые подвывали и взвизгивали. Начинался дождик. Первый за всю поездку. Мне везет на дожди во Владимире.

Сидел в зале ожидания и, глядя на Сигурни Уивер, убивающую двуротых, печатал историю поездки. Потом начал смотреть драку между двумя прайдами бичей, незаконно проникших в зал для благородной публики. На мордобойные зрелища во Владимире мне тоже везет: прошлым летом возле самых Золотых ворот мужик, съездив жене или подруге по подбородку, пытался таскать ее за волосы. Довольно быстро приехали мальчики из ППС и всех победили. Помню, липы тогда пахли яблоками. Так бывает перед самым их цветением.

Ехал в одном загончике (некоторые их ошибочно называют «купе») с офицером и везомым им из дисциплинарного батальона солдатиком. За штрафной год парень совершенно разучился модулировать голос, лязгая на весь вагон и тревожа сон младенцев.

Лирика. Немного фактов

На вокзале города Киров за оплату мобильной связи автоматы берут 0%. Хуже всего в этом отношении Пермь и Саранск – 8 и 8,5%, соответственно.

В Вологде грибы делят на солянину и жарянину, а татары юга Пермского Края почти не собирают груздей и волнушек.

Названия улиц Саранска написаны на трех языках: русском, мокшанском и эрзянском. А единого мордовского нет и не было никогда.

Завершенность суицида у мужчин при использовании огнестрельного оружия составляет 92%.

Клюква и морошка растут к северу от Лузы и Соликамска, но в пятистах километрах южнее, в районе города Оса, есть небольшой, примерно 20 на 20 километров участок, где эти ягоды произрастают даже в некотором избытке.

Название города Арзамас происходит от Эрзя Мас – родина Эрзя.

<Фрагмент об особенностях употребления в различных регионах России матерных слов, означающих движение, цензурирован автором. Могу дать личные консультации>.

Памятник основателям города Екатеринбурга в народе именуют «Бивис и Батхед». Ибо воистину.

Стоимость проезда в городском транспорте: Саратов – 7 рублей, Кострома – 8, Лукоянов – 10, Пермь – 12. Корреляции между ценой, дальностью расстояний и доходами населения не просматривается.

В Свердловской области и в Башкирии протекает река Арийка. Там продают «Арийский мед». Зарегистрированная торговая марка.

Перевозку пассажиров между городами Екатеринбург и Дегтярск осуществляет ООО «Немезида».

Кострома совсем не похожа на родину Снегурочки, но город очень старается.

В Ижевске трамваи ходят круглосуточно. Рады все, особенно жители прилежащих пятиэтажек.

Торговля домашними соленьями и котлетками на станциях Данилов и Балезино почти прервалась, но на Сенной Саратовской области еще теплится.

Город Энгельс раньше назывался Покровском.

В поселках Ува и Ильинский долго процветали народные театры.

Лучше всего машины останавливаются, когда в плейере играет «Алиса». Особенно два последних альбома.

Пермь – не Урал! Урал – не Сибирь!

Объездная дорога вокруг Владимира при движении из Нижнего Новгорода проходит в 30 км от города.

Улица Свободы в городе Кунгуре начинается в колонии усиленного режима, а заканчивается в Ледяной пещере.

Первым из города Перми в поселок Ильинский на велосипеде приехал граф Строганов. Заметим: асфальтированная дорога там появилась в 50-х годах XX века. Маунтинбайки еще позже.

Кафе Каспий в городе Кунгуре одной своей стеной примыкает к тюрьме.

В Ульяновской области есть села Верхние Бесовки и Нижние Бесовки, а в Самарской – поселок Жареный Бугор.

Москва

Казанский вокзал встретил меня лужей. Вот так проехал большой кусок России с деревнями и ног не промочил, а в столице сразу. Бывает.

Год назад, переехав из Перми, культурного шока не испытал: там шумный город и тут шумный город. Даже очень быстро влюбился в столицу, дойдя до большого каменного моста с табличкой «Большой Каменный Мост». Я люблю порядок во всем. А вот после страны Москва в свои пять утра напугала. Всех много, подозрительные какие-то, друг на друга неправильно глядят. Дойдя до платформы Каланчевская, забыл, куда ехать дальше. Я, честно говоря, редко ездил домой на электричках, но вообще случалось. А тут забыл. Ну и не поехал, решил сначала город вспомнить. Полсуток вспоминал. Даже сделал пару небольших открытий.

Вот, к примеру, все квазиэстеты и некоторые правильные ребята любят армянский коньяк. Ну, мне что водка, что пулемет – лишь бы с ног валило. Однако нашел правильное армянское пиво «Киликия». Решительно рекомендую. Другое расовое армянское пиво, «Котайк» также рекомендую, но не столь решительно. Пил, по Ирине скучал. И по остальным друзьям тоже. Плохо, когда дорога заканчивается. Зато она цельная получилась, дорога эта: небольшой самостоятельный кусок жизни, без продолжений в сериалы.

А возле церкви Косьмы и Дамиана на Маросейке нищий человек в коричневом пальто убеждал напарника:

– Дурак ты, что вчера помылся. Кто ж тебе чистому подавать будет?

Вот эта уверенность в своей правоте – она прекрасна. Сколько дальнобоев в дороге хвасталось:

– Нахрен мне на дядю работать? Своя машина есть своя. Кредит выплачу и подымусь.

Соответственно, обратная лемма:

– Своя машина не нужна. Это геморрой. Еду, не спешу. Соляру могу сдать. Опять же, чо сломалось – не моя забота. Ни кредита, нифига. Щас вот из рейса приду, киоску открою.

Ну, или ближе к офисным реалиям, из жизни сисадминов:

– Ты чо, совсем ламер? У тебя почему раскладка на клавиатуре переключается через Ctrl-Shift? Только Alt-Shift!

Или:

– Какой баклан тебе комп настраивал? Это в девятьсот лохматом на деревне делали Alt-Shiftом. Ты ващще чо-то в эргономике понимаешь?

Ага, ламер. И не понимаю.

И еще:

– Силлаботоникой можно писать, если ты Гандлевский. Ты ж не Гандлевский? Вот и все. Когда используешь дежурные размеры, теряется индивидуальность.

Versus:

– Верлибр херня. Им девочек усыплять хорошо и славистам нравиться. Кроме того, так пишут пидарасы.

Примерно об этом есть рассказ у Леонида Костюкова «Васнецов и настоящие мужчины», только там проблема самоуверенности слишком тесно увязана с гендером и финал сильно оптимистичный – главный мачо делается транссаксаулом.

В сущности, мы, в себя не верующие, ничем не лучше и не хуже. Среди нас столько же бездарей, гениев и журналистов, сколько и среди рыцарей воли. Да и живется нам не так уж плохо. Иногда, по крайней мере, утешают.

Зря я, наверное, съездил?

22 августа – 20 октября 2009 г.

Юлия ЩЕРБИНИНА

Море волнуется – раз, море волнуется – два

Алексей Слаповский. Победительница. – М.: АСТ; Астрель, 2009. – 320 с.
Журнальный вариант: 100 лет спустя. Письма нерожденному сыну. // «Волга». 2009. №1-2

Русский называет: трамвай – стриткарой, угол – корнером,
квартал – блоком, квартиранта – бордером, билет – тикетом,
а выражается так: «Вы поедете без меняния пересядок».
Это значит, что у вас беспересадочный билет.
(Вл. Маяковский «Мое открытие Америки», 1926)

В синем море волны хлещут... Бочка по морю плывет... Это не пушкинская «Сказка о царе Салтане» – это ассоциация с романом Алексея Слаповского «Победительница». Море – бескрайнее речевое пространство, бочка (варианты – ячейка, отсек) – место индивидуального обитания людей в недалеком будущем. Когда общество потребления потребит все, что возможно. Когда снаружи – все прожито, внутри – все выжжено, и не хватает бумаги, не хватает слов, не хватает возможностей коммуникации...

Новый роман Слаповского написан в излюбленном писателем синтетическом жанре. Три плана повествования: бытовая драма (автобиографический рассказ обманутой жизнью провинциальной красавицы); социальная философия (теория «гибели мира из-за красоты» в постиндустриальную эпоху); лексико-стилистический эксперимент (моделирование грядущей речевой реальности).

Как справедливо отметили первые рецензенты этого романа, «Слаповский работает на политических клише, языковых штампах, типовых жизненных ситуациях»[1], поэтому «“Победительница” – это и фантастика, и социальный гротеск, это и притча, и мемуары»[2]. Между тем, произведение не выглядит холодной интеллектуальной конструкцией, но предстает как живая, жизненная и житейская история.

Однако фантастика, на наш взгляд, здесь все же не вполне точное определение: «Победительница» скорее футурологический роман, а еще точнее – лингвофутурологический. Препарируя формы и значения, жонглируя словами разных языков, экстраполируя наличную речевую действительность в обозримое будущее, автор прогнозирует пути развития языка и выдвигает гипотезы его возможных трансформаций. Лингвопрогностика[3] в литературном творчестве.

Каковы же, согласно писательским прогнозам, судьбы великого и могучего в XXII столетии?

Что день грядущий нам готовит

«Победительница» – как емкая художественная конструкция языковой системы и языковой реальности обозримого будущего – настоящий лакомый кусок для читателей-гурманов и непаханое поле для ученых-лингвистов.

---

[1] Игрунова Н. Историческое сегодня // «Известия», Москва, 15 октября 2009.
[2] Данилов Ю. Роман Алексея Слаповского «Победительница» – одно из лучших произведений писателя // «Страницы Воронежской культуры», 25 сентября 2009.
[3] Лингвопрогностика – относительно молодая отрасль прикладных исследований, занимающаяся научными предсказаниями о будущем языка, его потенциях и путях исторического развития. Основателем лексико-семантического направления российской лингвистической прогностики (кон. 1990 – нач. 2000-х гг.) считается проф. А.А. Кретов.

Повествование в романе ведется из 2218 года, когда в Отделе исторической реставрации (ОИР) Института хронологических исследований (ИХИ) обнаруживаются записи-воспоминания некой Дины Лавровой. В форме посланий своему нерожденному сыну одна из красивейших женщин XXI века, обладательница титула «Мисс мира», повествует о своей сложной и в общем-то несчастной жизни, вспоминая и забывая слова, теряя смыслы и создавая новые значения, смешивая лексику разных языков и разных стилей.

Из писем Дины реконструируется речевая действительность ближайших двухсот лет, за которые человечество проходит путь от вживления внутричерепных компьютеров до жизни в ржавых бочках. Письменность почти атрофируется: люди отвыкают «буквить по бумаге рукой», поэтому «составлять письменные слова» становится «так же тяжело, как долго лежавшему учиться ходить».

Литература превращается в «чисто декоративное искусство сладкословия, ловкословия, новословия, гладкословия, спорословия». Если верить старушке Дине, появляются даже соревнования по «лингвистической атлетике», а в школах вводятся уроки «оптимального общения», на которых обучают «выражению максимального смысла в минимальном формате». Затем представление о книгах и вовсе утрачивается – потомкам требуется объяснение, что «это такие листы бумаги одинакового формата с напечатанным текстом, собранные под одну обложку».

Мы писали, мы писали – наши пальчики устали... И мы вошли в эпоху предельного уровня коммуникационных технологий. Компьютерная клавиатура и голосовые команды уступили место мысленным импульсам. Затем, согласно «слаповским» прогнозам, был период безъязыкости, когда «исчезла необходимость» говорить, книги сделались недоступны, а системы поиска информации были временно утрачены. Судя по этим обрывочным упоминаниям в начале романа, письма Дины Лавровой создаются именно в этот период речевого безвременья.

«У меня некоторые слова идут самовыговором, я их не понимаю, но оставляю: может, они что-то значат?» – сообщает героиня воображаемому адресату. Подобная имитация автоматического письма создает впечатление абсолютной естественности слововыражения.

«Эффект запинчивости»

Примерим на себя образ сотрудника Лингвистического отдела ИХИ и по материалам переданных нам Отделом исторической реставрации рукописей Лавровой Дины Васильевны попытаемся смоделировать лексическую систему русского языка конца XXI – начала XXII века. Документ, конечно, не особо достоверный: велик ли спрос со 124-летней женщины? Да и подлинность весьма сомнительна. Но все же попробуем...

Предварительная лингвистическая экспертиза показала: русская лексика следующего столетия испытает на себе влияние трех основных тенденций.

Первая и главная – взаимопроникновение с лексическими системами других языков, что приведет к внутритекстовым смешениям разноязычных слов и выражений. «Я все-таки обожаю наш словообразовательно богатый язык, который способен присвоить любое чужое слово», – признается Дина Лаврова.

В произведении Слаповского показаны два основных варианта подобной контаминации: либо полная замена лексемы иноязычным эквивалентом, преимущественно английским и китайским (автомобиль – «кар»; водитель – «драйвер»; оскорбление – «insult»; изнасиловал – «произвел гаре»); либо – более распространенный случай – сохранение значения при замене иноязычной формой («перфектно», «не императивно»; «инджойствовать» «мэйджор милиции», «советские военные рейнджеры»). Как верно заметил Айвар Валеев, «в романе Слаповского в русском языке не просто появляются английские, китайские или арабские слова. Он как бы получает чужую матрицу»[4]. Учи-

[4] *Валеев А. «Мисс Вселенная» вспоминает... // «Mediaзавод», Челябинск, 2 октября 2009.*

тывая, что уже сейчас на китайском говорят свыше 1,2 млрд., а на английском – более 1 млрд. человек, данный прогноз весьма близок к истине[5].

Деформации затронут и грамматику («Девушку подло исчезли из конкурса...»; «Через несколько времен машина остановилась» и т.п.), но, как можно заметить, в романе Слаповского такие примеры немногочисленны – и это тоже в целом подтверждает научные прогнозы специалистов. Например, Максим Кронгауз, директор института лингвистики РГГУ, говорит о том, что языковые преобразования в наименьшей степени затронут грамматическую сторону, поскольку иноязычные заимствования, несмотря на многочисленность, «все-таки обрабатываются языком, вставляются в некоторую грамматическую сетку»[6].

Однако автор «Победительницы» идет значительно дальше, предрекая апофеоз лексической эклектики – появление в 2070-е гг. «творческого» языка «интер-суржик» как смешанного образования из разных языковых систем. В качестве примера приводится возможный вариант перевода стихотворения Лермонтова «Одиночество»:

Как страшно жизни сей оковы	Якой хорро́р витальни цепни
Нам в одиночестве влачить.	Нам соло-соло волокить.
Делить веселье – все готовы,	Шарапить хахи – алле лепни,
Никто не хочет грусть делить.	Никс депресняки ломтевить.

Звучит, конечно, забавно, но и довольно угрожающе...

Другая прогнозируемая автором романа языковая тенденция – изменения или переносы лексического значения. Так, Динина мама «конфликтно отреагировала» на стремление дочери участвовать в конкурсах красоты и, наверное, была права, учитывая постоянные поползновения невоспитанных мужчин «улучить в углу» понравившуюся конкурсантку, а в случае отказа – «нецензурно обижаться».

Судя по письмам героини Слаповского, еще одна тенденция развития русской лексики – появление многочисленных словарных лакун в результате забывания значений. В таких случаях Дина пытается использовать описательные обороты, из которых по результатам прочтения романа можно составить целый кроссворд: «едальня с высокими ценами» (ресторан); «замечательные шарики, красные или черные, зародыши рыб» (икра); «кусок известняка для писания» (мел); «столовый прибор с зубчиками, которым подцепляют куски еды» (вилка); «стул с подручниками, более низкий и удобный» (кресло); «яма для купания и плавания, чем-нибудь облицованная и наполненная водой» (бассейн) и мн. др.

Помимо этого, вполне реалистической видится авторская гипотеза о том, что трансформации лексической системы неизбежно приведут к многочисленным заменам слов содержательно близкими, но формально искаженными эквивалентами. Примеры именно таких искажений в романе, пожалуй, наиболее частотны. Уже «одношкольники» обращали внимание на незаурядную внешность героини, которая в то время жила в «многожилищном доме», испытывала «материальный недохват», «овниманивалась учебой» и никак не предполагала, что очень скоро будет «королевствовать», а «глазействующие люди» станут делать на ее счет «негодяйские предположения» и бросать «мерзавские усмешки».

Порой от слов, словно от гипсовых статуй, попросту отваливаются куски, являя обессмысленных лексических уродов, типа «коммунистический сомол» или «роликовый бус». Но иногда в возникающих искажениях нет-нет да вспыхивают подлинные значения, ранее прикрытые приличием формы («покрыватели» < покровители; «пригорать» < загорать и т.п.).

---

[5] Приблизительно с нач. 2000-х гг. исследуется феномен Runglish (Ruglish, Russlish) – т.н. «рунглийский язык», английский язык на русский манер, на которым русскоязычные люди разговаривают с англоязычными. С лингвистической точки зрения, это смешанный язык, а точнее – псевдодиалект английского языка.

[6] Пальвелева Л. Лингвистическая прогностика. Время перемен: Интервью с М. Кронгаузом // Радио «Свобода», 19 декабря 2006 // http://www.svobodanews.ru/content/article/367969.html.

Самые забавные (или печальные?) метаморфозы закономерно претерпевают фразеологизмы, в этом отношении «Победительница» – просто кладезь практического материала для лексикографов. Наиболее щадящий вариант – замена образного выражения близким по смыслу иностранным, остальные, как можно догадаться, куда как хуже. По Слаповскому, несчастные русские идиомы, похоже, ожидает участь шатающихся кариозных зубов: нарушение целостности («изпод тайного тишка»), изменение состава («ходить на своем», «отдавать себе доклад»), а то и полная деформация («пошел на пяточное направление»).

Следствие описанных трансформаций и деформаций – «эффект запинчивости» при чтении Дининых писем: взгляд то и дело спотыкается о подобные слова и выражения, привлекая дополнительное внимание к тексту, лишая возможности поверхностного восприятия.

Все эти преобразования форм и значений в системном восприятии напоминают описываемый Диною же процесс аппетитного поедания глазированного сырка. «Ты опять откусывал, понемногу выдавливая творожок из обертки, и вот не оставалось ничего», – элегически вспоминает героиня, воображая себя заботливой мамой так и не родившегося у нее сына.

То же самое – в языке. В ходе исторического развития его лексический состав покрывается все более толстым слоем «глазури» из многочисленных заимствований, калек. Процесс непосредственного употребления неизбежно «выдавливает» язык из «обертки» (матрицы, конструкта) в пространство живой речи. Не охраняемое нормой и традицией, повседневное употребление незаметно расшатывает лексическую систему. Наихудший исход этого процесса мы и наблюдаем в финале романа Слаповского: «Смысла больше не осталось ни в чем».

Вспомнить все

Чтобы хоть как-то уберечь язык от полного «выдавливания из обертки», должны существовать какие-то механизмы, способы и приемы восстановления утраченных смыслов, исчезающих значений и забываемых словоформ. В «Победительнице» описаны и проиллюстрированы некоторые из них.

Прежде всего, это создание синонимического ряда, позволяющего обнаружить забытое слово в ряду содержательно близких. Так, затерянную в памяти автомобильную *пробку* Дина Лаврова пытается нашарить рядом с «затыкой» и «затычкой», а поиск автомобильного *бардачка* уводит героиню в «бордельчик» и «шалманчик». Но, как выясняется, это довольно беспомощные и малоэффективные меры: «пробка» оказывается безвозвратно утраченной ячейкой памяти, а «бардачок» приходится заменить очередным описательным оборотом.

Одно из косвенных объяснений таких зияний и провалов – избалованность человека будущего разнообразными поисковыми системами: «Некоторые без помощи поиска не могут не только ничего сказать, но даже нормально подумать». Дина подробно объясняет своему не родившемуся сыну, что, например, для установления значения слова «молоток» необходимо ввести поисковую фразу: «То, чем забивают гвозди». Но, как резонно и иронично замечает автор, для того чтобы вообще сформулировать такую фразу, нужно знать само слово «гвозди»...

В борьбе с забывчивостью изобретается и более технологичный способ, который можно определить как визуальная идентификация. В одном из посланий Дина упоминает, что для восстановления утраченного названия того или иного предмета одно время была возможна его фотографическая или жестовая демонстрация перед монитором.

В период написания Диною посланий сыну подобные технологии, по ее свидетельству, были уже полностью исчерпаны или утрачены – и в распоряжении героини оставалась лишь мнемоническая реконструктивная методика «курицы и яйца», следуя которой «не надо было запоминать всего, но помнить только базовые вещи, а остальные – восстанавливать ассоциативно». Однако и этот метод оказывается не универсальным и малоэффективным. Так, в 9-м письме Дина успешно воссоздает в памяти слово «стихотворение» и утверждает, что из понятий курицы и яйца «можно восстановить вообще весь мир, ибо все ко всему имеет отношение». Однако уже в 22-й записи, после многократных неудач с забытым «креслом», героиня отказывается от этого приема.

«...И у меня начнется совсем другая душа»

В описанной Алексеем Слаповским культурно-речевой ситуации будущего самым сложным становится словесное выражение чувств. Если повествовательный план рассказа о своей судьбе Дине Лавровой еще как-то удается, то с описанием эмоций и переживаний – просто беда.

Героиня «долго негативилась» из-за того, что сын у нее так и не родился. Перед конкурсами красоты ее «овихревали страхи», а после них – «овихревало предчувствие беды». Рассуждая о первом сексе, Дина мучительно припоминает элементарное слово «стыд», в итоге заменяя его описательным «дискомфорт, ощущение неправильности сделанного поступка или того, что собираешься сделать». Из-за аллергии на людей, создававшей серьезные проблемы в личной жизни, красавица «несчастнела с каждым днем», но после одного признания в любви в ее душе «что-то трепетнуло». Узнав, что у любимого есть другая, Дина «была депрессирована случившейся неприятностью», но твердо верила, что в будущем у нее «начнется совсем другая душа».

В чем причина подобного косноязычия? Возможно, в усреднении и расточении самих человеческих переживаний, в ослаблении аффективной стороны мировосприятия? Подобное объяснение вполне резонно в условиях постиндустриального общества. И вот в повествование врывается Шуша – брутальный персонаж, вооруженный теорией «средних чувств», согласно которой человеческие чувства подразделяются на три вида: высокие (любовь, вдохновение, творчество), низменные (мстительность, жадность, властолюбие) и средние (удовольствие от еды, зрелищ, скорости, комфорта). Шуша утверждает: «прогресс, развитие цивилизации, все то, что человечество придумывает и устраивает для себя на протяжении тысяч лет, – это для ублажения средних чувств». И выходит, что напряжение ума, трата денег, полет фантазии – все, исключительно все направлено на «ублажение средних чувств среднего человека».

В мире тотального усреднения чувств аллергия на людей, от которой страдает Дина, приобретает символический смысл. Мир представляется глобальным аллергеном, а антигистаминами выступают цинизм, равнодушие, недоверие, ирония, жестокость – все то, что убивает подлинные человеческие переживания и способные адекватно выразить их слова.

Отсюда и косноязычие. «Сожалелость», «прикоробит», «нервясь», «уклонисто», «подвергнуться любви», «взаимствовать на любовь», «поддержливо улыбаться», «сделать вопросительный взгляд», «предчувственные мысли» и пр., и пр. – роман Слаповского вполне заслуживает статуса блестящей иллюстрации словесного обнищания чувств. Если мир когда-нибудь и погубит красота, то уж точно не красота речи!..

«Смыслы никого не интересуют, только созвучия»

Какая профессия завоевывает главенствующие позиции в XXI веке? Угадываем с трех раз. Политик? Ученый? Социолог? Дизайнер! «Мир давно уже создан, его надо только оформить» – этот девиз новейшего времени не только определяет визуальное пространство, но и активно формирует речевую среду.

В «Победительнице» об этом философствует Павлик Морзе – «человек с неопределенными функциями» (менеджер? продюсер? промоутер?), но с вполне последовательными убеждениями. «Смыслы никого не интересуют, только созвучия. Они должны запоминаться – больше ничего не требуется. Все должно запоминаться», – авторитетно разъясняет Павлик Дине, тогда еще юной соискательнице звания королевы красоты. Сама же Дина подробно рассказывает о высоких достижениях эстетической индустрии (вершина – возможность сделать себе любую внешность) и неоднократно упоминает о «гладких журналах для гладкой публики» (другое их название – «полированные»).

Между тем, налицо очевидный парадокс: «оформление» не приводит к упорядочению, напротив: в «отполированных» словах выхолащиваются значения, в отношениях идеально красивых людей царят отчуждение и непонимание (компания Шуши), а в частных суждениях правят бал

эклектика и хаос (ярчайший пример – Тощинский, выступавший каждый раз с противоположными мнениями).

Следствием всего этого является не запоминание, а забвение. Утрата истинных смыслов и тотальное смешение стилей. Торжество языкового штампа, шаблона, клише. Дина Лаврова подробно повествует о том, как комары «жалили в открытые участки кожи и портили гладкость эпителия», отец каждый вечер «нейтрализовал ситуацию алкоголем», пребывающий в лирическом настроении друг «глядел на то, как Солнце исчезает из поля и атмосфера становится багровой», а мама подруги «подвергала температурной обработке картошку на чугунной плоской поверхности с невысокими бортами».

Спустя долгие годы молчания и безъязыкости лишь некоторые вещи сохраняют первозданную яркость восприятия. Для Дины это, например, помидоры «с ароматом здоровья и неубитой крови» или сгущенка, в самом названии которой – «целая музыка воспоминаний». Описывая свое кратковременное «тактильное гурманство» на Карибских островах, когда каждый предмет казался на ощупь «отдельно по-своему приятен», героиня неожиданно приходит к пониманию человека как «органа чувствования мира». В таком контексте ее аллергия на людей перестает казаться невозможной или странной – она становится своеобразным тестом, выявляющим все несовершенства этого мира.

В романе наглядно показано, как стремящееся к прояснению, упорядочению, совершенству человечество парадоксальным образом еще более отдаляется от ясности, порядка и совершенства. Бессмысленность лжи в результате появления сканирующих сознание систем приводит не к торжеству правды и подлинности, но к еще большему затуманиванию содержания и усилению иносказательности речи. Выражаясь наукообразно, вполне возможно, что в речевой культуре будущего существенно затруднится клиринг[7].

Подобный прогноз представляется вполне логичным и весьма убедительным, ибо, как известно, гипертрофированное стремление к прямоте слововыражения на поверку нередко вызывает обратный результат – забывание настоящих имен и названий. Так, Дина вспоминает «блаженные пятидесятые», когда, с одной стороны, «все научились говорить прямо», но, с другой стороны, неприлично было сказать, например: «Она его бросила». Следовало говорить: «Воспользовалась своим правом свободы», или «Освободила его». В связи с этим, годы юности и молодости вызывают у героини чувство сладкой ностальгии, поскольку тогда «был контекст общения, был текст, гипертекст, подтекст, в это интересно было играть».

Наконец, следствием описанных тенденций неизбежно станет утрата интимности и индивидуальности слововыражения. Данная мысль возникает в романе уже за пределами основного повествования – косвенный намек на нее содержится в сноске к наброскам словаря Дины Лавровой, где она пытается дать определения некоторых реалий начала XXI века. Автор ссылается на свидетельство администратора, г-на И. Варенникова-Сяо, обнаружившего в этих набросках «следы нескольких чужих скриптов». Очередная художественная иллюстрация бартовских идей «языка как палимпсеста» и «смерти автора». Что бы ни было сказано, написано, зафиксировано в слове – непременно найдется и явится другой и перепишет, переиначит, откорректирует...

Куда ж нам плыть?..

Н-да... Незавидное будущее ожидает наш язык в ближайшие лет двести. Обмелело-опреснело словесное море, «не шумит оно, не хлещет, лишь едва-едва трепещет». Остатки некогда могучего и почти всесильного человечества обитают в тесных ячейках и ржавых бочках. Несчастные, безъязыкие, разобщенные. «Я и сама задней памятью потрясаюсь богатству русского языка, который

[7] *Клиринг (англ. clearing – «чистота», «очищение») – внутрикоммуникативный процесс, суть которого «состоит именно в том, что в итоге общения проясняются вопросы, ранее казавшиеся запутанными». (Брудный А.А. Психологическая герменевтика. – М.: Лабиринт, 2005. – С. 94.)*

мы так бездарно утратили. Впрочем, утраченными в значительной мере можно считать все языки», – с горечью констатирует Дина Лаврова.

В финале романа рисуется страшная и грустная картина: записи героини обрываются из-за того, что у нее отнимают последний клочок бумаги. Самый последний текст нумерован как первый и представляет собой обрывки незавершенных фраз, в которых просматриваются отчаянные попытки ухватить и склеить кусочки рассыпающихся смыслов...

Но рукописи, как известно, не горят. Письма Дины не исчезли, сохранились. Доплыли и выплыли. Преодоление трагедии индивидуального языкового существования возможно. «Мать с младенцем спасена: землю чувствует она». Дина Лаврова – победительница.

Да и судя по тому, что, согласно авторским прогнозам, в году 2218-м будет существовать такая организация, как Институт хронологических исследований и даже выживут «толстые» литературные журналы – все обстоит не так уж и плохо, господа!..

Алексей КОЛОБРОДОВ

«Околоноля»: книга нулевых, или Правительство как первый писатель

Натан Дубовицкий. Околоноля [gangsta fiction] / «Библиотека Русского Пионера». Т.1. 2009.

«Библиотека Русского Пионера» (том 1) – на самом деле, спецвыпуск журнала «Русский Пионер» с разрезаемым кухонным ножом яблоком (неправдоподобный размер и апоплексический румянец) на обложке. Роман «Околоноля» имеет подзаголовок gangsta fiction, а таких, как я, немногих россиян, прочитавших его в оригинальной полиграфической версии, должно быть десять тысяч. Таков тираж.

На самом деле, их, конечно, больше. Проект осуществлен по принципу «прочти и передай товарищу». Ни о допечатках тиража, ни о новых изданиях ничего не слышно. Видимо, так было задумано. Читают и передают.

Мне, например, «отложил» нумер московский продвинутый друг, заявлявший, будто сам читать не будет, но, вручая раритет, признал, что не удержался. Ныне за этим моим экземпляром в Саратове – очередь. Небольшая, человека четыре.

Но прочитавших все равно немного. Живьем я видел двоих и с ними поговорил о романе. Один – авангардный композитор из столицы, второй – высокопоставленный региональный чиновник.

На этом фоне температура общественного (точней, тусовочного) интереса к «Околоноля» спала поразительно быстро. Помню, литературный проект «Малая земля – Возрождение – Целина» обсуждали дольше, а пиарили гуще, даже в школьных сочинениях. Вот вам иллюстрация не столько смены строя и песен, сколько триумфа информационной диктатуры. Сегодня тема в топе, а завтра в жопе, и это объективно.

Шуму было, конечно, сначала много. Вплоть до обещания Олега Табакова скорой постановки «Околоноля» на сцене МХАТа.

Тема была, конечно, не во внезапном всплеске интереса к отечественной литературе вообще или к gangsta fiction с языковыми и стилистическими прибамбасами в частности. Как все уже знают, фишка заключалась в авторстве.

Роман сразу приписали перу первого замглавы Администрации Президента, всемогущего Владислава Ю. Суркова, творца суверенной демократии, поэта-песенника («Агата Кристи») и пр., и пр. Дедукция незатейлива: Дубовицкая – фамилия супруги Владислава Юрьевича, а главред РП Андрей Колесников сказал, что роман написан одним из колумнистов журнала.

Сам Сурков не отказал себе в удовольствии поиграть в «да и нет не говорите», но затем почти сознался в авторстве. Нечистосердечно, с двусмысленностями, поэтому осталось немало оппонентов сурковской версии написания.

И состоялось пополнение отряда литературных ревизионистов. Раньше было две магистральных дороги по царству ВСЁНЕТАК:

а) Есенин не повесился, это его повесили;

б) Шолохов не написал, а украл «Тихий Дон».

Теперь есть третья, родственная:

в) «Околоноля» написал не Сурков. И пусть «Тихий Дон» хороший, а Шолохов плохой, а «Околоноля» плохой, да и Сурков, знаете... Тем не менее.

Никто впрочем, не рискует настаивать на анализе литературного ДНК. И вообще, как-то стихло, и Табаков вроде бы даже перестал мутить постановку на сцене МХАТа.

Богатейший бэкграунд появления сочинения, однако, сохранился. Солженицын говорил, что писатели всегда были в России вторым правительством, и ежели не спорить, а чуть развернуть эту богатую идею, можно констатировать, что правительство (в широком смысле) всегда было в России первым писателем.

И уже исходя из этого, продвинутую публику в «Околоноля» жгуче занимало: ага, так что ОНИ там думают об ЭТОЙ жизни? Да и о жизни вообще...

Поразительно, насколько тупыми (не подберу другого слова) были первые отзывы-анонсы: роман, дескать, посвящен теме коррупции – тотальной, всеобъемлющей и российской. Более тонкие рецензенты, вроде крепко ценимого мной Дмитрия Быкова: «роман о том, до чего все прогнило».

В «Околоноля» пресловутые коррупция и гниль – не слишком заметный, поскольку привычный фон, вроде погоды за окном, но о ней романов не пишут, а пишут стихи. И то, если не боятся соперничать с Пушкиным, с его «календарной», по Лимонову, поэзией. Или Маршаком («открываем календарь – начинается январь»).

Кстати, о воровстве. Тот же Быков остроумно рассуждает о «сырьевой природе» романа – а какая еще, дескать, возможна литература от главного идеолога великой энергетической державы? Перечисляет источники вдохновения, как мы певали в детсаду «нам не страшен серый волк,/ под кроватью целый полк».

Естественно, Борхес и Набоков (в алфавитном порядке, ибо до конца не ясно, кто главнее). Саша Соколов. Большая тройка: Сорокин, Пелевин и Быков (собственные корешки в «Околоноля» Дмитрий Львович подробно аргументирует). Занятно, что подзабыл рецензент нашего Льва Гурского, у которого взята взаймы вся метафора отечественного издательского и книжного рынка как кроваво-криминального дела, со своими мафиями, боевиками и теневиками.

Почему Быков? Вообще-то рецензий было много, я и не стал кропать свою сразу после прочтения, пусть бы немного улеглось в голове. Еще больше было кудахтанья, местами восторженного, чаще – нет, но с неизменной опасливой оглядкой на кремлевские башни.

А Быков написал хорошо, резко, зло и, похоже, несправедливо. Зато есть от чего оттолкнуться.

Странно видеть эти громы и молнии («воруют!») среди давно ясного, точнее, пустого неба... Для чего тогда, собственно, вообще задуман был постмодернизм, интертекст, полисемантика и прочая смесь французского с единоросским? Автор «Околоноля» вовсе не прячет исходников, насмешливо демонстрируя и пародируя. Странно видеть пародию на пародию, но, видимо, в свете сегодняшних реалий – самое то. Из суммы постмодернизмов рождается реализм. И даже не мистический.

Другое дело, что роман получился очень старомодный, из тех самых постмодернистских 90-х, которые Кремль первым и предал анафеме, обозвав «лихими». Кстати, в полном согласии с традицией – преданных анафеме Стеньку Разина и Емельку Пугачева называли «лихими людишками». Так сегодня не пишут. В устойчивой литературной моде – улица, война, антибуржуазность, политизированность левого и ностальгического толка. А главное, стиль – скупой и мускулистый, запах мужского пота, а не Диора. Не Набоков-Борхес, а Лимонов с Буковским.

Захар Прилепин, Андрей Рубанов, Михаил Елизаров отчасти... Адольфыч Нестеренко,

пишущий как раз про 90-е, но тогдашний словарь братков стал сейчас языком и кабинетов, и спален. Да и монстры давно не те – Сорокин записывает легко исполняющиеся антиутопии, Пелевин всегда был сам себе постмодерн...

В том, что «Околоноля» драматически расходится с булькающим, как кастрюля на огне, литературным сегодня, тоже есть свой смысл. Возможно, и политический. Может, и консерватизм в качестве идеологии правящей партии в русле (пост?)модернизации всплыл не случайно?

А в том, что Натан Дубовицкий за модой не гонится, верен однажды выбранным сталкерам, есть своя логика. Социалка, равно как и мистика, требует сюжета, а в «Околоноля» сюжета мало. Он явно понадобился автору, чтобы было все, как у людей, чтобы был роман, чтобы было на что нанизать мастерски сделанные очерки нравов московской бизнес-тусовки, воспоминания детства, вставные новеллы, отвязанные, как похмельные, сны. Чтобы были координаты, в которых не пропасть герою. Он в романе есть, и он главный.

Точнее, главных героев в романе два. Первый, по аналогии с заявлением Гоголя о положительном герое в «Ревизоре» (это, дескать, смех) – сам язык романа. С этим круто, чего там... Все тургеневские эпитеты будут к месту, особенно «правдивый» и «свободный», опять же, в свете основной деятельности предполагаемого автора.

Брат, то есть герой два – издатель и книжный мафиозо Егор Самоходов, возможно, протагонист если не Дубовицкого, то самого предполагаемого автора. Во всяком случае, многие факты сурковской биографии на это указывают. Такой себе сложившийся сверхчеловек, жизнь удалась, ни мальчики, ни старички кровавые в глазах не беспокоят, хотя в прошлом всякое бывало, с достоинством удовлетворяет высокие запросы братьев по классу и по оружию, подкармливает литературных негритят... Но тут – непонятная любовь к нелегкой девушке легкого поведения Плаксе, в поисках ее Егор отправляется на Кавказ, который, как и в лев-гумилевские времена, контролирует вездесущее хазарское племя, внешнее садо и внутренне мазо с открытым финалом – именно «околоноля».

Как-то не замечено, что в «Околоноля» сама идея сверхчеловека основательно спародирована, а триумф воли, заявленный Егором вначале, со скрежетом ломается о внутреннюю цельность персонажа, столь пронзительно освистанную критиками.

По сути, история получается не пелевинская, а печоринская. Печаль не светла, а с горьким привкусом «Думы» того же Лермонтова. Автор «Околоноля» с другого конца подходит к магистральным темам сегодняшней русской литературной моды. К трагической неприкаянности человека поколения сорокалетних и его одиночества среди словесных прибамбасов и гламурных побрякушек. К обреченности интеллигента, уставшего менять себя и не знающего, с какого всеобщего конца приступить к изменению окружающего мира...

Если Натан Дубовицкий – действительно тот, о ком мы подумали, роман «Околоноля» многое объясняет. Не только в авторе.

Сергей ТРУНЕВ

Кошкам, собакам, траве посвящается

Дан Маркович. Кукисы. – М.: Э.РА, 2010. – 140 с.

Вот берешь в руки книгу, название которой состоит из одного непонятного слова «Кукисы», и не знаешь, что делать дальше. Пролистываешь, время от времени бегло останавливая взгляд на темных пятнах строгих графических иллюстраций с какими-то невнятными подписями под ними... И если не знаешь, кто такой сам Дан Маркович, диагноз возникает естественно, как бы сам собой: «исповедь графомана». Впрочем, в руки тех, *кто не знает*, подобного рода книги либо просто не попадают, либо не вызывают своей безыскусной изысканностью особых эмоций.

Впрочем, оговорюсь, книга Дана Марковича, безусловно, содержит момент исповедальности, однако как формально, так и содержательно она родственна тонким наблюдениям В. Розанова в «Опавших листьях», а не корявым потугам гипотетического графомана.

Собственно, непонятное слово в заглавии книги – это сленговое компьютерное словечко, означающее: «Технология, которую используют серверы для получения и хранения информации о клиенте. Эти записи сохраняются сервером на жестком диске компьютера пользователя». Переводя на русский язык – это фиксированные в языковой форме наблюдения автора над собой и изнутри собственной жизни (немного неуклюже, но верно), из самой глубины ее ничего, казалось бы, не значащей повседневности. Здесь люди практически не встречаются, а если встречаются вдруг, то в большинстве своем оказываются неинтересными, скучными. Люди подобны земляным червям и младенцам, почти непрерывно и практически молниеносно пропускающим сквозь себя все, что случайно или намеренно попадает в их раскрытые рты: «Постоянно жрущие чмокающие младенцы. Вспоминается длинный розовый червяк, движение земли в нем от начала до конца, так он питается, задерживая в себе съедобное» (16). Или вот о себе: «Дождевой червяк, вот самое точное сравнение! Роя свою нору, он пропускает через себя всю дрянь, которая ему попадается на пути» (132).

Гораздо больше в повседневности Дана Марковича кошек и собак, большей частью бездомных, слишком часто умирающих столь трагично, как люди уже разучились. Я словил себя на этом факте, заклеймив позором бесчувственность к судьбам себе подобных, но взамен снова открыв детскую способность сопереживать страданиям и радостям каких-то «Хрюш», «Зарастаев», «Зоек», «Ксероксов» и прочей четвероногой братии.

Наверное, и эти волею судьбы обретенные питомцы рано или поздно начнут обременять, поскольку живут собственной жизнью, умирают собственной смертью и ни о чем, в общем-то, не просят. Тогда остается пейзаж. Столь же убогий в рамках холста или картона, сколь в жизни, и столь же всеобъемлющий: «Но еще чаще, картины без людей – дерево, трава, река... Поваленный забор, дорога – заросшая, разбитая. Чем сильней заросшая, тем ближе и дороже мне. Приветствую траву, прорастающую меж камней, запустение, гибель асфальта, победу всего, растущего свободно» (111). Капитуляция культуры перед временем прописана автором столь рельефно, что вполне реально упрекнуть его в некоей «культурофобии». Но и это не совсем так, поскольку авторская «культурофобия» является лишь результатом тщательной избирательности, производной от непрерывного развития вкуса. Российская интеллигенция всегда напоминала мне самокатящееся колесо Ф. Ницше: для того чтобы совершенствовать вкус, ей ни к чему внешние обстоятельства, как правило, лишь отвлекающие... Для того, чтобы следовать по пути Дао, российской интеллигенции не обязательно штудировать «Дао дэ цзин». Когда Дан Маркович умоляет дворовую вишню не расти выше второго этажа, дабы не быть срубленной не желающими находиться в ее тени соседями, вспоминается максима, выведенная в свое время Чжуан Цзы: ты сможешь жить долго лишь в том случае, если ты ни к чему не пригоден и никому не мешаешь.

Почти уверен, что пограничная многочисленным мирским банальностям, даосская мудрость автора едва ли придется по вкусу массовому читателю. Она слишком проста и бесхитростна, а простота и искренность нынче не в моде. Скорее всего, размышления Дана Марковича вообще не будут отнесены к разряду художественной литературы... Да, и Бог с ней, с литературой. На мой взгляд, главное в литературе – чтобы цепляло за живое. Не за мозги, не за интеллект, как принято называть мозги в приличном обществе, но именно за что-то живое внутри двуногого без перьев. «Искренность – форма бесстрашия, которая к искусству имеет самое близкое отношение. А вычурность формы, нарочитая сложность, высокопарность, грубость, словесный понос, заумь, выдаваемая за мудрость, ложная многозначительность – все это формы страха» (36). Под приведенным высказыванием подписываюсь от и до: как человек, поэт и критик. Так что в окружающем нас (местоимение «нас» относится ко всем, кто живет продажей идей и\или образов, а не рабочих рук) мире высокопарностей, словесного поноса и выдаваемой за мудрость зауми мне остается сокрушаться лишь об одном: о том, что бродячие собаки и кошки, равно как и деревья, и заросшие сорной травой проселочные дороги никогда не

смогут прочесть о себе в книге Дана Марковича. А интеллектуалам – «Кукисы».

Андрей ПЕРМЯКОВ

Возможность времени

Владимир Иванов. Мальчик для бытия. – М.: Журнал поэзии «Арион» (Книжная серия), 2009. – 70 стр.

Мысль о непременной включенности поэта в проживаемое им время давно уже превратилась в общее место, не переставая, однако, быть вполне справедливой. На беглый взгляд костромской поэт Владимир Иванов в своей первой книге то ли принципиально игнорирует современность, то ли брезгует ею. Действительно, на семидесяти страницах сборника мы не найдем упоминаний ни модных марок одежды, ни компьютерных девайсов, ни, наконец, имен друзей «давно вошедших в историю актуальной поэзии». Один раз встречается наименование иномарки: мерседес (именно так, со строчной литеры), один раз – фамилия поэта: Мандельштам и однажды вспоминается то ли террорист, то ли политик Басаев. Скорее это архетипы, нежели имена собственные. Да и названия стихотворений (а заметим: почти все стихи в книге поименованы) кажутся более характерными для восьмидесятых годов: «Измена», «Студенты», «Кросс», «Старость», «Мармелад»...

Чудо происходит при прочтении незамысловато названных текстов. Казалось, насколько уже была обыграна в упомянутом десятилетии тема тоски по нетронутой природе, однако, кто смог при помощи единственной строки развернуть оптику так:

Наговор

Когда дремучей зарастут травой
Все трассы федерального значенья,
Мы сможем, наконец, гулять Москвой
С прямой спиной и гордой головой –
Без страха, без стыда, без отвращенья
(В скафандрах против гамма-излучения),
Когда дремучей зарастут травой...

Или ночное купание, бывшее пару десятилетий назад одним из наиболее смелых, но вполне конвенциальных моментов допустимой вольности, вдруг приобретает окраску весьма драматическую, спрятанную под пацанской иронией:

Курорт

Так вот ты, какая морская волна!
И вот он, какой твой цвет.
Похожего цвета моя жена
Недавно купила жакет
<...>
Я раз, после ужина, к морю ходил
И плавал там нагишом.
И так далеко в темноте заплыл,
Что берег едва нашел.

И были волны морские черны,
Как будто их вовсе нет,
И не было цвета морской волны,
Которого жонин жакет.

Даже, казалось, невозможная после Высоцкого тема охоты на волков предстает в особенном ракурсе: не от атакующей стороны и не с точки зрения жертв, а взглядом неодушевленных, хотя и ключевых участников трагедии:

Волки

Ружейные стволы палить устали,
И в небо предвечернее уставясь,
Следят за тем, как серенький волчок,
Став серой тучкой, радуется лету,

Тому, что «вот ведь... надо же... живой...»
И сможет дальше промышлять разбоем
И задирать отары облаков,
Небесным пастухом пренебрегая.

Порой стихи автора почти соприкасаются с текстами предшественников. Вот напрашивающаяся на упоминание Александра Еременко замена живой материи на неодушевленную:

<...>
Все та же чайка кружит – голодна,
И взглядом местность под собой утюжит,

Как знать, а вдруг она в разведке служит
И на врагов работает она.

Чем кормится? Возможно к тройнику
Ее шпион ночами подключает,
А сам сидит и пленки изучает,
Ей аккуратно отвинтив башку.

Такому, вроде бы предсказуемому, ходу квазиавангардного текста жутковатую фактуру придают две противоположных сущности: заголовок **«Измена»** и последняя строфа:

Вам эта мысль покажется дика,
Но если б вы недельку не поспали
И так же у окна бы постояли,
Дозрели б сами вы до тройника.

Вообще, тема искусственности, тотальной сделанности мира кажется одной из доминирующих в книге. Снег в этот мир привозят на железнодорожных платформах, рыбу в реки засыпают усталые актеры, надоевший дом покидают на велотренажерах, а мир «за границами» (во всех смыслах взятого в кавычки сочетания) существует и не существует единовременно:

<...>
Я секрет тебе открою –
никакого нет Китая.
Эти гады точно знают –
нам туда не долететь,
не проверить... а коль скоро
это так, то можно врать нам
про Китай, что будто есть он,
и китайцами пугать.

Там такой же подзаборный
и с такою же принцессой,
и такая же дворняга
грела место им всю ночь.
И для них там сочиняют,
будто где-то есть Россия,
но они-то тоже знают –
никакой России нет.

В таком ненастоящем мире время имеет полное право отсутствовать, подобно тому, как его нет, например, в сказках, где принцессы вечно молоды. Но вот тут происходит еще одно чудо: стихи этой книги в своей глубинной основе вполне современны! Не на уровне лексики, а в своем ритме и дыхании. Возникают замечательные переклички и с признанными мэтрами, и с современными авторами. Например, если бы мне, человеку, смею надеяться, неплохо знающему поэзию нынешних тридцатилетних, предложили угадать автора строк:

Правому шузу каши подай,
Какие уж тут гулянья...
Марты, апрели... комар их бодай –
Божии наказанья,
Сволочи солнечные вечера
(От них у меня мигрени)
Не за горою, а там – жара,
Что еще охеренней.

я б не задумываясь назвал пермяка Алексея Евстратова. Впрочем, подобная уж слишком прямая коннотация скорее исключение. Голос у Владимира абсолютно свой. Достаточно полное представление о диапазоне этого голоса дают миниатюры – их ныне пишут все кому не лень, а получаются они у весьма немногих:

Онко

Полгода приносил ей фрукты,
Теперь – цветы.

Насекомое

Я, плоский, посмотрел на комара
Объемного, проснувшись в три утра.

Попутчица

Иду я от мужей —
Покрасила оградки,
Поправила кресты

Старость

Забыли до смерти

В книге последнее из кратких стихотворений приведено в паре с другим, состоящим из четырех строк и явно проигрывающим

сверхлаконичному собрату. Вообще, афористичность, хотя и нечасто, подводит автора. К примеру, стихотворение о писателе во многом исчерпывается начальным двустишьем:

Увлекшись прощальным письмом,
Позабыл застрелиться.

Впрочем, сие опять-таки из области придирок – с чувством меры и такта у Иванова все хорошо: нечастое явление по нынешним временам.

Финальное чудо – а согласно канону, меньше трех чудеса не бывают – происходит по прочтении всей книги. Мир, представлявшийся искусственным, оказывается подлинным до физической боли, а метафоры оборачиваются своей тяжкой прямотой. Вот уж сколько написано о «собирании камней», а в стихотворении «Хлопоты» необходимость

Нанять зилка и ехать выбирать
Кусок гранита у ж/д моста

оказывается связанной с дефицитом места на кладбище, где хоронят отца лирического героя. И стихи о войне – честно **«Подслушанное»** об Отечественной, **«31 декабря»** о чеченской, **«Марш»** о войне как таковой – надо читать самому. Рецензенту, даже благожелательному, тут верить нельзя.

Резюмируя, можно сказать: книга состоялась, став свидетельством и важного этапа творчества самого Владимира, и литературной состоятельности «поколения тридцатилетних», особенно его нефестивальной, что ли, части.

Олег РОГОВ

Саратовские корни «Пустынной Церкви»

Алексей Руфимский. Схиигумения Мария и «Пустынная Церковь» священномученика Николая (Парфенова), епископа Аткарского. Агиологическое исследование. – Саратов – Камышин – Волгоград, 2009. – 112 с.

Процесс канонизации подвижников новейшего – и столь страшного для православной церкви – времени требует отнюдь не формального подхода. Жизнь и труды этих людей, подчас наших действительных современников, требуют осмысления и понимания условий, в которых зарождается то, что называется потом святостью. Жанр жития в том виде, к которому мы привыкли, навсегда остался в жестком формате канонов церковной литературы. У каждого времени свой вызов и достойный ответ на него – поиск новой формы, внятной новому веку. Задумайтесь, как это странно – быть «знакомым» со святым. Между тем, это происходит и будет происходить.

Книга Алексея Руфимского – итог многолетних разысканий, сбора устных воспоминаний и тщательной работы с архивами, как правило, труднодоступными, будь то следственные дела или личные собрания. С первыми уже дают знакомиться очень неохотно, вторые маргинальны, потому что время, к которому они относятся, мягко говоря, не поощряло к хранению бумаг и предметов, будь это годы террора, хрущевских гонений или брежневского застоя. Это было опасно всегда и тщательно оберегалось от непосвященных, потому что между этими временами тянулась тонкая, но очень прочная нить преемственности, о чем, собственно, и рассказывает нам книга Руфимского.

Ее пафос еще и в том, чтобы канонизация была не просто свершившимся фактом. Ведь нужно и важно восстановить контекст – и временной, и духовный, – который дополнял бы сам факт причисления к лику святых столь значимыми подробностями, хранители которых уходят из жизни с каждым годом, унося с собой многие тайны. Остается сожалеть, что эта работа не ведется с тем усердием, которого она заслуживает, и все разыскания подобного рода молчаливо оставлены на частное усмотрение таких людей, как автор этой книги.

Главные персонажи исследования Руфимского – личности, без преувеличения, легендарные. Епископ Аткарский Николай (Парфенов) – наш земляк, чтимый еще при жизни. Любопытно, что в литературе существуют два его отражения, искаженных в соответствии с задачами, которые ставили перед собой писа-

тели – в романе М. Горького «Дело Артамоновых» и, как выяснил А. Руфимский, в романе К. Федина «Необыкновенное лето» (Руфимский А. Саратовский Серафим: Материалы к биографии протоиерея Константина Соловьева // Волга. Специальный номер (2/3). Саратов, 1998. С. 4-11). Епископ Николай был арестован в 1936 году и умер во Владимирской тюрьме в 1939 году. Среди прочего, ему вменялось в вину участие в «контрреволюционной организации церковников в г. Киржаче, так называемой «Пустынной Церкви», созданной на основе антисоветской платформы «Истинной православной церкви», проводившей развернутую деятельность по насаждению контрреволюционных групп церковников, объединяя их в так называемые тайные церкви». Преемство от епископа Николая было передано схиигумении Марии, жившей под чужим именем. В ее доме в Загорске и продолжала существование «Пустынная Церковь», куда приезжали в разное время такие разные люди, как будущий патриарх Пимен и отец Александр Мень. Регулярно бывали у нее и люди из Саратова.

Руфимский удачно находит верную стилистику, не впадая ни в елейную слащавость, ни в сухое перечисление фактов. Ему удалось – полагаю, не в последнюю очередь, благодаря особенностям воспитания и кругу общения – донести до нас дух времени и остаться адекватным современности.

Фактурные особенности книги на удивление адекватны ее содержанию. Крупный шрифт с вытянутыми буквами имитирует издания XIX века, напоминая известные словари, темная окантовка по краям страниц похожа следы пламени, как будто книгу спасли из огня. Особо хочется отметить изобразительный ряд – коричневатый тон фотографий, с которых смотрят на читателей удивительные лица. Это и старые фото расстрелянных священников, то парадные, то из следственных дел, и фотографии саратовцев второй половины XX века, наших возможных знакомых, работавших в тех же учреждениях, бухгалтерами и инженерами, но ездивших в Загорск к людям, которым они доверили свою духовную жизнь, в тайные монастыри, к монахам в миру.

Эта книга будет интересна и историкам, и краеведам независимо от их конфессиональной принадлежности или отсутствия таковой, потому что она приоткрывает завесу над потаенной жизнью социально вменяемых советских людей, придавая тем самым нашим представлениям о – казалось бы – столь знакомом родном городе неожиданное измерение и новую глубину.

Виктор СЕЛЕЗНЕВ

Сумбур вместо мемуаров

А. В. Щеглов. Фаина Раневская. Вся жизнь. – М.: Захаров, 2008. (Биография и мемуары). – 346 с. – Серия «Биография и мемуары».

Наблюдения показывают, что рассчитывать на интерес к своим мемуарам могут ... лица, откровенно ничем не выдающиеся, но поставленные судьбой в непосредственную близость к знаменитым: секретарь Хемингуэя, партнер Аркадия Райкина, стряпуха А. Софронова, парикмахер Союза писателей.

Николай Акимов

А главное, у них желание рассказать о себе ... и между прочим об Ахматовой.

Фаина Раневская

Боже, как же повезло автору этой книги! Сама Фаина Георгиевна, как узнаем из аннотации, несла из роддома его, Лешеньку, нежно называя младенца эрзац-внуком, и была ему близка всю жизнь. Мало того, первым театральным педагогом актрисы оказалась Павла Леонтьевна Вульф, бабушка Лешеньки, а Ирина Сергеевна Анисимова-Вульф, матушка Лешеньки, ставила спектакли, где играла Раневская.

Ну как после этого не собраться с духом, да не написать большущую книгу – почти 20 печатных листов, да не выпускать ее раз за разом общим тиражом свыше 60 тысяч экземпляров. С поправкой на нынешнее смутное время вполне сравнимо с гигантскими тиражами шедевров типа «Как закалялась сталь» или «Молодой гвардии».

И Лешенька, простите, уже Алексей Щеглов увлеченно раскатывает повестушку о своей бабушке, матери и всех ее мужьях, домработнице, о своей жене, о сестре жены и т. д. Не забывает, само собой, и себя: своего, как и положено, нелегкого детства, своих проказ, своих сверстников, игрушек, подарков – полученных и потерянных, подаренных и испачканных костюмчиках, самокатов, велосипедов и всего прочего джентльменского набора подобных мемуаров.

Но Щеглов, любовно описывая себя и свою семью, помнит все-таки, что книга как-никак называется «Фаина Раневская. Вся жизнь», и, вздохнув, переключает внимание читателя на саму актрису. Для этого он на всю катушку использует свои детские и недетские впечатления, записи Фаины Георгиевны, ее записные книжки и дневники, письма и записочки, многие из коих явно предназначались лишь для домашнего употребления, послания и коротенькие записки известных актеров и режиссеров к актрисе, воспоминания множества артистов и артисток, режиссеров и критиков, директоров театров и всех прочих, кто был хорошо знаком или хотя бы полузнаком с Раневской.

Кажется, это какое-то безотходное производство, любой пустячок идет в дело, причем некоторые ситуации и детали прокручиваются по несколько раз. Как же после многократного повторения не запомнить, что Раневская терпеть не могла, когда ей напоминали так и прилипшую к ней реплику из «Подкидыша»; или историю с ее уничтоженными мемуарами. Помоему, в книгу вошли без всякого разбора и отбора все материалы, какие только нашлись под рукой у Щеглова, до последнего недописанного черновичка.

Фаина Георгиевна, фиксируя, видимо, для себя убогие и хамские словечки очередной домработницы, вряд ли думала, что сей фольклор не первой свежести разнесется по белу свету в тысячах экземплярах.

Иногда автор, желая похвалить Раневскую за ее бескорыстие и щедрость, не замечает странностей некоторых ее поступков. Актриса подарила его родственнице серую беличью шубку, но, увы, очень уж старенькую. Оказалось, эту самую шубку не кто иной, как лично сам товарищ Сталин преподнес своей дочери ... еще 40 лет назад!

Восхищает щегловское признание: «Я не профессиональный литератор, не искусствовед», хотя это хорошо видно и без всяких его признаний. Что ж, скромность весьма похвальная, но, думается, даже не профессиональный литератор и даже не искусствовед мог бы сообразить, что хаотичный калейдоскоп разнокалиберной информации и бесконечные повторы отнюдь не красят издание.

И легко бы проверил, что Всеволода Мейерхольда никак не могли арестовать в 1937 году: в это время большевики еще не успели даже придушить его театр. Столь же легко не профессиональный литератор и не искусствовед мог бы узнать, что Камерный театр А. Я.Таирова был закрыт не в 1949, а в 1950 году. Максим Горький, не дожидаясь ленинских «философских пароходов», укатил за границу не в 1922 году, как уверяет наш автор, а на год раньше. А всесоюзному старосте с козлиной бородкой, формальному главе рабоче-крестьянского государства, Щеглов щедро продлил его земную жизнь на целых два года.

Очень сомневаюсь, что Горькому надо было спасать сталинского любимца Григория Александрова, чьи заздравно-пустопорожние фильмы кремлевский вождь прокручивал до одури и знал наизусть до последней реплики.

И совсем нелепа мыслишка, будто бы верноподданнейший Симонов стихотворение «Жди меня...» сочинил еще до войны, и – подумать только! – не в честь советских доблестных воинов, а в честь узников сталинских концлагерей.

Забавно читать забытые советские сказки о трофейных фильмах, героически захваченных победителями в Германии. На самом же деле в СССР попросту гоняли старые западные картины, срок лицензий на которые давным-давно истек.

Внук, именуемый неизменно эрзац-внуком, до сей поры так и не ведает, получила ли Фаина Георгиевна сталинскую премию за спектакль «Капитан Костров» или нет. Вот загадка так загадка! Кто знает, если бы любимый внук, или эрзац-внук, не поленился заглянуть,

скажем, в советскую «Театральную энциклопедию», может, все бы и прояснилось?

Не догадывается Щеглов, кто был тем таинственным гостем, с которым Ахматова проговорила всю ночь. А приходил к ней знаменитый философ Исайя Берлин, о чем он рассказал сам в своих воспоминаниях.

Знаю, издательство «Захаров» – далеко не светоч просвещения и научной мысли в столице нашей родины, городе-герое Москве, и все-таки не удержусь от наивного вопроса: неужто там не нашлось хотя бы одного вменяемого редактора, который подсказал бы многотиражному автору азы работы над рукописью?

Но увидал выходные данные книги и ахнул. Батюшки-матушки! Да там вообще никакого редактора и нет!

P. S. Несмотря на всю сумбурность книги, читать ее все-таки любопытно, потому что мы слышим проницательные и меткие, точные и злые, иногда очень злые, суждения великой актрисы об искусстве, об актерах и режиссерах, о поэтах и прозаиках, художниках и скульпторах, о бедовой советской жизни.

Иван КОЗЛОВ

Искусство карикатуры

Уж не пародия ли он?

Нашумевший фильм Ларса фон Триера «Антихрист» вызвал самые разные отклики – от восторженного приятия до омерзения. Критики в очередной раз обсуждали, допустимо ли такое кино, зачем оно нужно зрителю, стоит ли это вообще смотреть. Те, кого больше интересует не восприятие, а содержание фильма, с упоением расшифровывали символы, которыми насыщен фильм – Эдем, Природа как царство сатаны, трое нищих, ломали головы над тем, что значат косуля, ворона и лиса, привлекая сравнительные мифологические разыскания и средневековую систему аллегорий. Сам режиссер мрачно и лукаво ссылался на депрессию, нахлынувшую на него после провала предпоследнего фильма, и заявлял, что это настоящее кино.

Разумеется, Триер – провокатор. Любое кино провокативно хотя бы тем, что вызывает определенную эмоциональную реакцию. Триер сделал провокацию фирменным знаком, систематически вторгаясь в область недозволенного, будь то порнография или издевательство над священной коровой Европы – демократическими ценностями. Каждый очередной его фильм сопровождается повышенным вниманием критики, а в последнее время – и неизбежным скандалом.

Смущает одно – даже не градус накала страстей, а предельная серьезность обсуждения. Ведь если режиссер имеет в виду такое отношение, то рано или поздно он неизбежно идет на поводу ожиданий. Мол, нате вам, и еще и еще. А вот так не хотите? А что вы на это скажете? Сам такой подход предполагает некое дистанцирование от производимого продукта (как у Пригова, например), а отсюда уже один шаг до игры, которая по определению должна быть веселой, хотя бы в самой своей основе.

В связи с этим я рискну предположить, что «Антихрист» – это своего рода комедия. Во-первых, пресловутая депрессия настигла маэстро после провала его фильма «Самый главный босс» – откровенно скучного кино, хотя и позиционированного как артхаусная комедия. У Триера все всегда получалось, а вот с комедией – увы, облом. Маятник, вроде бы, качнулся в другую сторону, и Триер снял самый мрачный и дикий свой фильм. Но количество ужасов и безобразий в этой ленте настолько зашкаливает, что производит прямо противоположное задуманному впечатление.

Первая сцена любовного акта, во время которого ребенок красиво прыгает в окно, снята в эстетике рекламных клипов – все настолько чарующе, что уже сразу не веришь ни в какую подлинность происходящего, и разбившееся дитя никакого сочувствия отнюдь не вызывает. Психоаналитические штудии, которым предаются герои, пытаясь пережить травму, выглядят настолько банально, представляют собой такие заезженные нью-эйджевские штампы, что им тоже «ни разу», как теперь говорят (и пишут) не веришь. Эстетика ужастика – тоже порядком набившая оскомину – не вызывает глубокого эмоционального отклика, разве что улыбку. Дикие сцены садизма тоже излишне подробны – кровавая эякуляция, сверление ноги, закрепление штыря с какой-то тяжелой болванкой, финальное удушение – право же, минимализм пугает куда сильнее. А уж посвящение памяти Тарковского в конце вызывает неудержимый хохот.

Что на самом деле хотел сказать нам Триер, мы никогда не узнаем. Потому что «самого дела» в случае Триера на самом деле (тут должен бы быть смайлик) нет. Можно воспринимать «Антихриста» как очередное творение скандинавского мизантропа или как разборку с жанровым кино – фильм принципиально открыт для любых трактовок. В том числе и для предложенной выше.

Однажды во Франции

«Пророк» Жака Одиара взял в Канне главный приз. Сложно понять, какие художест-

венные высоты открылись внутреннему взору высокопрофессионального сообщества.

Таких фильмов снято – вагон и маленькая тележка. Жанр гангстерской биографии настолько востребован, что выполняет своего рода функцию «романа воспитания» в его кинематографическом изводе. Это фильмы эпического размаха («Пророк» не исключение, идет два с половиной часа), в которых есть и неизбежное социальное осуждение, и столь же неизбежное сочувствие герою. Кого-то среда заедает, кого-то «строит», вознося на зияющие криминальные высоты.

Герой «Пророка», зашуганный оступившийся юнец-араб, попадает в тюрьму, где его быстро берут в оборот профессиональные корсиканские бандиты. Выбор, перед которым поставлен Малик, прост и жуток – либо он убьет опасного для мафиозо свидетеля, либо убьют его. Парень справился с заданием, убийство осталось нераскрытым (что, надо отметить, вовсе не удивляет нашего зрителя), араб становится шестеркой у корсиканцев. И все бы ничего, но... являться призрак стал Малику. Убиенный им бандюган посещает заключенного в наркотическом дурмане (а курят во французской тюрьме, судя по этому фильму, двадцать четыре часа в сутки) и наставляет Малика на правильные в данной ситуации поступки. Постепенно Малик становится своим в доску и для покровителей и для тюремной администрации, которую «держат» корсиканцы. Надо ли говорить, что со временем прыткий юноша возмужал и сумел не только организовать свой собственный бизнес во время кратких «увольнительных» из тюрьмы, но и предал свою «крышу», став вполне самостоятельным «авторитетом».

Фильм как фильм, ничего особенного. Главное его достоинство – адекватный перевод без стеснения в выражениях. Если учесть, что персонажи изъясняются на французском, итальянском и арабском, работа переводчиков выше всяких похвал. Курировал их работу известный контркультурный персонаж Владимир Нестеренко, знакомый с феней не понаслышке.

Финал фильма умиляет и выглядит пародией на известную сцену из «Крестного отца», свидание Майкла с женой: Малик выходит из тюрьмы, его встречает девушка, и они в обнимку идут к остановке. Отмотавший срок Малик незаметно машет рукой огромным джипам с братвой, прикатившей за «откинувшимся» боссом – мол, не палите перед любимой, она не в курсах. Трогательно, однако.

Гонзо-пакет

Интерес к личности доктора Хантера Томпсона в России на удивление стабилен. Все началось – для широкой публики – в 1988 году с экранизации Терри Гиллиамом «Страха и ненависти в Лас-Вегасе». С тех пор образ торчка-журналиста, которого сыграл Джонни Депп, остался в общественном сознании на долгие годы. Прошло уже десять с лишним лет, и этот образ продолжает уточняться и бронзоветь, располагаясь уже на пьедестале из стопки изданных книг.

В российский прокат вышел документальный фильм Алекса Гибни «Гонзо». К выходу картины подоспела и пухлая мемуарная книга Хантера Томпсона «Царство страха» (М.: АСТ; Адаптек), вышедшая во вполне адекватной автору серии «Альтернатива». Присовокупим к этому недавние переводы второго и третьего тома так называемого «Гонзо-архива» («Поколение свиней» и «Песни обреченного»), начатого «Ангелами ада», стабильные переиздания «Страха и отвращения в Лас-Вегасе» и «Ромового дневника», и мы получим почти полный «Гонзо-пакет», собрание сочинений Хантера Томпсона.

Здесь следует отметить одно немаловажное обстоятельство. «Родное» название фильма Терри Гиллиама, равно, как и книги – «Fear and loathing in Las-Vegas», что традиционно переводилось у нас как «Страх и отвращение в Лас-Вегасе». Документалка Алекса Гибни и вовсе носит скромный, но пародийный подзаголовок «The Life and Work of Dr. Hunter S. Thompson». У нас это звучит как «Страх и ненависть Хантера Томпсона». В данном случае получился не только звучный слоган, напоминающий о знаменитом фильме, но и концентрированное выражение сущности его героя.

Действительно, стоит пройтись, хотя бы, по названиям: «Страх и отвращение...», «Царство страха». Мир, окружающий героя, агрес-

сивно негативен, столь же агрессивно Томпсон с ним и сражается, только вместо рыцарского копья то косяк марихуаны, то судебные тяжбы, то выборные технологии.

Режиссер пытается быть адекватным герою в выбранной им стилистике – вместо реального фона за спиной персонажей помещаются документальные кадры, что создает впечатление психоделического самолета, летящего сквозь события; квазидокументалистика микшируется с глюками, камера впивается в искаженное отражение на стеклах очков. Хантер Томпсон тоже отражается в воспоминаниях знавших его людей – и его жен, и сенатора Макговерна, и даже Джимми Картера.

Красной нитью сквозь фильм проходит мысль о двойственности натуры героя, где романтизм мешается с цинизмом. Это двоение настигло Томпсона на пике его творчества, он сам стал «информационным поводом», заложником имиджа и, отчасти, карикатурой. Трагический конец поставил точку в жизни, но лишь увеличил его популярность, в том числе и в России. Может быть, потому, что фигур такого уровня и такой степени влияния у нас просто нет. Пока еще нет?

Конечно, эта популярность опосредована. Сначала ведь полюбили фильм Гиллиама, а потом уже его героя, пусть даже через «фильтр» обаятельного Джонни Деппа. Но эта любовь все же вселяет слабую надежду на рост политического сознания в нашем обществе, и тут опыт «акулы Ханта» может оказать поистине неоценимую помощь.

Редколлегия журнала:

Анна Сафронова
Алексей Александров
Алексей Голицын
Алексей Слаповский
Олег Рогов

Подписано в печать ___ марта 2010 г.
Журнал отпечатан в типографии
Адрес типографии:

Заказ №
Цена свободная

Рукописи принимаются по адресу:
E-mail: safronova-volga21@yandex.ru

Электронная версия журнала:
http://magazines.russ.ru/volga/

При перепечатке ссылка на «Волгу» обязательна.